

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1965

1

1965

Н(О)В(Ь)И И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLI

№ 1 (481)

Январь, 1965 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. ТВАРДОВСКИЙ — По случаю юбилея	3
МУСТАЙ КАРИМ — Новогодние строфы. Перевела с башкирского Елена Николаевская	19
КОНСТ. ФЕДИН — Костер, роман. Книга вторая «Час настал»	21
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Два стихотворения. Авторизованный перевод с белорусского Я. Хелемского	78
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ — Первый день, стихотворение	80
ЕФИМ ДОРОШ — Поездка в Любогостицы (Из дневника)	81
АННА АХМАТОВА — Лирические стихотворения	88
ВИКТОР НЕКРАСОВ — В мире таинственного, рассказ	91
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Баллада о браконьерстве, стихотворение	94
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Страничка прошлого	96
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Новые стихотворения. Перевел с балкарского Н. Гребнев	99
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Книга шестая	103
Д. САМОЙЛОВ — Память, стихотворение	126
ГЕНРИХ БЁЛЬ — Самовольная отлучка, повесть. Авторизованный перевод с немецкого Л. Черной	127

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС ПАСТЕРНАК — Стихи и проза. Публикация и примечания Л. Озерова	163
---	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Г. ТРОПОЛЬСКИЙ — О реках, почвах и прочем	185
---	-----

В МИРЕ НАУКИ

Б. КЕДРОВ — Пути познания истины (Раздумья о судьбах естествознания)	213
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. ДЕМЕНТЬЕВ, Н. ДИКУШИНА — Пройденный путь (К 40-летию журнала «Новый мир»)	236
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Кондратович. «Командир мой единственный — совесть». — Ю. Буртин. О пользе серьезности. — Инна Соловьева. Дневники истории. — А. Берзер. Снова война. — М. Злобина. Искания и открытия Гойтисоло.	255
<i>Политика и наука</i>	
Акад. Д. И. Щербаков. Горький о науке. — Г. Герасимов. Будущее. Какое оно? — С. Иванов. Человек среди автоматов. — А. Каждан. Рассказы о тиранах и народолюбцах	272
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ

1

Передо мной декабрьская книжка «Нового мира» за 1934 год с приветствиями ближайших сотрудников журнала в связи с его десятилетием. Под ними — факсимиле подписей, столь знакомых теперь по многократным воспроизведениям в собраниях сочинений и других изданиях. Этим писателям, тогда в большинстве еще молодым людям, десятилетие «Нового мира» по справедливости представлялось весьма большим и значительным периодом, — иная была мера времени, иной возраст самой революции и советского строя.

С той поры прошло еще три десятилетия, и каждое из них по объему и сложности исторического содержания не уступит тому, отмеченному первым юбилеем журнала. И эти писатели именно в последующие годы выступили на его страницах со своими наиболее зрелыми произведениями. Здесь «Петр I» и «Хмурое утро» А. Толстого, четвертая книга «Тихого Дона» М. Шолохова. «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Цусима» А. Новикова-Прибоя, «Дорога на океан» Л. Леонова, очерки и рассказы М. Пришвина, автобиографическая трилогия Ф. Gladкова и ныне завершаемая романом «Костер» трилогия К. Федина. Выдвинулись за это время и новые имена мастеров литературы. Одни из них пришли в «Новый мир» писателями сложившимися, другие здесь получили свою широкую известность, третьи, через посредство нашего журнала впервые заявив о себе читателю, уже прочно вошли в круг его взыскательных симпатий. Словом, сорокалетие большого литературно-художественного и общественно-политического ежемесячника — событие, достойное быть замеченным в нашей культурной жизни, в первую очередь в жизни литературы. Четыреста восемьдесят книжек журнала, вышедших за этот срок, — это целая библиотека, и в ней, за неизбежным вычетом того, что уже безвозвратно принадлежит времени, остается еще очень внушительный перечень имен и произведений, не только не утративших читательского интереса, но в значительной степени определяющих лицо советской литературы этого периода.

Разумеется, трудно со всей определенностью говорить о едином и целостном отличительном облике «Нового мира» среди других журналов этого типа за все сорок лет его существования. Это слишком емкий период, вмещающий столько важнейших событий, этапов и поворотов в общественно-политической жизни страны и тем самым и в судьбах литературы, ее организаций и печатных органов.

Судьба журнала «Новый мир» характерна и показательна с точки зрения особых обстоятельств развития нашей литературы в целом, в первую очередь русской. Созданный в соответствии с указаниями партии, журнал имел своим назначением объединить лучшие литературные силы страны, привлечь к активному участию в культурном строительстве нового общества разнообразные круги литераторов. Первыми редакторами журнала были А. В. Луначарский, И. И. Скворцов-Степанов, В. П. Полонский. Большое внимание работе журнала всегда уделял М. И. Калинин.

Перед читателем почти полутысячи книжек одного из советских журналов встают годы пореволюционной действительности, годы войн и борьбы, величайших преобразований и потрясений в жизни страны, годы суровых испытаний, исторического творчества народных масс, изменения лица родной земли на новых, социалистических началах.

Вместе со всей литературой «Новый мир» испытал на себе и губительное воздействие известных явлений в нашей жизни — незаконных репрессий, духа недоверия, подозрительности. Нельзя забывать о том, что из рядов советской литературы были исторгнуты морально и физически многие ее талантливые представители, чьи значительные и яркие достижения органически входили в ее многообразный опыт.

После того, как был положен конец этому тяжелейшему произволу в жизни страны и самой партии, определились те новые плодотворные возможности, которые не могли не сказаться на развитии литературы, в первую очередь на ее основных очагах — наших журналах. «Новый мир» не был в стороне от всего того, чем жила наша литература и в этот период. На его страницах появился ряд произведений, знаменующих весьма важные и обещающие тенденции. Это позволяет коснуться некоторых конкретных фактов нашей журнальной работы, тем более что факты эти еще отнюдь не стали достоянием истории литературы, — они — неотрывная, действенная часть сегодняшней литературной жизни. И эти заметки не обзор достижений и недостатков «за отчетный период», а лишь взгляд на работу журнала в связи с общими тенденциями нашего литературного развития последних лет.

Идейно-политические позиции журнала, естественно, определяются политической нашей партии, задачами, которые поставила перед литературой великая эпоха строительства коммунизма. Верный этим позициям, «Новый мир» стремится выявлять и свои эстетические принципы и пристрастия. Предпочтительное внимание журнал уделяет произведениям, правдиво, реалистически отражающим действительность, по форме простым, но отнюдь не упрощенным, чуждым формалистической замысловатости, более близким классической традиции, но и не избегающим новых средств выражения, оправданных содержанием.

Конечно, такими же или почти такими же словами мог бы охарактеризовать свои идейные позиции и эстетические принципы в отборе материала любой другой журнал из выходящих в стране в настоящее время. Но не нам в данном случае судить, насколько соответствует практика каждого журнала этой общей декларации.

Пожалуй, первое, что заметно отличает «Новый мир» в ряду изданий такого типа, — это издавна присущее ему широкое разнообразие авторских имен. На страницах журнала встречались и встречаются писатели самые разные по своей тематике, по письму и стилю — от Шолохова до Пастернака, от А. Толстого до Солженицына, от Маршака до Гамзатова. И ныне за «Новым миром» сохранилось это стремление представлять на суд читателя широкое разнообразие литературных талантов. Читатель встречается на страницах журнала с Верой Пановой, В. Овечкиным, В. Некрасовым, Владимиром Фоменко, Г. Троепольским, С. Залыгиным, Е. Дорошем, В. Тендряковым, А. Яшиным, Ольгой Берггольц, Г. Баклановым, Ю. Бондаревым, Г. Владимовым, К. Симоновым, Я. Смеляковым, М. Алигер, С. Щипачевым и авторами позднейшего призыва. Вместе с этими писателями в журнале активно участвуют авторы, литературная жизнь которых началась еще до выхода первой книжки «Нового мира»: К. Федин, И. Эренбург, И. Соколов-Микитов, К. Паустовский, В. Каверин.

Вторым отличительным признаком «Нового мира» можно считать постоянную заботу редакции о соответствии содержания материалов, составляющих каждую книжку, тому двуединому титульному обозначению — «литературно-художественный и общественно-политический», — которое носят все наши толстые журналы.

2

Общеизвестно, что в соотношении первой, «литературно-художественной», и второй, «общественно-политической», частей «толстого» журнала эта вторая и, как правило, меньшая по объему часть не может быть второстепенной без ущерба для целостного воздействия на читателей такого типа издания. Более того, в иные времена эта вторая часть приобретает первостепенное и ведущее значение. Об этом говорит опыт нашей классической журналистики: далеко не всегда и в книжках «Современника» или «Отечественных записок» в первую очередь разрезались страницы беллетристического отдела, — статьи критиков и публицистов нередко оспаривали внимание читателей даже у первоклассных романов и повестей. Есть особая действенная сила в совокупности журнального материала. В журнале происходит живое и столь выгодное сближение и взаимодействие художественной прозы, стиха, литературно-критической и публицистической статьи и т. п.

Очерку в современных условиях принадлежит особо значительное место как раз на условной разделительной полосе этих взаимодействующих родов оружия. Именно на условной — и мы на ближайшем примере увидим, как плодотворна известная неопределенность, так сказать, подвижность самой жанровой принадлежности очерка. Нужно только отметить, что практически организация журнального материала первой, художественной, половины менее зависит от усилий редакции, чем второй, публицистической, где куда свободнее применяются и план, и заказ, и совет, и подсказка, и прямая редакционная помощь автору.

Все это элементарно, но говорить об этом приходится, так как именно эти «тылы» наших журналов в иные годы находились в наиболее плачевном состоянии. Сегодня «Новый мир» то с большим, то с меньшим успехом проявляет заботу об организации на своих страницах полноценных разделов публицистики и науки и видит в этом для себя не менее важную задачу, чем опубликование новых произведений прозы и поэзии.

Читатель заметил и проявил свое заинтересованное отношение к таким материалам, как статьи академика С. Струмилина, экономиста В. Рожина, писателя-ученого И. Забелина, международного Л. Безыменского.

К сожалению, в этих разделах еще не так часто, как нам хотелось бы, выступают ученые, инженеры, агрономы, практические работники промышленности и сельского хозяйства. Эпоха невиданного по темпам и уровню развития науки и техники в нашей стране не может не породить и литературы, популяризирующей их достижения, поднимающей перспективные вопросы. Свои задачи в этом направлении редакция надеется выполнять, опираясь на помощь привлекаемых к сотрудничеству в журнале людей науки, обладающих литературными данными, с одной стороны, и литераторов с серьезной научной осведомленностью — с другой.

Разнообразная и сложная современная международная и внутренняя проблематика — широкое поле для наших публицистов в различных формах: от статьи-обозрения до критико-библиографической заметки. Заслуги редакции в привлечении авторов этого ряда еще слишком скромны, чтобы говорить о них более, но это одна из неотложных задач журнала на будущее.

Читатель любознателен, круг его интересов становится все шире, газетное освещение многих сторон современной жизни далеко не всегда его удовлетворяет. Мы по мере своих возможностей стараемся идти навстречу этим запросам.

Так, освещение зарубежной жизни на страницах журнала не ограничивается печатанием переводов художественных произведений, к тому же недостаточным и носящим иногда случайный характер. Наша критика и библиография более регулярно уделяют внимание новинкам иностранной литературы, печатают и статьи либо обзоры по общим проблемам, далеко выходя за круг явлений художественной литературы.

Мы стремимся дать по возможности широкое представление читателю об идейно-политических и научных исканиях и спорах в западном мире. Кроме того,

журнал охотно предоставляет место путевым запискам и очеркам наших писателей, ученых и других деятелей культуры на материале их поездок за границу. Миновало то время, когда наши люди, приезжая из-за границы, должны были в своих выступлениях лишь иллюстрировать те схематические представления о зарубежной жизни, с которыми они туда выезжали. Пытливый и вдумчивый взгляд нынешних наших путешественников способен куда более глубоко и не предвзято рассмотреть по-своему сложные явления и факты экономики, культуры, искусства и быта как стран социализма, так и капиталистического мира. Не чем иным, как этой широтой и непринужденной формой изложения, располагают к себе путевые записки, например, ученого-историка С. Утченко.

Но вернемся к очерку. Появление «Районных будней» В. Овечкина смело можно назвать литературным фактом поворотного значения не только в пределах этого жанра. Очерк был напечатан до сентябрьского Пленума ЦК партии 1953 года, но его правдивость, идейная направленность, насыщенность острыми положениями, взятыми из живой действительности, вплотную сомкнулись с выводами этого Пленума. Очерк Овечкина был партийной, страстной и озабоченной речью о негодной практике руководства сельским хозяйством, о забвении кровных интересов колхозного крестьянства, о необходимости решительной ломки приемов и методов «доведения» государственного принципа до колхозного двора, оборачивавшихся в конечном счете невыгодой для государства, как и для этого двора и колхоза в целом. До «Районных будней» в нашей печати много лет не появлялось ничего похожего на этот очерк по его достоверности, смелой и честной постановке острейших вопросов. Беллетристика занималась простодушным, чтобы не сказать резче, подмалевыванием жизни колхозного села, построением незамысловатых и опробованных сюжетных каркасов, куда насильственно втискивалась действительность, освобожденная от своей сложности, противоречивости, реальных, а не измышленных трудностей. Очерк же, как правило, был направлен на выборочное описание лучших колхозов, имевших трудности и недостатки лишь в прошлом, до прибытия нынешнего председателя колхоза или секретаря райкома. Критика цепко набрасывалась на малейшие отступления прозаиков и очеркистов от этих общепринятых и как бы узаконенных норм освещения сельской жизни в литературе. Казалось, что соблюдение этих норм благополучия в отраженной картине важнее самой действительности. Это была как бы своеобразная замена практического наведения порядка в запущенном сельском хозяйстве единообразным упорядочением приемов отражения его в искусстве. И такая замена оправдывалась соображением, что все отсталое и неблагополучное (а тем самым и нетипическое) само собой, следуя представленным в отраженной картине образцам передового и благополучного, выправится и подтянется «до уровня».

Значение небольшого очерка В. Овечкина было очень велико и не прошло бесследным для всей нашей литературы, обращенной к деревенской (и не только деревенской!) актуальной тематике. «Районные будни» дали очерку благотворный толчок в разных более или менее обособленных направлениях и превращениях этого жанра.

По пути обобщенно-беллетризованного показа жизни с утратой «паспортной» точности в отношении собственных имен героев и географического места действия, с элементами художественного вымысла успешно идет, например, Ефим Дорош со своим «Деревенским дневником». В этом же направлении, но с более резкой публицистической обнаженностью актуальных вопросов современности определился своеобразный и яркий талант В. Тендрякова в его повестях и рассказах, привлекая внимание читателей и критики. Большой интерес и сочувствие вызвал Г. Троепольский смелыми поисками сатирической формы отражения колхозной жизни тех лет.

В сторону документального, точного в отношении места действия и действующих лиц, оперативного по своему назначению очерка с постановкой острых практических проблем развивается компетентная и значительная работа таких авторов, как Леонид Иванов, Н. Верховский и другие.

Во всех этих случаях главная ценность — в отвержении приемов подмалевывания, округления и конструирования материала действительности по заданному образцу, в стремлении следовать правде жизни. Эта достойнейшая тенденция получила горячую поддержку читателей. К сожалению, в последние годы и до самого недавнего времени печать проявляла порой заметное недовольство отражением в литературе достоверных черт реальности, подталкивала писателей на прежние стези приукрашивания, фальсификации.

Приведу один недавний пример, когда газета «Сельская жизнь» грубо и до крайности несправедливо отозвалась на «Деревенский дневник» Е. Дороша, оперируя разработанными в памятные всем времена наихудшими приемами критики. Эти приемы суть: исходить из предположения о злонамеренности автора, обвинить его в нарочитом «принижении действительности» и даже «пасквильянтстве». И все это вывести из того, что он описывает этот, а не тот колхоз или район, — толку нет, что очерки Е. Дороша — плод многолетней работы, вдумчивого и любовного изучения писателем деревенской жизни и что именно это обеспечило успех его «Дневнику» у читателей и высокую оценку литературной общественности. Под этим критическим опусом газеты — явно профессиональным по стилистике и характерным ходам умозаключений — как-то неловко видеть подпись председателя колхоза...

Дело прошлое, но это не единственный случай недопустимого в советской печати способа организации «голоса с места», когда изготовленный на скорую руку «документ» снабжается подписями часто хороших людей, не ведающих, что они вовлечены в недостойное дело. Это факты, говорящие о том, как трудно и в литературной жизни изживается печальное наследие уже миновавших годов, когда развились и укоренились разнообразные вреднейшие навыки фальсификации, извращения правды жизни, порождающие у людей недоверие к нашему печатному слову. Это слишком серьезный политический урок, чтобы его затушевывать и тем самым оставлять возможность повторения такой практики.

3

Подмена подлинной картины действительности, какая она есть, такую, которая более соответствует предвзятым представлениям о ней, — несостоятельна и тлетворна не только в освещении современной жизни. Она не менее вредна и в освещении прошлого, всего в целом пути нашей истории, бесценного в своем реальном содержании опыта революции.

В многообразном запечатлении этого опыта особая роль принадлежит подлинным личным свидетельствам, человеческим документам — мемуарам, дневникам, письмам современников революционных событий. При относительной фактической точности таких материалов их ценность определяется степенью субъективной правдивости и искренности свидетельства.

Известный период в жизни нашей страны вообще не благоприятствовал накоплению таких материалов, порождал отвычку от изъяснения на бумаге в том или ином виде личных чувств или размышлений, приглушал живую, человеческую память о подлинно пережитых событиях, о значении и роли в них отдельных лиц, имена которых были неназываемы. Об этом еще придется пожалеть не только нам, но и поколениям, которые придут нам на смену. Было и еще худшее: сознательные подделки этих «личных свидетельств», искажение фактов истории лжемемуаристами, приспособление ими своего «аппарата памяти» к потребностям текущего дня. Немногие дневники и эпистолярные документы из того периода, появившиеся теперь в нашей печати, принадлежат перу тогдашних юношей и девушек, то есть людей, по возрасту своему менее связанных условиями, в которых жили зрелые люди.

Положение решительно изменилось после XX съезда КПСС. Вряд ли еще когда такое количество людей обращалось к перу с неотложным желанием описать свою жизнь, сделать достоянием гласности многое, что находилось под слу-

дом, дать объяснения прошлому перед лицом настоящего и будущего. Рукописи эти, направляемые в редакции издательств и журналов и лично виднейшим нашим литераторам с просьбами опубликовать или хотя бы использовать их в том или ином виде, весьма не равноценны. Здесь и различный уровень литературной опытности и просто грамотности, и тщеславие, и наивная претензия на «художественность» изложения, и просто графомания. Но в этом огромном рукописном «самотеке» многое представляет безусловную ценность материала истории и должно быть взято на учет и научное хранение. А подчас этот «самотек» приносит находки, опубликование которых — радостное приобретение для журнала и его читателей.

«Новый мир» широко открыл двери произведениям мемуарного жанра. Не ограничиваясь публикациями в специальном разделе «Дневники. Воспоминания», мы отнесли наиболее крупные из «находок» к разделу собственно прозы, и, думается, правильно: эти простые и глубоко содержательные повествования от первого лица очевиднейшим образом завоевали внимание читателей не менее, а часто куда более, чем произведения профессиональной прозы. Они становятся явлением знаменательного для наших дней жанра литературы. Невозможно изъять из совокупности представляемого журналом чтения такие значительные рассказы «о времени и о себе», как записки летчика-испытателя М. Л. Галла, «Невыдуманные рассказы» адмирала флота И. С. Исакова, воспоминания инженера-изыскателя А. А. Побожьего, журналиста Л. Д. Любимова — автора книги «На чужбине», дипломата И. М. Майского, генерала армии А. В. Горбатова.

В ближайшее время мы намерены напечатать записки генерал-лейтенанта Н. А. Антипенко, бывшего заместителя командующего фронтом по тылу, и члена-корреспондента Академии наук В. С. Емельянова, работавшего во время войны на ответственных участках оборонной промышленности, а в последние годы — в области использования атомной энергии в мирных целях. В перспективе года мы намерены предоставить свои страницы для воспоминаний председателя одного из крупных колхозов, возглавляющего его со дня организации в 1929 году. Мы надеемся, что эти материалы будут встречены читателем с тем же радушием, что и напечатанные нами ранее.

«Годы и войны» — название книги А. В. Горбатова далеко не исчерпывает ее содержания. Там не только войны, но и годы армейской службы в мирное время, и годы учебы, и годы напряженной командирской работы по боевой и политической подготовке частей и соединений Советской Армии, и мрачные годы тюрьмы и лагерей в канун Отечественной войны, на фронтах которой он проявляет себя в полную меру своих знаний, опыта и таланта. Сын многодетного крестьянина-бедняка, рядовой империалистической войны. Командир в гражданскую — А. В. Горбатов, ступенька за ступенькой проделывая этот долгий и трудный путь, становится образованным человеком, одним из крупных военачальников наших вооруженных сил, государственным и партийным деятелем, подлинным интеллигентом целиком советской формации. Вся его жизнь настолько неотрывна от великого пути революции, так совпадает с ней своими этапами, что жизнеописание его приобретает наглядно-символический характер.

Подкупает читателя литературная непритязательность повествования А. В. Горбатова, написанного пером, не опробованным ранее в ином жанре, чем военные донесения, рапорта и приказы. Удивительным образом этот основательный и как бы только деловой, чуждый претензиям на «литературность» стиль изложения располагает к автору, исключает малейший оттенок недоверия к тому, о чем он рассказывает. На этом достоинстве записок «Годы и войны» стоило бы остановиться подробнее, но можно сказать, что дело здесь прежде всего в их подлинности и большой нравственной силе личности автора.

За много лет до записок А. В. Горбатова опубликовал свою книгу «Люди с чистой совестью» генерал-майор Герой Советского Союза П. П. Вершигора, человек разносторонне одаренный. Но также не профессиональный литератор. Заключительная часть его широко известной книги была напечатана в недавние

годы на страницах «Нового мира». Этот увлекательный и глубоко содержательный рассказ человека, сначала бывшего фронтовым фотокорреспондентом, затем — разведчиком, а в последний период боев ставшего командиром партизанского соединения, — один из самых ярких образов нашей художественной мемуаристики. Попытки покойного П. П. Вершигоры в области формы «чисто художественной», свободной от натурального авторского первого лица в повествовании, уже не были так удачны. И это говорит об определенной самостоятельной ценности мемуарного жанра, приобретающего все более прочную популярность.

К этому жанру на материале историко-революционном можно отнести рассказы Елизаветы Драбкиной, печатавшиеся на страницах журнала, а затем вышедшие отдельной книгой под общим названием «Черные сухари». Они посвящены первым дням, месяцам и годам нашей революции, основаны на большом знании фактов и документов эпохи, доступных по архивным и печатным источникам. Но главным источником этого знания являются живые, непосредственные впечатления автора, активного участника великих событий в пору его юности, в возрасте, запечатлевающим на всю жизнь неповторимые явления, встречи, картины и, так сказать, самую музыку эпохи. Е. Драбкиной в этом возрасте, в своей скромной роли, привелось лично встречаться с В. И. Лениным, Я. М. Свердловым, Ф. Э. Дзержинским, видеть Смольный в дни Октября, быть в рядах московских красногвардейских отрядов и на фронтах гражданской войны... Все это сообщает рассказам ее несравненную впечатляемость живого и непосредственного отзвука уже отчасти легендарных лет. Между тем рассказы Е. Драбкиной отнюдь не лишены литературных притязаний, и достаточно основательных. Художнический угол зрения на пережитое лично и на добросовестно изученное по материалам эпохи позволяет автору быть правдивым не только в деталях и частностях, но и в целостной картине, в узловых моментах действительности. Незаурядные литературные данные Е. Драбкиной, своеобразное и сильное мастерство в найденном жанре не по вине и не по нерадению ее проявились лишь в позднем возрасте.

С известными оговорками в ряду названных мною выше документально-мемуарных книг можно рассматривать и книгу Ильи Эренбурга, автора многих романов и повестей, популярнейшего в стране публициста времен Отечественной войны. Мемуары И. Эренбурга, насыщенные его огромным и сложным литературным опытом, вызваны теми же потребностями общественного сознания, поднятого на новую историческую ступень XX съездом, что и бесчисленные автобиографические повествования людей, впервые обратившихся к перу и принесших свой опыт из строго локальных областей практической жизни.

«Люди, годы, жизнь», как известно, вызвали горячие споры и подверглись критике. Редакция уже имела случай заметить, что она не может не разделять с автором ответственности перед читателями. Однако до окончания публикации воспоминаний И. Эренбурга в журнале было бы неправомерно давать им здесь исчерпывающую оценку.

4

В особом внимании читателя к мемуарной форме, несомненно, нашло свое косвенное выражение и недовольство литературой профессиональной, стремление дополнить ее фактами, которых она или вовсе не касалась, или касалась не глубоко, не до конца правдиво. На глазах происходит падение интереса к «чистой» беллетристике, профессиональным поделкам, где читатель за мелочным реализмом деталей легко угадывает уже не только общую «идею» или «проблему» произведения, но и его «типовую конструкцию» — сюжет, расположение персонажей, предренность судеб.

Это не значит, что мы можем согласиться с теми, кто говорит об отмирании традиционных форм «большой прозы».

Что бы там ни говорили западные теоретики «гибели романа» как жанра, как раз в эти десятилетия, когда роман, по их утверждениям, пришел к закату, подавляющее большинство читающего человечества удерживает в памяти книги

Хемингуэя, Стейнбека, Бёля, Лакснесса, наконец нашего Шолохова, написанные так или иначе в этом «устарелом» жанре, а не творения представителей «нео-романа».

А вместе с тем кто велит обязательно пользоваться лишь нормами старого романа, его требованиями, его «типовой конструкцией»? И кто скажет: я против того, чтобы искать новые формы, чтобы пытаться найти способ выражения, еще не испробованный другими мастерами? Все дело в том, чем располагает художник, приступая к осуществлению своего замысла, попросту — что у него за душой на случай встречи с читателем. Необходимое содержание найдет необходимую форму.

В одном из вариантов предисловия к роману «Война и мир» Л. Толстой писал, что он долго не мог найти жанр для выражения того материала, которым располагал, боялся, что его «писание не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории...». И после долгих поисков он решился откинуть все эти боязни и писать только то, что ему «необходимо высказать, не заботясь о том, что выйдет от всего этого», и не давая своему труду «никакого наименования». Разумеется, это признание великого художника не следует понимать слишком буквально. Нет нужды говорить, что в могучей и по-своему стройной и неразрывной композиции толстовской эпопеи ни одна из самых малых ее частей не может быть опущена без урона для целостности и полноты произведения.

Но без таких неожиданных, не узаконенных теорией художественных решений и непредвиденностей искусство не живет, в нем труднее всего наперед угадать или «запланировать» то замечательное, что приходит в свой срок явочным порядком, хотя, конечно, на поверку бывает подготовлено всей совокупностью обстоятельств жизни и развития самого искусства. Главнейший признак значительности произведения искусства — это впечатление при первом же знакомстве с ним несомненной необходимости появления его на свет, вне зависимости от его жанрового обозначения.

В самом деле, к какому жанру литературы можно отнести, скажем, такое бесспорно талантливое произведение, как «Дневные звезды» Ольги Берггольц? Что это? Роман? Мемуары? Лирическая повесть? Или, может быть, поэма в прозе? Автор предпочитает называть «Дневные звезды» своей «главной книгой», избегая более конкретного жанрового определения. И читатель, пожалуй, не испытывает в этом нужды, если перед ним книга, в которой, как это можно сказать про «Дневные звезды», в меру замечательного таланта автора отражена правда жизни, правда нашей революции, высказанная с внутренней свободой и бесстрашием глубоко искреннего художника.

Или другой разительный пример: «Один день Ивана Денисовича».

Огромный резонанс этого небольшого по объему произведения в читательских кругах страны и за рубежом, известные острые разногочия в оценке его критикой обязывают еще раз остановиться на нем. Этой повести, появившейся два года назад, попросту не могло не быть, она как бы уже была, такая, как есть, и только ждала часа своего появления на свет. Но это кажется нам только теперь, а до ее появления никто не мог предположить ее, эту вещь, именно такой, написанной на таком именно материале и в жанре, который и определить-то с точки зрения канонической опять же затруднительно: то ли повесть, то ли рассказ, то ли вовсе очерк «одного дня» из жизни лагерного заключенного и его ближайших товарищей по судьбе.

Это первое выступление А. Солженицына в литературе как нельзя более пришлось по времени и отозвалось на те потребности общественного настроения, которые с особой силой раскрылись после XXII съезда нашей партии.

То, что уже было сказано на языке политики, с неожиданной силой прозвучало на языке искусства. Искусство, как это давно установлено, не всегда нуждается в исчерпывающей всесторонности и всеобъемности охвата жизненных явлений — было бы верно схвачено и ярко выражено то, что оказалось в «секторе обзора»

художника: оно непременно будет соприкасаться с тем, что находится за пределами этого сектора.

История русской литературы с ее особой общественной ролью и назначением знает немало примеров того, как непредугаданные и неожиданные, скромные по объему и характеру изображения как бы только частного случая действительно, только одного из уголков ее, — как такие произведения становились значительными вехами развития всего литературного дела.

А. Солженицын опубликовал до сих пор всего четыре небольшие — по счету страниц — вещи. Особый успех первой из них не заставил его сделаться, так сказать, певцом только лагерной темы, хотя легко представить, что материала к этой теме, которым располагает автор, хватило бы на целую писательскую жизнь. Каждая из этих вещей свидетельствует о многостороннем развитии таланта автора, находящегося в лучшей писательской поре. Перед ним большой, многообещающий путь, на котором, конечно, могут быть и трудности, и задержки, и промахи, но, верится, будут и еще более значительные удачи и достижения.

5

В своих суждениях о литературе, о ее состоянии и перспективах мы не можем забывать, что наша страна находится в преддверии славной даты — пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции. Это ко многому обязывает.

Пятьдесят лет в жизни отдельного человека — возраст вершинный, перевал, за которым чаще всего начинается нисхождение. Но в жизни общества этот срок измеряется в немногих делениях многовековой меры истории. И вместе с тем на этот раз он необычайно велик, и вряд ли на протяжении тысячелетий найдется равный ему отрезок времени, вмещающий столько перемен, потрясений, событий, которые бы имели такие значительные последствия для всех людей, населяющих нашу планету. Вряд ли в какое другое полу столетие переступало человечество столько порогов и рубежей своего развития, приходящихся на этот срок одной человеческой жизни.

Полувек юбилейная дата Октябрьской революции — это вышка, с которой уже сейчас наш «круговой обзор» пережитого и переживаемого расширяется в огромной степени. В повседневных заботах, трудностях и радостях нашего пути мы склонны видеть этот путь только по частям, на протяжении лишь нынешнего, преодолеваемого нами участка и считать только этот участок значительнейшим в нашей истории, как бы забывая, что не менее значительными были и предыдущие периоды, этапы и рубежи. Это вполне понятно с точки зрения насущных сегодняшних задач борьбы. Но каждая страница истории советской эпохи имеет непреходящую ценность революционного опыта, и только в целостном постижении этих страниц мы находим ответы на вопросы, волнующие нас сегодня, и можем предугадать те, что встанут перед нами завтра. Естественно, что предстоящая великая дата для нас не просто красное число, по праву торжественный и величественный праздник, но и знаменательная историческая черта.

История этого полу столетия отпечатлелась не только в соответствующих учебниках, специальных работах, исследованиях, обзорах, отчетах партийных съездов, официальных документах, произведениях литературы, материалах газет, радио и кино. Она, эта история, — живая жизнь миллионов людей, их творческий труд, их развивающееся самосознание. Если представить себе, что те самые люди, что делали революцию и строили социализм на всех этапах и поворотах эпохи, рассказали бы все, что они знают о ней, то в мире появилась бы книга, перед которой отступили бы самые яркие создания литературы, известные до сих пор человечеству. Но как ни трудно делать историю — писать ее, рассказывать о ней со всей полнотой правды отнюдь не легче. Во всяком случае рассказ этот, как правило, намного отстает от самого хода исторических событий и, стремясь сократить эту дистанцию, вплотную приблизиться к современности, часто

несет большие потери достоверности, злоупотребляет фигурой умолчания, сбивается на «округление» фактов, натяжки и прямые искажения. Потребность общества в правдивом отображении его пути, в полноте освещения всех сторон пережитой и переживаемой исторической действительности явно опережает возможности нашей историографии, публицистики и в первую очередь художественной литературы как наиболее популярного рода летописания эпохи.

Но, так или иначе, именно художественная литература в ее лучших образцах является, быть может, главной летописью нашей революции. Она имеет и непреходящие, подлинные достижения поэтической мысли, произведения редкой во всей мировой литературе силы воздействия на своих современников. Как ни очевидны ее слабости, как ни правомерно читательское недовольство и упреки к ней, можно решительно утверждать, что наша литература в целом отзывается на все значительное, что происходит в жизни общества.

В годы, прошедшие со времени XX съезда партии, появился ряд произведений, которые отмечает серьезное знание действительности, правдивость, глубокое чувство ответственности художника перед народом, высокое мастерство. Некоторые из этих произведений впервые увидели свет на страницах «Нового мира», — иные из них были удостоены Ленинских премий.

Именно в эти годы к первоначальной славе С. Я. Маршака как крупнейшего детского писателя и первоклассного переводчика высоких образцов классической поэзии прибавилась еще и слава тонкого, богатого философской мыслью лирика, каким он предстал перед нами в своей последней книге. Одновременно с Маршаком лауреатами Ленинской премии стали молодой прозаик Чингиз Айтматов, человек сильного дарования, с чьими повестями «Джамиля», «Первый учитель» и другими «Новый мир» впервые познакомил русского читателя, а также издавна выступающий на наших страницах замечательный поэт Расул Гамзатов.

Успех киргизского прозаика и дагестанского поэта — характерное для советской литературы явление. Она предстает перед всем миром как литература многонациональная, литература дружбы и братского сотрудничества народов. «Новый мир» — журнал не только русской прозы и поэзии. Он рассматривает себя как орган всесоюзной литературы и считает своей обязанностью знакомить читателей нашей страны с лучшими достижениями литератур народов СССР.

Читателям «Нового мира» привычны, не менее чем русские, имена знаменитого украинского поэта, академика Максима Рыльского, выступавшего у нас со статьями и стихами последних лет, лауреатов Ленинской премии Эдуардаса Межелайтиса, Петруся Бровки, народного поэта Чувашии Якова Ухсяя, балкарского лирика К. Кулиева, стихи которого и в настоящем номере журнала, я думаю, обратят на себя внимание светлой и глубокой поэтической мыслью, изяществом традиционной и вместе смелой новаторской формы. Редакция «Нового мира» горячо поддерживает выдвижение кандидатуры К. Кулиева на соискание Ленинской премии.

В нынешнем году на соискание Ленинской премии редакцией выдвинут сборник стихов Аркадия Кулешова — выдающегося белорусского поэта, печатающего свои стихи в «Новом мире». Обширность идейного горизонта, освоение необычных для прежнего Кулешова вечных тем общечеловеческого значения: жизни и смерти, любви и творчества, судьбы и долга поэта, прошлого и настоящего, неизмеримых далей будущего — вот что главным образом обозначает «Новая книга» в его поэзии. Свободно текущая лирическая речь — как бы раздумье вслух — экономична в словах, классически подтянута, дисциплинирована без напряженности, строга без сухости и прозрачна, хоть и достаточно сложна.

Вместе с «Новой книгой» А. Кулешова нами представлена на соискание Ленинской премии нынешнего года повесть С. Залыгина «На Иртыше» и по разделу журналистики и публицистики — широкоизвестные военно-исторические очерки С. С. Смирнова, посвященные героической обороне Брестской крепости.

С. Залыгин, подобно Г. Троепольскому, В. Тендрякову, Е. Дорошу, весьма характерная фигура литературного движения последнего десятилетия, писатель,

всей своей деятельностью тесно связанный с «Новым миром». В журнале публиковались и его первые очерки, и публицистические статьи, и роман «Тропы Алтая», но еще ни одно из его произведений не вызывало такого широкого интереса, как последняя повесть. Обратившись к теме коллективизации, С. Залыгин создал произведение, исполненное поэзии и драматизма. Возврат в прошлое отнюдь не равнозначен у него повторению чего-либо ранее известного. С. Залыгин нашел новые краски, свой угол зрения в изображении событий, уходящих уже в историю, и это делает его повесть произведением глубоко современным в лучшем смысле этого слова.

В прежние годы романы и повести о коллективизации отдавали преимущественное внимание руководителям и вожакам этого движения, часто людям, пришедшим в колхоз, к рулю управления, извне — из города, с производства, из армии. Сюжетные коллизии строились на тех более или менее верно вскрываемых трудностях, которые стояли на пути руководителей и вожаков переустройства деревни. Крестьянская масса часто была лишь фоном и материалом для показа этих трудностей на примере отдельных ее представителей. Залыгин живописует трудности и трагизм процессов коллективизации со стороны внутренней жизни в первую очередь самой рядовой крестьянской массы — ее взыскательные думы, мучительные в своей ограниченности расчеты, колебания и сомнения перед окончательным выбором колхозного пути. На этом сосредоточено внимание художника, и это составляет особую новизну подхода к историческому материалу. Нечего и говорить о том, что такая книга, показывающая пагубные извращения, привнесенные в дело коллективизации во времена культа личности, могла появиться лишь в наши дни, лишь после исторических решений XX и XXII съездов партии. Духом высокого гуманизма, утверждения человеческого достоинства, духом правды пронизана эта повесть.

6

Иногда приходится слышать по разным поводам такие соображения, что, мол, да, вещь талантливая, правдивая, ничего не возразишь, однако она может быть использована в своих целях нашими врагами из буржуазного мира.

Но известно, что враги питали куда более обширные надежды использовать в своих целях ту правду, которую наша партия сделала гласной, развенчав культ личности и ликвидировав его последствия. Известно также, что этот всеобъемлющий поворот в жизни партии и страны не был легким. Но разве могло это утратить и остановить партию в проведении ее исторического дела восстановления ленинских норм нашей жизни? Нет, конечно.

В одной из своих речей в 1919 году В. И. Ленин говорил, что всякое наше слово враги могут толковать и перетолковывать по-своему, это неизбежно, «но, — подчеркивал он, — мы говорим: пусть! Мы гораздо больше пользы извлечем из прямой и открытой правды, потому что мы уверены, что если это и тяжелая правда, то, когда она ясно слышна, всякий сознательный представитель рабочего класса, всякий трудящийся крестьянин извлечет из нее единственный верный вывод».

Опасения же насчет того, не повредит ли нам талантливое произведение, правдиво изображающее то в нашей жизни, что осуждается нами, — это попросту дань довольно еще распространенному предрассудку. Все, что талантливо и правдиво в искусстве, — все нам на пользу. И, наоборот, всякая фальшь, всякая ложь, как и всякое наше недомыслие, — во вред нам и вернее всего может быть использована нашими врагами против нас.

Мне приходилось уже говорить, что недостаток многих наших книг — прежде всего недостаток правды жизни, авторская оглядка. Читатель остро нуждается в полноте правды о жизни. Ему претит уклончивость и непрямота художника. И народ и партия кровно заинтересованы в том, чтобы видеть и знать жизнь такой, какова она есть, — об этом недавно снова напомнила газета «Правда».

Задача литературы — не в том, чтобы сопровождать, иллюстрировать «средствами художественного изображения» уже принятые решения, «оформлять»

готовые общеизвестные положения. Несостоятельность «иллюстративного» метода с его пустозвонной декларативностью и приверженностью к конъюнктуре очевидна. Настоящую помощь партии и народу писатель оказывает тогда, когда честно и смело изучает глубинные явления жизни, изображает нечто важное, новое, о чем, может быть, еще и речи не было в ежедневной печати, в каких-либо документах или узаконениях.

Не следует забывать, что персонажи в художественном произведении полагаются несколько иначе, чем должностные лица в штатном расписании ведомства или учреждения. Мы слишком привыкли по старинке искать в одном произведении все то, чего мы ждем от литературы в целом, и одного из героев произведения считаем обязанным представить в своих поступках и характере все то, что может быть представлено другими людьми, окружающими его.

Очень много пишут о том, каким должен быть современный герой советской литературы. Но пока о нем рассуждают и спорят, этот герой, не считаясь с тем, каким он должен быть по нашим «законодательным предположениям», растит и убирает хлеба, выплавляет металл, строит новые города и возводит гигантские плотины, один за другим посылает в космос воздушные корабли, воспитывает детей, лечит больных. В том и заключается выгодная особенность советской литературы, что она находит своих героев, занятых реальным делом текущего дня, устремленного в будущее, — рядом с собой, в жизни, окружающей нас.

Вот почему мне кажется, что требования обязательной исключительности, возвышения героя над «заурядностью» живой действительности покоятся на одном из укоренившихся в прежние годы ложных принципов, когда возвеличение личности главного героя, наделение его особо незаурядными качествами обычно предпочиталось правдивости жизненного образа. Такое сосредоточение внимания на «герое» — да еще в своеобразно-номенклатурном, должностном понимании этого слова — неизбежно сочеталось с пренебрежением к «рядовой массе», которая, как уже было сказано, чаще всего составляла лишь «фон» для главного героя. В самой литературной практике такая тенденция приводила к неестественности, натянутости изображения таких героев с большой буквы.

Однако герою «Тихого Дона» Григорию Мелехову его «заурядная» казачья натура, чуждая всяких претензий на титаничность характера, не помешала стать в ряду мировых литературных образов. И у шолоховского Давыдова, коммуниста из рабочих, опять же нет никаких черт исключительности. И тем не менее он благодаря правдивости, жизненности изображения приобретает куда более надежную долговечность, чем, скажем, Кирилл Ждаркин или позднейшие Кораблев, Морев и многие другие их сверстники в литературе с приданными им чертами «сильных личностей». Мне даже кажется, что чем скромнее собственно художнические возможности автора, тем скорее проявляется эта тенденция к изображению людей заведомо выдающихся, необыкновенных. Ведь всемирная слава великой русской литературы зиждется прежде всего на ее пристальном внимании к людям обыкновенным, даже «маленьким», как было принято их называть. Разумеется, изображение героев исключительного облика не противопоставлено, но во всяком случае это не может быть избирательным принципом для всей литературы.

И, кроме того, будь герой «большим» или «маленьким», «исключительным» или «обычным», пусть даже будет он носителем всех добродетелей, безупречно правильным в своих поступках и суждениях, все равно читатель останется равнодушным, если он окажется лишенным простого человеческого обаяния — того, что привязывает нас к героям любимых книг. Когда для меня, читателя, персонажи книги становятся либо моими личными друзьями, либо моими личными врагами, тогда происходит прекрасное чудо — является художественное произведение. В этом случае среди всех героев книги незримо, но явственно живет еще один много знающий, зоркий и памятный герой — ее автор. — пусть даже авторского «я» и нет в повествовании. Именно личность автора определяет достоинства произведения как художественного целого. Удивительная вещь: мы знаем произведе-

ния литературы трагического склада, в которых столько ужасного, горького, тяжелого, но которые вовсе лишены духа отчаяния или расслабляющей жалостливости. Вспомните заключительные страницы и строки «Чапаева», того же «Тихого Дона» и «Поднятой целины», «Разгрома» и «Молодой гвардии». Одна из характерных черт русского национального характера — мужество жизнеутверждения.

Высказанные здесь соображения вовсе не носят отвлеченного характера. Они имеют самое непосредственное отношение к повседневной редакционной практике и литературным позициям «Нового мира».

Деятельность журнала невозможно представить без обычной нашей заботы о качестве произведений, с какими бы трудностями ни было сопряжено последовательное проведение в жизнь этого правила и как бы ни противоречили этому правилу отдельные вольные или невольные отступления от него.

7

Ныне, в сорокалетнюю годовщину журнала, мы не можем здесь не помянуть добрым словом наших товарищей по редакционной работе, навсегда ушедших от нас. Это энтузиаст журнального дела, в свое время заместитель главного редактора критик А. К. Тарасенков, члены редколлегии писатели Б. А. Лавренев и С. Н. Голубов, до последних своих дней отдававшие свой большой литературный опыт и знания редакционной работе: подготовке рукописей к печати, переписке с авторами, составлению планов журнала. Как они могли бы порадоваться удачам и достижениям журнала, росту его популярности и разделить с нами огорчения его ошибками и упущениями, чтобы вместе со всем нашим коллективом добиваться улучшения дела.

Но любое издание, подобное «Новому миру», всегда обязано своими успехами не одному только узкому кругу редакционных работников, непосредственно готовящих к выпуску в свет очередную книжку журнала. Журнал создается слаженными усилиями авторского актива.

Журнал не обижен дружеским вниманием, поддержкой и разнообразной помощью тяготеющих к нему беллетристов, критиков, поэтов, в частности поэтов-переводчиков, очеркистов и публицистов. Мы очень дорожим их близостью к журналу, их готовностью поддержать те или иные наши начинания, порекомендовать интересную рукопись, принять участие в обсуждении журнальных материалов, выполнить «оперативный» заказ редакции. Но и за этим обширным кругом друзей журнала мы не упускаем из виду гораздо более обширный круг наших друзей-читателей, наших корреспондентов, подающих свой голос со всех концов, из городов и сел великой страны.

Редакционная почта «Нового мира» весьма солидна, но, как ни велико количество пакетов и бандеролей со стихами и прозой литературного «самотека», оно, конечно, уступает количеству писем, содержащих в себе читательские отклики на опубликованные в журнале (и не только в нашем журнале) материалы. Здесь и письма, часто в объеме развернутых критических отзывов, принадлежащие перу людей, литературно подготовленных, и отклики, написанные рукой, вовсе не привычной к изложению на бумаге понятий, выходящих за пределы житейского и делового обихода. Здесь представители буквально всех слоев и прослоек: рабочие, инженеры, учителя и врачи — городские и сельские, агрономы, колхозники, учащиеся, военнослужащие и партийные работники, пенсионеры, домохозяйки, наконец журналисты и писатели, выступающие в роли читателей.

Представить здесь эту разнообразную корреспонденцию хотя бы в выдержках и образцах невозможно. К сожалению, совсем незначительная часть ее находит место на столбцах нашей «Трибуны читателя» или тематических обзоров. Но редакция внимательно и бережно относится ко всему этому потоку читательских мнений, суждений, критических замечаний и предложений. Все письма тщательно учитываются, сохраняются и изучаются и, если это не противоречит намере-

ниям наших корреспондентов, пересылаются в копиях авторам произведений, о которых идет речь в письмах. Нередко таким образом завязывается интересная переписка читателей с писателями.

Редакция не мыслит иного отношения к этому материалу, к этим порой кратким и односложным репликам читателей журнала в пределах хотя бы замеченных ими опечаток. Нельзя не иметь постоянно в виду широчайшую, так сказать, представительность этих документов: под каждым письмом нужен как бы видеть десятки, а то и сотни подписей других людей, собиравшихся, но по разным причинам не собравшихся написать и отправить то же самое или подобное тому, что содержится в данном индивидуальном письме. А не редкость и письма групповые, семейные, кружковые — словом, коллективные, с несколькими или целым списком подписей — образцы эпистолярного жанра, носившего в былые годы криминальное обозначение «коллективов».

При подавляющем большинстве положительных оценок читателями произведений, публикуемых «Новым миром», имеются, конечно, и отзывы критические, порой резко отрицательные, ставящие под вопрос правомерность самого опубликования той или иной вещи. Наличие таких противоположных взглядов на литературно-художественные произведения и иные материалы, появляющиеся в журнале, само по себе характерно и показательно для нынешнего повышенного уровня общественного сознания.

Конечно, читательская критика нередко повторяет в более или менее упрощенной форме заблуждения или навыки критики профессиональной, которая в известной части несет на себе отпечаток строя мышления и понятий, приемов и методов минувшего времени. Но теперь все больше читателей, которые способны и возразить профессиональной критике, и поправить ее. А бывает и так, что мнения читателей кристаллизуются неожиданным для критики образом — под ее воздействием, но вопреки ей. Это происходит как в том случае, когда она настоятельно рекомендует произведения, не затронувшие читателей, так и тогда, когда своим необъективным, бездоказательным осуждением иных явлений литературы вызывает у читателей реакцию, которая отнюдь не входила в расчеты этой критики. Во всяком случае все это в целом характеризует сложность и многосторонность процессов духовного возмужания людей в результате тех поистине благотворных перемен, которые произошли и происходят в идейной и культурной жизни нашего общества. Сегодняшнего читателя — с его повышенной взыскательностью и к произведениям литературы, и к суждениям о них — не так легко сбить с толку: он знает, что почем, и в конечном счете его суд и приговор имеют первостепенную ценность.

Редакция журнала не вправе игнорировать суждения профессиональной критики, какими бы они ни представлялись ошибочными и несправедливыми. Всегда нужно додуматься, докопаться, что именно и с какой точки зрения в публикуемых материалах дает повод или основания для этих огорчительных суждений. Никогда не менее это относится и к читательской критике, как бы она по форме выражения ни казалась иногда неквалифицированной и примитивной. Журналы издаются не для внутрилитературного потребления, не для «самообслуживания» завязавшихся знатоков и ценителей, хлеб привешших на этом деле, но в первую очередь для удовлетворения духовных запросов широких читательских кругов. И степень заинтересованности этих кругов, не причастных ко внутрилитературным столкновениям и счетам, в утверждении или отвержении тех или иных фактов литературы и искусства чаще всего определяет меру жизненности и долголетия этих книг, фильмов, спектаклей.

Я затруднился бы сказать, какие читательские отзывы — отрицательные или похвальные о тех или иных произведениях, с авторами которых редакция всегда разделяет ответственность перед читателями, — какие из этих отзывов больше способствуют повышению этого чувства ответственности, уяснению своих задач на будущее, критическому самоотчету в деятельности людей, подписи которых значатся на последней странице журнала. Пожалуй, вернее всего сказать, что

все, за исключениями, может быть, отдельных анонимных отзывов. Все в целом эти отзывы представляют несомненное свидетельство существенности и необходимости литературного дела в его практической журнальной форме. Это не может не доставлять известного удовольствия выполнением своего долга на том участке идейной жизни, который тебе доверен партией.

Именно читательские письма ближайшим и непосредственным образом всякий раз, даже когда не скупаются на одобрения, заставляют видеть, как еще далек журнал от того, каким он должен и может быть в наше время. Несомненно, что в литературном деле, как, скажем, и в практике сельского хозяйства, многое зависит от объективных условий: здесь есть свои урожайные и неурожайные годы, свои засухи и вымочки... Но это не освобождает от субъективной ответственности, не исключает сурового упрека в существенных упущениях, недостатке, нерасторопности, порой недостаточной подготовленности работника редакции. И активность читателей создает тот мощный, подлинно демократический подпор общественного мнения, без которого не может быть настоящей литературной жизни. Речь здесь идет не о ширококвотельных, парадно-митингового типа «встречах читателей с писателями» или опыте редактирования рукописей «непосредственно в заводских цехах» и т. п. Я не отрицаю полезности и непосредственных встреч литераторов с читателями, где, конечно, главное слово должно принадлежать последним, так как, по-моему, люди пишущие должны поменьше высказываться изустно, — их слово — их сочинения. Но более продуктивной формой читательских суждений мне представляется эпистолярная, обязывающая к более обдуманному и сосредоточенному их выражению.

Надеюсь, что все сказанное здесь о ценности читательской критики не будет понято так, что она противопоставляется критике профессиональной. Я решительный противник широко распространенного в литературном мире охаивания критики «чохом», отнесения к ней в целом всех грехов и слабостей нашей литературы. Наоборот, мне даже кажется, что именно этот раздел литературы в последние годы очень заметно выдвигается на передний план в лице его и старших, и особенно молодых представителей. Берусь даже утверждать, что сегодня по широте идейно-эстетического диапазона, да и по выявлению своих литературных индивидуальностей молодая критика успешно соперничает с молодой поэзией и прозой, пользующимися несравненно более лестным вниманием. Поскольку речь идет о «Новом мире», я, понятно, называю в первую очередь критиков, выступающих в этом журнале, к примеру, Ю. Буртина, И. Виноградова, А. Лебедева, И. Соловьеву, А. Синявского.

Впереди этих имен по справедливости нужно поставить имя на редкость талантливой критика М. Щеглова, тяжким недугом сведенного в могилу в совсем еще молодых годах. Посмертная книга его статей и рецензий, вышедшая несколько лет назад, далеко не охватывает целиком его, хоть и не столь объемного, наследия. Надо думать, что новое и более полное издание его работ будет наконец осуществлено.

Некоторые статьи названных мною критиков вызывают многочисленные сочувственные отклики читателей, что вообще было редкостью длительный период в нашей литературе. Такое оживление и утверждение этого рода литературы вполне правомерно именно в наше время. Слишком много было затверделых в своей ограниченности и упрощенчестве, как бы общепринятых понятий, суждений и оценок в искусстве. Читатель уже нередко склонялся к тому, как я уже отмечал, чтобы «понимать наоборот» сказанное в печати, накапливая в себе недоверие к ней, приучался к «чтению между строк» и мелкотравчатым догадкам и соображениям внелитературного толка.

Назвав критиков из «Нового мира», я, конечно, не только их имею в виду; — это общее явление нынешнего дня литературы — выдвигение в первые ее ряды молодых критиков. Юношеский период у этих людей проходил в несравненно более благоприятных условиях, чем у их старших товарищей; — они куда менее отягощены старыми навыками догматического мышления, и их работа сегодня — оче-

виднейшее выражение новых и многообещающих тенденций литературного процесса в целом.

В этом же смысле основательные надежды внушает нам и то, что качество так называемого рукописного самотека за последнее время заметно изменяется в лучшую сторону. Все чаще встречаются среди рукописей никому не известных, начинающих авторов вещи, отмеченные существенностью содержания и признаками несомненной одаренности. Именно из этого самотека на страницы журнала попали и очерк рабочего А. Терентьева, о котором уже была речь, и бесхитростный рассказ учительницы Надежды Поведенок, и вполне профессиональные по письму рассказы В. Лихоносова, тоже педагога, и своеобразные, богатые реальным содержанием «Страницы из жизни одного колхоза», написанные партийным работником Т. Борисовым.

Как и прежде, наряду с писателями старшего поколения мы будем охотно предоставлять место одаренным молодым авторам, обладающим свежестью взгляда, острым чувством живой действительности, с юношеской энергией овладевающим необходимыми знаниями и мастерством.

Современный литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник не может не предъявлять к своей работе самых высоких требований, не равняться на лучшие образцы русской классической и советской журналистики. Понятно, любому «толстому» журналу, в том числе и нашему, трудно рассчитывать на то, чтобы все до одной страницы его книжек встречались читателем с одинаковым интересом и одобрением. Редакция всегда испытывала глубокое сожаление, когда по состоянию ли своего портфеля или по каким-либо иным причинам не могла своевременно дать читателю то, что он вправе был ожидать и требовать от нее. Но мы всегда стремились и будем стремиться оберегать его от всякого рода подделок под литературу, поверхностной, иллюстративной беллетристики, считая решающим достоинством произведения непосредственную правду жизни и глубину постижения ее писателем с партийных, ленинских позиций. Только соединение кровной близости к насущным нуждам и стремлениям народа с высокой духовной культурой, подлинной интеллигентностью может принести в наши дни творческий успех художнику.

Критику, выступающую на страницах нашего журнала, мы хотим видеть лишеной мелочных пристрастий и кружковой ограниченности вкусов, озабоченной существенными интересами литературы и жизни общества. Она призвана вести борьбу за глубокую идейность, реализм, народность художественного творчества, против убогой иллюстративности, конъюнктурной скорописи, формалистического «извития словес» и просто серятины. Наша критика, как и прежде, будет оценивать литературные произведения не по их заглавиям или «номинальному» содержанию, а прежде всего по их верности жизни, идейно-художественной значимости, мастерству, невзирая на лица и не смущаясь нареканиями и обидами, неизбежными в нашем деле.

Мы приветствуем споры, дискуссии, как бы остры они ни были, принимаем самую суровую и придирчивую в пределах литературных понятий критику. Мы считаем это нормальной жизнью в литературе. И сами не намерены уклоняться от постановки острых вопросов и прямоты в своих суждениях и оценках. На том стоим.

Отмечая сорокалетнюю годовщину «Нового мира» и оглядываясь на сложный путь, пройденный журналом, мы с надеждами и уверенностью вступаем в пятое десятилетие его истории. Советская литература и журналистика всегда шли рука об руку с революцией, разделяя с народом все его трудности и победы. Ныне они призваны с наибольшей полнотой средствами печатного слова помочь народу и партии в их великих усилиях, направленных к благосостоянию, духовному богатству и культуре коммунистического общества.



МУСТАЙ КАРИМ

★

НОВОГОДНИЕ СТРОФЫ

С башкирского

Все заковал, заколдовал мороз —
Деревья спят, укутанные в иней.
Качнет их ветер — и на тьму волос
Слетает снег сыпучий, бело-синий.

И, как всегда, не медля, не спеша
В свой срок на землю новый год приходит...
Глядим назад — и замедляем шаг,
Глядим вперед — с надеждой, не дыша:
В свой срок на землю новый год приходит.

На площади, где елка до небес, —
Дворцы, мосты — из льда — блестят и светят...
По тем мостам в мир сказок и чудес,
В мир волшебства проходят наши дети!
Мосты из льда! О, как блестят и светят
На площади, где елка до небес!

На ветке справа — высится звезда,
На ветке слева — примостилось солнце,
А с ветки рядом — погляди сюда! —
Вот-вот ракета в небо понесется...

Картонные здесь скачут кони. Серый
Проходит заяц, обнимая волка.
Смешалось все. Исчезло чувство меры —
Свои законы здесь диктует елка.

Потеха детям!..
Мне ж, по правде, жаль:
Дворцы растают. Облиняют кони.
Засохнет ель — на площади едва ль
Она свои пустить сумеет корни...

Мои мечты, как прежде, легкой стаей
Уж на картонных не летят конях.
О, я тогда лишь силу обретаю,
Когда не в снежных облаках витаю,
А землю ощущаю на корнях...

Все заковал, заколдовал мороз —
Деревья спят, и замер сумрак синий.
Дохнул мороз — на темноту волос
Ложится иней. Да, ложится иней...

Далекий друг! Жду пожеланий добрых
Я от тебя — сегодня, как вчера..
Ты знаешь, друг, как твой привет мне дорог:
Не обещай добра — желай добра.

Будь добрым в пожеланиях... Но только
Меня ты обещаньями не тешь:
Та ель красива, но ведь корни елки
В лесу — где пень еще на срезе свеж...

Не говори мне: в будущем году, мол,
Приеду, одолею даль и высь..
Не обещай! Но если ты задумал —
Нежданно и негданно явись.

Настало время говорить об этом:
Ведь обещания давал и я
Своей земле — твердил, что будет спета
Однажды песня лучшая моя..
Но где ж она?.. Я не держал ответа
Пред Родиной...

Любимую свою
Я тоже обещаньями окутал
И детям обещал, что подарю
Всем — по луне! Да, обещал, без шуток,
Но до сих пор под звездами стою
В таком же отдалении как будто...

Не обещай! Довольно обещаний —
Их запросто давали мы вчера:
Ведь обещанье часто — обнищанье
Души, когда ей действовать пора!

Мечты все наши, замыслы, надежды
Отныне больше — как бывало прежде —
Уж на картонных не летят конях.
Да, лишь тогда мы силу обретаем,
Когда не в смутных облаках витаем,
А землю ощущаем на корнях!

Перевела Елена Николаевская.



КОНСТ. ФЕДИН

★

КОСТЕР

Роман

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАС НАСТАЛ

Глава первая

1

Надя Извекова устроила свой чемодан под окном купе. Поезд уже разогнался и лихо тараторил на стыках. Окрестные тульские домишки ускользали порывами, то кучно, то вразброс, как ветренным днем отсохшие листья с дерева.

Так и должно быть. Уносилось, исчезало прошлое. Неужели—исчезало? Ну, до известной степени. Чуть-чуть... И неужели у Нади уже есть какое-то прошлое? Что значит — какое-то (улыбнулась она своему вопросу)? Просто отличное. Но может ли быть, чтобы отличное не вернулось? Конечно. Раз оно прошло. Жалко все-таки, что прошло. Очень жалко. Хотя... разве впереди не будет ничего хорошего? Будет, разумеется. Только совсем другое. А которое прошло — не повторится. Жалко... Но — ничего. То, что впереди — наверняка не плохо. Даже замечательно. На большой палец, как любит говорить Маша... Чудачка! Выскочила замуж. Восемнадцати лет! А все — Павел... В общем, очень удачно. Он ее любит. Ужасно любит — Надя-то его знает насквозь. И Машу знает. Даже больше, чем его. Влюбилась еще позапрошлым летом. И сразу — по уши. Ревела сколько! Все боялась — мать не позволит. Ну что ж. Счастливая. И Павел... Как все-таки странно: девчонка Машуха, и вдруг — женщина! Уже сегодня. Бог ты мой, какой кошмар... И с кем? С Павлом! На целых тринадцать лет старше ее. Подумать только! Счастливые...

Надя разгладила платье на коленях.

Две женщины сидели напротив, похожие друг на друга, как мать и дочь. Едва тронулся поезд, они стали молча вынимать из опрятной корзиночки и разворачивать сначала всякую снедь, потом — замысловатые солоницу, перечницу, складные вилки с ножами, каких Надя отроду не видывала. Закутанные в салфетки вареные яйца они со тщанием раскутывали, ловко раскалывали надвое ножом и выколупывали половинки из лодочек скорлупы. Посолив, поперчив, посандалив половинки горчицей, медленно жевали, глядя за окно.

Надя была довольна, что никого, кроме женщин, в купе не было. Она взяла со столика свою сумочку — недавний подарок мамы («окон-

чишь школу — можешь носить», — сказала мама). По лакированным бокам сумочки бежал рисунок змеиной спинки — черным по белому, а ремешок был гладко черный, и такая же черная полоска опоясывала края и донышко. Удивительно приятная вещица. Внутри лежали платочек, запасные шпильки, иголка с ниткой телесного цвета (на случай, если «потянется» чулок), маленький флакон одеколона и сбоку, в кармашке, деньги («береги капитал», — посмеялся в напутствие папа). Необыкновенно хороший у Нади папа!.. Да, так вот. Словно по мерке устанавливался в сумочке Пушкин в бежевых матерчатых корочках — один из двух томиков, которые подарила Наде ее Лариса, закадычная подружка.

...И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага...

Откуда это? Ах, да! Вот четырьмя строками выше:

...текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

Лариса читала это на школьном вечере с таким чувством! Ей тогда говорили: ты прямо артистка! И потом все трое, Лариса и Надя с Машей, сошлись на том, что недаром Толстой так высоко ставил Пушкина. У него ведь, совершенно как у Пушкина, младшие братья завидуют старшим, которые уходят умирать. Маша сперва было заспорила с Надей. «Ты, кажется, подозреваешь Толстого в подражании? — сказала она. — Нельзя же, говорит, механически связывать разные эпохи. Пушкин — одно, Толстой — абсолютно другое!» Но Надя легко ее опровергла: речь-то ведь шла о пушкинских и толстовских героях. А герои жили в одну и ту же эпоху. И Петя Ростов до смерти завидовал брату Николаю, что тот пошел умирать. И завидовал Денисову. От этого в конце концов и погиб. Кому-кому, а Наде это совершенно ясно: она ведь неспроста писала про Петю, когда задано было сочинение на тему о любимом герое из «Войны и мира».

Да. Это так. Пушкин предвосхитил Толстого. Жалко, что эта мысль пришла на ум уже после того, как сочинение было написано. Вечная история — когда пишешь, ничего такого блестящего в голову не приходит. Куда-то улетучиваются красивые выражения... «Предвосхитил» — очень интересное слово. Значительное. Но появилось, когда не надо...

И в сень наук с досадой возвращались.

Тоже очень красиво. «Сень наук». Надя едет в сень наук. Только она не возвращается, а едет первый раз. И уж, конечно, без малейшей досады (опять улыбнулась она). Едет в Московский университет... Какая же она счастливая! И как бьется сердце (она потрогала себя — сердце билось не очень сильно, но все-таки). Завтра, в понедельник, она явится в канцелярию университета. Ее спросят: «На какой факультет?» Она ответит: «На филологический». Ее спросят: «Образование?» Она скажет: «Яснополянская средняя школа». Все сразу обернутся. Все будут смотреть на ее лицо. У всех засветятся глаза. «Ах, из Ясной Поляны!» — скажет делопроизводитель или даже начальник канцелярии... скорее всего женщина, наверно — очень симпатичная. «Ну, давайте ваши бумаги». И Надя подаст бумаги. В Московский университет!..

— Вы не желаете с нами закусить? — любезно предложила старшая визави.

— Благодарю вас, нет. Собственно, да, но погода. У меня есть тоже... Есть с собой, — сказала Надя, немного краснея за свое «и да, и нет».

— Скушайте вот яичко.

— Право, я завтракала дома.

— Вы в Москву? — спросила младшая.

— Да.

— На каникулы?

— Нет. То есть само собой, потому что теперь каникулы. Но я уже окончила школу.

— Неужели! — вежливо удивилась старшая. — Вероятно, будете поступать в вуз?

— Как вы догадались? — почти воскликнула Надя.

Женщины переглянулись.

— Мы смотрим на вас, как вы все время так славно улыбаетесь.

— Разве?!

Голос Нади стихнул. Сидеть и все время улыбаться — глупо. Сочтут за дурочку. К тому же мамаша с дочкой, хорошо закусив, решили, кажется, поразвлечься Надей. Что-то в них старомодное. Впрочем, не учительницы ли они? Этот обмен взаимопонимающими взглядами — как он напомнил Наде школьных педагогов!

— Куда же вы? В университет? — спросила старшая.

— Почему именно в университет? — слегка дернула плечом Надя.

— Я просто интересуюсь.

Ну, разумеется! Снисходительность прямо-таки присуща педагогам.

— А какую школу вы окончили? — спросила младшая.

Тут наступил миг торжества Нади (ласковые тети сами подготовили его). Она быстро перелистнула две-три странички своего томика, захлопнула его и с таким холодным видом устала глаза на вопрошавшую, будто хотела сказать: в сущности, это праздное любопытство!

— Я училась в Ясной Поляне.

— О-о, — вместе отозвались обе женщины и опять переглянулись.

«Получили?» — подумала Надя и нисколько не вызываясь, а спокойно отвернулась к окну. Но нет, странные тетюшки не унимались.

— Мы слышали много интересного о вашей школе.

— Простите, я не расслышала.

Можно было, правда, не расслышать — поезд что-то уж очень загромыхал.

— Из вашей школы выходят, вероятно, настоящие толстовцы, — точно поддакивая самой себе, качнула головой старшая.

Нет, это было умилительно! Так обращаются разве с каким-нибудь малышом, когда говорят ему, что он, поди, положит на лопатки самого большого дядю. На этот раз оба плеча подскочили у Нади.

— Это вы могли слышать от тех, кто не совсем разбирается, что такое толстовство.

— Вы разбираетесь? — с серьезной миной спросила младшая.

— Я делала когда-то на эту тему доклад, — небрежно сказала Надя. — Литкружковцам.

— Вон что! — снова удивилась старшая, и потом обе женщины беззвучно засмеялись, а Надя раскрыла Пушкина и тихо-тихо, почти про себя, промурлыкала в нос обрывок какой-то мелодийки. Это была одна из ее особенностей: если она вдруг на что-нибудь обидится — непременно капельку помурлычет, и тогда все станет на место.

В стихах попадались строки, которые Надя знала, но они почему-то

казались новыми, и чтобы понять — почему, надо было думать. Думалось очень плохо. Надя облокотилась на столик, прилегла щекою на ладонь. Вблизи за окном отбегали назад, строка за строкой, полоски огородов, крыши изб и дворов, а вдалеке, не поспевая за строками, желтым книжным томом сползал под горку темно-зеленый лесной клин. Опять вспомнилась Маша. Она шла в окружении таких вот клиньев за-сечного леса, по которому этим утром, на восходе, Надя брела со своими друзьями из Ясной после того, как сыграли Машину свадьбу. Минутами было все еще весело, а потом — как-то расстанно-тихо. Словно каждый в душе своей с чем-нибудь прощался: с лесом, со школой, друг с другом. Маша — с девичьей своею волей и с домом на краю деревни, где оставалась мать. Надя — с комнатушкой в этом доме, где целых три года прожила душа в душу с Машей. Нет, разве кто может понять, что такое в Надиной жизни Ясная Поляна? Разве поймут это сладкие тетушки, которые, наверно, так и не задумаются никогда о разнице между толстовством и Толстым.

Надя немного раздвинула пальцы, закрывавшие глаз, и в щелочку поглядела на женщин. Старшая дремала в уголке, младшая, положив голову на ее колени и подобрав на скамью ноги, неподвижно куда-то смотрела. Глаза у ней были синие-синие... Странно, что Надя ни с того ни с сего обиделась на незнакомых женщин. Они простодушны, доброжелательны и заговорили с ней, как обычно заговаривают попутчики — не лучше, не хуже.

Правда, их тон превосходства и эти переглядывания несносны. Им хотелось развлечься. Им просто было скучно. Их клонило в сон. Вон ведь как слипаются веки у синеглазой. Можно вполне понять... Наде тоже хочется уснуть. Вернувшись домой после свадьбы, она спала не больше трех часов... Можно понять. И, значит, простить. Простить тетушек... Досадно все-таки. Что досадно? Что так неприятно получилось с тетушками... Но ничего... Сейчас — поспать. Поспать и потом уже возвратиться к тому, что неприятно. С досадой возвратиться... Что это? А! Сень наук... Да, да, Надя едет в сень наук...

Она пришла в себя, потому что больно ткнулась носом об стол. У нее затекли руки. Женщины спали. Поезд шел гладко. Под вагоном лился гул. По лицу Нади размеренно проплывали тени, точно за окном вертелись мельничные крылья. Она взглянула туда. Переезжали Оку мостом под Серпуховом. Вода пылала, как сам огонь солнца. В конце моста, около будки, стоял загорелый часовой. И Надя припомнила прогулку по Оке на моторном катере прошедшим летом.

...На маме было оливковое платье, очень открытое, и она сожгла спину. За капитана был Новожилов. Его все слушались. Он велел маме прикладывать к ожогу капустный лист. Надя с папой ходили в деревню, раздобыли кочан. Катер мчался со вздыбленным носом посередине реки, белые гребешки волн барабанили по днищу. Капитан командовал: «Менять галсы!» Ни он сам и никто на катере не знали, что такое «галсы». Папа стаскивал со спины мамы подсохший лист капусты, Надя прикладывала свежий. Капитан наслаждался властью. Но прочеркнулся над рекою серпуховский мост и стал расти, расти и подниматься ввысь. Человек с моста махал катеру рукой. Другой человек бежал с насыпи полотна по земляным ступенькам к воде. Капитан отмахнулся: «Ерунда, проедем!» Тогда человек на мосту вскинул винтовку над головой кверху. Капитан подчинился, выключил мотор, подрулил к берегу. «Пропуск!» — сказал человек, сбежавший сверху, и подцепил катер багорком за борт. «Я — Новожилов», — ответил капитан. «Дозволение на проезд под мост есть?» — спросил человек. «Я — секретарь Тульского обкома», — сказал капитан. «Нам все едино. Вылезай с бота!» Капитану пришлось смолк-

нуть. Все поднялись на полотно дороги, в будку, предъявили документы, ждали, пока охрана договорится по телефону с начальством. «Бдительность!» — сердито ворчал капитан. «Это тебе не капуста!» — смеялся папа. «Капусту я выдумал», — еще сердитее сказал капитан. «Как выдумали? — изумилась мама. — Она же мне помогла!» — «Значит, мой авторитет», — внушительно сказал капитан... Вдруг один за другим раздались телефонные звонки. Люди из охраны начали охорашиваться. Принеслась, застреляла выхлопами мотоциклетка, соскочил наземь лейтенант, вытянулся, выкрикнул приказание — немедленно пропустить. Тут только и слышно стало: «Товарищ Новожилов, товарищ секретарь». На катер подсаживали всех под локоток. И уже оставалось прыгнуть с берега капитану, как его попридержал часовой с винтовкой: «Дозвольте спросить, как вы есть авторитет, не скажете — средство это скотине тоже помогает?» — «Что такое?» — «Я про капусту. Жена у меня ягненка кипятком ошпарила». — «А-а!» — воскликнул капитан и прыгнул. — Верное дело. Вели прикладывать утром и вечером!» — скомандовал он с борта... Долго потом веселились на катере, и больше всех смеялась мама, которая тотчас произвела капитана в чин товарища авторитета.

...Надя будто и теперь слышит ее смех — рассыпающийся под трель волны о суденышко, видит взгляд, искрящийся пляской солнечного огня на реке. Необыкновенно хороша была мама в своем легком оливковом платье, и чудесной помнится сейчас игра ее коротких волос на жгучем лобовом ветру. Как жалко, что теперь из-за неожиданных гастролей мамы в каком-то брестском театре Надя ее увидит не раньше, чем через две недели. Зато потом они не разлучатся все лето. Ни за что. Ни за какие блага на свете! А куда — куда Надя поживет в Подмоскowie со старинной-старинной своей подружкой Женькой!

И Надя стала думать о Женьке. Впрочем, нет, это не так. Она совсем было собралась как следует подумать о Женьке, но из чемодана уже вынута была и свернута жакетка, Пушкин спрятан в сумочку, а сумочка засунута под жакетку, и на этом аккуратном сооружении уже покоилась Надина голова, по скамье же с наслаждением вытянулось и мгновенно, скрестив руки и ноги, замерло тело. Сну, которому так много задолжала Надя минувшие сутки, пришла пора с ней сосчитаться — правда, не до полной расплаты.

Она проснулась от пронзительного свиста. Поезд тормозил, до боли прижимая ее плечо к стенке. В купе находилась только старшая из попутчиц. Она стояла спиной к Наде и, одной рукой вцепившись в столик, другой силилась умять в корзине свертки, кульки, узелочки, которым, казалось, нет числа.

Шумно откатилась дверь. В купе шагнула другая женщина. Она была бледна. Синева влажных, странно недвижных ее глаз как будто тоже поблекла. Старшая оглянулась на нее сразу, как зашумела дверь, но какой-то момент они молчали.

— Да. Правда, — сказала потом младшая, и быстро обе взялись щелкать замками чемоданов, друг дружке передавая неуложенное добро.

Мельком обернувшись, младшая спросила:

— Еще лежите?

— Москва? — вопросом ответила Надя.

Поезд все сбавлял ход. Дверь в коридор оставалась открытой. Там продвигались пассажиры с багажом. Спутницы Нади разобрали свой по рукам, осмотрелись.

— Вы что же, не слышали? — опять, но чуть громче, спросила младшая и, удерживая странный свой взгляд на лице Нади, досказала: — Не слышали? Война.

— То есть как?.. — помедлив, спросила Надя.

Втиснуться с чемоданами в коридор не пускали тянувшиеся к выходу люди. Женщины замешкались, старшая успела только сказать Наде:

— А вот так, деточка... Всегда так.

Поезд остановился, толчок сгрудил, а потом разорвал коридорную очередь, женщины вклинились в нее.

Надя поднялась. Сборы были коротки, она вышла из купе. Одна мысль начиналась у нее и все не доходила до конца: «Если так, то...» Пассажиры теснились — что-то задерживало в проходе. Она увидела своих спутниц: у них раскрылась корзинка, они собирали рассыпанные по полу пакетики, салфетки. Кто-то поднял им разбитое яйцо. Люди протискивались мимо, перетаскивая над их спинами багаж, но никто не попрекнул их, все молчали. «Если так...» — думала Надя и подвигалась понемногу вместе со всеми вперед, как все — со строгим лицом.

На перроне идти стало просторнее. Но тут двигалась вдруг выросшая, сосредоточенная толпа. Было похоже, что все приехали на службу и боятся опоздать к занятиям.

Тогда Надя кончила свою мысль: если так, то надо же делать что-то другое — не то, что она собиралась делать прежде, уезжая из Тулы. Но все вокруг, казалось, продолжали делать именно то, зачем садились в поезд и что привело их, с чемоданами, пожитками, на этот московский перрон.

И Надя шла, как все, торопясь, перекладывая свою ношу из одной руки в другую, шла в строгой толпе, сосредоточенная на том, чего не могла понять.

Впереди, у спуска в туннель, набухла и колыхалась людская масса.

2

Женя была младшей в семье Комковых. Младших любят нежнее, им выпадает больше ласки, и они умеют извлечь отсюда выгоду, как своего рода избранники судьбы. С двух ее братьев требовалось больше: они были старше, к тому же — как-никак, мужчины. Оба переняли от родителей снисходительность к любимице. Законы мальчишеского превосходства диктовали им пренебрежение к маленьким прихотям и слабостям сестры. Она росла несговорчивой, но ее строптивость никому не мешала, может быть, потому что проявлялась по пустякам и не со зла.

Надина одноклассница Женя подружилась с нею еще в Сормове. Когда семья разъехалась (Извековы — в Тулу, Комковы — в Москву), дружба будто озолотилась воспоминаниями. Надя дважды ездила гостить к Жене; та провела у нее последние зимние каникулы. Они, конечно, переписывались, хотя с годами письма делались все короче, что оправдывалось фразой: «Я должна тебе очень, очень много рассказать!» Число восклицательных знаков в письмах оставалось постоянным, и три года подряд, пока длилась эпистолярная повесть, в каждом письме за обращением следовал с детства усвоенный вопрос: «Как ты поживаешь?» При свиданиях у них вспыхивали иногда ссоры, которые потухали с быстротой отгоревшей спички. Повод к раздору обыкновенно давала Женя, но она же первой и добивалась мира. «Из-за какой это дурости мы повздорили? Подумаешь! Великие державы! Нарушенный альянс!» Надя шла на мировую не вдруг, однако, поладив, испытывала такое же удовольствие, как виновница ссоры.

После разлук они сначала приглядывались — что изменилось с последней встречи. То женское, что привходило со временем, складывая внешность девушек, нрав и повадки, вызывало их восхищение и ревность. Каждая невольно сравнивала себя с другой — не отстала ли от

нее? За всякой мелочью могло таиться нечто значительное. «А! Новость! Ты решила носить челку?!» — это только непроницательному человеку может показаться мелочью. Не означала ли челка, например, чересчур далеко зашедшее влияние на Надю ее отсталых деревенских приятельниц — Ларисы, Маши? Точно так же нельзя считать пустым удивление Нади: «Ты делаешь маникюр? Ты мне не писала...» Как не увидеть в самом деле, что от маникюра Жени один шаг к губной помаде, от помады — к подбритым бровям? Не стала ли Женя очередной жертвой вкусов, над которыми Надя любила подшутить: «Ну, как обстоит у столичной молодежи с дальнейшим ростом сознательности?» Но девушки были ровесницами, и скоро выяснялось, что все изменения идут, пожалуй, нога в ногу, а маленькие различия не вселяют никаких подозрений. Исконная любовь перевешивала все остальное, и — как подружки сами посмеивались — что касается подбритых бровей, то тут противоречия между городом и деревней успешно изживаются. За первым взаимным оглядыванием следовал неудержимо буйный восторг: «Надька! Ты совершенно, совершенно не переменилась!» — «Ну, знаешь, Женька, ты абсолютно все та же!» Тогда начинался приступ разговора, прерываемого неожиданным шептанием на ухо, или внезапным взрывом хохота, или долгой мечтой о том, что же их ожидает впереди.

Новая встреча в Москве на вокзале куда-то отодвинула привычный интерес обоюдного узнавания.

Женя пробивалась навстречу скатывающемуся в туннель водопаду пассажиров. Идти так было не только против правил, но наперекор здравому смыслу. И все-таки она шла, протискиваясь вверх, пренебрегая протестами, не слыша, как ее толкают. Ей надо было заглядить свое опозданье и встретить Надю хоть немного поближе к поезду.

Она увидела ее у огнедышащего паровоза. Под его одышку они кинулись друг к другу.

— Ты вся мокрая, — заговорила Женя, — где у тебя платочек? Дай, я понесу чемодан.

Надя отстранилась, не пуская подругу взять чемодан и протягивая ей свою сумочку.

— Достань.

— Дай, тебе говорят! — командовала Женя, перехватив ручку чемодана.

— Я сама.

— Нет, я!

— Нет, я.

— Отвратительный характер!

— У тебя.

— Нет, у тебя!

— Самой надо вытереться. Блестишь, как самовар.

— А ты просто из-под ливня! Неужели не чувствуешь? Дай сюда, говорю!

Наконец был найден компромисс — они опустили чемодан на асфальт перрона, достали свои платочки. Секунду не отрывали они сияющих глаз друг от друга, продолжая быстро протирать раскрасневшиеся лица. Потом, как будто осознав счастье увидеться после долгой разлуки, дали полную волю поцелуям.

В туннеле толпа успела поредеть, их дружным шагам уже не мешали, и тут Надя остановилась.

— Что произошло? Мне в поезде сказали...

— Как! — не дала договорить Женя. — Ты ничего не знаешь?

— Нет, я знаю, но я, понимаешь ли, заснула и...

— Ах, ты заснула! Вот это мило!.. Ну, чего же ты теперь стала? — говорила Женя, стоя рядом и уже не в силах удержать своей без перерыва полившейся речи.

Оказалось, вся Москва давным-давно знает, что началась война (Женя так и сказала — «давным-давно», хотя с момента сообщения о войне прошло часа два). Уже трижды Женя своими ушами слушала радио: первый раз у себя дома, на даче, второй — на улице, когда дождалась трамвая, потом, совсем мельком, отрывочками, на вокзале, когда летела и чуть не опоздала к поезду. Она рассказывала об этом так, будто самым важным было не известие о грянувшем страшном несчастье, а где и как она слушала радио. Слова несли ее с собой настолько властно, что она не замечала, как изменялась Надя, слушая перечисление городов, которые бомбила немецкая авиация. Но Надя, качнувшись, прислонилась плечом к сырой стенке туннеля, зажмурилась, и тогда Женя оборвала себя:

— Что такое?

— Женечка... — через силу выговорила Надя.

— Забыла что-нибудь дома? Что с тобой? Ты нездорова? Больно? Что ты морщишься? Где больно? Не можешь идти? Отвечай же, Надька! Надя разжала глаза.

— Моя мама уехала в Брест.

На мгновение Женя обмерла, но сразу же с уверенностью, всегда рождавшейся в ней раньше каких-нибудь размышлений, начала решать все за Надю.

— Когда уехала? Вчера? Значит, она еще не могла доехать... Что?.. Да говори громче!.. Ах, на самолете? Ну, самолет задержат... задержали в пути... Как не могли? Непременно даже могли! Посадили на другом аэродроме. Так обыкновенно и делают. Что? Что ты говоришь?

— Женечка! Ведь на самой границе! — вдруг плачущим голосом выкрикнула Надя.

— Что ты меня учишь географии! Знаю без тебя, где этот самый Брянск. Что?.. Ну да, Брест, а я что говорю! Вот как раз... как раз потому, что он на самой границе, значит, там уже гораздо раньше, уже, наверно, вчера узнали, что война, и запретили принимать самолеты. Что?.. Улетела еще утром? Ну, и что же? В пути всегда бывают задержки. А тут такая даль. Надо же понимать, что из Тулы туда лететь не долететь! Представляешь?!

Вряд ли Женя сама представляла себе, что глупость, которую она порола, была тем единственным целительным средством, какое могло быстрее всего подействовать на пораженные чувства Нади. Но она порола и порола чушь, движимая силой любви и таким необоримым желанием заставить Надю взять себя в руки, что скоро разбередила в ней дух противоречия. Остановливая, поправляя Женю, Надя не то чтоб отвлекалась от страха за судьбу матери, но каждое возражение на глупость требовало от нее одного мига внимания, и эти миги толкали ее скорее собрать свою волю. Вовсе было засочинялась Женя, когда услышала от Нади слово «Москва». Она принялась твердить, что от Москвы лететь до Бреста еще дольше, чем от Тулы, и что это тем более благоприятно для Надиной мамы. Надя остановила ее:

— Да я говорю, мама жила в гостинице «Москва». И если бы узнать...

— Ну, разумеется! Это замечательно! — перебила Женя, тут же оборачивая путаницу в полную для себя ясность. — Мама просто могла не улететь. Вот и все!.. Знаешь, как трудно попасть на самолет! Давай пойдем. Прямо в гостиницу. Ты ничего себя чувствуешь, правда? Тебе лучше, да?

И Надя, поддаваясь внушению, с затлевающим в сердце колебанием послушно пошла за Женей, и они поднялись из духоты кислого туннеля на волю.

Кроме змеившейся очереди людей, на стоянке такси ничего не было. У автобусной остановки змейка была короче, но взобраться по ступенькам автобуса, протискивая с собою чемодан,— этого не удалось бы осилить без предприимчивой Жени.

— На попа его, переворачивай на попа! Ну, вместе — взяли! — распорядилась она, нещадно сдавливая пассажиров и в то же время рассыпая перед ними направо и налево свои любезные «извиняюсь!».

В кучно сжатой, раскачиваемой автобусом толпе Надя, с усилием выпростав одну руку, вытирала лицо комочком уже насквозь мокрого платка. Женя следила за неживленным выражением этого лица и пугалась его. Испуг побуждал действовать, чтобы выпростать Надю из остановившейся мысли. Но действовать можно было только языком — она придумывала вопрос за вопросом, так что голос ее вспархивал на весь автобус, привлекая внимание тех, кто стоял ближе, и заставляя дальних отыскивать говорунью глазами. Особенно звóнок стал голос, когда — на расспросы о яснополянских подругах — Надя сказала про Машину свадьбу.

— Вот это да-а! За кого ж она?.. За Павла? Не может быть! За твоего дядюшку? Сколько ж ему годков?

— Тридцать один.

— Старик! — воскликнула Женя и огляделась вокруг, ища сочувствия. Наткнувшись вплотную с собой на усмевавшегося старичка с изящно обработанным уголком бороды, она деликатно поправилась:

— Я понимаю, если бы женщина лет двадцати пяти или, пусть там, двадцати трех наконец. А то вообрази себе!..

Опять она оглянулась и, встретив новые полунасмешливые улыбки, убежденная в общей солидарности, продолжала болтать еще бойчее. Интерес к свадьбе был у нее так естествен, что никто не заподозрил бы, как она радовалась своей удавшейся хитрости: глаза Нади становились отзывчивее, ответы охотней. Но Надя не ответила бы, почему стала общительнее. Вместе с тлеющей надеждой вдруг увидеть мать росла боязнь, что надежде не сбыться, и лучше всего было отдалиться еще не остывшей новостями о замужестве Маши.

Она первой пробралась к выходу на остановке у Большого театра и, прыгнув, не слышала, как позади нее жикнули, точно рапиры, ехидный выпад старичка и парирующий ответ Жени.

— Теперь вам, молодежь, хлебнуть горюшка,— сказал старичок, соскакивая следом за Женей на тротуар, и она прошипела через плечо:

— Фашистам, а не нам хлебнуть!

Подхватывая вместе с Надей чемодан, она сказала:

— Вредный какой старикашка!

— Ты все о Павле?

— С ума я сошла? Неужели ты не заметила? Этот сивый все время строил глазки!

Но обе они тут же примолкли. Цель их была на виду: громадина гостиницы поднималась к небу, и лента прохожих рябила вдоль мраморного фасада, и одна нитка отрывалась от ленты, другая вплеталась в нее — это входили и выходили люди через распахнутую стеклянную дверь гостиницы.

Отсюда Надя вела потом свой счет войне. Здесь, в гостиничном вестибюле, начался ее московский отдых, ни на что не похожий из испытанного когда-нибудь в жизни и уж действительно совсем иной, чем

обещало воображение, когда она мечтала о московском блаженстве свободного, бесконечно долгого лета.

В человеческом бурлении девушки немного оробели. Женя пересилила замешательство скорее. Проныривая между людей, она нашла то течение, которое струилось к портье. У них не мог не возникнуть спор — кому подойти за справкой, но Надя быстро уступила в ужасе перед ударом, которого ждала. Она остановилась поодаль от очереди, выбрав такое место, откуда хорошо было видно лицо Жени. И она прочитала по нему безошибочно оба ее вопроса и полученные ответы, краткие, как два поворота ключа в замке.

Пока подходила очередь и пока служащая справочного стола перебирала картотеку, Женя была уже готова не только стойко встретить слово — «выбыла», но готова и к тому, чтобы снова утешить Надю обдуманном планом действий, который, впрочем, ничего не мог бы дать, разве лишь оттянуть минуту бессильного примирения с тем, что случилось.

Но когда, осмотревшись, Женя увидала свою подругу сидящей на чемодане так низко, точно на полу; когда увидала ее голову уткнутой в коленки, выпиравшие кверху торчком, и ее руки, оцепенело прижатые к затылку, — когда увидала ее такой, у нее вылетело из памяти все, что она успела приготовить.

Она бросилась к Наде, с бега опустилась на корточки и, глядя ее руки, забормотала бессмысленно-страстно:

— Ну, Наденька! Ну, миленькая! Ну, пожалуйста, пожалуйста! Прошу тебя, родненькая. Хорошая-хорошая! Пожалуйста...

Под это порывистое бормотанье с жарким и одновременно баюкающим поглаживанием стали вздрагивать Надины плечи. И Женя принялась потихоньку отрывать ее руки от затылка, добираться пальцами до ее подбородка, приподнимать ее голову. Глаза Нади были почти сухие, но Женя вынула из ее кулака потяжелевший платок, вложила взамен свой и с упрямой нежностью помогала Надиной руке водить им по мокрому лбу, бровям, вискам.

Они вместе встали, распрямились, и Женя оправила на Наде платье, одергивая его поспешными щипочками. Надя сказала:

— Не говори ничего. Я все знаю.

— Ты знать не можешь, — с неприступным убеждением возразила Женя.

— Не говори ничего, — повторила Надя.

— Как это можно не говорить? Ты же не знаешь, какую мне дали справку.

— Улетела вчера, — словно бы равнодушно отозвалась Надя.

— И что же из этого? — распалялась Женя. — Абсолютно ничего! Я спросила, куда? Куда улетела? Мне сказали: «Уезжающие этого не докладывают, и нам неизвестно». Им неизвестно, а тебе? Что ты знаешь? Ровно столько, когда шла сюда. Поэтому...

— Поэтому перестань!

— Никогда! Ты сейчас же, немедленно позвонишь по телефону отцу. Да, да, сию минуту. Это совсем рядом, на телеграфе. Позвонишь и спросишь. Может быть, он давно... мама ему, наверно, давным-давно сообщила... Не возражай, пожалуйста, слышишь?..

Но Надя будто и не думала больше возражать. Она подняла чемодан, взяла Женю под руку и не просто пошла с нею, а с твердостью повела ее к выходу. Это было так неожиданно, что Женя, только очутившись на улице, опять открыла рот. Ей пришлось дважды задать свой вопрос — куда ж они идут? — и она была удивлена чуть ли не насмешливым тоном Нади:

— Что значит — куда? Звонить. Ведь ты уже решила.

Нет, насмешка Жене только почудилась. Вглядевшись пристальнее, она увидела на Надином лице гордость. Конечно, гордость не пускала Надю признаться, что не она сама отыскала единственно верный в этот час путь действий. Нагрязнута беда. С кем разделит ее Надя прежде всего? С тем, кого беда так же ранит, как ее. Кто это? Отец. Как же могла она не вспомнить о нем? Она его не забывала, нет. Но все ее чувства были с матерью. Пока не угасала надежда, что матери посчастливилось избежать беды, надо было идти по следу, который еще виднелся. Но след оборвался, надежда исчезла. И, может быть, беда уже обратилась в горе — матери не стало. Надя осталась одна. Нет, она осталась с отцом. И вдруг это слово — отец — когда оно с болью зажигается в сердце, — Надя первым слышит от Жени! Как будто Женя лучше знает, что происходит на душе у Нади. Как будто Надя не вспомнила бы о своем отце без Жени.

Она идет собранная, твердо знающая — без Жени знающая, — что надо делать. И Женя, чутьем угадывая, как тяжело Наде, идет и молчит, изо всех сил старается молчать и думает: «Ей трудно, ей очень сейчас трудно. А гордость ей помогает. И я ее люблю в сто раз больше. И не проговорю ни слова. Ни одного слова до самого телеграфа!»

Улица Горького поднимается выше. Солнце калит. От домов, тротуаров, дороги пышет жаром. Духоту только сильнее нагнетают пробегающие мимо машины. Но народ спешит в гору и под гору одинаково. И Надя с Женей тоже спешат, обремененные ношей, часто передают ее друг другу, несут по очереди — теперь уже без пререканий.

У телеграфа, на овале каменного крыльца людские заторы не сразу впускают торопящихся — спутаны выходы со входами, никто не подумает, что лучше б их распутать. Наконец Женя берет команду: идем сюда, стань здесь, не отходи, посиди, теперь пошли, подожди тут. Зал телефонных переговоров полон, скамьи заняты. Перед кабинками разминаются, топчутся, прохаживаются. Из кабин вылетают обломки голосов, то гүлкие, то звонкие до вскриков. Включается громкоговоритель, хрипит призыв зайти в кабину номер... и глохнет на каком-то игрушечном выстреле хлопушки.

Подруги сидят рядом. Ползут минуты. Душно. Томятся ожидающие, обмахиваясь газетами, бессильными кистями рук. Лица похожи одно на другое. Нет скучных, нет веселых, нет любопытных. Нетерпеливые, тревожные, рассерженные, испуганные. Хрип, голос, стрельба хлопушки. Что-то переменялось в громкоговорителе. Вон что! — сначала хлопушка, потом хрип. Ползут минуты. Что-то переменялось в мире. Плач из какой-то кабины. Опять по-старому — хлопушка в конце. Кто-то поблизости говорит: «Связь нарушена». Надя рассуждает: пойти заказать разговор с Брестом — если примут, значит, связь не нарушилась. Ничего не переменялось. С мамой все хорошо. Два мужских голоса спорят. Опять хлопушка, и Женя говорит над самым ухом:

— Ты спи. Я слушаю.

— Я не сплю. Сколько мы ждем?

— Час. Не беспокойся, я слежу. Пересядем. Вон там не так тесно.

Они поднялись, и в этот момент им показалось — весь зал закричал: «Гражданка Извекова, Тула, кабина одиннадцать».

Они кинулись вместе. Надя вбежала в кабину. Женя осталась снаружи — было не втиснуться с чемоданом. Она прижалась к дверце. Надя без конца повторяла «алло!». Потом, все громче — «папа, папа!». Но когда заговорила, стало шумно в зале, и слова ее путались в ушах Жени, которой было боязно приоткрыть дверцу и мучительно видеть через стекло, как сжимались в кулачок и, вздрагивая, опять разжимались,

что-то ощупывая, Надины пальцы. Едва лишь стихло в зале, голос из кабины прояснел, но Надя опять выкрикивала всего одно слово «папа!», тише, тише, пока не опустилась рука с трубкой.

Из кабины она вышла, держась за косяк. Женя потянулась к ней.

— Что он сказал? Что?

— Разъединили.

— Что сказал отец?

— Ему обещали... Да ничего он мне не сказал! — точно опомнившись, воскликнула Надя.

— Как — ничего? Что ему обещали?

— Кто-то там обещал помочь маме.

— Вот видишь! Что я говорила? Видишь!

— Я еду домой,— тихо сказала Надя.

— Ты рехнулась!

— Я еду домой.

— Посмотри на себя! На кого ты похожа!

— Можешь не провожать меня. Я прямо на вокзал.

— Надька! Надька! А университет?!

Верхняя губа Нади обиженно оттопырилась, но тут же выпрямилась, приоткрыла зубы, и в этой по-детски не законченной улыбке появилось столько печали, что Женя вдруг уткнулась в плечо подруги.

— Какой университет! — услышала она почти нежный вздох. — Когда... все сразу! Так сразу все, все!

Женя оторвалась от нее. Каким-то категорическим жестом службистки поправила волосы.

— Довольно. Ты приехала ко мне. Сегодня-то я тебя не отпущу! Отдышись... И знаешь, Надька? Мне тоже не сладко. Один брат в армии, другого вот-вот... я не хочу об этом, не хочу! — чуть не прикрикнула она. — И не поддамся. Ни за что! Исторические события? Ну и что? Обедать, что ли, не нужно? Как бы не так! Пошли. Пошли, говорю я! Живо.

Она заставила Надю выбраться на улицу, перебежать, озираясь, дорогу, стать в очередь к тележке с газированной водой. И только было Надя сделала первые, обжигающие льдом глотки, как Женя сунула ей свой недопитый стакан и рванулась опять на дорогу. Из «эмки» выгрузилось у телеграфа какое-то семейство. К машине устремились со всех концов охотники за такси. Она раньше других юркнула в «эмку», через открытое окно замахала рукой Наде, будто и не замечая переполоха подлетевших конкурентов.

Обе уселись. Женя ангельским голоском отворковала водителю, что ехать надо на Можайку и потом прямо-прямо, а дальше она будет говорить, куда и как.

— Я взмокла,— кончила она, отваливаясь и толкая коленкой остерпевший чемодан. — Разберем твои манатки, сбегает на пруд, выкупаемся. И я тебя уложу спать.

Она отрывистым пожатием стиснула пальцы усталой Надиной руки.

— Ох, совершенно, ну, совершенно задыхаешься в этой несносной Москве! Правда?

Глава вторая

1

Чарли сидел на цепи, потому что Пастуховым должны были привезти кирпич, жестяную трубу и вентилятор,— возчик мог бы испугаться собаки.

Чуть не на другой день войны, за утренним кофе, Юлия Павловна

заговорила о том, что котельную дачного отопления легко приспособить под очень уютное бомбоубежище.

— Котел прекрасно можно убрать. Ведь лето.

Александр Владимирович хмыкнул:

— Обаятельная фантазерка... Москву? Германцы? Ха!

Он закрылся газетой и, минутку почитав, сказал в нос:

— Отыщи в энциклопедии букву м-мы,— он нарочно длиннее промычал это «м-мы»,— справься, на какой долготе ты живешь.

— Не понимаю.

— Не понимаешь, тогда, Юленька, возьми свои маникюрные ножнички и отсчитай по карте, сколько до нас от границы. От нынешней границы. Поняла? До Москвы. Поняла?.. Что такое масштаб, ты еще помнишь?

Юлия Павловна взяла не ножницы, а другую газету и, махом развернув ее во весь лист, тоже закрылась. За кофе они еще не принимались, кофе стыл.

Газеты с каждым днем читались у Пастуховых больше и больше. Александр Владимирович прослушивал не раз в сутки радио, чего в мирное время не терпел.

Ровно в конце первой военной недели вечернее сообщение известило, что наступательный дух немецкой армии подорван. Пастухову казалось, что если бы этот самый дух не был подорван, то слово «наступательный» в сообщении вряд ли мелькнуло бы. Говорилось дальше, что продвижение прорвавшихся моторизованных частей противника на минском направлении остановлено. И опять Пастухов подумал: если бы продвижение не было остановлено, то как было бы узнать, что противник прорвался к Минску? А Пастухов узнал. Узнали все. И, значит, ничего не утаивалось, обо всем становилось известно, когда приходил черед.

Но, черт возьми, почему черед пришел так быстро за Минском и приходил так медленно за известиями о прорывах? Нет, нет, неверно. Сообщалось ведь и о том, что отходящие от госграницы наши пехотные части прикрытия ведут ожесточенные бои и что продолжается сражение крупных механизированных масс на направлении Луцком.

Да, сообщалось о многом. Не слишком ли о многом для семи дней? На прямой от Минска лежала Орша. За Оршей, тоже по прямой, виделся Смоленск. Он виделся в уме — со своей историей, в своих седых камнях, со своими былями, сказками, распевами. Ум выкутывал его из туманов памяти. Ум твердил одно и то же слово — исконность: бои шли за исконные земли. Они уже шли на исконных землях.

Перевал на вторую неделю войны был отмечен в известиях новым рывком противника — все шире разевал он клещи, наложенные на Белоруссию. В этот день, дойдя глазами до слов «Барановичское направление», Пастухов швырнул газету, поднялся, выговорил подавленно:

— Чудовищно.

Пробегавшая кабинетом Юлия Павловна не расслышала. У нее теперь прибавилось дел, и каблучки ее туктукали то тут, то там.

— Что ты говоришь?

По обыкновению он выдержал паузу обдумыванья и ответил с расстановкой:

— Ты обладаешь, Юленька, даром предвидения.

Она сделала кривую в своей пробежке, оттопырила губки и не поцеловала, а едва-едва приблизилась ими к его щеке, так что вся прелесть заключалась не в прикосновении, а в звуке и притом тоже таком изящном, что его не столько можно было расслышать, сколько о нем догадаться.

— Я теряюсь, Шурик. О чем ты мог подумать? Но когда ты находишь во мне что-нибудь необыкновенное — я это так люблю!

Она убежала. У нее действительно было много дел: на этих днях Александр Владимирович молчаливо передал ей бразды правления, и на крепостном валу была она вела оборону, как хотела.

Он поднял брошенную на пол газету. Он запомнил этот день именно как день, когда он бросил и потом поднял с пола газету — день, когда сказал: «Чудовишно».

Он стал смотреть в отворенное окно. Бомбоубежище отстраивалось. В сад въезжала телега с небольшой выкладкой кирпича. Скучный возчик шагал обочь, подскакивая на одну ногу, незлобно выговаривая что-то толстобрюхому мерину. Чарли облаивал пришельцев, отбегая назад, когда ошейник туго прихватывал его, и с лентой кидаясь снова на полную цепь. Он не очень ярился, потому что было жарко и, может быть, его немножко обижало, что мерин не повел на него и глазом. Возчик начал складывать кирпич у той дыры в цоколе дома, которую продолбили, чтобы вывести из котельной трубу вентилятора. Из-за леса доплыл и потом разлился звон рельса — дело шло к полудню, колхоз колотил отзвон на обед.

Но обычно плавный звон сразу захлебнулся — в него беспорядочно стало насыпаться что-то стучающее, поспешное, будто бивший по рельсу торопился скорее отзвонить и частил удары и набавлял в каждый все больше силы. Дело шло к полудню, но шло, как видно, не к обеду.

Насторожила уши лошадь. Остановился с кирпичами в руках возчик, прислушиваясь. Смирненько вполз в будку Чарли, подобрав хвост. Из сторожки вышел Нырков, обвел взором небо по верхушкам деревьев, глянул на возчика, а тот — на него.

Наверно, вместе с этими переглянувшимися работниками Пастухов подумал: не пожар ли где? Он успел только это подумать, слегка наклониться над подоконником, опершись рукою об открытую створку, когда над лесом раздался грохот. Отдача его перевалами пророкотала по далекой округе.

Нырков присел — это успел заметить Пастухов, сам отшатнувшись от окна, и поглядел на створку, которая, словно под дуновением воздуха, прикрылась за ним (он, впрочем, тут же сообразил, что потянул ее за собой — кругом ничто не шевельнулось). Набатные звоны рельса опять стали слышны, и слышен стал топот взволнованнейшей лошади и затукали по лестнице каблучки Юлии Павловны.

И тогда грянул залп орудий, казалось, совсем подле дома, и дом жалко дрогнул.

Что это был орудийный залп, Пастухов не усомнился — когда-то, в гражданскую войну, довелось ему слышать залпы, не так близко, правда. Выстрелы прогремели со стороны юга, и тотчас ударило залпом с востока, еще ближе, и дом весь зазвенел ответно в неудержном, чудилось, испуге, точно все в нем до этих секунд тайло свою жизнь, а тут выдало себя и ужаснулось, как ужасается все живое. Опять ухнул залп с юга и за ним на севере — из-за леса, откуда прогрехотал первый гром, и потом опять с востока.

Дом был в кольце пальбы и содрогался, и уже нельзя было понять — пальба ли это или разверзается земная кора.

Пастухов прижал руку к сердцу. Оно забило ему в ладонь. Он снова шагнул к окну. Он себе не отдавал отчета — зачем шагнул. Ему казалось — чтобы закрыть окно и, может быть, взглянуть сверху и увериться, что там, в небе, — вражеские самолеты. Но он не сделал ни того, ни другого: глаза его, выросшие, зазеленевшие, остановились на том, что разыгралось внизу.

Лошадь с опрокинутой набок телегой шарахнулась в сад. Она переломила оглоблю, порушила сучья крайней яблони, вскинулась, повалилась с дыбков на другую, подмяла брюхом ее ветви и стала рваться, вывертывая на себе хомут с дугою, не в силах ни вытянуть зацепившуюся о дерево телегу, ни оторваться от нее.

Словно состязаясь с лошадыю, бился на цепи Чарли. Он подпрыгивал, взвивался, греб в воздухе передними лапами, захлебываясь. Ошейник душил его. Долгий красный язык в лад с прыжками болтался обок разинутой пасти. Вдруг цепь разорвалась. С длинным ее обрывком Чарли ринулся к открытым воротам и мигом исчез за ними.

Все произошло словно бы в полной немоте — пальба поглощала собою все остальные звуки. Только в кратчайшую паузу между раскатами залпов слабо донесся женский визг, и Пастухов увидел соскочившую с черного крыльца Мотю — она побежала в лес. Пастухов не заметил, куда девались возчик и Нырков.

Он все держал ладонь на сердце. Ему тоже хотелось бежать, и, может быть, он помчался бы куда глядят глаза, если бы, повернувшись, не обнаружил Юлии Павловны.

Она скорчилась в кресле. Лица и кистей ее рук не было видно — их закрывали волосы, свесившиеся над пригнутой головой.

Пастухов смотрел на эти волосы, так непохожие на Юленькину прическу — раскосмаченные, потерявшие свою холеную волнистость. Казалось, каждый волосок трясся непрерывной дрожью, и в этой мелкой дрожи одних волос — тогда как сжавшееся тело Юлии Павловны неподвижно застыло — виделось больше страха, чем испытывал Пастухов.

Ему явилась мгновенная мысль, что судьба вечно миловала его — он никогда не бывал на войне, и вот война пришла к нему. С тою же мгновенностью он решил, что самая худшая низость на войне — бегство, что он не подумает бежать, и с этим ответом на жгучее стремление куда-то мчаться он не очень верным, изо всех сил сдерживаемым шагом пошел к жене.

Приблизившись, он вставил в трясущиеся ее голубые космы, как в конскую гриву, свою раздвинутую пятерню и прижал голову Юленьки себе к бедру. Но, ощутив это прикосновение, он тотчас почувствовал, что у него дрожат ноги. Он сразу же выпутал из ее волос пальцы, дернулся, чтобы отойти, и не успел: жена обвила его руками, еще крепче прижимаясь, по-прежнему с низко опущенным, спрятанным за космами лицом.

Так они побыли какое-то время, казавшееся нескончаемым, одинаково думая: конец всему. Пальба длилась. Дом будто доживал последние минуты и в то же время был полон странной жизни, как никогда раньше.

Потом что-то медленно начало меняться: поредели залпы, рокот их раздвинулся, падая или уходя ввысь. Умолкнул север, за ним — восток. Вот и с других сторон не стало доноситься ударов стрельбы, а только еще ворочался, укладывался грозный гул. Но вот и там все улеглось. И тишина восстановилась.

Дом стоял как дом. И лес не шевелился. Небо блаженно сияло. Серdito прожужжал по кабинету и с разлета шелкнулся о стекло залетевший шмель. Из сада донесся добродушно-грубый голос:

— Н-но, спятил, дурак!

Пастухов высвободился из рук Юлии Павловны. Она с одного взмаха головой откинула назад волосы, спросила изумленно, как спросонья:

— Все?

— Не надо было выключать радио,— сказал он хрипло и, откашливаясь, повернулся к ней спиной.

Она ожила, вскакивая из кресла, попеременно оправляя платье и пробегая нервными пальчиками по прическе.

— Пойдем, пойдем!

Он пошел за нею, нарочно тяжело ступая по лестнице, чтобы прибавить уверенности. Юлия Павловна уже настроила приемник, когда он спустился в столовую. Победный марш бравурно встретил его. Он остановился среди комнаты. К нему возвращалось самообладание, но медленнее, чем хотелось бы, и так как он испытывал почему-то неловкость, то придал позе вид спокойно-величавый.

— Сделай потише,— велел он.

— Что это было? Налет?

Судя по голосу, Юленька приходила в себя скорее его. Превосходство было досадным. Он ответил небрежно:

— Успокойся... Представь, Чарли от страха сорвался с цепи.

— Боже мой! Где он?

— Удрал.

— И ты... Ты так говоришь, будто ничего не случилось!

— Ну, кое-что случилось,— ухмыльнулся он.— Но я постарался не дать делу за собакой следом.

— Это жестоко! Бедный пес!

Юлия Павловна бросилась к выходу. Пастухов удержал ее.

— Я сам.

Это был удачный повод, чтобы окончательно восстановить над собой власть — выйти из дома, навести порядок, как подобает хозяину. Но только что он хотел шагнуть с террасы на ступеньку крыльца, как его нога отпрянула, будто от огня: со дна тишины всплыли опять звонкие удары по рельсу.

Шемящая сила потянула Пастухова назад в дом, и он вернулся бы тотчас, когда бы не увидал Ныrkова, который показался из-за угла.

Он шел исподволь, улыбаясь и слегка прищуриваясь от солнца, а дойдя до Александра Владимировича, стал на приличном расстоянии и все молчал, оглядывая хитроватым глазом его лицо.

— Отбой,— наконец выговорил он благосклонным тоном, каким утешают испугавшихся детей.

Пастухов расстегнул ворот рубашки, ухватил ее под мышками в щепотки и слегка повеял, выгоняя жар. С облегчением и как бы между прочим он сказал:

— Угостили немчиков!

— Которых это? — удивился Ныrkов.— Иль радио не слухали? Тарелка в сторожке у меня исправная: отбой учебной тревоги.

Еще лукавее почудились Пастухову его глаза, и, спускаясь по ступеням в сад, он внушительно пригрозил:

— Значит, угостим. Если сунутся...

Лошадь, выпяженная и привязанная к яблоне, прятала уши,— беспокоящий звон продолжал литься по простору. Возчик мудрил приладить изломыши оглобли друг к другу.

— Вишь, дело какое,— покачал он головой.

— Военное действие.— весело сказал Ныrkов.

Пастухов обиженно мигал на изуродованные стволы, поломанные сучья и ветви яблонь.

— Обпилить надо,— сказал он.

— Д-уж теперь пили не пили...— отозвался Ныrkов.

— Давай ставь телегу,— сказал ему возчик.

Они обошли ее, взялись за грядку, подергали, потянули. Не пускал сук яблони, в который упиралась торчавшая кверху задняя ось.

— А пила, видать, снадобится,— рассудил Ныrkов.

Пастухов с неожиданной быстротою подцепил сук обеими руками и, жмурясь, отворачиваясь от хлестнувших по лицу ветвей, стал оттягивать его от оси. Раздался треск. Нырков одобрительно засмеялся.

— Ч-черт! — со злобой ругнулся Пастухов и крикнул: — Взяли вместе, ну!

Ухватившись втроем за телегу, они раскачивали ее до тех пор, пока тяжесть не перевисла на них и она сама грузно не ухнула на колеса.

Александр Владимирович неторопливо потряхнул ладони. Было в этом движении столько солидности, что он почувствовал, как начинает приливать к сердцу спокойствие, и, уже уверенный в себе, пошутил:

— Чарли-то! Дезертир, а? Искать придется паршивца.

— Явится! На то собака,— махнул рукой Нырков.

Пожалуй, теперь от всего происшедшего не оставалось у Пастухова ни испуга, ни неловкости. Но что-то противное в мыслях свивало себе новое гнездо или шевелилось в старом. Противен был Тимофей Нырков. За его ужимками проглядывало злорадство, а в речах слышалась не одна насмешка, но и угроза. Она запала в память Пастухова с печального утра в саду, когда, проводив гостей, увидел он хмельного Тимофея, который показывал пустой дачной веранде кулак: «Тря-се-ссия?..»

Вспомнив сейчас это пьяное словечко, Александр Владимирович посмотрел на сторожа и брезгливо отвел взгляд. Синяк, припечатанный Ныркову шофером, расплылся по скуле и едва только начинал желтеть. «Так тебе и надо»,— подумал Пастухов, с надменным видом направляясь к воротам.

Он постоял за калиткой, покурил. Дымок поднимался над головой — было тихо, пустынно на дороге, недвижимо вдали. Возвращаясь на дачу, он больше не глядел на пострадавшие яблонни, на рассыпанный, побитый кирпич у котельной. И когда на террасе встретила его Юлия Павловна стремительным вопросом — не видел ли он Чарли, он почти хладнокровно ответил:

— Попробуй, детка, узнать, не продается ли где хороший шенок.

— Как не стыдно! — воскликнула она в крайнем расстройстве.

Конечно, Александру Владимировичу было не безразлично — найдется собака или нет. Но чуть не единственный за целый день разговор о Чарли слишком остро возвращал его к предмету, куда более значительному.

2

Этим предметом, который он тщетно хотел бы изгнать из головы, был вопрос — удастся ли по-прежнему делать свою излюбленную и единственно мыслимую работу? Или же войной, грозящей опрокинуть всю жизнь, его работа будет снята с очереди, как снятой оказалась театром его последняя пьеса — лучшая, наверно, из многих, им созданных? Все ли уже теперь нужно менять в эту грянувшую войну, подобно тому как менял он все в далекие годы войны гражданской? Годен ли он, драматург Александр Пастухов, годен ли, чтобы опять заново переучиваться, кинув прочь инструмент, всецело ему подвластный, и взявшись за иной, который подчинить себе, быть может, и не достанет власти? Самому ли придется менять себя или за него сделает это страх — коварнейший из властелинов? Что останется от его забот после того, как страх собьет его с ног? Вот только лишь тенью страха дунуло на его игрушечную крепость, как он дрогнул вместе с нею. Странно устроен человек: сам изо всех сил нагоняет на себя ужас и от ужаса зарывается в землю как можно глубже. Сооружает под домами убежища и разрушает эти дома, погребая убежища под руинами. Странно, трагично и... смешно! Смешно

подумать, что драматург Пастухов полезет под пол. Спрячется и будет трястись от страха — где же? В котельной!

— Черт побери! — обрывал свои размышления Александр Владимирович.

И нельзя было не оборвать: он не выносил смешного, если смешное переступало границы его пьес, распространяясь на самого автора. Томительным напряжением воли он заставил себя взяться за привычную работу над комедией, начатой до войны. Вопрос — придется ли менять привычное на непривычное, оставался вопросом.

Но тут Юлия Павловна под каким-нибудь невинным предлогом вновь напоминала о собаке. Чарли не объявился ни днем, ни к вечеру. На розыски был послан Нырков, выполнивший поручение без всякой охоты, считая его блажкой. Прошла ночь, минуло утро, исполнились сутки с пропажи Чарли, а его не было. В конце концов Пастухову не оставалось ничего, как уступить жене: едва жара спала, он отправился раз узнавать — не встречал ли кто собаку в деревне.

С дороги он свернул на тропинку, которая вела лугом к оврагу. Он тихо шагал над самым обрывом, изредка постанывая на месте, когда медлительный ручеек проблескивал со дна оврага сквозь заросли черной ольхи. Никто не встречался ему, и он был рад помолчать один на один с природой, утишающей все боли. Ему становилось легко, и когда с изгиба пути завиделся порядок редких дач и первой — мансарда художника Гривнина, он решил заглянуть к нему и, может быть, попить с ним чайку.

Только он вошел на участок, как его увидела с огорода Евгения Викторовна и, взмахнув руками, а потом отряхивая их, тяжеловато побежала навстречу. На ней был пестрый помятый фартук, и она принялась оттирать об него ладони, что-то громко восклицая. Пастухов слышал непрестанное: «О-о, как хорошо, о-о!» — и шел к ней с улыбкой. Но она была озабочена и все трясла кистями рук, испачканными землей, показывая, что не может поздороваться.

— Редиска... немного дернуть надо,— торопясь, лепетала она,— дергать... мы уже еще раз садили...

— Ну, понял, понял,— сказал Пастухов.— Мастер дома?

— О, мой мастер! Он сшел с ума, мой *de l'academie*.

— Как так?

— Он поехал в Москву, он сказал, он хочет, чтобы его записали... Хочет на фронт!

Она с отчаянным возмущением ударила себя по бедрам.

— Ты в себе, Женя?

— Я? О, я!.. Это он... Это у него... он совсем...

Она не могла найти слов, крутила перед своим лицом пальцами, потом взбросила руки к небу.

— Он говорит и говорит, он должен добро... добро-вольски... как это?.. Eh! Должен... будет *le volontaire!*..

Пастухов нежно взял ее под локоть, повел к дому, тихо, но внушительно отчеканил:

— У него и правда мозги набекрень, у твоего старика.

— О, мой Никанор, он... — хотела возразить Евгения Викторовна, но, прихорашиваясь, только оправила в талии фартук и подтянула за ляпочку сверху.

Они сели на плетёный диван перед дачей. Из рассказа не переставшей горячиться француженки Пастухов узнал, что Гривнин уже накануне был в городе и со своим учеником, художником Иваном Рагозиным, ходил в военный комиссариат — записываться добровольцем в Красную Армию. Но там сказали, что его не запишут, а Рагозину велели

пойти куда-то, подать заявление. Гривнин вернулся возмущенный, решил «так дела не оставить» и вот снова отправился в город — протестовать, настаивать на своем.

— Когда ты его ждешь?

— О, нет терпенья, как жду!

— Я спрашиваю, когда он приедет?

— Сегодня. Позже. Я весь день плачу, милый Александр. Я пошла на мою редиска и там тоже...

— Послушай, Женя. Я приду еще раз, вечером. Я скажу твоему герою профессору, что надо идти не в военкомат, а в газету и заявить, чтобы редакция его мобилизовала рисовать все, что она потребует. Можешь быть уверена — Никанор меня поймет.

Евгения Викторовна быстро отсела подальше.

— Он не может согласиться. Александр. Никогда! — Она быстро встала, огородилась от Пастухова руками, проговорила высокомерно: — Ты не знаешь моего Никанора. О, он не старик!.. Он хочет драться!

Александр Владимирович улыбнулся.

— Ты, кажется, сама готова пойти в военкомат? И, может, вспомнить заветы Жанны д'Арк?

— Я не Жанна. Я — Женни... Но если... Да, да! Я не хочу простить бошам!.. Что они хотят делать в России? Что они... О, моя Франция!

Она отвернулась. Он поднялся, секунду колеблясь — что лучше сказать.

— Я приду, Женя. Я буду здесь, как смеркнется. Успокойся. Будь умненькой, Женя.

Она кинулась к нему, обняла, повторила в страстном порыве:

— Уговори его! Уговори, уговори, Александр! — и, больше не глядя на него, пошла в дом, уже кокетливо деловым голосом досказывая: — Смотри же, приходи... Дам кофе. И есть бутылочка Камю, la grande marque!..

Пастухов отправился дальше своим прежним путем, но уже без следа легкого чувства, какое завело его на дачу приятеля. Смущенье мешало совладать с мыслями, только было отвязавшимися от него и теперь переплетенными с неожиданной новостью.

Идиллический живописец-пейзажист отважился сменить привычный запах макового масла на неведомый — порохового дыма. Пусть еще не сменил, а всего лишь задумал. Это уже решение. Чудак! И настоящий художник. Неведомое манит настоящих. Не отпугивает их. Это вот такие (Пастухов не мог остановиться на слове, которое внезапно подвернулось — «такие трусы») — такие башмаки (поправился он), башмаки вроде него шаркают по комнате днями и ночами напролет, пока на что-нибудь решатся. Гривнин решился. Не башмак. Но выдумщик, конечно... На войну! Не от страха ли? Перепугался, наверно, вчерашней пальбы. И сразу — в пекло! По-русски... Удивительно, что Евгения Викторовна даже намеком не вспомнила об этой пальбе. Неужели не испугалась со своим героем? Как видно, испуг старый перекрыт новым: вдруг ее de l'academie действительно превратится в le volontaire? Ерунда!.. Дрожал, поди, когда показалось, что попал на войну. И, само собой, обрадовался, что это не война, а всего-навсего репетиция войны. Репетиция... Так устроен человек: скажи ему — это не война, это учебная тревога, — и все ужасы будто сняло рукой... А вот бедняга Чарли задал стрекача. Ему все равно — воюют люди или только учатся воевать. Но как же все-таки случилось, что Пастухов не обмолвился словом насчет Чарли? Было стыдно заговорить о собаке. И глупо! Разве не пришло бы на ум обидное сопоставление? В сопоставлениях всегда что-то скрыто...

Пастухов, сам того не ожидая, примерил эту мысль на себя. Неле-

пость параллели между собой и Чарли настолько раздражила его, что с досады он забормотал вслух (это становилось у него возрастной привычкой):

— Мало ли какие репетиции мы принимаем за действительность. Иллюзии, иллюзии! Твержу зады. Считаю себя бойцом за новое искусство. Дерусь, дерусь, как дурак. А оно.. Ни черта оно не ново!.. Тьфу, что только не лезет в голову...

Он посмотрел вокруг в надежде отыскать что-нибудь отвлекающее. Ему повезло.

Распахнулась дачная калитка. На дорогу вышли девушки — одна в шароварах, какие носят женщины на стройках, другая в светлом платье, с железной лопатой в руке. Они заметили его, остановились. Та, что в шароварах, повернулась к другой, сказала что-то, и обе стали с любопытством глядеть на него. Он был шагах в десяти и, не дойдя до них, приподнял шляпу, громко спросил: не видали ли они сбежавшую овчарку. Девушки обменялись взглядами. Одета необычно и явно подражавшая мальчикам небрежно сунула пальцы в карманы, смело шагнула к Пастухову.

— Во-первых, здравствуйте, Александр Владимирович. Не узнали меня?

Он не узнал ее, но он догадался, кто это мог быть, потому что узнал дачу юриста Комкова, к которому обращался однажды за советом и тот представил ему своих детей (кажется, среди них — эту девочку).

— Я — Женя, — сказала она и кивнула на подругу: — А это Надя.

— Женя? — удивился он.

— Не вспоминаете?

— Нет, как же!.. Но, представьте, я только что расстался с другой Евгенией.

— Ну, и которая?.. — с лукавинкой улыбнулась Женя.

— Что — которая? — спросил Пастухов, притворно недоумевая.

— Та Евгения... она кто?

— Никакого сравнения! Она уже сильно в годах, — утешил Пастухов.

— Ах, если сильно!.. — засмеялась Женя.

Забавляясь ее по-девичьи незрелым кокетством, Александр Владимирович пристальнее всматривался в Надю. Светлые глаза ее, внимательные, серьезные, казались насыщенными грустью. Она не шевельнула ни разу руками, и — странно — лопату она держала по-рабочему просто, и это шло ко всему ее облику в легком платье, наверно, лучше, чем шла бы лопата к шароварам бойкой подружки.

— Так у вас убежала овчарка? — уже деловито спросила Женя.

— Да. Бурая, в черных подпалинах. Не попадалась?

— Нет. Если увидим, придем вам сказать.

Пастухов помолчал, почти задумчиво продолжая смотреть на Надю, потом приветливо выговорил:

— На огороды?

— Что вы! — тут же отозвалась Женя. — Копать щели.

— Щели?

— Конечно. А к вам еще не приходили от Осоавиахима?

Он сделал вид, что первый раз слышит такое слово.

— Неужели вы не состоите в Осоавиахиме?

— Я состою в УОАПе, — ответил он необычайно многозначительно.

— Что это?

— Охрана авторских прав. А что такое О-со...

— Авиахим, — не дала ему договорить Женя. — Сейчас это тоже охрана. Прежде всего от воздушных налетов врага. Неужели правда не

знаете, что для укрытия от бомбежек под Москвой население должно рыть щели?

Вопрос звучал осудительно, и Женя как будто впрямь собралась пристыдить Александра Владимировича, но подметила, как дрогнул уголок его пухловатого рта, и рассмеялась.

— Недаром папа говорит, что вы — большой шутник!..

Так весело, хотя не без церемонности, кончилась эта нечаянная встреча: Пастухов снял шляпу, учтиво пожал девушкам руки, и Женя с Надей быстро пошли своей дорогой, а он — неожиданно и резко повернул назад, домой.

Он останавливался чуть не каждую полдюжину своих медленных шагов и смотрел девушкам вслед. Они шли в ногу тем ладным, мерным маршем, который свойствен юности. Он сравнивал их издали и видел, что Женя на ходу непрерывно жестикулирует, все поворачивая голову к подруге, но Надя идет ровно, прямо и, вероятно, молчит. Да, конечно, молчит, глядя перед собою серьезными и грустными глазами. Ведь не сказала, не вымолвила ни единого словечка за весь разговор, не шевельнулась, а только глядела внимательно и — при всей грусти — светло. И Пастухов опять, опять останавливался, смотрел вслед Наде, точно в чем-то проверяя себя, пока девушки не исчезли из вида.

Он подошел к даче не с тем чувством, с каким уходил, но не мог себе ответить — что же это было за чувство. Он только слышал отзвук того состояния, которое угадывалось в Наде. Назвать ее состояние он тоже не мог. Оно влекло в себе, и это было все, что он испытывал.

В саду, едва он вошел, бросились ему в глаза все домашние, стоявшие около собачьей будки. Юлия Павловна и Мотя то по очереди, то вместе нагибались к земле, Нырков с опущенной головою, не двигаясь, тоже наблюдал что-то у себя в ногах. Никто не заметил, как Пастухов подходил.

На земле, поодаль от будки, лежал Чарли. На вытянутые передние лапы положил он морду с повисшими ушами. Мокрые глаза тускнели в полудреме. Распухший нос, похожий на корку черствого хлеба, был покрыт сухими следами травы.

Юлия Павловна подставляла собаке чапашку с водой и справа и слева, чуть не слезно увещевая попить, но Чарли будто ничего не слышал.

— Прибежал? — тихо спросил Пастухов.

Нырков оглянулся, взмахнул зажатым в кулаке обрывком цепи с расстегнутым ошейником, ответил, как о несостоящем деле:

— Приполз!

Юлия Павловна вскрикнула:

— Шурик! Ты посмотри, посмотри! Надо сейчас же везти его к ветеринару!

Мотя посторонилась. Пастухов взглянул на поджатые задние лапы Чарли и мгновенно отвернулся.

— Нельзя терять ни минуты, — плачущим голосом уговаривала Юлия Павловна. — Ты же видишь! Это же смертельно! Внутренности, понимаешь? Выпадение! Он умрет, Шурик! Он просто подохнет, понимаешь меня?

— Подыхать он домой не пришел бы, — трезво рассудил Нырков. — Не человек. Вправит сам.

— Оставьте! Это бессердечно, как говорить! Шурик, ты же видишь...

— Господи, боже мой! — перебил Александр Владимирович. — Я же не возражаю! Возьми его, пожалуйста, вези, куда надо... Машина в гараже. Тимофей, езжайте с Юлией Павловной...

Он пошел в дом.

— Просто удивительно, что Чарли еще жив! — услышал он затихший голос жены и приостановился.

— Удивительно, что с нами не случилось того же, что с ним, — буркнул он, пожимая плечами.

— Шу-урик!

Он уже не слышал ее укоризненных слов.

У себя в кабинете он долго сидел, положив руки на рабочий свой стол, казавшийся пустынным полем. Стоило труда преодолеть отвращение, вызванное отталкивающим видом больного пса. Понемногу, однако, он перебрался на размышления. То, что видал он на прогулке, снова мелькнуло перед ним и все, что происходило с первого дня войны — большое и маленькое, великое и ничтожное — все представилось ему чередой неожиданностей, перед которыми он стоял безоружным. Не Надя ли сосредоточенным своим взором толкала его к такому признанию?

И вдруг Пастухов вспомнил о своем сыне. Тяжело поднимаясь над чуждо пустынным столом, он сказал:

— Где ты теперь, Алеша? Что с гобой?

Глава третья

1

Никогда Павел Парабукин не ходил, не бегал так много, как за этот приезд в Москву: целыми днями на ногах.

Москва и в мирное время необыкновенно подвижной город. Во всем свете так не спешат, как здесь. Людские речки и ручьи, струящиеся по московским холмам, не замерзают в лютые стужи, не мелеют знойной порою. Разбрызгиваются, где попросторнее, сливаются, где потеснее. Нет другого города в мире, где бы какой-нибудь самый суматошный бар окрестили бы именем «забегаловка». Бежит москвич сломя голову по улице, влетит в пивнушку, с превеликой мукою выстрадает в очереди у стойки кружку пива, иной раз плеснет в нее для пушей действенности припасенную в кармане четвертинку водочки, залпом опрокинет в себя «ерша», словно в бачок мотоциклетки — горючего, и вылетит из пивной проворнее, чем влетел, и побежит по улице озабоченнее, чем бежал прежде. Забегаловка! Экое народилось имечко с московской хлесткостью в московской суতোлке и пошло гулять по всем советским городам, где только народ хотя бы мало-мальски ни поторапливается. Даже спокойнейшее кафе в Москве не может идти в сравнение с подобными институтами в прочих мировых столицах. Там чинный посетитель, прежде чем выцедить сквозь зубы последнюю каплю кофия, перелистает полсотни газетных полос, усеянных рекламными голенькими красотками, сам засет приветами и поклонами две-три почтовых открыточки друзьям-знакомым — и все это с приятной расстановкою, исподволь соизмеряя глазом структуры дам за соседними столиками с конструкциями дам на рекламах. Когда еще он дойдет до того, чтобы потребовать счет за свою чашечку кофия; когда еще проверит, правильно ли гарсон начислил себе проценты за услуги; когда еще поднимется, выйдет за дверь и приступит к своему тактовому движению по тротуару, которое на музыкальном языке можно бы обозначить как анданте грациозо. В Москве происходит все наоборот. Кафе бурлит, роится, кафе парится, потеет. Самая ужасная для москвича пытка — ждать. Дождаться, когда примут на вешалку пальто; когда освободится столик; когда стряхнет с него крошки подавальщица; когда запишет она в блокнотик заказ; когда заказ появится перед носом. И вот уже куда-то ты опаздываешь; где-то

кого-то ты уже не застанешь; и кто-то нацелился уже на твой столик из очереди ожидающих, с ненавистью наблюдая, скоро ли ты дожуешь свой кусок и пропустишь наконец последний глоток какого-нибудь питья. Скорее бы только подбежала взмокающая от трудовой перегрузки официантка; скорее бы рассчитаться с нею; скорее бы вытянуть свою одежду меж столпившихся в гардеробной прибывающих и уходящих посетителей; скорее бы нырнуть в людскую речку на улице; а там — вынырнуть из речки и по мостовой броситься к остановившемуся автобусу; а там уж как-нибудь втиснуться в него, чтобы через остановку вывалиться с кучей пассажиров у метро и кинуться в его наземный павильон. Тут после уличных порывов движения, которые музыкант назвал бы аллегро энергично, открывается счастливая пауза. Москвич ступил на эскалатор и, опускаясь в подземелье, поднимается на седьмое небо блаженством: нигде не отыщется такой живительной прохлады, как в этой дворцово-блистательной преисподней. Можно вздохнуть, можно утереть лицо, можно прикинуть в уме — как исхитриться и поспеть в два служебных учреждения, если времени в обрез только на одно? Чудесное путешествие — это минутное ниспускание на эскалаторе к поезду метро! Есть, правда, люди, которым не терпится и тут — им хочется свести минуту спуска хотя бы до трех четвертей минуты, — они проталкиваются между отдыхающих на самоходной лестнице бездельников и бегут по ней на шум близящихся туннелями поездов. Москва не может не бежать.

Так в мирное время. И было ли оно когда, мирное время? Всего несколько дней войны позади, а чудится — оно за горами, за долами. Прежняя Москва была как будто тихой, чуть не медлительной, спокойной. Военная — уже не бежит, нет. Она мчится. Мчится сама, мчит всех и каждого с собою.

Павел ничем не отличался бы от обыкновенного москвича, если бы не был приезжим. Дела приезжего — это квадратная степень всех дел, которые хочется переделать за день оседлому обитателю Москвы. Приезжий может даже не испытывать ни в чем особенного недостатка, но уж чего ему не хватает — так это второй пары ног. К счастью, ноги Павла годны были поработать и за две пары.

У него не клеилось с командировкой. Он прибыл в Москву не по вызову, и в высоком ведомстве для него не сразу нашлось время — предпочтением пользовались вызванные. Ему назначили явиться через два часа. Он рассчитал, что успеет побывать в Комитете по делам искусств — там только и можно было разузнать о театральной труппе, с которой сестра отправилась в Брест.

В простоте душевной он удивился, что на лестницах и в коридорах Комитета по делам искусств толклось несравненно больше людей, чающих движения воды, чем в наркомате, куда он приехал по делам оружейным. Но, выпрашивая в коридорах, где ему могут дать нужную справку, он понемногу начинал уяснять, что управление искусствами, наверно, сопряжено с такими осложнениями, какие не снились всем главам по производству оружия.

Переходя из одной комнаты в другую, Павел уже не помнил, в которой по счету получил ответ, состоявший в том, что надо прийти завтра, так как товарищ, возможно располагающий сведениями о брестской труппе, сегодня отсутствует. При этом сказано было очень сочувственно — что же, мол, толком узнаешь об этой труппе, когда уже на другой день войны Главное командование Красной Армии сообщило в сводке, что Брест занят противником.

Сочувствия Павлу было мало. Участь сестры жестоко его тревожила. Но он один знал это. Что случилось с ней, где она теперь — доискаться ответа на эти зовы сердца стало его целью.

Перед командировкой он виделся с Кириллом Николаевичем. Об Аночке не было никаких известий, кроме телеграммы из Бреста, полученной еще в первый день войны и тотчас обернувшей в безжалостную грозу свой счастливый смысл: «Долетела отлично целую». Наказ Извекова Павлу был краток: «Разведай!» Ничего не оставалось, как бодриться, и Павел, слегка рисуясь, объявил, что уверен — в Москве давно все известно. «Неувязочки! Чтобы сестрица на одной телеграммке успокоилась? Никогда не поверю. Напутали чего-нибудь барышни на телеграфе. Паникуют!»

Но бодрись Павел не бодрись, нельзя было и думать явиться к Наде, пока не найдешь концы, казалось, небывалого исчезновения не только Анны Тихоновны, но с нею целого театра. Да что театр! И самим городом, где он обретался, завладели немцы. А ко дню приезда Павла в столицу сообщение с фронта говорило не только о городах, но чуть ли не о республиках: перерезав под Вильной Лигву, немецкие танки очутились в районе белорусских Ошмян, и стрелка продвижения целила отсюда в Минск, который становился мишенью уже не одной этой стрелки.

В наркомат Павел пришел к назначенному часу. Но час был передвинут на более позднее время. Хотелось перекусить, и, соразмерив в уме расстояние до знакомой пельменной со скоростью длинных своих ног, Павел определил, что задача хорошо разрешается во времени и пространстве. Однако его выкладки поколебались. Мало того, что пришлось слишком долго дожидаться за столом пельменей, Павел сам допустил ошибку, заказав всего одну порцию. Он не вытерпел, велел принести еще одну. После этого надо было считать время минутами. Он вылетел из двери в тот миг, когда в нее влетал такой же, как он, долгоногий молодой человек. Столкнувшись, они оба вскрикнули «а!». Восклицание изумленной обрадованности — оно прозвучало у одного, словно «а, попался!», у другого, словно «попал!». Они уставились друг на друга восторженно, а потом во всю ширь раздвинули руки для объятия.

— Ей-богу, Иван, ни секунды! Опаздываю в наркомат!

— Да гы, черт, скажи хоть — надолго приехал?

Это был закадычный приятель Павла, однолетка и однокашник, живописец Иван Рагозин.

— Не знаю, — говорил Павел, с силой потряхивая его руку. — Два три дня. Может, и больше. Дел — не провернуть!

— Опять, значит, не до моей колокольни?

— Вот-те крест, приду!

— Веры-то твоим крестам...

— Не сердись. Слово! А сейчас... ну вот до зарезу!

Павел чиркнул себе пальцем по горлу, показывая, как его режет спешка, выпалил привычное «пока!» и пустился вымеривать тротуар шажищами чуть что не в полсажень.

В наркомате, этот раз вовремя, Павел был принят в огромном строгом кабинете не по машгабам щупленьким, но соответственно строгим начальником. Павел вручил ему бумагу, излагавшую дело, по которому был командирован заводским конструкторским бюро. Пока начальник прочитывал бумагу, его вызвали по двум телефонам из четырех, флангом стоявших у него по правый локоть. Он кратко отвечал, не отрываясь от чтения. Погом Павел услышал, как отворилась дверь. Начальник посмотрел на дверь и тотчас снял трубку третьего телефона. Дверь затворилась. Начальник перестал читать. Вдруг он поспешно сказал: «Да, да, слушаю вас», — и, быстро приподнявшись, остановился в полунаклоне к телефонному аппарату. Напряженность позы, видимо, его не затрудняла. Он слушал недвижимо, пока не наступил конец разговора, который

был завершен значительным углублением наклона и всего одним словом: «Выезжаю». После этого начальник распрямылся, отчего малость его роста сделалась заметнее, и он сразу же возвратил бумагу Павлу.

— Усилия должны быть направлены на увеличение выпуска производства, а не на разъезды по командировкам, — сказал он отчетливо.

— Потому и хотим мы скорее пустить в производство наше усовершенствование, — начал Павел и тоже встал, невольно понуждая взгляд начальника вскинуться выше и как бы заносчивее.

— А сколько станков вы остановите на переоборудование?

— Они с лихвой восполнят остановку и будут перекрывать нынешний выпуск на...

— Но сейчас, говорю я, они будут стоять! — перебил начальник, шумно запирая ящики стола.

— Испытание нашего опытного образца показало, что...

— Я знаком с делом, — опять не дал договорить начальник. — Извините, должен уехать. Прошу завтра к началу занятий. Решение вам будет сообщено.

Он обошел стол, примедлил движение, кивком дал понять, что разговор окончен.

— Значит... утром, — будто настаивая на подтверждении, проговорил Павел.

— Как я сказал.

— Явиться к вам?

— Этого я не сказал. Узнаете завтра там... у секретаря. — Начальник потряс пальцем на дверь.

Только на улице и всего на мгновение Павел словно опешил от неудачи. Спустя минуту он твердо сказал себе, что раз еще решения нет, стало быть, предстоит за него подраться. Он не помнил, чтобы когда-нибудь повесил нос из-за неудач. Как на оселке, он оттачивал на них упрямство.

Он переключил себя на мысль о сестре. Это становилось похоже на челнок: командировка — сестра, сестра — командировка. Везде поспеть — поспеть, как ни мешала бы торопящаяся и все будто не успевающая Москва.

Обгоняя пешеходов попутных и вывививая против встречных, Павел добрался до Театрального общества. Карта розысков Аночки разработана была им вместе с Извековым в Туле. Карта имела жалкий вид: кроме Комитета и Общества, на ней значилась только тетя Лика, кладезь театральных слухов.

В Обществе оказалось не оченьлюдно. Уже в третьей комнатке приветливо выслушала Павла женщина, одетая в синий жакет с белой манишкой. Имя Анны Улиной вызвало почтительный отголосок. Ее здесь не просто знали, ее уважали, ее любили, ее ставили в ряд известнейших актрис (конечно, на периферии). Женщина в манишке объявила себя ее поклонницей. Тем более искренно она жалела, что Анне Тихоновне вздумалось поехать в этот несчастный Брест, с этой не вылупившейся из яйца молодежной труппой. Само собой, Общество сделало что могло — запрашивало, справлялось, писало, телеграфировало. Жалко ведь и молодежь — талантами надо дорожить. Но коли Анна Тихоновна связала себя с нею, так и участь у них, вероятно, одна. Передавали, правда, будто администратор брестского театра чудом добрался до Пинска.

— Кто передавал? — даже подскочил на стуле Павел.

— Да уж не помню, право, — сказала женщина в жакете. — Кто-нибудь из Театрального института.

— Из института? — опять подскочил Павел.

— Это ведь нынешний выпуск, этот коллектив, попавший в беду, — вздохнула она. — Мало ли что говорят. Вот и о Скудине рассказывают — выехал из Пинска и пропал.

— Кто это — Скудин?

— Народный артист. Не слышали? — уже суховаато ответила женщина. Ее начинало раздражать подскакивание нетерпеливого посетителя.

— Какой телефон у артиста?

— Что даст телефон, когда о Скудине во всей Москве никто ничего не знает? — сказала она и с достоинством поправила бортики жакета. Что-то надменное мелькнуло в ее лице, и это очень шло к синему одеянию с манишкой — костюму, который стал популярен у деятелей, высоко чтущих свой общественный долг, как был популярен стального цвета френч среди особенно ответственных деятелей. Костюм обязывал. Но Павел настоял, чтобы ему — вынь да положь! — выдали телефон артиста, как дали адрес Театрального института.

Спустя недолго он несся по бульварам, уверенный, что нельзя пренебрегать слухами, потому что ничто не обростает так пышно вздорными выдумками, как зерно истины. Где-нибудь да оно проклюнется.

Наступал вечер. Вешалки институтской раздевальной пустовали. На голос Павла никто не откликнулся. Где-то за дверью звякнули ведром. Он пошел туда. Уборщица мыла лестницу. На расспросы она с полной готовностью отвечала, что в канцелярии кто был — давно ушел, а кто из педагогов — вовсе перестал ходить: занятия кончились, студенты разъехались, а которых полагалось на войну взять — забрали. Если же справка какая требуется, то вон на стенке объявления висят про экзамены иль о чем еще.

— Что-йто вроде кто задержался? — подняла она голову. — Студенты никак!

Двое юношей, сбегая по лестнице, перескочили на мокрых ступеньках через половую тряпку и промчались бы мимо, если бы Павел не остановил их. Только он успел выговорить слово «Брест», как они закивали:

— Это наши, — сказал один.

— Наши, да, — кивнул другой.

— Плохо с ними получилось, — сказал первый.

— В пекло угодили, — подтвердил второй.

— Верняк, — сказал первый.

Так они говорили, наплея фразу на фразу, двое как один. Толком они ничего не знали. Да и кто знал? Но они навещали выпускницу-актрису, которая заболела и не могла поехать с труппой.

— Ей здорово повезло, — сказал первый.

— Представьте, она говорит, ей будет стыдно, когда товарищи вернутся, — добавил второй.

— Подумают, она заболела нарочно, чудачка, — засмеялся первый.

— Точно кто мог знать? — сказал второй.

Что Анна Улина отправилась с труппой, студентам было известно от той же больной актрисы. Они над ней подтрунивали — не сыграла, мол, дебютного спектакля, а ей, ни много, ни мало, дают дублершей Народную артистку! Бедняжка чуть не расплакалась: случись, говорит, с Улиной несчастье — я себя всю жизнь буду корить.

Павел страшно взволновался рассказом, стал просить, чтоб его непременно повели к актрисе — она, уж конечно, что-нибудь узнала об Аночке. Студенты собирались опять пойти к больной, но отказались вести к ней незнакомого. Тогда он взял с них обещание, чтоб они получили справку от актрисы и потом позвонили ему по телефону в гостини-

цу, и они дали слово, что позвонят. Своей ручищей он жал и тряс им руки, и ему было необыкновенно приятно, что хватка их рук не уступала ему. Чудесные ребята, они были первыми за весь день, кто тронул его неожиданным и таким простым участием. И уборщица была Павлу тоже приятна. Она слушала весь разговор и под конец громким вздохом заключила его нетрудный смысл:

— Ох, господи!

Павел и ей потряс бы руку, но она взялась за тряпку и окунула ее в ведро.

Марш Павла по московским переулкам сделался еще стремительнее. Предстояло телефонировать тете Лике и на квартиру Скудина. Ближе и удобнее можно было поговорить с Центрального телеграфа, но по дороге попалась будка автомата, и он ринулся в нее.

От Гликерии Федоровны никто не отзывался. Зато словно ждали звонка у телефона Народного артиста. На вопрос, нет ли от него или о нем каких-нибудь известий, немощный женский голос ответил:

— Ничего нет... А кто спрашивает?

Поощренный таким любопытством, Павел пустился было выкладывать всю историю, происшедшую с сестрой, как вдруг ответный голос сменил свою немощь на вызывающий окрик:

— Когда наконец оставят меня в покое?! Никто не может помочь, а только звонят и звонят день и ночь напролет!

И контакт был оборван. Онемело прижимал Павел к уху тяжелую, прикованную к аппарату железной цепью трубку, точно не веря, что последняя из надежд целого дня отнята у него так обидно. Он только тут заметил, как тесно ему в будке. Повесив трубку, он стукнулся локтями в одну, другую стенку, чуть что не в дверное стекло, и вывалился на тротуар, чертыхнувшись.

Он шел в гостиницу, перебирая в уме свои бесплодные походы. По навыку отыскивать во всем знак плюс он решил, что, в общем, заручился, как-никак, тремя обещаниями и два из них — на завтра. Стало быть, все зависит от того, как он их завтра реализует. А уж он постарается! И, значит, до тех пор можно переключить размышления на другие рельсы.

На рельсах появилась Надя. Вместе с нею была и Маша. Если же сказать правду, то Маша очутилась на рельсах уже в ту минуту, как Павел пошел на телеграф: оттуда проще всего было поговорить с Тулой. Сказав себе эту правду, Павел должен был тотчас сознаться, что Маша вообще не сходила с рельс ни на минуту с самого отъезда его из дома. Он только перевел ее с широкого полотна на узкоколею, и она потихонечку катилась рядом с ним все время, пока он вышагивал Москву по неотложной важности делам. Теперь, когда дела отодвинулись на завтра, Маша — по ее любимому словечку — зачуфыкала с ним колесо в колесо. Разговор с нею он перенес тоже на завтра, как и поездку к Наде, потому что нынче было нечем их порадовать.

Но с Машей он уже не разлучался. В гостинице он жевал приготовленные ею бутерброды, разбирал уложенный ею чемодан, вывязал подаренный ею пестрый галстук и постоял в нем перед зеркалом, продолжая жевать. Потом он вдруг засмеялся, и оборвал смех, и застыл: из почной сорочки, когда он ее развернул, выпала фотография Маши, снятая за неделю до окончания школы. Он спрятал карточку в бумажник, вволю наглядевшись.

Кровать была коротка. Он лег немного наискось. Ступни высунулись наружу между железными прутьями изножья. Но ему было хорошо. Он думал о Маше, вместе с Машей, думал о коротких днях — нет, днем они почти не видались — о коротких с нею почках. Раздумянное, удивленное лицо ее в рассеянных по наволочке волосах то близилось, то

уплывало куда-то по длинному коридору. Коридор вливался в улицу, и Павел мерил, мерил улицу своими ножищами и слышал, как уставшие, натруженные ступни его гудят. Глубоко внизу, за окошком гостиничного номера гудели улицы, гудела бесконечная торопящаяся Москва, и Павел все шагал по Москве, и все никак не мог нагнать заплывшую куда-то Машу, которая в одно и то же время была от него невесть как далеко и все-таки, все-таки была с ним рядом.

2

Когда Надя кончала школу, у нее сложилось неосознаваемое телесное ощущение, что она находится в центре окружающего ее мира и как бы в центре самой себя. Без обдумыванья, мимоходом схватят глаза отражение в зеркале, и пальцы быстро приберут волосы, или поправят пояс, или одернут блузку: что-то тронут. Все — нечаянно, вскользь, по приятному самоощущению. Мысли в это время заняты своим обращением к цели намерением, своею озабоченностью. Мысли — это узнавание, поглощение мира, имеющего для Нади собственный интерес, который живет отдельно, где-то на окружности. Надя непрестанно насыщает себя этим интересом к миру и остается ненасытной. Но ощущение своей центральности не мешает никаким интересам, не замечается, как не замечается здоровье. Это не эгоизм. Это сила расцвета, сила своей полноценности: я как все, но я — это я! В школьной болтовне Лариса, залюбовавшись Надей, скажет вдруг: «Какая ты хорошенькая особь!» И обе расхохочутся озорному переосмыслению знакомого по урокам слова. Но дальше хохота не пойдет. Не замечаемое Надей ощущение потому и не замечалось, что не делало ее особью, не было никакой особенностью, а только — свойством ее лет. И в Ларисе и в Маше оно было таким же. «Я — это я!» — текло и пело в их жилах, как пел и звенел их смех, на взгляд старших чаще всего беспричинный.

И вот пришло осознание этого ощущения — пришло с его потерей. Оказалось. Надя была счастлива, и счастье утратилось. Оказалось, девичье прихорашиванье было обычной радостью Надиной жизни. Теперь обычное исчезло. Теперь, увидав себя в зеркале, Надя отворачивалась. Ей стало все равно — измялось на ней платье или нет. Дотрагиваться ни до чего не хотелось. Руки стали чужими. И так тянуло куда-нибудь спрятаться, отыскать местечко, где тебя не нашел бы никто!

Женя назвала ее поведение детским и считала своей обязанностью положить ему конец. Один раз она обнаружила Надю в саду, укрывшейся в малиннике. Весь дом кликал ее — она не отзывалась. Другой раз ее не могли дождаться к обеду, и она застыдилась, что опять переполошила весь дом. Но что поделаешь — сам хозяин дома привез из Москвы слух, будто Народная артистка Оконникова шефствует над молодой труппой, уехавшей в Брест. Надя бросилась разыскивать артистку.

— Ну и что же? — горячилась Женя.

— Она сейчас у кого-то на даче.

— Вот видишь! Ты думаешь, мой папа не сдержит обещанья? Он же сказал, что поговорит с Оконниковой. И вообще он знаком чуть не со всеми Народными. Значит, незачем себя мучить. Посмотри, какой у тебя вид!

Смотреть на себя Надя даже не подумала. Что же до отца Жени, то он все не мог узнать об участии Надиной мамы, хотя и старался. У него были другие тревоги, заполнившие дом Комковых. Наде казалось, что ее присутствие с каждым днем больше тяготит эту дружную, близкую ей семью. В действительности ее все больше тяготила судьба матери.

Женя не щадила сил, чтобы приободрить подругу, и с жаром отда-

валась своему сочувствию ей. Но нельзя было скрыть, что сердце перетягивало ее к другим волнениям. Когда от старшего брата, лейтенанта, пришла с неведомой станции открыточка со следами пальцев, перепачканных чернильным карандашом, Женя прибежала прочитать ее Наде. Брат писал: «Милые папа, мама, Борис и Женечка! Сегодня мы выступаем. Горю желанием и готов отдать всего себя на защиту нашей любимой Родины...» На этом Женя чуток подождала и зачем-то повторила:

— Всего себя... — Опять подождав, неожиданно всхлипнула: — Молодец! Правда? — У нее показались слезы, она быстро обернулась к двери. — Меня зовут?.. Я сейчас! — И она выбежала из комнаты.

Ее никто не звал. Она долго не возвращалась, а вернувшись, дала Наде открытку — дочитать. Сама она с ревностью, готовой вспыхнуть, прочитывала по ее лицу — как оно отзывается на первую вест фронтвика: брат Владимир с этого часа стал для нее фронтвиком и едва ли уже не героем. Надя обняла ее. Они посидели, тесно прижавшись друг к дружке и медленно покачиваясь. Растроганная вдруг сказавшимся ответным сочувствием, Женя тихо выговорила:

— Володя раньше никогда не звал меня Женечкой...

Она одернула себя и зашептала, словно второпях:

— Я тебе открою одну тайну. Только ты... Словом, ты понимаешь. Об этом знаем мы с папой, больше никто. Ну, конечно, отчасти Борис. Он, наверно, скоро уйдет... Понимаешь? Его призовут. У него отсрочка. Получил ее, когда еще учился в Архитектурном. А в консерватории он ведь совсем недавно. И она больше не действительна. Отсрочка. Понимаешь? Папа справлялся и узнал — новых отсрочек не дают. Естественно. Как же иначе, правда? И вот... может прийти повестка. Каждый день. А папа боится сказать маме. Она ужасно расстроена. Наверно, чувствует... Раньше времени ей лучше не говорить. До повестки. Но мне папа сказал. И говорит, что надо все готовить для Бориса. Только чтобы потихоньку. Чтобы мама не знала. Погоди!..

Женя высвободилась из рук Нади, подошла к комоду. Со дна ящика, из-под белья вытянула записочку в ладонь величиной. Опять под села к Наде.

— Смотри, что надо готовить. Папа для меня сам перестукал на машинке. Это закон. Папа ведь, знаешь, законник. Видишь, от руки пометил: иметь с собой при явке в воинскую часть. Вот... Явиться, — она начала отчеканивать, — в собственной исправной одежде, имея при себе пару нательного белья, одну верхнюю рубашку или верхнюю куртку, одни брюки, исправную обувь (сапоги или ботинки), теплое пальто и ватную куртку, головной убор и мешок для укладки собственных вещей.

Они помолчали, еще раз пробегая глазами записку, обладавшую двойковожным значением — как тайна и как закон.

— Нет носков, — сказала Надя.

— Носки в нательном белье, — решила Женя.

— Сказано: пару белья. Если и носки, тогда уж не пара.

— Ты хочешь, чтобы все. Папа говорит, нет такого закона, который сказал бы все.

Это было убедительно. Они опять немного помолчали.

— Будут трудности, — сказала Женя. — Тепло пальто! Все теплые вещи на лето уложены. От мамы потихоньку не вытащишь.

— Начнем с того, что легче, — неожиданно твердо предложила Надя.

— Само собой, — согласилась Женя. — Давай устроим тайник. В комод.

Они принялись перекладывать содержимое ящиков, обсуждая, где и как разместят вещи Бориса. Вдруг Надя остановила Женю.

— Зачем, собственно, целый мешок всякой одежды? Ведь дадут военную форму?

— Конечно, дадут форму,— как будто растерялась Женя, но тут же нашлась: — Папа еще проверит, может, теперь что-нибудь новое... новый какой порядок. А то, сказал он, этот действует уже с самого начала войны.

— Какой войны? — не поняла Надя.

— Какой! Этой самой.

— Почему же... как может порядок не действовать, если только что введен?

— Не только что, а с тех пор... Милая моя! — перебив себя, воскликнула Женя. — Да ты что? Война началась — помнишь? — скоро два года! Как раз в тот самый день, как мы пошли в девятый класс! Немцы стали бомбить Варшаву, тогда все и началось.

— А! Ты про ту войну,— сказала Надя и внимательно всмотрелась в глаза Жени.

— Что значит — ту?

— Та война нас не касалась,— быстро ответила Надя.

— Если ты о том, что мы вообще не хотели никакой войны и что мы поверили, что немцы тоже не хотят...

— Да, о том, что мы поверили,— не дослушав и с прежним вниманием глядя на подругу, подтвердила Надя.

— Ну, о фашистах мы с тобой одного мнения! Есть предложение перейти к текущим вопросам. Пока пианист за работой,— Женя подняла палец и прислушалась к плывущим по дому фугам,— я проберусь к нему в комнату и чего-чего раздобуду из его бельишка.

История с тайником, окрещенная девушками «акцией», немного рассеяла Надины тягостные думы. Было любопытно осуществлять за тею — похищать, прятать, приводить в порядок вещи, отвлекать внимание матери, «стоять на стреме», пока тайком пришивается какая-нибудь пуговица или разыскиваются по чуланам старые башмаки Бориса. Потом Наде прискучила глупая игра, она затосковала.

Который раз уже принимала сна решение уехать домой. Но неожиданно отец Жени, вернувшись из города, сообщил о своем разговоре по телефону с Извековым: в Москву вот-вот должен был приехать Павел. Новость захватила Надю. Первое время ее нельзя было узнать — так ожило все в ней, осветилось. Если кто мог доискаться, где находится сейчас мама, то только один Павел. Он был старшим и, однако, казался Наде настоящим ровесником. Женитьба на Маше делала его в представлении Нади еще больше ровней. С ним можно было о чем угодно толковать и всегда столкнуться. Надя ждала его как избавление. Ей думалось — она будет с ним неразлучна в дружных розысках матери.

Но прошел день, прошел другой, а Павел не появлялся. Надя опять съездила в город и отсидела в очереди к междугородному телефону. Разговор с отцом не состоялся. У него были военные обязанности — сказали ей и обещали передать, чтобы он известил Комкова, когда ждать Павла. Комков возвратился на дачу поздно вечером. Никаких известий он не привез. Говорил с Надей нежно, утешая ее по-отцовски. От этой ласки ей становилось больнее. Она не верила никому: чудилось — ее жалеют, как жалеют сирот. Ночью она втихомолку плакала. Страх обступал ее. Она одна. Мать погибла. Отец, конечно, уходит на фронт. Павлу не до нее. Да и смешно его ждать: он молодой, такие нужны в армии, если ей нужны даже пианисты. Павел знает оружие и сам отличный стрелок. Нет, нет! Ее обманывают. Ей некого ждать Она одна.

Поутру, изломанная бессонной ночью, Надя нехотя умывалась, когда за дверью послышался решительный возглас Жени:

— И совершенно незачем тебе идти! А Надя вообще другое дело!

Дверь распахнулась.

— Ты готова? Чудесно! — восклицала Женя. — Кончай прическу. На работу! Все население. Да, да!.. Что так смотришь? Приходил комсомолец-активист — я его знаю, парень — во! Все дачники, все колхозники — на рытье щелей. От каждого дома, разумеется — кто работоспособен.

— Что это — щели?

— Ну, понимаешь, такие ямы. И в них укрытия.

— Укрытия?

— Как ты не понимаешь! Если вдруг налеты, то чтобы где было спрятаться, копают такие... ну, такие...

— Налеты?

— Ты как ребенок. Это же современная война! Проходили у вас, в вашей деревенской десятилетке, о противоздушной обороне?

Деревенская десятилетка задела Надю за живое.

— Я вижу, в вашей столичной десятилетке предмет проходили основательно. Поэтому и не можешь объяснить, что это за щели.

— И я и Борис поняли без объяснений. И ни к чему вовсе ирония. В конце концов будет ясно на практике. Но мама и я против того, чтобы шел Борис. Он не сможет играть после земляной работы. Будут дрожать пальцы. А мы с тобой пойдём. Пойдешь, Надя? Не отказывайся.

— И не думаю отказываться, — ответила Надя, принимаясь старательно укладывать волосы.

Ей вспомнилось, как она вдруг поняла, что с войной все должно быть по-другому. Уже давно, ах, как давно наступило для нее это другое! И если теперь все пойдут копать какие-то щели, значит, и она должна пойти со всеми.

Часом позже, снарядившись и напутствуемые домашними, под маршевый хор мальчиков из «Кармен», сыгранный Борисом, подруги отправились на работу.

Путь туда начинался сразу за дачными участками — яровым полем овса с викой, за ним по луговому склону к оврагу, по жердинкам через ручей и вверх к деревне, за которой тянулась полоса соснового леса кое-где с ельником. На подходе к опушке стал попадаться разномастный народ — кто с дач, кто из колхоза. К подругам подбежал тонконогий подросток. Он поздоровался и ломавшимся голоском озабоченно доложил, что в его молодежной бригаде не хватает как раз двоих работников до десятка и он включает девочек в ее состав. На вопрос Жени — почему в бригаде должен быть десяток, он ответил, что у него в наличии четыре лопаты, а когда будет пять, — он кивнул на заступ в руках у Нади, — тогда — посменно — пятерка грабарей роет, пятерка передыхает.

— Почему же, — спросила Женя, — не могут посменно рыть четверки?

— Потому что щель сооружается покоем, и если на покое поставить пять работников, то как раз будет в точку, четырех же мало.

— А что такое «покой»? — не унималась Женя.

— Покой — это буква «пы», — сказал бригадир и разъяснил, что на поперечине «пы» размещаются трое грабарей и копают самое щель, а на обеих ножках «пы» — по одному, и они роют спуски в щель.

Хотя инженерно-вычислительно нарисованная картина не совсем убеждала, но со стороны стилия она показалась подружкам блестящей. Они засмеялись, и Женя решила:

— Идем на «пы», согласны!

Щели копались в лесу, шагах в полусотне от опушки. на таком же отстоянии друг от друга. Та, на которую пришли Надя с Женей, была

только-только в зачине — колышки размечали ее план, снят был слой дерна, отброшены вырванные молодые елки. Просторное место хорошо затенялось соснами, и в тени отдыхала вся дружина работников, как видно — старшекласники школы.

— Товарищи, стыдно! — сам будто стыдясь, укорил их бригадир и показал на лопаты, холостяком торчавшие в земле.

Кое-кто из ребят, посмеиваясь, начал подниматься. Женя, отобрав у Нади лопату, заняла позицию на крайнем колышке. Бригадир расставил взявшихся за инструмент товарищей и заявил, что ненадолго пойдет на соседнюю щель перенимать опыт грабарей, которые хотят вызвать бригаду на соревнование.

Что затем произошло, было похоже на обрыв киноленты, тут же склеенной с фильмом по совершенно другому сценарию.

Не успели землекопы в полную силу взяться за работу, как в лесу послышалась пронзительная команда: «Ложись!» Со всех ног примчавшийся бригадир что было духу вытолкнул диском: «Воздушная тревога!» Губы его оттопырились, и на верхней вдруг затемнел пушок. Из колхоза донесся звон рельса. Суматоха кинувшихся под деревья ребят быстро улеглась. Какую-то минуту казалось — лес вслушивается в тишину. Потом его накрыл с неба громовой раскат.

Надя лежала ничком под тяжело нависшими лапами старой ели. Озноб пробежал с плеч к поясу. Билась кровь в висках. Из всех мыслей не отступала одна: вот так же оборвалась жизнь мамы. В таких ударах грома. В таком содрогании земли... Гулу неба воплем отзывается лес. Все ближе, ближе грохот. Наверно, это бомбы. Сейчас конец. Конец Надиной жизни. Вот... вот кто-то грозно кричит. Кричит рядом: «Не подыматься!»

Как будто тише гул. Но тянутся и вот-вот остановятся жестокие минуты. Кто ж это крикнул?

Надя выглядывает из-под согнутого локтя. Бригадир лежит почти вплотную к ней. Странно, что она не заметила его прежде. Да и не мог он кричать басом. У него мальчишеский, чуть не детский голосок.

— А самолетами не пахнет! — слышит она другой голос и смелее поднимает голову.

Парнишка виден неподалеку. Подоткнув кулаком голову, он хитрым глазом смотрит на бригадира. Вдруг подскакивает, на четвереньках перебегает к елке, растягивается на земле.

— Мой отец еще утром говорил, что нынче проверка зениток на готовность.

Он усмехается, но бригадир режет в ответ сурово (и в самом деле — настоящим басом):

— А дисциплину соблюдать надо? Сказано — ложись, лежи.

Гул уже укладывается в глубокой лесной постели. Тише и точно ярче становится вокруг, и все резвее слышится переключка голосов, и Женя, вынырнув на свет, задорно спрашивает:

— Ты, поди, смерть как боялась, Надя? Признавайся!..

На диво слаженно пошло дело у землекопов после отбоя учебной тревоги. Пospорив, кому становиться с первой сменой, кому со второй, подруги поладили на том, что начин — за Надей. Орудовать заступом она научилась в школьном саду. Вынимать грунт было, конечно, потруднее, чем перекапывать лунки под яблонями. Зато все скорее проходило волнение и уже забывался испуг. Бригадир похаживал с топориком. Было весело подзывать его, когда лопата наткнется на неподатливый корень. Он подойдет, гекнет, как дровокол: «гек, гек!» — и начальственно прикажет: «Продолжай».

Первая передышка была Наде приятна. Вторая чересчур быстро пролетела — не хотелось вставать с земли. На третьей заломило поясницу, плечи, зажгло ладони. Надя пошла на опушку — там, в мелком ельнике, была гуще тень и могло хоть немного подуть ветерком.

Только перед ней открылась поляна, как она увидела шествующих от деревни к лесу двоих молодых. В них было что-то схожее, но, заслонившись от солнца, в одном она признала Бориса и тотчас — по явному отличию от него — угадала другого. Она сорвалась с места. Оба замали ей.

— Наконец-то! Павлик! — выкрикнула она, с разбега влетев в раздвинутые его руки.

Она дала себя расцеловать. Радость, которой в этот момент не было удерживать, вырвавшись, подняла за собой всю горечь, причиненную ожиданием встречи. Но Надя подавила в себе упреки.

— Где ты был во время тревоги?

— Отсиделся на станции. Ждали градобития, но и не покапало, — смеясь, сказал он. — А ты? Крепишь оборону? Похвально. Здорово как получилось! А то Борис говорит: «Идем, покажу, в каком они лесу». Да лес-то велик!

По своему обыкновению разговаривать с Надей слегка покровительственно, на веселой нотке, Павел думал и это свидание провести на полусуток. Надо было девочку ободрить. Но она слишком насторожилась, и он понял, что шутовство оскорбило бы ее. Борис, решив посмотреть, где же работает сестра, оставил их вдвоем. Они сделали всего несколько медленных шагов, и Надя задала вопрос, к которому Павел был готов:

— Что с мамой? Не узнал?

Он взял ее под руку и повел прямо поляной, не глядя и не думая — куда. Он рассказывал о своих московских походах в самых тщательных подробностях, даже в лицах, к чему уже вовсе не был способен. Стараясь убедить Надю в том, чему не верил сам, он видел, что и она ему не верит. Соломинкой, за которую он наконец ухватился, была история с молодой заболевшей артисткой. Он стал расписывать встречу со студентами в красках, которые ему не поддавались, и Надя уже не могла больше слушать.

— Павлик, зачем ты... Тебе вель трудно говорить неправду.

Он остановился, повернул ее лицом к себе. Она глядела в упор и с таким грустным изумлением, будто не узнавала его. Он отвел глаза, попробовал перейти на свой обычный язык.

— Послушай, козявка, ты дерзишь. Как-никак, я прихожусь тебе дядюшкой.

Тон не был принят. Павел вернулся к убеждению.

— Я не сочиняю, а говорю тебе факты. Администратор театра успел из Бреста выехать. Это проверено. Не станут же в Комитете болтать попусту. А раз так, то ясно...

Он сделал паузу. Не было ничего ясного. Но отступить он не любил и продолжал бы доказывать недоказуемое, если бы Надя мягко не положила ему на грудь руку.

— Ты не думаешь — мама могла погибнуть?

— Ни в коем случае! — словно в отчаянии, воскликнул он и, чтобы она опять не перебила его, заговорил как никогда быстро: — Я не деревянный. Столько прошло дней и все прочее. Но возьми ты в толк. Связь перегружена. Телеграф завален. Поезда — сообрази только — потоком хлынули к фронту. Туда, понимаешь, туда, на фронт! А не сюда, не к нам. То есть оттуда идут тоже, но насколько реже, с какими задержками! Всюду пробки. Какие массы людей бросились оттуда к нам, на восток!

И что ты думаешь, беженцев будут отправлять в первую очередь? Как бы не так! Когда еще погрузят весь театр! Ну, а если бы вся труппа, предположи, вернулась в Москву и мамы твоей вдруг с труппой не оказалось бы, тогда... ну, тогда.. Но ведь никто из труппы пока не приехал.

— Ты говоришь — администратор? — немного охладила его Надя.

— Но он еще тоже не вернулся! Известно, что выехал из Бреста. Уж не он один, конечно. Ведь коллектив! Скорее всего Аночка тоже с ним.

— С администратором?

— Ну, да.

— Мама?

Вопросы звучали неожиданно игриво. Рассуждение о поездах как будто нашло у Нади отклик. По дороге в Москву, глядя в окно вагона, она каждый встречный поезд провожала мыслью, что он — туда, где мама. Это мог быть такой же дачный поезд, в каком ехала Надя, — все равно он шел туда. Все поезда шли в одном направлении, куда, обгоняя их, стремилось чувство Нади. В рассуждении Павла обнаружился странный резон. Очевидно, резон обмана. Она даже улыбнулась, как улыбаются, когда хотят сказать: хорошо придумано!

Павел сразу подхватил едва заметное колебание в настроении Нади. Торопясь, он начал посвящать ее в трудности своей командировки, которых не требовалось сгущать — их было много. Терпеливое молчание Нади пугало его. Он скоро примолк. Тогда она спросила:

— Ты меня жалеешь?.. Ведь и мне тебя жалко. Но зачем буду я скрывать от тебя, что мне страшно... ужасно как страшно за маму?

Она спохватилась — не обиден ли ее упрек. Но взглянула на Павла и вдруг обняла его: такое славное, желтоватое, залепленное веснушками лицо его густо налилось краской.

Она проводила его до деревни, и он дал слово, что они едут вместе домой не позже, чем послезавтра.

Сутки за этим свиданием были труднее всех, проведенных Надей в Подмоскowie. Утрачивались надежды. Оставалось смирять тоску и готовиться встретить неминуемый удар. Она старалась держать себя в руках и обещала Жене быть больше на людях. Как ни тяжело было идти на другой день копать щели, она пошла.

Ее немного развлек этот поход нечаянным знакомством с драматургом Пастуховым: живых драматургов она еще не видала. Выяснилось, что, в общем, драматурги ничем не отличаются от прочих достаточно солидных людей. Надю только удивило, что именно этот толстоватый, медлительный человек сочинил ужасно смешную роль барыньки-вертушки — роль, в которой мама имела необыкновенный успех на тульской сцене. Откуда взялась в его массивной голове подобная легкомысленная фигура? И, пожалуй, еще одна странность задержала на нем внимание Нади: знаменитый (как уверяла Женя) театральные автор ходит по дачам и разыскивает сбежавшую собаку. Разумеется, любовь к животным — качество положительное. Но вот, например, Надя с Женей и столько-столько людей идут рыть землю, а он занят собакой! Возможно, впрочем, он просто стар? Да, кажется, он уже стар...

Бригада явилась на работу полностью. Дело, однако, двигалось вяло — копнут, копнут, да и посидят. И Надя больше посасывала вздувшиеся за ночь водяные мозоли на ладонях, чем бралась за лопату.

Домой она возвратилась усталой. Женя, забрав подушку, ушла отдыхать в сад. Борис с утра уехал в город. Дача стояла с открытыми настежь окнами, беззвучная, как за день истомленное солнечным жаром небо. Надя долго стояла у окна. Ей хотелось лечь, но тягостная неподвижность всего тела не пускала оторваться от такого же недвижимого,

безразличного к ней мира за окном. Что-то похожее на всхлипы послышалось Наде из дальней комнаты. Но снова стихло.

Потом внезапно донеслись шаги. Частые, в то же время широкие, как в беге, они громче, ближе, ближе раздавались по всему дому, и вот — стоп перед самой комнатой Нади и тут же — стук. Она успела повернуться и робко сказать «да», как дверь растворилась.

Павел высился у порога. Она напугалась. Но лицо его сияло, рыжие волосы прилипли ко лбу и вискам. Губы медленно раздвигались, и блеснул его счастливый оскал.

— Надюха! — сказал он очень тихо, переводя дух. — Мама дома! Испуг не покидал Надю, взгляд остановился.

— Ты поняла?

— Когда? — пересилила она свою немоту.

— Сегодня! Сегодня Аночка в Туле.

— Когда узнал?

— Вчера.

— Вчера узнал, что... сегодня?..

Павел шагнул в комнату и уже во весь голос, старательно начал выкладывать.

— Ночью. В ночь на сегодня говорил с отцом. Он сказал: она в Москве, у Оконниковой. Он разговаривал с ней.

— С Оконниковой?

— Да с мамой! Поняла? Я с утра сколько ни звонил Оконниковой — все нет и нет. Дозвонился, не помню, который раз. Она мне — только, говорит, с вокзала. Проводила, говорит, нашу Аночку!

— Павел, Павел, — стала бормотать Надя, — Павел, ты...

Она крикнула что-то несвязно, бросилась к нему, оцепила его шею, повисла на ней. Подобрала ноги и болтая ими — как в детстве, когда Павел, разбаловавшись, говорил: «Ну, давай возиться!» — она продолжала выкрикивать невнятные слова. И он гудел, сился выговорить что-нибудь и невольно вторя ее радостной бессмыслице.

Вбежала Женя, оторвала от него подружку, принялась чмокать ее в щеки, губы.

Тогда вошла хозяйка дома, неторопливая, грузная. Участливо покачивая головой на девушек и привечая степенным поклоном Павла, сказала:

— Ну, вижу, вижу, Наденька. Вернулась мамочка. Ну, слава богу.

Она осмотрелась в комнате, точно стены были ей малознакомы. Сделала два-три осторожных шажка и так же осторожно опустилась в кресло.

— Слава богу, — еще раз проговорила она и подождала. — А у нас, — начала она и посмотрела по очереди на Надю, потом на дочь. Глаза ее были заплаканы. — Ты, Женя, тоже еще не знаешь. Пока вас не было, Бореньке принесли повестку. О явке.

Женя отняла руки от Нади, вмиг очутилась около матери. Все притихли. И Наде показалось, что в дом вернулась та неподвижность, которая держала ее скованной перед приходом Павла.

Глава четвертая

1

У Нади с Павлом все как-то заладилось после счастливого известия. Они радовались, и обоим было легко. Павлу не пришлось уговаривать Надю, чтобы она подала бумаги в университет. А Надя, уверенная, что командировка Павла завершилась удачей, настраивала его на бодрый лад.

Но с командировкой дело обстояло не совсем ладно. Павел провел в наркомате немало часов, пока там перелистывали бумаги заводского конструкторского бюро, акты экспертиз и обсуждали достоинства предложенного усовершенствования, чтобы затем сказать Павлу: возвращайтесь немедленно к месту работы, вновь испытывайте, быстро докладывайте — решение о реализации будет сообщено. По тому, как сперва его принял начальник, можно было ждать худшего, и Павел считал теперь дело наполовину выигранным. Хвастать полделом он не мог, но и признаться Наде в своем недовольстве ему не хотелось — он предпочитал, посмеиваясь, увиливать от ее расспросов.

— Какой башмак тебе больше жмет? — спрашивала она. — Ведомство или наука?

— Оба, — улыбался он.

— И никак не расшнуровать?

— Идет примерочка.

— Пристрелочка?

— Какая ты умненькая! В кого бы?

— Не в тебя ли?

— Очень просто. Боковая линия дает себя знать... Хотя, кажется, закон наследственности аннулирован?

— Что ты мнешься? — с поддельной строгостью приставала Надя. — Я ведь отлично знаю — тебе не дает спать твоя минометная идея.

— Капелька моя, тебе что миномет, что пулемет — все едино!

— Вот и ликвидируй мою неграмотность.

Он смеялся, и они болтали дальше. У них было свободное время — на вечер заказан телефонный разговор с Тулой («Нет, я умру от счастья, когда услышу маму», — твердила Надя), билеты на утренний поезд обещаны наркоматом («Что ни толкуй, а товарищи в наркомате — золотые люди!» — говорил Павел).

После обеда в излюбленной Павлом пельменной они стали прикидывать — куда бы пойти, что посмотреть из невиданного, где послушать неслыханное, и Павел сказал:

— Тебя не удивишь, ты программу приезжих знаешь назубок — Третьяковка, зоопарк... А настоящей Москвы, поди, и не понюхала.

— Где она, настоящая?

— Хочешь, съездим. Посмотришь, между прочим, на одного художника.

— Художника?

— Да. Тоже настоящий... Ты его когда-то видала.

— Я?

— Забыла, конечно. Я тебя на школьную елку брал с собой, и один парень потчевал тебя леденцами.

— Ну, знаю. С которым ты в школе учился?

— Он самый. Знаменитым стал. Свое ателье имеет. В церкви.

— Сочиняй!

— А увидишь. Вон наш трамвай. Бежим?

И они побежали.

.

Это была церковка древних времен из тех Никол, которых на Руси никто не считывал, и вместе -- из тех легендарных «сорока сороков» московских храмов, какие не меньше четверти века ожидали обновления и наперегонки впадали в ветхость. Не то чтоб время выбросило их за борт бытия — напротив. Памятникам зодческого искусства существование обещано было законом революции. Об этом гласили охранные доски на седых стенах у намертво замкнутых врат храмовых притворов. Призвав

к обережению памятников и объявив их неприкосновенными, охранители искусств и просвещения распространили призыв и на себя: они десятилетиями не прикасались ко многим и многим древностям, так что и охранные доски обросли глубокими мхами. Никому, пожалуй, не верилось, что не так уж далек день, когда на солнышке заиграют тут либо там вековые красоты, похожие на сахарную роспись русских пряников, и наивно вонзят в поднебесье свои лазоревые, а то и золоченые куполки да копыя колоколен. Если же кто надеялся на такой красный день, то уж редко кому шло на ум воскрешение под куполами сурового церковного чиновачалия. Скорее думалось мечтателю о задорном состязании вкусов ярославских строителей с новгородскими, из которых каждый сам по себе и каждый хорош, — думалось о том, чтобы зодчим будущего сохранить во всем цветистом наряде причудливую гармонию издавнаго мастерства, чтобы она линиями своими пела в ясном воздухе и звала к новым напевам, как старая народная песнь зовет и приводит к еще небывалой музыке.

Церковка, о которой речь, проходила свои лихие годы. Ее обступали со всех сторон хоть и невысокие дома, но так кучно, что из-за них виднелись почти только купола да легкий, взлетающий с изящной неспешностью шатер колокольни. Может быть, укромность расположения здания, скрывавшая от прохожих полноту его прелести и уж конечно — охрannую доску, способствовала возникновению странного мира вокруг и внутри церкви. Снаружи камень ее настолько выветрился и вымылся дождями, что стал бесцветен, как руины какого-нибудь былого кремля в захудалом городишке. На шатре колокольни кудрявилась зелень, тянулись березки — две-три в рост человека. Но не этот упадок, довольно пространенный, поражал созерцателя. В ветхости даже есть своя притягательность — завзятые древлелюбы это знают. Посередине просторного двора, образуемого перенаселенными домами, церковь, будто магнит, подволокла к себе множество тесовых и фанерных пристроек — дровяников, сарайчиков, — так что церковные стены поднимались как бы не из земли, а из какого-то вала щепных отбросов.

Наде, когда она с Павлом вошла во двор, прежде всего бросилось в глаза это скопление трухлявых конур, баррикадами стороживших подходы к церкви. Павел, однако, уверенно провел Надю порядочным прогалом среди сарайчиков ко входу на колокольню. Он все приглядывался с любопытством к раскрытому от удивления взгляду племянницы, пока шли двором, но тут сказал:

— Не пугайся, козявка. Давай руку, я пойду вперед.

И они окунулись во тьму. Сначала внутри колокольни можно было двигаться, только нащупывая подошвами стертые кирпичные ступени. Потом забрезжило через узкий просвет в стене, и теснина каменной лестницы привела на площадку в пяточок, и с пятачка взметнулись перед Надей, чуть не торчком, ступени деревянные. Здесь еще посветлело, но не больше, чем сквозь бойницу в крепостной башне. Стало видно, что в колокольне тоже сколочены впритык друг к дружке, под лестницей и вокруг, дощатые чуланы и закуточки. И вдруг под самым Надиным ухом что есть мочи забил крыльями и прогорланил свое кукареку, как видно, браваый петух. Надя от неожиданности даже прижалась к Павлу. Но тотчас же всплыли снизу разноголосые отзвуки соревнователей изо всех дворовых курятников и сделалось весело, как в зорьку на деревне.

— Может, тут и козлов прячут? — сказала Надя.

— По запаху судя — да. Народ практичный! — ответил Павел и шумно распахнул тяжелую дверь в одно полотно.

— К вам позволите войти? Я с дамой.

— Фу, черт, Пашка!.. Дурак, напугал,— басисто раздалось за дверью.

Комната, откуда брызнуло светом, почти ослепила Надю — не столько, наверно, яркостью, сколько своим неожиданным возникновением из полумрака затаенности и захлавленной тесноты. Показалось, что комната не очень мала, привлекательна пестротой красочных пятен, даже уютна. Раньше могла она быть жильем звонаря либо кого из низших причетников церкви. Сейчас это было агелье художника.

— Ну как, монах? Спасаясь? — приветствовал друга Павел и потянул за собой мешкавшую Надю в комнату.

Едва она нагнулась под притолокой и шагнула через порог, как ей почудилось, что она выросла, а Павел, вровень с хозяином, стал чуть не великаном — так низок был потолок и крошечно свободное место посередине комнатенки.

Лицо художника раздвинулось в улыбке, и она не убывала, пока он чего-то искал подле себя, укладывал в раскрытый этюдник палитру, тыкал в кружку кисти и оттирал тряпкой пальцы. Он не торопился и все молчал, а взгляд поднял, лишь кончив дело и подав медленно руку.

— Чего ж не постучал?

Павел, смеясь, хлопнул приятеля по спине.

— Испугался небось, не описывать ли пришли твой скарб за долги?.. Гляди, какую я привел красавицу.

Художник только теперь всмотрелся в гостью. Улыбка его начала исчезать так же исподволь, как все, что он делал, будто тихо таяла под наступавшей серьезностью.

— Обалдел? — с гордым удовольствием сказал Павел.

Надя дернула его за рукав. Но он, не смущаясь, продолжал:

— Мы с тобой кончали школу, а ей было, поди, лет пять. Так она запомнила, как ты леденцами ее угощал. Вот, Надюха, он самый и есть — тот Ваня, а теперь незаслуженный деятель искусств.

— Правда, помните? — спросил художник вдруг с интересом.

— Да,— быстро отозвалась Надя.— Я бумажку помню. Синюю-синюю! Вы с елки сняли. И к вам подошел учитель и сделал выговор. Я страшно испугалась, что... отнимет!

— С елки?

— Да. Маленьким роздали гостинцы. А мне не досталось — я ведь была не школьница. Вы и сняли с елки.

— Известный нарушитель! — сказал Павел.— Можете теперь продолжать свой роман. Никто выговора не сделает... Чего ты меня за пиджак дергаешь? — обернулся он к Наде.

— Ну, что ж я-то! Садитесь, пожалуйста,— спохватился Рагозин.— Вот... на кушетку.

— А то куда еще, на краски, что ль, на твои? Меблировочка у тебя, маэстро...

— Почему же? — возразил Рагозин, бочком обходя Павла и выдвигая из-под маленького стола табуретку. — Прошу...

— М-да, проблема мебели, она, конечно... Кстати, Иван! О романах. Знаешь, мой кончился.

— Как так?

— А как, по-твоему, кончаются романы?

— Женился?! Врешь!

— Вот, подтвердит.

Павел подцепил Надю под руку, вскинул голову.

— Пиши патрет.

Рагозин недоуменно перевел с него глаза на Надю. Она вырвалась от Павла, пошла к кушетке.

— О ней подумал? — воскликнул Павел. — Она же мне племянница! Понял? А у тебя мысли... Ох, и народ, эти свободные художники!

— Много ты знаешь художников!

— Хватит одного тебя!.. Надя была свидетельница, понял? На свадьбе. А жена... Да ты же знаешь! Про Машу мою. Забыл?

— Когда успел-то?

— В обрез, понимаешь. В канун войны. Угадал!

— Запоздай на день — не женился бы? — улыбнулся Иван.

Павел подумал, закачал головой.

— А знаешь? Поразмыслишь... Слушай-ка, с мсией сестрой что случилось, с матерью Надиной.

И он стал рассказывать об Анне Тихоновне.

Надя оглядывала комнату. Больше всего на стенах висело маленьких холстов — в размер обычной книги, и такая же холстинка прилажена была к листу фанеры на мольберте, который стоял рядом с дверью. Единственное окно находилось за спиной у Нади, над кушеткой, и прямой свет падал на мольберт. Боковые стены освещались скудно, приходилось всматриваться, разбирая, что же написано на маленьких холстах. Это были этюды, может быть, среди них и эскизы будущих картин, вроде двух больших, висевших повыше. Все работы передавали один и тот же мотив отражающегося в водной поверхности света: болотце или уголок пруда, речка, лужица после дождя и над ними — прорвавшийся сквозь облака сильный луч, либо наполовину солнечное, наполовину притушенное небо, либо рассыпанные просветы в густой листве деревьев. Но каждый из этих пейзажиков написан был в особом колорите, в свою особую минуту освещения, и одинаковость мотива пересиливалась различиями тона, и ни один кусочек холста не повторял другого.

— Вы всегда ландшафты рисуете? — спросила Надя, когда, замолчав, друзья уселись.

Павел схватился за голову:

— Ах, козявка! Разве можно такое сказать! В алтаре искусства! Я раз этак ляпнул, так чуть за порог не вылетел. «С глаз долой, — крикнул на меня маэстро, — ежели ты написанное не способен отличить от нарисованного!»

— Не дури, — остановил Иван.

— Я потому спросила, — совсем тихо сказала Надя, — что есть художники, которые ничего... которые только одни ландшафты делали. Ведь, например, Левитан, он... Правда?

— Нет, я писал всякое, — улыбаясь, ответил Иван. — И рисовал, конечно. А теперь другую цель поставил. Студию такую пройти. Частную задачу, в сущности. На опыте ландшафта... Такая полоса у меня.

— Понимаешь, Надя, у него вся жизнь полосатая этакая, — с видом знатока обстоятельств пояснил Павел.

— И портреты тоже... — начала и приостановилась Надя, но все-таки выговорила будто не свое слово: — П и с а л и портреты?

— Писал. Сейчас перестал. Сейчас другое.

Иван отвечал отрывисто. Улыбка уже опять исчезла, он пристально глядел Наде в лицо и, стараясь увидеть его сбоку, клонился на сторону вместе с табуреткой.

Надину голову окружали прозолоченные через окно, слегка косматые волосы. Выступавшее из солнечного круга лицо было затенено, но не контрастно, а мягко — на нем лежало рассеянное отражение волос, мерцавшее и в больших глазах.

Неостойчивая табуретка скользнула под Иваном, он чуть не свалился. Все трое засмеялись. Он, однако, сразу же нахмурился, сказал решительно:

— Ваш портрет написал бы. Сейчас.

— Что вы! — весело вскрикнула Надя.

И, вторя ей, Павел:

— Ага! Уже новая полоса!

— Старая! — строго отрезал Иван. — Когда хотите? Сегодня? Завтра?

Надя вдруг отвернулась от его настойчивого взгляда. Точно самой себе, едва внятно, пробормотала:

— С меня? Что я, героиня какая?

— Жалко, друг мой, но гениальная идея неосуществима, — со вздохом объявил Павел. — Отбываем завтра с утренним тульским номер...

В этот момент послышался стук палкой в стену и потом голос: «Дома, Ваня?»

— Гривнин! — сказал Иван и бросился к двери.

2

Никанор Никанорович вошел не один — за ним с оглядкой вдвинулась в комнату фигура очень импозантная в летнем костюме с платочком, небрежно торчавшим из нагрудного кармашка, и с панамой в руке.

— Ты, Ваня, уже знаком, — кивнул на своего спутника Гривнин, — представь твоим гостям меня и, — он отвесил вбок нечто вроде поклонна, — Пастухова, да-с, именно, — зачем-то присоединил он многозначительно, — Александра Владимировича.

Пастухов окинул глазами стены, ища, куда бы пристроить панаму, и, не находя ей гвоздя, с улыбкой надел ее на кисти, букетом торчавшие в кружке. Жест мог быть понят не иначе как заявка, что обладатель панамы намерен вести себя у живописца по-свойски. После этого вступление все молча поздоровались. Казалось, что теперь комната только-только вмещает собравшихся и что больше всех потребовалось пространства новым пришельцам.

Надя, по девичьей привычке уступать место старшим, поднявшись, не хотела снова садиться, пока Пастухов почтительно не взял ее за локотки и не заставил сесть. В каком-то повороте к свету он неожиданно узнал ее и с живым удивлением спросил:

— Землекоп?.. Не ошибаюсь?

Она наклонила голову. Он спросил, можно ли сесть рядом. Она подвинулась.

Гривнин, спиной ко всем, перебрасывал взгляд по стене от одного этюда к другому и одновременно говорил с Иваном, и с самим собой, и как будто со всеми разом.

— Значит, вот, Ваня, по военной части Александр Владимирович меня устроил. Поладили с газетой. Мы с ним только что из редакции... Этот закатик давно сделал?.. Вижу, что новый. Так себе закатик... Да, милоч. Летчиков буду рисовать. Редактор обещал направление на аэродром. Как летчик какой с задания приземлился, так я сейчас — рисунок. И в газету... Ну-у, это ты начернил! Сажа, брат, сплошная. Ха!.. А что у тебя, Ваня, с военкоматом? Опять повестку ждать приказали? Вон Александр Владимирович от верного человека слышал — не сегодня-завтра приказа ждут народное ополчение формировать. Как в двенадцатом году. Куда, брат, пошло... Это все старенькие. Этот видал. И этот тоже... Ты бы записался в ополчение-то. Не ждал бы повестки. Теперь, наверно, запишут. Раз уж ополчение.

— Я бы записался, — вдруг во весь голос сказал Павел.

— За чем же дело? — спросил Иван.

— За тем, что дело не пускает.

Пастухов разглядывал Павла, каждую черту его лица отдельно, будто вместе они не поддавались разгадке — что за молодец, осыпанный веснушками под цвет своих глаз, сидит рядом, преспокойно тукая тяжелыми пальцами по коленкам.

— Вы тоже художник?

— Я-то?

Вопрос так удивил Павла, что Надя, посмотрев на него, со смехом закрылась рукой. Рассмеялся и Рагозин.

— Пожалуй, нет,— ответил он за изумленного приятеля.— Художник свою работу показывает, а он свою прячет.

— Точно,— сказал Павел.

— Прячете? — спросил Пастухов, не спуская с него любопытных глаз.

— Прячу.

— Что же... может — пушкарь? — допытывался Пастухов.

— Вроде того.

— Тульский мастер Левша,— усмехнулся Иван.

— Не хвали, сглазишь,— польщенно сказал Павел.

Гривнин только на секунду отвлекся от рассматриванья этюдов — когда Павел заговорил. Потом он снова повернулся к стене. Отстраняясь от одной холстинки, приближаясь к другой, он вдруг запрокинул голову и с открытым ртом остановился на верхней с краю. Постучав под нею концом палки, объявил:

— Отличное решение. Удалось. Удалось, говорю, Ваня. Найдено!.. Александр, посмотри, каково? Нет, подойди-ка. Стань сюда. Нет, левее. Тут отсвечивает. Еще чуток. И подальше. Вот так.

Он уступил свою позицию и старался зафиксировать на ней шагнувшего к нему и медлившего Пастухова, подтягивая его к себе. Александр Владимирович глядел на этюд недолго и уже начал коситься на соседние, а Гривнин, нет-нет пристукивая палкой по стене и одной рукой все жарче обнимая, едва не тиская друга, говорил:

— Колоритик-то пойман как! Не спутаешь с иным. Не просто — утро. Не лубок малиновый какой. Ты всмотришь. Влажность слышишь? И мягко. Воздух, чувствуешь, как мягок? А холодноват. Пробуждение. Самое первое. До солнышка. Предчувствие. Только предчувствие, что вот-вот к восходу... Ваня, часа три, что ли, было?.. Начало четвертого. Ага. Так оно и есть. Верно. Ночь только-только надломилась. Еще не уходит. А простор уже меж деревцами показался. Без всяких пурпуров показался. И ах, как влажно... Аж знобит! Здорово, Ваня!

Пастухову слышно было, как под пиджаком Гривнина съезживается и расправляется на каждом слове беспокойная грудь. И он с деликатностью отвел от себя его руку. Тот понемногу смолкнул. Высвободившись, Пастухов не отошел от стены, но так же, как Гривнин, начал водить взглядом от одного этюда к другому. Все чаще внимание его задерживалось. Никто в эти минуты не вымолвил ни слова. Он оторвался от осмотра, проделал свое обычное медлительное омовение лица ладонью, подсел к Наде. Нацелился на Рагозина, особенно продолжительно помигал, вдруг произнес отрывисто:

— Очень хорошо.

Безмолвие показалось исполненным необыкновенного значения, и, дав время, Пастухов счел нужным повторить те же два слова еще отрывистее и много тише. Но молчание длилось. Он понял, что от него ждут чего-то существеннее похвалы.

— Интересно. Интересно потому, что в каждом этюде кисть стремится к одной цели. И потому что цель эта, по-моему, самое ядро

живописной задачи: битва света с тенью. Не новая задача. Однако самая важная из старых и новых.

Он осмотрелся. Гривнин закусил верхнюю губу, сердито вперив розововекые глаза куда-то за окно. Сосредоточенность Нади была слегка испуганной. Павел улыбался чуть что не свысока. Один Рагозин хранил выжидательную серьезность, наверно в предвидении критики: обычай подперчивать одобрение хулою, как видно, был ему знаком. Но Пастухов не думал хулить — на него нашло добродушие и хотелось поразмыслить.

— На большинстве ваших этюдов, — сказал он, — передний план чересчур настойчиво зовет к себе глаз. Тут, мне кажется, излишки света. Все слишком ясно прописано. Я хочу прежде всего смотреть и видеть главное из того, ради чего написан этюд или картина. А главное вовсе не спереди... Вы помните, конечно, знаменитую копию Рубенса с картона Леонардо «Битва при Ангиари»? Помните там фигуру воина, который уползает из-под коня? Кони с всадниками сбились в смертельной схватке. Скрестились сабли над головами, столкнулись щиты, ломаются копья. Лица всадников искажены ужасом гибели и злобою ненависти. Поверженные уже затоптаны копытами. Глаз ваш хочет распутать жуткий клубок вздыбленных коней с людьми — хочет и не может. Но и оторваться от этого центра события на картине он не может. Только разглядывая подробности, глаз доходит до того, что к нему ближе — до уползающего воина. Он весь в тени щита, которым прикрывается. Чтобы рассмотреть его перекошенное ужасом лицо, нужно всматриваться. Его фигура тоже, конечно, нужна замыслу художника. Но она не в центре замысла, не в центре события. Она лишь дополняет событие, хотя воин ползет с картины прямо на вас. Он хочет выйти из игры, бежит прочь от схватки и, может быть, будет раздавлен копытами. Но дело не в его драме, не в нем самом. И художник лишает его вместе с передним планом силы света и отдает свет центру изображенной схватки...

Пастухову показалось — лучше не скажешь. Внимание к его речи было так глубоко, что все оцепенели. Но он тотчас подумал: не оттого ли оцепенели, что он говорит ни к селу ни к городу? И он добавил к речи полушутливую концовку-мораль:

— Ищешь славы — не бейся за передние места, а бейся за место в центре схватки. Так в живописи. А может, и в жизни.

Сказал и улыбнулся.

— Цвет забыл! — неожиданно крикнул Гривнин.

— То есть как забыл? — опешил Пастухов.

— Неисчислимое множество красок в мире забыл! Что значит твое утверждение? Свет — ядро живописной задачи? Бумага с куском угля! Воззрение, прости меня, фотографическое.

— Не вали на меня бог весть что, — обиделся Пастухов до такой степени, что губы его будто даже вспухли.

— Сила света — не все в живописи. Светлота одна, да тон с оттенками разны. Взгляни на эту сотню оттенков, — неся Гривнин, поводя рукою по стенам. — А ну-ка, пусть это снимет фотограф да разложит рядышком свои карточки. Чем они будут розниться друг от дружки? Потемней да посветлей, потускнее да поярче. А кровь — тью-тью! И сердце — стоп! — Он шагнул к Пастухову и заговорил вкрадчиво: — Павлова-физиолога портрет помнишь? Нестеровской кисти. Видел? Так вот. Тон найден! Тон! Измени колорит, хоть самую малость, — пропало все. Дьявольский колорит отыскан! Будто букетик незабудок в ручку миловидной девочке вложен. Под стать невинности совершенной. И кто же изображен? В богоугодном, небесном тоне незабудок — кто? Не инок какой блаженный замечтался о вечном спасении души, как раньше у

Нестерова бывало, бывало! Нет! Ученый! Дерзкий экспериментатор, который раскрывает дорогу познанию тайны самой жизни! Мозга, мысли человеческой гайны, а может, и души!

— Постой, вития,— сказал Пастухов, поднимаясь с необычной для него поспешностью.— Что, по-твоему, в центре изображения? Да, да, на портрете ученого,— что в самом центре? Кулаки в центре! На стол с железной силой положенные... нет, не положенные! С железной силой вдавленные кулаки! Глаз прежде всего схватывает на портрете эти кулаки ученого. Вот неожиданность, вот открытие! А в нем весь смысл. Наука — это могущество, добываемое борьбой, утверждаемое в схватке, в драке с тьмою — кулаками!

— Правильно! — внезапно воскликнул Павел.

Пастухов покосился на него.

— Оружейнику приятно слышать?

— Тем держимся,— с удовольствием сказал Павел,— тем и ученых держим.

— Спасибо за... поддержку. Я, Никанор, не отрицаю того, что ты говоришь. Да, голубой тон. Все собою обнимающий тон портрета. И этот тон насквозь пронизан светом, господствующим на полотне. И не портрет это вовсе. Больше! И даже больше, чем картина. Это концепция, вот это что. Она-то и разит светом. Там, за колоссальным окном,— целый мир, голубой мир. Очень реальный к тому же: там только что достроенные домики виднеются — это ведь Колтуши, городок ученых физиологов. Будущее в настоящем. Голубое, конечно, будущее, как всякая мечта. Но... кулаки! Голубая, незабудковая мечта, кусочек мечты, уже отвоеванный у тьмы в яростной драке. Павлов-то драчун был! — вдруг хмыкнул Пастухов и всею своей изящно облаченной фигурой и со своей плавностью повернулся к Рагозину: — А вы? На чьей вы стороне?

— На своей,— спокойно ответил Иван.

— Честь и слава! Но в чем она, сторона ваша?

— Самое главное — связать,— сказал и замолкнул Иван, словно решив, что спор исчерпан.

На него смотрели, как раньше на Пастухова, молчаливо ждали, подталкивали молчанием. Тогда он, перемогая неохоту говорить, начал на свой лад осекать слово за словом:

— Вы только про одну какую часть. Если больше одну или другую видно — чепуха! Надо, чтобы целое. Это есть труд. А то колорит хорош — композиция ни к черту. Либо мрак вокруг, а предмет словно ножницами вырезан. Пишут маслом, но чтобы мазок — мазком не пахнет. Тушуют, а не пишут.

— Насчет кулаков-то не забудь,— подсказал Павел.

— Не знаешь меня? Я за свое бьюсь. (Он показал на стену.) Никанор Никанорыч почему спросил, в котором часу писал я тот вон этюдчик? Я на этюды хожу, как на рыбалку — с ночевкой. Забрезжит — не зевай. Свет — хозяин не только краскам. Он и в композиции хозяин. Выберешь другой раз хорошую точку. А тени сместились — и все рухнуло. Наблюдаешь в шесть утра — чудо! Четверть седьмого — куда ни шло. А в семь уже скука. Время построило, время и поломало. А живопись... Ну, живопись,— повторил Иван, задумываясь.

— Синтез,— сказал Пастухов.

— Рыбалка,— сказал Павел.

Гривнин сделал два стремительных шага (он и в тесноте двигался так, что казалось — бежит), схватил Ивана за руку, стал жать, трясти. Все заулыбались этому порыву, и с улыбкой поощренья Пастухов, опять усаживаясь, обратился к Наде:

— У нас есть молчаливники. Вот вы.

Все посмотрели на нее. Она сидела на самом краю узенькой кушетки и следила за тем, чтобы как-нибудь не коснуться свободно восседавшего посередине Пастухова. Едва он повернул к ней голову, как она отодвинулась еще больше, чуть не забившись в угол.

— Почему... Почему я? — спрашивала она неслышно.

— Да, да, вы! — сказал Иван.

— Я не разбираюсь так... чтобы...

Пастухов вдруг перешел на ласковый язык детского сада:

— Нравятся вам эти картинки?

Надя помолчала.

— Я думаю — да.

Опять все улыбнулись. Тогда она выдвинулась вперед. Осмелевшим голосом, глядя прямо в глаза Ивана, спросила:

— А у вас есть что-нибудь совсем законченное?

— Совсем? Нет, — ответил он и нахмурился.

— А такое начатое, которое вы хотите непременно закончить?

Вопрос был не столько лукав, как суров. Никто не двинулся. Набухнул и замер под пиджаком торс Гривнина. Ждали ответа.

— Если начну, про что с вами говорил, то закончу, — медленно сказал Иван.

— О чем говорил? О чем, Ваня? Мне не говорил, нет? — взволновался Гривнин.

— У них секретное соглашение! — посмеиваясь, сказал Павел.

— Никакого соглашения нет, — отозвалась Надя.

— И не будет? — спросил Иван.

— Нет.

— Может, подумаете?

— Мне думается о другом.

Надин голос был неуступчив. Наблюдавшему за нею Пастухову не верилось, что перед ним — девушка, которая смущенно поднялась, когда он здоровался. Надо же было заговорить с нею, как с ребенком! Не раскрывалась ли теперь загадка, заданная ему при первой встрече? И он спросил со всею полнотою уважительности:

— Не скажете, о чем таком другом вам думается?

— О чем, наверно, думают все.

Так вот он, ее сосредоточенный взор. Где же ее тогдашняя, при встрече, безмолвность? Девушка в светлом платье, с железной лопатой в руке — она и не она. Разгадать ли ее Пастухову — неизвестно. Но она его разгадала: он думает о чем все, это так.

— По-вашему, канавы, которые вы ходите рыть, понадобятся? — спросил он.

— Раз рюют — значит, могут пригодиться.

— Могут! — воскликнул Гривнин и вновь беспокойно задвигался, всех спрашивая, за всех отвечая. — Так ты мне про это милейшее существо рассказывал, Александр?.. Это вы? На участках наших оборонные позиции возводите — вы? Вижу, вижу. Та самая? Комсомолка? Не иначе. Само собой. Понимаешь, Ваня? Каждый нынче находит свое место. И твое место ожидает тебя. Со всем лучшим, что ты можешь. и с этим, с этим, — он потыкал палкой на расхваленный этюд. — Все пригодится, все. Хочешь, тебя Александр Владимирович устроит при газете? Как меня. Поможешь, Александр? Согласен, Ваня? Или в ополчение лучше?

— Такому драчуну чего лучше, — весело одобрил Павел. — Поднимайся, Надя, нам идти.

Гривнин тоже спохватился, что пора, и все начали скучиваться, точась и шаркая по половицам. Он успел еще раз кинуть глазом все на тот же этюд, сказал негромко:

— Вделай в рамочку, Ваня. Я покупаю... Не согласен?.. Ну, пода-ри! — вдруг крикнул он и от души захохотал.

Старшие вышли первыми. Павел хотел на прощанье обнять своего друга, но Иван протолкнул его вперед.

— Иди, я провожу.

Когда окунулись в темноту и стали на ощупь спускаться, Иван ска-зал, чтобы Надя держалась за него. Он сам положил ее руку себе на плечо и пошел спереди. Ей показалось, тьма была гуще, чем при подье-ме, а вниз идти куда страшнее, чем вверх. Гудел, всплывая, точно из-под земли, голос Гривнина, и чертыхался Пастухов. Как только кончилась деревянная лестница и на площадке засветлело, Надя потянула к себе руку, но Иван крепче ухватил и прижал к плечу ее пальцы.

— Вы позируете мне, я знаю, — уверенно сказал он. — Назначайте скорее, когда?

— Пустите. Здесь светло.

— Когда?

— Я хорошо вижу. Пустите.

Но темнее становилось опять, и он не выпускал ее пальцев, твердя чуть не на каждой ступеньке свое «когда».

Только с заглянувшим в дверь солнцем она высвободилась и жестом непослушницы переплела руки за спиной.

На дворе стояли Пастухов с Гривниным и Павел, заломив головы, разглядывая диво-шатер звонницы с березками, оживлявшими шевеленьем зелени его причудливое каменное покрытие.

— Тихая жуть! — вздохнул Пастухов и поглядел на Ивана. — Не боитесь — рухнет?

— Я давно толкую ему, — сказал Гривнин, — выбирайся отсюда, пока не провалился в тартарары вместе с колокольной. Он знай смеется: в семнадцатом, говорит, веке камень клали на совесть — перестоит всех нас. Правда, Ваня, смеешься?

— Правда, — ответил Иван без тени улыбки. Он так и оставался серьезным, пока дошли до ворот и стали прощаться.

Тут Наде ее новые знакомые показались обычнее и проще. Она по-веселела. На упрямое последнее «когда» Ивана она ответила бойким «когда-нибудь!» и не удержалась подшутить над Пастуховым.

— Опять за лопату? — спросил он.

— Надеюсь, вы тоже?

— Где наше не пропало! — в лад ей махнул он рукой.

Им было не по пути, они расстались на улице, как встретились на колокольне, — пара налево, пара направо.

Один на один с Надей Павел сразу же рассказал ей о своем знаком-стве с сыном Пастухова перед отъездом из Тулы.

— Я чуть не ляпнул об этом, когда нам представили самого папашу.

— А отчего бы не сказать ему?

— Да похоже, у сынка с ним врозь. Чужая душа потемки. Не ме-шайся, пока не позовут... Как тебе сам-то? Ведь знаменитость!

— Пыжится, по-моему.

— Да, мудрит. Учитель-то Ивана понятнее будет... А Иван? Каков он?

— Он — да.

Этим расплывчатым Надиным «да» подытожены были необыкновен-ные в ее жизни впечатления от похода в мастерскую художника. Иные думы, иные чувства звали ее к себе. Павел должен был управиться со своими хлопотами в городе, ей предстояло поехать распрощаться с до-мом Комковых.

На другое утро их провожала с поездом Женя.

Вагон, в котором они устроились, был последним. Наде кто-то помещал обменяться взглядом со своей любимицей, когда поезд тронулся. Через плечо проводницы она увидела, как Женя удаляется по перрону, спеша и не оборачиваясь. Боль сдавила Надино горло. Внезапное сознание, что она бросила свою Женьку в трудные для нее дни, напугало Надю. Слезы стали ее душить. Она закрыла лицо и долго не сходила с места. В грохоте, разгулявшемся по хвостовому вагону, она еле слышала голос Павла:

— Капелька, что с тобой? Что ты?

Он успокаивал ее, повторяя одни и те же слова, чаще и чаще, и ей хотелось больше и больше плакать.

— Ведь все хорошо. Едем домой, Капелька, домой.

— Это... это... — начинала она, стараясь не всхлипнуть, и наконец выкрикнула, уткнувшись лицом ему в грудь: — Это я... от радости, Па-авлик!

Глава пятая

1

Что было самым необыкновенным и поражающим человека в начальную пору войны — это быстрота событий. Внезапность, с какой война обрушилась на страну, задала не меру, а безмерность всему, что затем происходило час за часом во всем необъятном государстве, в его людских ульях, под каждой крышей, в любой семье, со взрослыми и детьми. Представление о том, что война — раньше всего дело военных, как будто вмиг отжило свой век: по-разному, но война коснулась всех сразу. В господстве этого всеобщего удела неисчислимо великое множество случайностей, из которых слагались отдельные судьбы. Иному малому челноку выдавалось дальнейшее плавание, другой большой корабль не терял из виду защищенную от бури бухточку.

Александр Владимирович Пастухов неожиданно остался один. Произошло это так.

Ездившая по своим хлопотам в город Юлия Павловна вернулась домой чрезвычайно расстроенной.

— Прости, Шурик, я должна тебе помешать, — сказала она, подходя к мужу, который сидел за столом и, едва слышав ее шаги, сделал вид, что углублен в работу. — Ты был прав — можно было не ездить. Платье не готово. Любовь Ивановна эти дни не взяла в руки иголку. Она проводила обоих сыновей в армию. Ужасно плачет. Я привезла платье домой. Оно сметано и пусть лежит. Я тебе хочу совсем не о том... Ты ведь знаешь, где живет Любовь Ивановна. Я подъезжаю к этой площади у Сазеловского вокзала, и можешь себе представить — невозможно проехать. Вся площадь — вся, вся! — покрыта людьми. Просто засеяна! Нет, я ничего подобного никогда не видала, и ты вообразить не можешь, потому что это не обычная толпа народа, а это... это густая-расгустая каша голов и тел, и они все, представь себе, не стоят, а сидят! Все до одного сидят прямо на земле, на бульжнике — там же, конечно, обыкновенный бульжник. Ну, и на узлах, на чемоданах прикорнул кто. И, Шурик, ты сейчас мне не поверишь, но знаешь, это все — дети! Дети и женщины, и, наверно, совсем без мужчин, я не видала по крайней мере ни одного мужчины. Может, они затерялись в этой гуще. Я начинаю спрашивать, что это значит, и вдруг мне говорят: это эвакуация! Какая эвакуация, откуда? Мне в ответ толстая такая тетя, облепленная малышами, точно клушка, прямо с земли: «Вот-те, говорит, и откуда! Из Москвы, говорит, откуда еще!» — «Как из Москвы?» Нет, Шурик, ты не

поверишь! Москва эвакуирует детей! С матерями, а которых без матерей, подряд всех, с нянечками, вообще с женщинами — детские дома, лагеря, не знаю там что. Но куда ж? А куда попадем, отвечают мне, — за Волгу, на Урал, а может, и в самую Сибирь, абы не к немцам. Меня просто ужас взял. Чего же, спрашиваю, расселись прямо на площади? Ждут поездов, а вокзал, перроны — все, все сплошь забито ребятишками. Представь только, Шурик, — солнце жжет немилосердно, кто полотенцем, пеленкой детишек притеняет, кто обвязался платочком. Много ведь есть и с грудными. От жажды все просто изнывают. Девочке одной, смотрю, мать из бутылки воды попить дает, а та глотнула, оторвалась, слезы на глазах: «Мам, она горячая»... Мать ей: «Не обожглась ведь? Ну, и хорошо». Ты представляешь себе?

Пастухов встал, двинулся было, чтобы походить, но уткнул пальцы в стол, опустил голову. Юлия Павловна передохнула. Поправив прическу, медленно и как только могла широко раздвинула веки.

— Был момент, я подумала, что каждый одет в светлое из-за этой жары, вся площадь белая сплошь, как известка, и это настоящая цель... если в самом деле вдруг налет! Раз уж эвакуируют — значит, ждут налетов, Шурик, ведь да?

Он не отвечал.

— Я еще подумала, хорошо, что наше бомбоубежище вполне готово, — сказала она и подождала, не ответит ли он.

Но он по-прежнему молча стоял с опущенной головой.

— Ты не видал, какой я приделала уютный колпачок на лампочку в нашем подzemелье? — спросила она повеселее. — Будет удобно читать.

Он резко взглянул на нее и тут же прищурился.

— Советую забрать туда спиртовку. Варить кофе. Будет еще уютнее.

— Ты опять чем-то раздражен, — с печальным укором сказала она.

— Я пойду нынче копать щель на соседнем участке со всеми вместе, — проговорил он настойчиво, будто заранее отклонял всякие возражения. — Я буду отсиживаться в щели, если случится налет. Вместе со всеми.

— Очень великодушно. Я тоже, конечно, рыла бы эти ямы, если бы позволяло мое здоровье. Но извини, твой возраст исключает земляные работы... И к чему было ломать нашу котельную?

Она сдержала себя, поднялась и скучно потянулась, точно от усталости.

— Я понимаю, тебе тяжело. Но от этого только тяжелее мне... А мне самой разве легко? До сих пор не знаю, что с кухней в Ленинграде. Я написала и тетушке, она молчит. У меня болит за нее душа. Было бы, наверно, лучше съездить к ней, узнать... Как ты смотришь?

— Пожалуйста, — мгновенно ответил Пастухов.

— В самом деле! — вновь оживилась Юлия Павловна. — Еще не известно, не придется ли перебраться к тетушке на какое-то время... Сегодня эвакуируют детей, завтра...

— Завтра — стариков! — грубо досказал он.

— Неужели, Шурик, ты обиделся? — улыбаясь, протянула она к нему руки. — Я думала сказать — завтра, может быть, Москву?.. У тетушки над нами все-таки будет крыша, если дача у нее не совсем сгнила.

Юлия Павловна уже готова была к своему поцелую примирения, но Пастухов уклонился, на ходу буркнув, что выйдет в сад.

Рассказ о детях, сидящих на площади, поразил его. Эвакуация детей из столицы продиктована была, разумеется, дальновидностью. Но какова же даль?.. Лишь только Юленька заговорила о налетах, он понял, что у нее уже есть свое готовое решение, к которому она непременно

будет его склонять. У него не было решений. Неопределенность намерений сделалась его обычным состоянием: Это тяготило его, потому что он предпочитал о себе думать, как о человеке, в общем, твердых желаний и действий. Чем очевиднее он теперь избегал принимать какие-нибудь решения, тем больше давал простора планам Юленьки, и это оскорбляло его. До ссор у них не доходило. Но не ссорились они именно потому, что он уступал ей во всем. Она чувствовала, что у него нет планов и ему ничего не остается, как уступить. А он не знал, что же его больше раздражает: сами ли по себе планы Юленьки, откровенно эгоистичные, или странная его неспособность им противостоять.

Они не ссорились, но не могли и поладить с тех пор, как из-за Юленьки он лишился случая повидать приезжавшего к нему Алешу. И что только не служило поводом ко вздорам!

Пастухов избегал ездить с Юленькой, когда она садилась за руль. Конь (как величал он свой «кадиллак») терял стать, почуяв, что за поворотом да опять взялись изящные ручки. Но заточиться на даче он не мог и незадолго до того, как была придумана поездка к тетушке, отправился с Юленькой в город.

Скрепя сердце он молча терпел толчки, рывки, внезапные остановки, пока мотор вдруг не отказал водителю в послушании. Сюрприз поднесен был при въезде в Москву и — что на грех случается чаще всего — посередине улицы. Подошел милиционер. Юлия Павловна озадаченно выскочила на мостовую, кинулась к капоту, с превеликим усилием подняла его и принялась что-то такое ощупывать на моторе. Милиционер приглядывал за ее ворожкой с полминуты, затем в мудром спокойствии удалился шагов на пять, стал спиной к машине и, подняв фуражку, обтер голову и шею огромным носовым платком.

Пастухов огорчительно наблюдал через стекло то за этой спиной с желтой портупеей и такой же желтой кобурой длиннейшего пистолета на поясе, то за взволнованными и беспомощными пассажирами белых, оголенных по самые плечи рук Юленьки. Она мало что разумела в моторе — ему это было известно, и он уже рисовал себе дальнейшее не менее ясно, чем равнодушно проницательный милиционер: будет остановлен какой-нибудь порожний грузовик, беспомощный «кадиллак» будет взят на трос, отведен в сторону, к тротуару, и оставлен там, пока не явится опытный водитель либо механик, который вдунет жизнь в заглохшее чудовище. Но этого водителя, этого механика должен будет невесть где отыскивать, упрашивать, умаливать не кто другой, как самолично Александр Владимирович. Пока же он приговорен изнывать во чреве раскаленного на припеке, омертвевшего своего коня.

Пастухов чертыхнулся, распахнул дверцу, вылез. Он стал тоже спиной к машине, не упуская из вида милиционера и ожидая, что тот вот-вот должен, говоря его языком, принять меры. И правда, милиционер вдруг поднял над головой, а потом вытянул вбок руку, перекрыв одну сторону движения. Пастухов решил было, что дело теперь явно за грузовиком и тросом, но ошибся.

Посреди дороги маршем близилась к милиционеру колонка красноармейцев. Дойдя до него, она по команде начала поворот на перекрытую сторону и зашагала к приземистому дому с вывеской «Фабрика-кухня». У подъезда дома строй сломался. Почти сразу от кучки отделился один красноармеец и побежал назад через дорогу, то ловко ныряя, то оставаясь навливаясь перед носом двинувшихся машин.

Пастухов увидел играющее ярким оскалом лицо, мигот признал в подбегавшем Веригина, да только и мог выговорить:

— Матвей!

Он тряс ему руку, быстро мигал, не отрывая взгляда от сияющего его лица, чувствуя, как все, что накопало в груди, разряжается удовольствием.

— Бедствие терпите, Александр Владимирович? Я сразу увидел вас,— весело говорил Веригин.— Да сержант сперва ни в какую! Я ему объясняю, что это моя на дороге стала,— Матвей тряхнул головой на машину,— надо, мол, помочь. Ну, ясное дело, шоффер шоферу кум. Валяй, говорит, чтобы только раз-два. Нас который день сюда обедать водят. Ни за что не пустил бы сержант, а с обеда — ничего, валяй, говорит, коли с пустым брюхом хочешь остаться,— это он так, для строгости.

Обрадованная и пристыженная своей незадачей, бросилась к Матвею Юлия Павловна и тоже горячо жала ему руку, лепеча о зажигании, которое в полном порядке, но почему-то, однако, теряется.

— Не должно быть,— веско отвечал Веригин.— Я вам, Юлия Павловна, говорил, подача у нас шалила. Не поспел я перед уходом заняться. Взгляну.

Все у него заладилось, как у хозяина, который отлучился из дома и через часок вернулся продолжать неконченную работу. Когда он продувал насосом бензопровод, снова подошел прилично неторопливый милиционер.

— Моя,— осведомил его Матвей, опять кивком показывая на «кадиллак».— Сколько лет водил. Да пришло время...— И он провел, для понятности, рукою от своей пилотки к сапогам.

Милиционер понаблюдал за его работой, покосился на Юлию Павловну.

— Любители! Все в одного,— невозмутимо сказал он чуть в сторону и удалился на свои, как видно, обычные пять шагов.

Мотор ожил. Веригин сел за руль, отвел послушную машину к тротуару. Тут приспел разговор по душам, и Александр Владимирович спросил, где же Матвей стоит и получил ли уже назначение. Веригин улыбнулся.

— Стоим в городе Энске. А направление, надо ожидать, будет в энский полк энской дивизии.

— Прямо секретная особа! — восхищенно сказала Юлия Павловна.— Нет, правда, где же вы?

— До прошедшей недели был на гипподроме.

— Как так? В кавалерию, что ли, попал? Что там, на бегах? — удивился Пастухов.

— Гараж! — со смехом сказал Веригин, но сейчас же нахмурился.— Попал я по специальности, в автомобильную роту... словом, одной части. Приказом командируют в тот же день наших ребят на приемку машин. И меня с ними. Приемка на бегах. Машины идут с утра до ночи. Всех что ни есть марок. Из учреждений, от торговой сети, а которые, вот как наша, от личных владельцев. Одним словом, мобилизация. Весь транспорт согнали. Со всей, почитай, Москвы. Шоферы руками разводят — вот это гараж! Из конца в конец весь гипподром. И все гонят. А как приказали наряды давать на выезд, которую куда, — тут началось!.. На весь гипподром нашлось одно ведро. А половина машин без воды — жара парит страшная. И кран всего только один подходящий, на конюшнях. У него давка. А из-за ведра — чуть не до драки... запомнят шоферы московские бега!

— Черт знает! — воскликнул Пастухов, с досадой хлопнув себя по коленке.

Веригин вдруг, точно заговорщик, тихо и крайне озабоченно спросил:

— Нашу еще не истребовали?

Вопрос задавался, вероятно, не без лукавства. Заметив, что у Юлии Павловны на секунду перехватило дыхание, Веригин добавил:

— «Кадиллак» один тоже доставили на бега. Как миленького. Похуже нашего будет...

— Сдавать придется? — спросил Пастухов, и опаска послышалась в его голосе.

— Да ведь сдают... Насчет нашего — что может остановить? Иностранная марка. Запасных частей, сами знаете, никаких. Начальники, конечно, могут позариться. Им что! Поездил — бросил. Но если вам хлопотать — может, и не заберут.

— Разумеется, будем хлопотать, — словно опомнившись спохватилась Юлия Павловна. — Я понимаю — грузовики или, пожалуйста, «газики», «эмки». Но к чему на войне «кадиллак»?

— Сгодится, Юлия Павловна. Текущий момент нынче такой, что все сгодится. Вроде — куча мала.

Веригин сказал это шутливо, но и наставительно, так что обидеться было нельзя, а посмеяться — неловко. Он тотчас заторопился.

— Бежать надо. Него и впрямь оставят меня без приварка.

Уже распрощавшись и захлопнув за собою дверцу, он просунул голову в окно.

— Конечно, если не обидитесь, Юлия Павловна, с просьбой я. Есть у меня охотничьи сапоги хорошие. Подкладка меховая. Жена скорей всего тоже как бы не уехала куда с заводом со своим или что другое. В комнате сапоги оставлять — неверное дело. Пропасть могут. Вещь ценная. Сохранить бы. Да еще носильное какое, из нового. На случай, если вернусь, конечно... Так, может, позвольте — в доме у вас чтобы полежало где? Пока, конечно...

— Матвей Ильич! — растроганно вскрикнула Юлия Павловна. — Да приносите, присылайте, хоть сапоги, хоть что еще! Какой может быть разговор!..

— Очень даже благодарен! — как-то неожиданно по-военному отозвался Веригин и вытянулся, взяв под козырек, перед машиной.

— К лицу, к лицу вам форма, Матвей Ильич! — совсем расчувствовалась Юлия Павловна.

— Это конечно. Форма народу подходящая. А сапоги вам занесут, — довольный, отозвался он и побежал через дорогу.

Сейчас же, как он исчез из вида, Юленька взволнованно объявила, что надо самым энергичным образом добиваться, чтобы автомобиль остался в неприкосновенности.

— Ты должен, Шурик, получить бумагу... я не знаю, документ, грамоту...

Она уже вела машину, и Александр Владимирович приструнил ее:

— За рулем не разговаривай.

— Сегодня же надо узнать, от кого это зависит. От военных или, может быть, от исполкома?

— Молчи.

Но потух зеленый глаз семафора, и, затормозив, Юленька со всею скромностью упрекнула мужа:

— Ты сердисься, потому что я плохо понимаю в моторе.

— Желаю тебе, чтобы пришлось середь улицы менять колесо.

— Шурик!..

Может, и в этом случае Пастухов не перечил бы Юленьке, а уступил. Но случай-то казался исключительным: хлопотать об автомобиле пришлось бы не ей, а самому Александру Владимировичу. Но ему легче было изо дня в день пререкаяться, сидя дома, чем обивать пороги канцелярий и улыбаться незнакомым начальникам.

Временами его охватывала усталость от этих разногласий — невмочь становилось говорить обиняками, и он с тоскою ждал часа, который наконец взбесит его и он покажет свой норов. Юленька не уставала. Он сказал ей однажды, что она действует по закону капли воды, частым падением долбящей камень. После этого, являясь к нему со своими заботами, она стала шутливо говорить: «Я пришла опять капнуть». Свой обычный поцелуй она сопровождала полупшепотом: «Милый мой камень!» Ему это надоело, он начал злее фыркать, и она как-то обиделась не на шутку:

— Тебя немислимо трудно убедить!

— Легко убедить только равнодушных, — сказал он, ставя точку на разговоре.

Он не считал себя равнодушным. Он с наслаждением перевинтил бы в себе винты, на которых держалась его жизнь. Но их заела ржа. А главное — чем заменил бы он их? Что должен он делать? Не проще ли не делать того, чего он не должен?

Он смотрит через окно на гараж. Коня его еще не увели. Но придут уводить — он не шевельнет пальцем. Или нет — он сам отопрет гараж, во всю ширь растворит ворота и хлопнет ладонью по капоту «кадиллака», как тот отменный конюх, что хлопнул по шее свою любимую кобылу, когда колхоз сдавал лошадей в армию. Да, так сделает Пастухов. Не иначе. Прощай, коняшка! Александр Владимирович не пойдет по начальству на поклон, чтобы оно вошло в положение немолодого (придется ведь сказать — старого) человека, желающего (надо будет уверять — вынужденного) ездить в город непременно на «кадиллаке». Не пристыдили бы! Отдают же люди по доброй воле жизнь свою на защиту родимой земли, а ты чего жадничаешь, дружище? Не смерти ведь твоей хотят. Уж не пойти ли Александру Владимировичу по начальству не на поклон, нет, а чтобы сказать: возьмите, забирайте скорее моего коня — все ворота для вас настезь, а мы обойдемся? Но зачем он будет делать то, чего не должен? Да и язык не повернется выговорить «мы», когда Юленька только и твердит, что обойтись без машины невозможно. Назло ей он ничего делать не собирался. Он лишь усвоил, что у Юленьки прошла пора, когда влюбленная рада слушать своего возлюбленного, и наступило время, когда она только говорит сама.

Потому-то с легким сердцем и отпускал он ее к тетушке. Можно отдохнуть от споров, да и машина хоть на короткое время с глаз долой: Юленьке посчастливилось договориться о поездке со старичком шофером. Ну, и счастливый путь!

2

На другой день после решения отпустить Юлию Павловну Пастухов почувствовал себя очень свежим. Утро сияло. До зноя было еще далеко. Он надел русскую рубаху, отыскал давнишний ременный пояс. Проходя комнатами, старался не шуметь и по шевеленью за дверями Юленьки понял, что там укладываются чемоданы. В кухне он выпил кружку молока, отрезал хлеба. Никто не видел, как он вышел из дома. Пожеванная хлеб, он брел участком, пока тропа не вывела через калитку в соседний густой лесок. Скоро донеслись голоса и шум работы. Он пошел живее.

Две срубленные полнорослые ели лежали рядом, закрывая место, где копошились люди. Комель одной был уже очищен, и мужичонка, раздвинув и согнув ноги, словно верховой, тюкал топором, обрубая лапчатые сучья. Пастухов узнал Тимофея Ныркова и постарался обойти его незаметно.

Людей на работу вышло не больше десятка, мужчин, кроме Тимофея, всего двое, сидевших с папиросками на нераспиленной лесине. Щель была уже выкопана и во всю длину покрыта бревенчатым настилом. Несколько женщин, стоя на отвалах вынудой земли, заваливали ею бревна. Некоторые знали Пастухова, поздоровались, шепнули о нем товаркам, и тогда работа начала приостанавливаться.

Был момент растерянности Пастухова, когда привиделась ему пражота недоумения в удивленных женских глазах и улыбках: «Этот чего заявился?» От неловкости он сказал самому себе, одергивая и ощупывая пояс: «Вырядился, дурак!» Особенно смутило, что женщины разглядывали его сверху, с земляных бугров, а он один стоял перед ними внизу в своей долгополой рубахе. Но как раз в это мгновение, будто из-под почвы, всплыл перед ним Тимофей — видно, заметил его и шел по пятам.

— Побаловаться желаете, Александр Владимирович? — спросил он с усмешливым почтением.

Пастухов не сказал ничего, но что-то толкнуло его в слова Ныркова. По оползавшим под ногами комьям он взошел на бугор, выдернул воткнутый в землю заступ и не своим, а каким-то пастырским голоском (позже не мог понять, откуда взялся у него противный, словно бы даже с петушиной голос) воззвал негромко:

— Ну-ка, взялись, соотечественницы!

Раздались смешки, и с края звонко долетел вопрос: «А где вы раньше были, соотечественник?» — но понемногу женщины стали брать за лопаты.

Сначала Пастухову казалось — дело у него спорится. С гребня отвала кидать землю было нетрудно, она подсохла, рыхлые комья сыпались от легкого толчка чуть не сами собою. Но чем глубже, тем плотнее слежалась глинистая сыроватая земля, тем крепче она налипала на заступ и с каждым копком скидывать ее делалось тяжелее. Пастухову не хотелось сдаваться. Не так уж давно миновало время, когда он в охотку перекапывал садовые гряды. С лопатой он, бывало, обходился бойко.

Но у него внезапно огрузнели ноги и похолодевшими ладонями он ощутил, как предательски поскальзывают руки по черенку заступа. Женщина около него сказала:

— Взятьём, отец, не возьмешь. Передохни!

Нырков, приглядывавший за ним, подошел, тронул его за локоть.

— Не такие ваши года, Александр Владимирович. Ступайте-ка на бревнышко.

По неожиданной участливости Тимофея Пастухов понял, что, наверно, изменился с лица. В ту же секунду голову его оваяло странной прохладой, и он увидал, что ели в лесу быстро меняются друг с другом местами, перебегая и клонясь.

Тимофей свел его с бугра, усадил. Он не противился. С закрытыми глазами он сидел на лесине, где раньше, покуривая, отдыхали рабочие. Женщины перестали кидать землю. Что они смотрят на него и что Нырков стоит подле — он знал, хотя и не успел увидеть. Ему точно бы под сказали, что за ним следят. Спустя недолго ему захотелось проверить — следят ли? Он приоткрыл глаза. Опять перед ним развернулся лес. Деревья все еще делали перебежки, но плавнее, чем прежде. В их кружении было что-то привлекательное, и он чувствовал бы себя уже лучше, если бы не начинало томить, как перед тошнотой.

— Молоко! — вспомнил он брезгливо.

Вдруг явилась ясная мысль, что ему нельзя больше здесь оставаться, что он осрамился и сидит на посмешище людям, на позор и свое несчастье. Он поднялся. Перемогая неуверенность, слабым шагом пошел, не слушая голосов, которые останавливали его. Он слышал только, что

за ним следом тащится дядькой Нырков. Он боялся, как бы не прорвалось желание крикнуть ненавистно, чтобы тот отстал: почва под ногами зыбилась, упадешь — кто поможет встать? В дом он входил, держась за что попало неверными руками. Холод встряхивал его тело. Он все-таки взобрался кое-как к себе наверх.

Юленька, догнав его, ахнула. Вся ее речистость исчезла. Зато жаром полыхнуло от ее рук, с женской отдачей проявивших и умение помочь, и складность. Раздев, уложив мужа, она побежала готовить грелку и расспрашивать Ныркова — как же все случилось.

Тимофей рапортовал с подробностями и, само собой, приврал, что кабы не он — вряд ли доплелся бы Александр Владимирович до дому, так бы и лежал плашмя, покуда его не унесли бы.

Задачей, не терпящей ни минуты, было — решить, куда, за каким доктором посылать? Юлия Павловна перебирала в уме свои за и против знаменитых и незнаменитых врачей, когда Нырков отскочил от входной двери и потом напуганно попятился: в кухню ступил командир Красной Армии.

— Дома кто из хозяев?

Испуг Ныркова мгновенно передался Юлии Павловне, и он был еще сильнее, потому что влился в слово, грозно мелькнувшее в голове. Словом этим был «кадиллак»! Но это был не измеримый временем миг, как мигом была сразу пойманная и узанная примета вошедшего: под козырьком военной фуражки блеснуло пенсне. Кто еще спустя почти четверть века после революции носил пенсне?

— Леонтий Васильевич! — рванулась Юлия Павловна. — Сердце сердцу весть дает! Я только что, сию, сию минуту думаю о вас, милый вы человек! — Она распахнула для объятия руки: в одной — грелка, в другой — чайник с горячей водой. — Вы просто спаситель. Слушайте, слушайте скорее, что с моим Шуриком.

Тревога ее, до сих пор замкнутая молчанием, нашла выход не в одних восклицаниях, но в полном пересказе слов Ныркова, не исключая его вранья. Нелидов слушал, нагнув голову, неподвижно глядя поверх пенсне в какую-то найденную на оконной занавеске точку, которая, вероятно, облегчала вникать в происшествие. Едва Юлия Павловна сказала, что Шурик лежал плашмя, как Нелидов перебросил взгляд на Ныркова, уже через стекла нацелился в его глаза и спросил внятно:

— Он упал?

Нырков, смекавший кое-что в знаках различия начсостава, по шпале на петлицах военврача знал, перед кем стоит.

— Как есть упал, товарищ майор, коли бы их не держать...

— Значит, не упал?

— Совсем они валились... а я их таким манером вот все поддерживаю.

— Положили его или как?

— Не то чтобы, а на бревнышко. Они, как сказать, были к сиденью не способны, того гляди повалятся, товарищ майор. А я, стало быть...

— Поднялся сам? — с нажимом и сурово спросил Нелидов.

Нырков замялся:

— Как сказать...

— Идемте, идемте к нему! — нетерпеливо позвала Юлия Павловна.

— Вы что же это, дорогая моя, сами лечение назначили? — сказал Нелидов, легонько щелкнув пальцем по грелке.

— Леонтий Васильевич, у него же озноб! Я думаю — к ногам горячее...

— Гм-м, вот именно...

Нелидов пошел за нею, помедливая, с тем выразительным докторским спокойствием, с которого, собственно, и начинается всякое лечение. Он шел бы так к любому больному, по своему навыку, впитанному со временем кровью и плотью. На этот раз одного навыка оказывалось маловато, потому что предстояло врачевать не любого больного, но приятеля. Таких совпадений он не мог терпеть, считая человека-врача двуединством неделимым, а с приятелем всегда уж, по-человечеству, натворишь чего-нибудь такого, что врачу вовсе не подобало бы. Он поэтому высказывал несколько больше спокойствия, нежели оно было ему присуще, — думал о нем, приготавливая себя к встрече и, как выяснилось, напрасно.

Юлия Павловна, не дыша, приоткрыла дверь в мужнину комнату, но отступила, пропуская вперед доктора, и приложила пальчики к вискам, означая этим, что не в силах превозмочь волнение.

Но доктор галантно показал, что войдет только после нее.

3

Пастухов с виду был бодрее, чем выходило по рассказу Юлии Павловны. Он чуть что не был весел. Улыбнулся, хотел приподняться на локте, поздороваться, впрочем, сам же опять и откинулся на подушку, не успев Нелидов договорить, что, мол, «изволь-ка, батенька, лежать». Они глядели друг на друга — лекарь испытующе, больной с любопытством.

— Забрили? — подмигнул вдруг Пастухов озорно.

— Об этом после, — сказал Нелидов, подтягивая к постели стул и садясь. — Надо тебя послушать. Что это ты?..

Он взглянул на Юлию Павловну.

— Мне уйти, — понимающе сказала она, приподняла грелку, тихим голоском спросила: — Не надо?

— Подождем, — примирительно повел рукой доктор.

Юлия Павловна вышла на цыпочках и, пока бесшумно затворяла дверь, расслышала первый вопрос Нелидова: «На что сейчас жалуешься?» Это был лекарский канон, и, как всякий канон, он нес с собою струю надежды, что все пойдет правильным курсом. Порыв шторма пронесся. Юлия Павловна приходила в себя.

В ее комнате царил хаос, в котором она одна, поглощенная сборами в дорогу, видела порядок. Проверя этот порядок новым и как бы рассерженным взглядом, она обдумывала, как ей поступить, если болезнь Александра Владимировича очень опасна; если только серьезна, но не опасна; если длительна или — наоборот — скоропреходяща; если он должен лежать или если ему можно немного прохаживаться. Каждая из возможностей требовала особой вариации готовившейся поездки. Не ускорит ли болезнь переезда к тетушке? Надолго ли его задержит? Мыслимо ли, чтоб от него пришлось отказаться? Испуг за мужа сменялся рассуждениями, и они были бы уже спокойны, когда бы само спокойствие не заключало в себе разочарования. Как будто жизни, устроенной трезвым умом, вдруг глупо помешали.

Осмотр больного, показалось Юлии Павловне, затянулся выше меры. Она решила пойти постучать. Нелидов громко крикнул: «Можно!»

По лицам обоих друзей она с одного взгляда поняла, что сейчас они переменяют разговор, который вели наедине.

— Так вот, дорогая Юлия Павловна, — немного помолчав, сказал доктор. — Ничего такого тревожащего не нахожу. Перегрелся, рабочий наш, сгоряча... Не рассчитал. Сосудистая система, понятно, не такая уж безукоризненная.

— Что я говорила! — воскликнула Юленька.

— М-да. Прилив крови. Обморочек... Не очень глубокий, по-видимому. Однако... Предупреждение все же...

— Видишь, Шурик!

— Со стороны сердца, насколько сейчас можно судить, не нахожу... Со стороны головы...

— Какое же лекарство, Леонтий Васильич?

— Не делать глупостей,— сказал он, упирая осуждающий взор в больного.

— Боже! Разве я не права была, Шурик?

— Я тут приготовил рецептик... Капсюльки будете давать. Три раза. Папаверин там и все такое. Рецептик я захвачу с собой в город — с обрточной машиной лекарство вам доставят. А может, с ней придет и врач. Постараюсь его залучить.

— Врач? — вся вдруг всколыхнулась Юленька.— Зачем же... врач, когда вы говорите...

— Не волнуйтесь, голубушка. Ничего такого нет, чтобы волноваться. Нервы однако. Нервы. Голова. Не что-нибудь! Специалисту посмотреть необходимо. По нервной части то есть.

— Я понимаю. Я отлично понимаю! И я вам абсолютно верю, Леонтий Васильич,— все заметнее оживлялась Юленька.— Раз никаких опасений нет — слава богу! Надо непременно сделать все, все, как вы сказали... Я понимаю! Это просто чудо, что вы... Представь, Шурик, открывается дверь, и вдруг я слышу... Нет, это просто... Что делала бы я без вас? И вы еще берете на себя труд прислать невропатолога! Доставить лекарство! Ах, милый Леонтий Васильич! У Шурика такая слабость!

Она шагнула ближе к кровати, нервно обхватила пальцами холодный край полированного изножья, проговорила умоляюще:

— Правда, Шурик, у тебя сильная слабость?

Пастухов ответил благоговейно:

— По слову твоему да восчувствую я силу в слабости моей!

— Он еще шутит! Всегда наперекор. Но, доктор, неужели сидеть сложа руки, потому что нет капсулек, нет невропатолога? Что надо сейчас?

— Полагаю, хорошо бы к ногам грелку,— уже хитровато сощурился Нелидов.

— И тут я права! — торжествующе захлопала она в ладоши.

— Но стоп! — придержал ее Нелидов.— Это, голубушка, не признание за вами прав медсостава. Даже — младшего. Назначаю вас сиделкой.

— Повинуюсь. Ничего без предписания врача! Однако это жестоко, Леонтий Васильич! Сиделка! При моей-то подвижности! — Юлия Павловна надула губки и потом обворожительно засмеялась.— Пока вы не ушли, я сбегаю сменить в грелке воду.

Но каблучки ее стукнули всего раз-два — она деловито остановилась.

— Шурик, я как раз взялась разбирать теплые вещи и хотела спросить: может, твою шубу... Я думаю положить ее к моим вещам, хорошо?

— Положите, голубушка, положите,— одобрил за Пастухова доктор, сняв пенсне и закрывая глаза, точно от назойливого света.

Юлия Павловна на секунду растерялась, бровки ее взлетели, но сразу и опустились недовольно.

— Так я и знала. Шурик успел вам наговорить бог знает что!

— Почему — бог знает? Куда положить шубу — дело, Юлия Павловна, житейское.

— Военным известно, конечно, больше, чем нам,— сказала Юлия

Павловна немного заносчиво, хотя быстро смягчаясь.— Вот вы, Леонтий Васильич, вы можете дать нам совет?

— Врачебный?

— Да. Профилактический,— заставила она себя улыбнуться.

— Извольте. Шубам надлежит быть там, где предполагается зимовать.

— Но что зимовка может застигнуть неизвестно где... это предположение основательно?

— Оно допустимо.

Юлия Павловна бросилась к Нелидову.

— Скажите же, скажите все, что вы знаете,— взмолилась она.

— Что ж я могу знать, дорогая моя?

— Но ведь вы в армии!

— В ополчении.

— Но оно тоже должно воевать! Как же так воевать, ничего не зная? Нет, я прекрасно вижу — вы что-то уже сказали Шурику.

Пастухов, все время лежавший неподвижно, поднял руку.

— Ну, скажи Юленьке про Подмосковьё, Леонтий.

— Уже? — пораженная, воскликнула Юлия Павловна.— Уже в Подмосковьё? Что там такое?

Она присела на постель. Взгляд ее не отрывался от Нелидова, раздвинутые пальчики одной руки, приставленные ко лбу, застыли.

— Да не волнуйтесь вы, голубушка,— чуть не смущенно заговорил доктор.— Просто беседа зашла... куда не надо. Ну, словом, назначили меня в ополчение. Вчера я с начальниками ездил осматривать дома под наши учреждения. Недалеко. Усадьба такая старая. За день до нас оттуда вывезли детей. Детский дом был. Мебель не успели всю отправить, кое-где еще и не сложили. Картинки над кроватями. А вокруг пустынно... Когда знакомилась с парком, садом, набрали на горку песку. В песке разбросаны каравайчики — как играли, так и оставили. Поодаль валяется желтый башмачок с развязанными шнурками. Разулся какой ребяенок, играючи, а искать — было не до того. Совсем уж нам кончать осмотр и уезжать, вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, смотрите!» Подошли мы к молодой сосенке. На веревочке болтается подвешенный к суку лист фанеры. Вкось и вкривь, детской ручонкой по листу выведены мелом буквы: «Смерть Гитлеру»... Наверно, все мы подумали: это нам ребятишкин завет. Оберечь должны их... от войны. Вроде как бы явились мы смнить их, и они нам сказали, что пароль и отзыв у нас с ними одинаковы.

— А вы? — спросила утихшая Юлия Павловна.

— Постояли немного, помолчали. Надо было торопиться.

— А лист?

— Фанерка? Фанерку один командир забрал. Покажет ее ополченцам, в частях.

Нелидов встал, отодвинул стул, шагнул к постели. Прямой и будто торжественный в своем новом кителе, он всматривался в крупно вылепленные черты знакомого лица с двойным подбородком, еще больше потолстевшим от упора в грудь. Постепенно начинала лучиться на губах Нелидова сперва добрая, затем грустная улыбка. Пастухов поманил его нагнуться, обнял его голову, притянул, долго держал прижатой к своему лицу. Нелидов ошупью шарил по подушке — искал ускользнувшее пенсне, потом вытянул из кармана платок, отвернулся и стал тщательно протирать стекла.

Юлия Павловна сзади подошла к нему, поцеловала за ухом тихим поцелуем, одернула платье, спросила:

— И больше ничего о Подмосковьё?

— Да. Все.

У нее прошла мгновенная растроганность, она обычным щебечущим голоском быстро выговорила:

— Прости, пожалуйста, Шурик, я заболталась. Сейчас принесу тебе грелку.

Она вопросительно посмотрела на Нелидова. Он наклонил голову и пошел за нею, на выходе из комнаты махнув рукой больному.

— Меня ужасно тревожит Шурик,— сказала Юлия Павловна.

Нелидов не отозвался.

— Его не расстроит, надеюсь, эта печальная история, которую вы рассказали?

Нелидов и тут смолчал. Уже в сенях она спросила, не сердится ли он, и он ответил вопросом — почему бы ему сердиться? Тогда, поощренная, она со всей прямою высказала наконец, что ей хотелось бы от него услышать больше всего:

— Не лучше ли уехать, не дожидаясь событий? — Она многозначительно попридержала себя на с о б ы т и я х.— Теперь из всего делается тайна. Но даю слово, я буду считать вашим личным советом, вашим частным мнением, что бы вы мне ни открыли. Любое ваше слово — только между нами.

— Открывать мне нечего. А мой совет один. Александра вы должны беречь. Где это лучше делать — на даче, в городе, в деревне,— решать вам с ним. Как сказано, ожидайте врача и лекарство. Оно пригодится, уверен.

Они сухо распрощались.

В сущности, у Юлии Павловны не было оснований обижаться на Нелидова: сдержанность его, разумеется, казалась нелюбезной, зато он не ошибался как врач. К его назначенным Александру Владимировичу порошочкам невропатолог добавил еще одни порошочки, и больной быстро поправлялся, может быть даже вследствие лечения.

И чем быстрее он поправлялся, тем быстрее собиралась Юленька в путь. Душою она давно была у тетушки — в далеком домике на заманчивой речке Упе, куда вела хоть и полуброшенная, но приятная крапивенская дорога.

Александр Владимирович был уже настолько здоров, когда провожал Юленьку, что вышел с нею вместе за ворота и посмотрел, как она усаживалась в «кадиллак». Глаза ее блеснули ему слезкой, и он почувствовал, что, право, она дорожит им, как никто на свете.

(Продолжение следует)



АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

С белорусского

* * *

Солдаты века, что по грозной цели
Ведут огонь все тверже, все смелей,
Теперь не погибают на дуэли
По воле королей или царей.

Никто не шлет к ним секундантов ныне,
Они никем не предупреждены.
Тюремщики спешат покончить с ними,
От тела душу веет бог войны.

В упор неумолимые инфаркты
Расстреливают верных тех солдат,
Торопятся в расход списать по актам
Безвременных, бесчисленных утрат.

Но все равно и за чертой смертельной,
Не списанные памятью живых,
Они опять ведут огонь прицельный,
Как из окопов — из могил своих.

* * *

Развесив сушить на рассветном ветру
Свой паутинные сети,
Опутала осень все тропы в бору
Мечтой о негаснущем лете.

Опутала заросли над блиндажом,
Корней обомшелых развилья,
Осины, что листьев багряным огнем
Огонь амбразур подавили.

Осины! Они среди хвои растут.
И каждая — факел горящий.
Но кто же на память оставил их тут,
В бору, в этой сумрачной чаше?

Кто пламя разжег? Артиллерии шквал,
Поныне бушующий в кронах?
А может, пехоты последний привал,
Работа команд похоронных?

Осины дрожат и тревожно горят:
«Неужто мы все не на тризне
И жертвы, что сняты с колючих оград,
Опять возвращаются к жизни?»

Не веря, что смолк смертоносный тротил,
Они, ожидая ответа,
Стоят, словно вдовы у братских могил
В мерцании бабьего лета.

Как вечное зарево скорбных костров,
В бору пламенеют осины...
На месте боев, молчалив и суров,
Пылает вопрос негасимый.

Авторизованный перевод Я. Хелемского.



ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

★

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

...Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с тобою было,
это ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла...
Но была б мертва, осуждена —
встала бы на зов твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час,
и что он значит —
только нам с тобою знать дано.
Я люблю тебя — я не могу иначе,
я и ты по-прежнему — одно.

1941,
июнь.



ЕФИМ ДОРОШ

★

ПОЕЗДКА В ЛЮБОГОСТИЦЫ

Из дневника

Мы едем в Любогостицы — режиссер, оператор с ассистентом и я. Минувшей зимой меня попросили написать сценарий для документального фильма, я долго отказывался, потом предложил режиссеру приехать к нам в Райгород, поездить со мной по моим друзьям и знакомым, и если то, что он увидит, покажется ему интересным, мы сделаем фильм.

И вот мы едем к Ивану Федосеевичу, бывшему любогостицкому председателю. Скоро уже год, как он вышел на пенсию, а я все еще не могу привыкнуть к этому. Мне и сегодня представляется странным, что в солнечное утро середины мая, когда идет сев, и посадка лука, и на усадьбах сажают лук, мой приятель праздно стоит у калитки в расчищенных сапогах и несмятом синем пиджаке, благоухающий после бритья.

Он говорит, чтобы я разыскал Речкина, теперешнего здешнего председателя, и поставил его в известность относительно наших намерений. Я предлагаю ему пойти вместе, но он отвечает, что не пойдет.

Речкин — рослый толстоплечий мужик с большим круглым лицом и заплывшими глазками, несколько располневший, хотя ему лет около сорока, не больше — идет черным от грязи хозяйственным двором, изрытым только что уехавшими отсюда машинами. Он останавливается, что-то сердито кричит сопровождающим его мужикам, должно быть бригадирам, снова идет, приминая сапогами густую грязь, и мужики поспевают за ним.

Я знаю Речкина столько же, сколько Ивана Федосеевича, у которого он был заместителем, вернее сказать, агентом по сбыту продукции и доставанию необходимых колхозу материалов. Он был всегда тих и почтителен, и я дивлюсь его громогласию, равно как и покровительственному тону, каким он разговаривает с нами. Хотя мы его не просили об этом, он принимается называть людей, которых надо будет «снять на кино», чуть ли не диктует, что говорить о них, и с тою же покровительственностью замечает: «Неплохой народ». Ему и в голову не приходит, что у нас может быть свое мнение относительно того, кого снимать.

Мы выезжаем из Любогостиц и некоторое время едем по исполинской петле, какую образует в этом месте булыжная дорога, несколько поднятая над обширной низменностью. Справа от дороги, между нею и озером, еще по-весеннему чистым, не успевшим зарости, синее среди осоки и тростников оставшаяся после разлива вода, а слева далеко простерся поемный луг с избыточно цветущими сейчас желтыми купавницами.

Иван Федосеевич велит шоферу свернуть влево, в небольшую деревеньку Вёксу. Он говорит, что мы сперва проедем «в конец», то есть до Васильчикова — самой дальней из бригад, а уж оттуда поедем колхозом. Я говорю, что хорошо бы убрать щиток с надписью «Киносьемочная». Мне кажется, что этой надписью мы внесем некоторую неестественность в наши отношения с людьми, которые встретятся нам во время поездки.

За Вёксой, по обеим сторонам дороги, свежо зеленеют озими.

Иван Федосеевич спрашивает моих спутников, знают ли они, где здесь рожь, а где, например, пшеница.

В Егорьевском, тесно застроенном сельце, почти впритык стоят две маленькие церкви — одна ампириная, с покривившимся шпилем на колоколенке, а другая о пяти луковичных главках. Мои спутники удивляются этому. Иван Федосеевич рассказывает, как и мне в свое время, что Егорьевским владели пополам два помещика, враждовавшие между собой. Они даже в церкви не хотели встречаться, и каждый построил для себя особую.

Впрочем, говорит он, не ради этого мы здесь остановились.

Когда он еще был председателем, он вместе с райисполкомом построил в Егорьевском новую школу — правда, доделывал уже один исполком. Она еще не открыта. Но нам надо обязательно посмотреть эту школу, потому что она замечательная. Например, центральное отопление, квартира для двух учителей из трех комнат — с промывной уборной, с ванной...

Иван Федосеевич останавливается, несколько запыхавшись, посреди грязной дороги, огибающей зеленый пригорок. На пригорке стоит одноэтажное, покоем, розовое здание школы. Перечисляя достоинства новой школы, Иван Федосеевич загибает пальцы на протянутой к нам левой руке — правой он опирается на отставленную назад палку — и, когда доходит до промывной уборной и ванной, с убежденностью заявляет, обращаясь почему-то к оператору: у вас, допустим, такой квартиры нет.

Он велит нам подождать, идет к амбару напротив школы и спрашивает невысокого сытого малого в короткой стеганке, едва сошедшейся на брюшке, у него ли ключ. Малый отвечает, что у Сереги. «А ты сходи», — говорит Иван Федосеевич. Малый молчит. Иван Федосеевич повторяет просьбу, и тогда малый, глядя в сторону, нехотя говорит: «Мне некогда...».

Иван Федосеевич ведет нас к школе, дергает то одну, то другую дверь, подбирает с земли загнутый ржавый гвоздь и ковыряется им в замочной скважине, потом ходит вокруг пахнущего краской, сияющего протертыми стеклами здания — и мы следом за ним, — заглядывает во все окна, прикрываясь ладонью от света, наконец, вздохнув, машет рукой.

С пригорка он идет ссутулившись, тяжело опираясь на палку.

Мы переезжаем речку и останавливаемся на другом берегу, посреди высокой лугвины с просторно поставленными по ее краям избами. Это уже не Егорьевское, говорит Иван Федосеевич, — это Выползово, и называется оно так оттого, что выползло из Егорьевского. Мы стоим под старым тополем, между листьями которого густо висят сережки. Красными сережками усеяна и муравка вокруг. Дует ветерок, слегка припекает, начинаешь чувствовать, как обветривается кожа на лице. Я оглядываюсь и вижу в полуверсте отсюда еловый лес и пять или шесть избенок около.

Иван Федосеевич предлагает ехать.

Он говорит, что деревенька около леса — Сверчково — ничем особым не выдалась, разве что гадюками в лесу, и что нам следует ехать назад, в Васильчиково, находящееся несколько в стороне. Там он покажет нам последний из построенных им механизированных скотных дворов.

В Васильчикове, самом большом селе в здешней округе, некогда принадлежавшем девяти помещикам, людей почти не видать: все, должно быть, в поле или на усадьбах. Только перед лавкой с давно не зажигающимся керосиновым фонарем, привязав к фонарю лошадь, закусывают проезжие мужики. Увидев нашу машину, один из них деликатно отставляет за спину блеснувшую на солнце бутылку. Да еще возле кирпичного лабаза ходит с метлой долговязый старик. На старике маленькая кепка, надвинутая на глаза, слинявшая синяя рубаха и сапоги с просторными голенищами.

Мимо идет коренастая, плотная женщина, останавливается, смотрит в нашу сторону. У нее широкое, с крупными чертами, розовое лицо. Останавливается и ехавший куда-то на велосипеде молодой мужчина в черной пиджачной паре. Они почтительно здороваются с Иваном Федосеевичем.

Иван Федосеевич объясняет нам, что это здешние бригады. Он спрашивает их, как у них тут: усадьбы копают или сеют? Бригады говорят, что сеют. Подходит старик, сдергивает с головы кепчонку, затем снова нахлобучивает ее по самые брови. Он молчит, прислушивается к разговору и вдруг советует Ивану Федосеевичу: «А ты спроси-ка, чего они сеют». Женщина несколько принужденно говорит, что овес с викой посеяли. «А почему подсолнуха не подбросили? — интересуется Иван Федосеевич. — Ведь есть же у вас подсолнух, я знаю... Какой бы силос получился!..»

Мужчина говорит, что овса с викой они посеяли немного — на семена. «А на силос?» — интересуется Иван Федосеевич. На силос, отвечает мужчина, они посеют кукурузу. «А ну, не уродит она? — говорит Иван Федосеевич. — Надо же иметь запас. Надо на всякий случай выход иметь».

Бригады молчат. Легко догадаться, что они согласны со своим бывшим председателем, однако входить в обсуждение этого вопроса не считают для себя возможным. Я хорошо помню, как Василий Васильевич, еще в бытность его секретарем здешнего райкома, обмолвился однажды многозначительно, что кукуруза — культура политическая. Теперь, когда он заправляет сельским хозяйством области, это его доверительное замечание приобрело некий грозный смысл. Он всюду твердит, что кукуруза — политическая культура, и никто не отваживается возразить, что в наших местах она пропадает, а если в иной год и вырастет где, так обходится очень дорого.

Старик снова советует Ивану Федосеевичу: «Ты спроси, чего еще они сеют». Женщина говорит, что сеют ячмень. Иван Федосеевич замечает, что зря это — ячмень здесь у них не родит. Бригады с некоторым даже оживлением дружно говорят, что это никогда не бывало, чтобы в здешних местах уродился ячмень. Они вспоминают, кто и когда пробовал его сеять и как он вдруг начинал желтеть, а потом пропадал. Старик при этом показывает, насколько вырастает ячмень к тому времени, когда это с ним случается. Иван Федосеевич говорит, что происходит это примерно недели через две после посева. «Мартышкин труд!» — со злостью говорит старик. Бригады, оправдываясь, принимают рассказывать, как приезжал Речкин и говорил: если, мол, не посеет ячмень и кукурузу, то его повесят. **Мужчина добавляет, что он**

сказал председателю: приезжай к нам — мы тебе перекладину сделаем. Женщина говорит, что с председателя начальство требует. «Начальству что,— вздыхает она.— Начальство перед своим начальством старается. А мы будем хромать». Пока она говорит это, она смотрит в нашу с режиссером и оператором сторону, и мне почему-то приходит на мысль, что эти ее слова относятся к нам.

Женщина продолжает говорить, обращаясь к Ивану Федосеевичу, однако мне все больше кажется, что она имеет в виду нас. Она говорит, что вот он все с начальством бывает, так сказал бы, кому следует, почему зимой нечем кормить скотину. Я еще не совсем убежден в своей догадке, но мужчина прямо говорит мне: «Примите меры, чтоб нам сеять то, что здесь родит». Я отвечаю, что мы — не начальство, мы люди в некотором роде посторонние, и тогда он, нисколько не шутя, хотя и не зло, говорит: «Что же вы тогда разъезжаете? Люди работают, а вы разъезжаете».

Иван Федосеевич с удивившей меня поспешностью и как бы даже извиняясь говорит про нас, что они-де будут в колхозе картину снимать. Бригадиры теряют какой-либо к нам интерес, да и к своему бывшему председателю, пожалуй, и отправляются каждый по своим делам.

Становится почему-то совестно, словно мы в чем виноваты.

Отправляемся смотреть скотный двор — кажется, это четвертый из построенных Иваном Федосеевичем после войны. Все они одного, любившегося ему типа, сложены из красного кирпича, под железной крышей, с двумя тесовыми серебрящимися силосными башнями, вросшими в землю.

Под торчащими из ворот рельсами лежит пересохший навоз.

Внутри, скопившись у порога, стоит лужа.

Нас охватывает холодок. Светлые прямоугольники окон, из которых вынуты рамы, тянутся к воротам в противоположном конце здания, подчеркивая его пустоту и полумрак. На липком от жидкой грязи цементном полу лежит только что отелившаяся черная корова. Малый лет семнадцати, толстогубый, с одутловатыми щеками, ходит поодаль, шаркает метлой.

Иван Федосеевич быстро, но негромко говорит малому: «Принеси-ка сейчас же соломы и сенца, подстели теленку». Малый, не оставляя своего занятия, простодушно улыбается и говорит: «Я его в телятник перенесу». Иван Федосеевич, спросив между прочим, кто он тут, сторож, что ли, торопит малого, велит ему нести соломы. Тот, растягивая в улыбке губы, отвечает: «Не-е-е... Скотник я. Сейчас отнесу теленка».

А теленок — мокрый, беспомощный, с негнушимися прямыми ножками, как бы существующими отдельно, весь склизкий сам — скользит по склизкому полу в сторону от коровы, склонившей над ним большую мудрую голову с белым пятном на лбу. Это пятно и белое пятнышко на лбу теленка — единственное, что светлеется на черной громаде.

Теленок каждую минуту может сползти в желоб жижесборника, проходящий рядом, угодить в него ногой, сломать ее, и мне передается досада, с какой Иван Федосеевич говорит малому: «Да принеси ты соломы, ну боже ж ты мой, какой непонятливый!» Малый наконец приносит большую охапку, Иван Федосеевич кидает ее, наклоняется, подтыкает под теленка, и тот перестает скользить, ему и лежать теплее, уютнее. «Вот как надо», — с некоторой даже ласковостью говорит малому Иван Федосеевич.

Мы идем в телятник.

Здесь полно таких же черных телят с белыми пятнышками на лбу, они только покрупнее и несколько утвердились уже на своих разъезжаю-

щихся ножках. Они теснятся в деревянных загонах, нетерпеливо тянутся лобастыми головами к девушке в белой косынке и белом, подоткнутом, великоватом ей фартуке, которая идет вдоль загонных и поит их по очереди.

Иван Федосеевич спрашивает девушку, чего это она тут, и та отвечает, что у нее ребенок, заниматься племенным делом она не может — надолго ей не уйти из дому, и она попросилась в телятницы, хотя и зоотехник. С последними словами, улыбнувшись, она обращается к нам.

У девушки светлые, навывкат глаза, рыжеватые тяжелые волосы ее, едва сдерживаемые косынкой, разваливаются на пряди, и вся она какая-то хорошо вымытая, свежая, под стать этим рубленым стенам, и ржаной соломе в загонах, и топчущим солому безмятежным телятам. Должно быть, она давно не видела своего бывшего председателя, потому что рассказывает ему, как выходила замуж, и кто ее муж, и что у нее родилась девочка — она забыла, что о ребенке уже рассказывала. Она могла бы, я думаю, говорить об этом без конца, искренне убежденная в том, что каждый вместе с ней порадует ее счастьем, но около нас вертится невысокий мужичонка в маленьких с выпуклыми стеклами очках в проволочной оправе — не то любопытствует, не то хочет что-то сказать.

Иван Федосеевич сердито спрашивает: «Тебе чего?»

Мужичонка с подбострастием и одновременно как бы ябедничая говорит, что его-де приставили к насосу воду качать, а трубы протекают, и краны текут, и никому до этого нет дела, — становится понятно, почему так мокро на скотном, почему повсюду стоят лужи. Он для чего-то засовывает оба больших пальца за стекла очков и принимается быстро протирать их указательными пальцами, затем говорит, что скажет прямо и откровенно: при Иване Федосеевиче такого безобразия не было.

Иван Федосеевич будто и не слышит мужичонку. Он прощается с девушкой и идет из телятника. Остановившись вдруг, он говорит мужичонке, что, случись такое при нем, он бы его, морготного, взащей прогнал.

И опять по обеим сторонам дороги просторно зеленеют озими. Иван Федосеевич снова говорит моим спутникам, что им нипочем не сказать, где здесь пшеница, а где рожь, и вдруг велит остановить машину, выходит сам и зовет нас, показывает, что рожь сейчас и темнее и выше пшеницы. При этом он говорит, что пшеница потом еще догонит рожь.

У ржи, различаю я, стебель внизу чуть красноватый, кажется, что рожь не только темнее пшеницы, но и грубее, жестче. Я хочу проверить, так ли это, и направляюсь через дорогу в сторону ржаного поля.

Но Иван Федосеевич зовет нас всех на пшеничное поле. Он показывает погибшую во впадинах пшеницу — расплюснутую, серую, с засохшей на ней грязью, которая, можно подумать, и умертвила ее. Иван Федосеевич объясняет, что здесь скапливалась вода, замерзала, рвала растение. Пшеница, говорит он, любит ровное поле, всего лучше — южный склон.

Мои спутники рассеянно поглядывают по сторонам.

Проезжаем Стрельцы, где по обыкновению грязь — даже в нынешнюю сухую весну. Деревня эта какой была самоуправной, такой, надо полагать, и осталась: народ весь пашет усадьбы. А ведь именно отсюда пошло богатство самого крепкого сейчас в районе любогостицкого колхоза. Здесь около тридцати лет назад начал работать председателем Иван Федосеевич. Подобно своему тезке Калите, он постепенно присоединил к Стрельцам все окрестные земли. Но вот он ушел, и здеш-

ние колхозники сперва сажают лук на усадьбах, а уж после этого — на колхозном поле.

Останавливаемся за околицей — возле школы, тоже построенной Иваном Федосеевичем перед уходом на пенсию. Навстречу нам, прочитав, должно быть, надпись на щитке — «Киносьемочная», поспешает здоровенный мужик в каляном брезентовом фартуке, пахавший усадьбу. Он совсем пьян. Одной рукой он держится за выдернутый из земли плужок, волочащийся следом за большой рыжей кобылой, а в другой у него стиснута шапка. Он машет ею и кричит: «Привет от труженика сельского хозяйства! Сфотографируйте на карточку». И нахально смотрит на своего бывшего председателя. Ассистент оператора снимает его — скорее всего незаряженной камерой.

В Любогостицах приятель мой велит шоферу ехать к свинарникам. Свинарников два, и они стоят рядом — большой, из серого силикатного кирпича, и так называемый арочный. В большом находятся супоросые матки, здесь идет опорос, здесь до известного возраста содержатся поросята, после чего их отправляют в арочный — на откорм. В арочном свинарнике режиссер и оператор вдруг оживляются, веселятся, прикидывают, как это будет выглядеть, если снять сверху, и снизу, и сбоку.

Серые бетонные арки, как бы вписанные одна в другую, уходят вдаль. Поверху они застланы узкими некрашеными тесинками, еще не успевшими потемнеть. А все пространство внизу заполнено свиньями — одинакового размера, розовато-землистого цвета, шершавыми от щетины. И кажется, что эта гигантская, изогнутая полукругом ребристая поверхность вместе с шевелящимися под нею свиньями излучает желтоватый теплый свет.

Потом мы сидим на бревнах неподалеку от здешнего скотного двора. Жарко, как это бывает после полудня в середине мая. Мы устали и молчим, смотрим в сторону скотного, с боку которого возводится некая кирпичная пристройка. Должно быть, нужда в ней велика, иначе не стали бы ее строить во время сева. Стены еще не подведены под крышу, а плотники уже ставят оконные коробки, тешут бревна на переводы и стропила.

Иван Федосеевич говорит вдруг: «Пустое дело», — и объясняет, что это пристраивается помещение для так называемой «елочки». Я уже слышал, что доильные агрегаты этого типа с превеликой спешностью устанавливаются по всей области, даже в тех колхозах, где нет денег на покупку горбыля, чтобы хоть сарай соорудить для этой цели. Я догадываюсь, что именно такого рода предприятиями, свидетельствующими о том, что и у нас в Райгороде, как говаривал некогда один уездный оратор, «прогресс идет вперед», надеется просуществовать Речкин. И я ожидаю, что об этом станет сейчас говорить бывший любогостицкий председатель.

Однако Иван Федосеевич принимается рассуждать о том, что в Басмании, например, — так почему-то называет он всегда Тасманию, производя, быть может, название этой страны от слова «басурман», — в Басмании или Новой Зеландии, где вольная пастьба, поселившемуся там англичанину или голландцу с женой и дочкой, имеющему, допустим, полтораста коров, без «елочки» их нипочем не выдоить. А у нас здесь болота, кусты.

Признаться, я не знаю, есть ли там «вольная пастьба», в этой Тасмании, существуют ли вообще где-либо так называемые девственные земли и все ли еще поселяются на свободных землях океанских стран предприимчивые европейцы. Скорее всего мой приятель соединил тех-

Бическую идею нашего времени с эпизодом времен заселения Австралии или Новой Зеландии. Не это существенно, а то, что из такого соединения проистекла пускай и не новая, однако весьма плодотворная мысль.

Чтобы в здешних местах получать в изобилии дешевое молоко, рассуждаем мы с Иваном Федосеевичем, необходимо привести в культурное состояние заболоченные и заросшие кустарником луга, механизировать заготовку сена, да и производство любых других кормов, какие всего выгоднее здесь выращивать, а уж потом, завершая процесс, механизировать дойку. Но если в начале стоит на кочковатом лугу человек с косой — смешно и убыточно ставить в конце, чтобы выдоить струйку молока, возникшую в результате усилий косца, дорогую и сложную доильную установку.

Мы уезжаем из Любогостиц. Оставив булыжную дорогу с завивающейся уже пылью, мы едем накатанным до синевы асфальтом. «Ну, хорошо, — говорит режиссер. — А когда мы будем знакомиться с людьми?» Я отвечаю, что мы ведь весь день были среди людей, и по тому, как переглянулись режиссер с оператором, догадываюсь, каким наивным выгляжу в их глазах.



Двенадцатого декабря 1964 года, после окончания работы руководящего совета Европейского сообщества писателей, в сицилийском городе Катания в замке Урсино в торжественной обстановке состоялось вручение литературной премии «Этна-Таормина» советской поэтессе Анне Ахматовой. Мы публикуем несколько лирических стихотворений А. А. Ахматовой.

АННА АХМАТОВА

★

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

В ПУТИ

Земля хотя и не родная,
Но памятная навсегда,
И в море нежно-ледяная
И несоленая вода.

На дне песок белее мела,
А воздух пьяный, как вино,
И сосен розовое тело
В закатный час обнажено.

А сам закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать,
Конец ли дня, конец ли мира,
Иль тайна тайн во мне опять.

В ВЫБОРГЕ

Огромная подводная ступень,
Ведущая в Нептуновы владенья,—
Здесь стынет Скандинавия, как тень,
Вся — в ослепительном одном виденье.
Безмолвна песня, музыка нема,
Но воздух жжется их благоуханьем,
И на коленях белая зима
Следит за всем с молитвенным вниманьем.

* * *

Памяти В. С. Срезневской

Почти не может быть, ведь ты была всегда:
В гени блаженных лип, в блокаде и в больнице,
В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.

О как менялось все, но ты была всегда.
 И мнится, что души отъяли половину —
 Ту, что была тобой, — в ней знала я причину
 Чего-то главного. И все забыла вдруг..
 Но звонкий голос твой зовет меня оттуда
 И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.
 Ну что ж! Попробую...

ПЕТЕРБУРГ В 1913 ГОДУ

За заставой воеет шарманка,
 Водят мишку, пляшет цыганка
 На заплеванной мостовой.
 Паровик идет до Скорбящей,
 И гудочек его щемящий
 Откликается над Невой.
 В черном ветре злоба и воля.
 Тут уже до Горячего Поля,
 Вероятно, рукой подать.
 Тут мой голос смолкает вещий,
 Тут еще чудеса похлеще,
 Но уйдем — мне некогда ждать.

Из цикла «Ташкентские страницы»

* * *

Это рысьи глаза твои, Азия,
 Что-то высмотрели во мне,
 Что-то выразнили подспудное
 И рожденное тишиной,
 И томительное, и трудное,
 Как полдневный термезский зной.
 Словно вся прапамять в сознание
 Раскаленной лавой текла.
 Словно я свои же рыдания
 Из чужих ладоней пила.

ТАШКЕНТ ЗАЦВЕТАЕТ

Словно по чьему-то повелению
 Сразу стало в городе светло —
 Это в каждый двор по привиденью
 Белому и легкому вошло.

И дыханье их понятней слова,
А подобье их обречено
Среди неба жгуче голубого
На арычное ложиться дно.

* * *

Я буду помнить звездный кров
В сиянье вечных слав
И маленьких баранчуков
У черноколых матерей
На молодых руках.



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

В МИРЕ ТАИНСТВЕННОГО

Рассказ

Сколько бы меня ни убеждали, что шкаф, например, или стул — предметы неодушевленные, я этому никогда не поверю. У всех у них есть свой характер, привычки, повадки. Все они о чем-то думают, что-то знают, любят, ненавидят. Часто обижаются на нас, людей, мстят. Если теряется какая-нибудь вещь, будь то шапка, перчатки, любимый карандаш, книга, — это вовсе не значит, что она потерялась, она просто спряталась от вас. Обиделась на что-то и дразнит. Именно она, а не черт, к которому вы обращаетесь: «Черт, черт, поиграй и назад отдай».

Вот вам пример.

Это было во время моего путешествия по Камчатке. Когда мы подходили к острову Медному, все мы — фотографии — сразу ухватились за свои аппараты, чтоб запечатлеть суровые, покрытые тучами скалистые его берега. Но тут вдруг обнаружилось, что пленка в моем аппарате кончилась, надо заряжать другую. Я вынул из вещмешка свеженькую и только собрался зарядить ею аппарат, как меня позвали: у Леонида Тимофеевича заело что-то в кинокамере и он просил помощи.

Когда через пять минут я вернулся, оказалось, что катушки с пленкой, которую — отчетливо помню — я положил на стол, рядом с фотоаппаратом, нет. Я начал искать. Перерыл все, что возможно, вывернул карманы, облезил всю каюту, перетряс простыни и одеяла на обеих койках — нет и нет...

Раздосадованный и злой, я бросился к Юре Муравину, выклянчил у него пленку и еле-еле поспел к моменту нашего подхода к острову. Я отснял полпленки и вернулся в каюту. Моя катушка мирно лежала на столе, на том самом месте, куда я ее положил. Лежала и посмеивалась.

Нет, конечно же, у неодушевленных предметов есть своя душа. Иногда очень тонкая, уязвимая — не надо их обижать, — и связь у них друг с другом есть, своя дружба, взаимопомощь, круговая порука.

Теперь я знаю, за что издевалась надо мной моя пленка, за что обиделась, за что мстила. И за кого мстила — тоже знаю.

В пятидесятом году мы переехали на новую квартиру. И тут же возникла обычная в таких случаях проблема — нужна новая мебель. В старой «коммунальной» квартире все было с бору по сосенке: разваливающийся шкаф, продавленный диван, покосившиеся этажерки, набитые книгами. Все это было хотя и не очень красиво, и не очень удобно, но в какой-то степени соответствовало нашей «вороньей слободке» с шестью лицевыми счетами и с таким же количеством лампочек и выключателей в уборной и на кухне. Новая квартира с отдельной ванной, кухней и

двумя балконами всех нас потрясла. На фоне чистых стен и отциклеванного, начищенного паркета старые шкафы, этажерки и стулья с вставленными фанерными сиденьями производили удручающее впечатление. Нужно было обновление.

Началось оно с тахты, широкой и большой, сделанной двумя веселыми обойщиками. Потом был куплен некий буфетно-гардеробный комбайн, именуемый «кавалеркой», и диван с двумя креслами. Завершилось все покупкой шести стульев.

Шесть этих стульев были найдены на Подоле в мебельном магазине и вызвали всеобщее одобрение. Они были золотисто-желтые, с удобными сиденьями и приятно изогнутыми спинками. К тому же не очень дороги. Нас было трое, мы взяли каждый по два стула и благополучно доставили их домой.

С их появлением в квартире сразу стало веселее. Четыре из них расположились вокруг обеденного стола, два других стояли в сторонке, но когда приходили гости, тоже присосеживались к столу. Гостям стулья очень нравились, и все спрашивали, где мы их купили и есть ли они еще в этом магазине на Подоле.

Так и прожили мы с этими стульями сколько-то там лет. Привыкли друг к другу, сдружились. Один слегка раскачивался — его любила мама. У другого на сиденье разводы напоминали человеческий зад, на нем всегда сидела одна наша приятельница. Третий очень музыкально поскрипывал. Одним словом, каждый вел себя по-своему, а в целом мы жили очень мирно.

Сложности возникали только во время семейных торжеств. Народу приходило много, и стульев, как правило, не хватало. Приходилось тащить из кухни табуретки, класть доски, подвигать стол к дивану. Хлопотно и не очень удобно.

И вот тут-то один мой приятель, как раз когда мы соображали, как разместить гостей, сказал мне:

— Слушай, мы недавно сделали ремонт и купили новую мебель. Осталось четыре безработных стула. Возьми их. Ей-богу. Хорошие, плетеные... Все равно они у меня в коридоре друг на друге стоят, только мешают...

Ему не пришлось долго меня уговаривать — я принял подарок. На следующий же день четыре красавца переехали к нам.

Они были прекрасны, эти четыре стула. Черные, блестящие, со светлыми плетеными спинками и сиденьями, они поставлены были с четырех сторон стола и сразу же придали торжественный вид комнате. И опять же все их хвалили. И товарища моего, который сделал такой чудесный подарок. Великолепные стулья — удобные, красивые, такие новенькие.

На следующий день, когда я с улицы вошел в комнату, меня невольное что-то резануло. Сначала я не уловил даже что. Потом понял. Самодовольство... Самодовольство новых стульев. Стоят себе вокруг стола — выхоленные, сияющие, такие спокойные, сытые, точно всю жизнь здесь стояли. А милые наши золотистые старички с мелодичным своим поскрипыванием и шатающимися ножками робко прижались к стенкам.

С тех пор, когда бы я ни заходил в комнату, мне становится всегда стыдно. Примостились к столу эти четыре самодовольных, наглых оккупанта и в ус не дуют, хозяева... Только иногда, по вечерам, разрешается старичкам придвинуться к столу, и то ненадолго, потом назад по местам, к стенкам... И, если надо забить гвоздь в стенку или поправить оборвавшееся кольцо на шторе, то их, гадов, тоже не трогают, у них, мол, сиденья слишком нежные, а старички — ничего, вытерпят.

Кончился мир в этой комнате. И я ничего не могу поделать. Теряются карандаши, ложки, брошки, нужные номера газет. Иногда они находятся, иногда — нет. Но я-то знаю, что это неспроста. И трещина на желтом старичке, сосланном в коридор к телефону, тоже неспроста. Рвет брюки, шиплет за ногу, если сядешь на него в трусах. Мстят мне мои бывшие друзья. И фотопленка тоже мстила — не за себя, за других. И фотоаппарат тоже. Лента с берегами острова Медного оказалась совершенно прозрачной, ни одного кадра.



Мне на роду написано
 быть на тарелке с лимоном.
 Но что-то своим уловом
 ты хвалишься слишком речисто.
 Правда, я только рыба,
 но вижу — дело нечисто.
 Правила честной ловли
 разве тебе незнакомы?
 В сетях ты заузил ячейки.
 Сети твои — незаконны!
 И, ежели невозможно
 жить без сетей на свете,
 то пусть тогда это будут
 хотя бы законные сети.
 Старые рыбы впутались —
 выпутаться не могут,
 но молодь запуталась тоже —
 зачем же ты губишь молодь?
 Сделай ячейки пошире —
 так невозможно узко! —
 пусть подурачится молодь
 прежде, чем стать закуской.
 Сквозь чертовы эти ячейки
 на вольную волю жадно
 она продирается все же,
 себе разрывая жабры.
 Но молодь, в сетях побывавшая,—
 это уже не молодь.
 Во всплесках ее последних
 звучит безнадежная мертвость.
 Послушай меня, председатель,—
 ты сядешь в грязную лужу.
 Чем уже в сетях ячейки —
 тебе, председатель, хуже.
 И, если даже удастся
 тебе избежать позора,
 скажи, что будешь ты делать,
 когда опустеет Печора?»

Грохая тяжело крылами,
 лебеди пролетели.
 Хмуро глаза продирая,
 встает председатель артели.
 Он злится на сон проклятый:
 «Ладно — пусть будет мне хуже!» —
 и мстительно гаркает бабам:
 «Сделать ячейки уже!»

Валяйте, спешите, ребята,
 киношники и репортеры,
 снимайте владыку Печоры,
 снимайте убийцу Печоры!



И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

★

СТРАНИЧКА ПРОШЛОГО

В давно забытые времена наш край был покрыт неисхоженными, дремучими лесами. Протекала среди лесов большая многоводная река, бродил по лесам непуганый дикий зверь. Селились на берегах реки наши древние предки — славяне, насыпали высокие городища, оставляли за собою зеленые могильные курганы. И теперь можно видеть эти высокие городища, еще не все раскопаны и распаханы древние могилы. Среди опустелых лесов по-прежнему течет река. Застроены, обжиты людьми городища, памятниками забытого далекого прошлого высятся по берегам реки зеленые курганы...

По сохранившимся преданиям, пришел некогда в лесной дикий наш край неведомый старец подвижник Герасим с длинной седой бородою, основал у светлого озера, недалеко от реки, монастырь. Долгие годы был сей монастырь славен и богат, владел обширными вотчинами, засылал на далекий Север своих людишек ловить рыбу снытку.

У самого монастыря, среди лесов и болот, пролежала большая дорога, соединявшая два отдаленных мира. Дорогою той, топами и медвежьими чашобами, проходили в Московию с запада богатые посольские поезда. «Тяжек был путь,— говорит летописец,— полон диких зверей нескончаемый лес, волосаты, звероподобны, страшны московитские мужики, ужасна дорога, которою, чтобы не потонуть в топи, русские люди устилают бревенчатой гатью...»

Здесь же, по этой большой дороге, обсаженной высокими плакучими березами, проходила некогда на Москву великая армия императора Наполеона, топтавшая раскаленные пески знойного Египта, а сам император останавливался в покинутых хозяевами дворянских усадьбах, где на него и его блестящую свиту, прячась в кустах, глазели одетые в холщовые сарафаны дворовые девки и бабы. По окрестным деревням рыскали французские солдаты, отбирали у мужиков хлеб, ловили и резали кур, ломали на огородах пчелиные ульи. Еще до прихода французов покидали усадьбы, куда-то за Волгу бежали, увозя в сундуках и шкатулках фамильное добро, напуганные помещики-дворяне. Оставшись на своей воле, разоряли господские амбары, волокли оставленное господское добро смоленские мужики...

Потом, тою же зимою, бежала из Москвы победоносная армия, одетая в бабьи салопы, теряя замерзавших людей, награбленное в Москве добро, разбитые повозки, исхудавших, некормленных лошадей. Много прошло годов, травю и лесом покрыты французские и русские забытые могилы, умирали, родились и вырастали поколения людей, несказанно изменялась сама жизнь.

А еще в более давние времена переходил наш край из рук в руки, долго владела нами Литва, была близка польская граница. В крестьян-

ских обычаях и обрядах сохранялся древний языческий лад. Старинные пели песни, водили по деревням хороводы, по-язычески справляли поминки, пекли блины. И по-прежнему текла в зеленых своих берегах красавица река...

Не раз приходили в наш край чужеземные люди, в удельные времена резались между собою князья и князьки: на смуте, междоусобице замешано темное прошлое. Потом царевали над мужиками помещики-крепостники (чем мельче, малоземельнее был иной раз помещик — злее старался показать свою силу), и, должно быть, от тех давних времен каждая деревушка сохранила свое лицо. Чем настырнее, злее был в старину барин-помещик, тем забитее глядели исподлобья мужики.

По местам нашим давным-давно пошли под топор дремучие леса, помещичьи обширные парки, разорены усадьбы с большими каменными и деревянными домами-дворцами, окруженными старыми дуплистыми липами, развесистыми дубами и высокими кленами, кустами разросшейся сирени, старыми, поколовшимися яблонями; с соловьями, обитавшими в непролазных парковых чащобах, с голосистыми лягушками в заросших зеленой осокою сажалках-прудах, с тенистыми беседками, устроенными для томных вздыханий и бессонницы. На месте парков и дворянских усадеб беспорядочно торчат новые крыши деревенских хуторов-выселков, кланяется журавель нового колодца... Разве по двум-трем неведомо как уцелевшим одичавшим яблоням и грушам, одиноко торчащим на мужицких огородах, да по заросшим дедовником и крапивою, заваленным землею ямам, по обломкам старинного крупного кирпича можно признать, где была когда-то, цвела господская богатая усадьба, текла иная, ныне забытая, навеки похороненная жизнь? Здесь жили, веселились, влюблялись, стрелялись из пистолетов, увозили на лихих тройках похищенных невест, проигрывали в карты людей и деревни, пили, устраивали балы помещики-дворяне, а мечтательные барышни в открытых кружевных платьях, в завитых локонах вздыхали над чувствительными стихами и романами в кожаных, с золотым тиснением переплетах...

Нынче от прошлого осталось мало; редкий человек может рассказать, как жили, кто, какие были люди; мало, мало осталось в народной памяти от давнего прошлого... Лишь где-нибудь за облупленной, всеми покинутой церковушкой, в обвалившейся каменной церковной ограде, на каменных и чугунных плитах, потонувших в бурьяне, загаженных молодыми грачами, видны холодные, никому не нужные имена. Да и поныне где-то живут, носят громкие фамилии прежних господ затерявшиеся потомки некогда гремевших крепостных владык...

Здесь, в наших краях, была усадьба русского композитора Глинки, здесь родился, рос и воспитывался, купался в реке декабрист Каховский. Здесь же неподалеку стояли вымышленные Львом Толстым Лысье Горы князей Болконских, чудачил старый князь, скакал по большаку Алпатыч, молилась, принимала прохожих юродивых-бродяг княжна Марья... Ныне портреты знатных дворян и мечтательных нежных красавиц в кружевных платьях пошли на потеху деревенским ребятам, увезены в Москву, висят в музее ближнего городка. Странно, чудно, точно из иного, загробного, мира глядят с портретов удивленные мечтательные глаза неведомых красавиц в бальных платьях.

А еще недавно, незадолго до революции, на памяти живых, здравствующих людей доживали по нашим местам потомки этих некогда державших в руках своих силу и власть имен. Хлебосольничал, держал псовую охоту, во всем подражать старался широкому прощлому старик Воронец; гуляли, катались на рысаках, пугали автомобилем деревенских ребят и баб, прошвыривали отцовские крохи братья Станкевичи; перестрелялось, спилось, отдалось в руки пройдохам-плу-

там, пылью рассыпалось некогда большое, по-старинному крепкое семейство дворян Крымовых. И топтались в господских прихожих, ломали перед господскими плутами-приказчиками свои рваные шапки, несли в задаток за купленную помещицью землю завернутые в тряпички засаленные рублевки и тройки.

Памятен и уездный городок наш на берегу реки. В кои-то веки был городок богат, славен и бел; большая торговая пролегалa через него дорога: торговали пенькою, льном, далеко хаживали с обозами, крепко сколачивали копеечку городские купцы. Строили купцы каменные, крепкостенные, крепкобокие дома, с резными тяжелыми воротами, с маленькими тюремными оконцами, прикрытыми ставнями, кружевными белыми занавесками, с лежанками и кафельными печами-голландками, горячими, как пожар, с тесными комнатушками и чуланами, с большими, тяжелыми замками и железными засовами на дверях и воротах, со злыми цепными собаками, караулившими купеческое добро. Были в купеческих домах всегдашний сумрак, мыши и тишина, сугубое почитание; стояли по углам обитые железáми пузатые сундуки, возвышались у стен многоспальные кровати с высокими пуховыми перинами и снежно-белыми подушками, возвышавшимися в изголовьях. Сияли в застекленных, пахнувших кипарисом и богородичной травкой киотах серебряные ризы старинных темноликих икон, неугасимо горели перед иконами в синих и красных стеклянных стаканчиках, чадили деревянным маслом желтые язычки лампад. И, помолясь с земными поклонами, наставив свечей перед святыми подвижниками, намочив квасом подстриженные в скобку волосы, брались за свое торговое дело купцы.

Сидели купцы в гостинном ряду, в каменных крепких лабазах, за обитыми жестью прилавками, грелись на холоду горячим чайком, играли в шашки. И бойко шелкали на старых счетах.

В давние те времена стоял в городке пехотный полк, окрестные помещики устраивали званые балы, наряжались, взбивали локоны помещицьи дочери-невесты, пылили по дорогам ямщицкие и помещицьи бойкие тройки. И белел над городком, прочно возвышался на городском зеленом валу собор, бродили под пожарной каланчой (в первый год революции на этой самой каланче вместо разбежавшихся пожарных уездное новое начальство заставило дежурить городских попов) исправниковы и протопоповы индюшки; сидя в полосатой будке, ковырял в носу у исправникова двухэтажного дома городской Нилыч; кораблем плыл по базарной площади соборный протопоп отец Елеофантов, народивший шестнадцать дочерей.

Единожды в год, на Светлую, собиралась в городке шумная ярмарка, съезжались помещики и барышники-купцы, со всех концов нашего глухого уезда везли мужики деготь и лыко, колеса и глиняные горшки, вели продавать лошадей и мелких своих коровенок. Табором стояли за рекою цыгане, с цыганками и голыми загорелыми цыганятами; бродили черноглазые, чернобородые цыгане по ярмарке в широких плисовых шароварах, в синих измятых картузах. Клялись и божились, сбывая краденых и опоенных лошадей, бойко шелкали ременными кнутами. Зад к задку кучились на ярмарке с задранными березовыми оглоблями мужицкие телеги; сидели на телегах деревенские бабы-молодухи в расшитых повойниках и праздничных сарафанах, лакомились городскими гостинцами...



КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

С балкарского

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Люди, не можем достичь мы предела:
Лучшее слово и лучшее дело —
Все еще впереди,
Все еще впереди,
Иди..

Самая звучная песня не спета,
Самая лучшая женщина — где-то
Все еще впереди,
Все еще впереди,
Иди!

Горе забудется, чудо свершится,
Сбудется то, что покуда лишь снится.
Все еще впереди,
Все еще впереди,
Иди!

Не подводите покамест итога,
Самая светлая наша дорога
Все еще впереди,
Все еще впереди,
Иди!

И оттого, что вся жизнь — ожиданье,
Сеется хлеб и возводятся зданья,
Все еще впереди,
Все еще впереди,
Иди!

Созданы лучшие в мире творенья
Не оттого ли, что жизнь — предвкушенье
Всего, что еще впереди,
Иди!

* * *

Приходит грусть почти всегда нечаянно,
 Себя к ней не готовит человек.
 Наверно, так перед началом таянья
 Грустит на перевалах горный снег.

Никто не ищет грусти преднамеренно,
 Но отчего-то, или без причин,
 Грустят не то что люди — даже дерево,
 Грустит трава долин и снег вершин.

Сегодняшняя грусть моя — посланница
 Под вешним ливнем мокнувших высот,
 Но скоро дождь пройдет, а грусть останется,
 Иль будет литься дождь, а грусть пройдет.

Покуда непогода так упорствует,
 Давай не будем тратить время зря,
 А будем слушать дождь, как старцы горские,
 Друг другу лишних слов не говоря.

* * *

Я обидел человека, люди,
 Нехотя, лениво, без вины.
 Люди, вы — свидетели и судьи,
 А защитники мне не нужны.

Я забыл извечные основы,
 Я не захотел себя сдержать
 И дурное, ранящее слово
 В грудь ему всадил по рукоять.

Я забыл про все, я был жестоким,
 Это злое слово оброня...
 Горных речек чистые потоки,
 Вы не пойте песен для меня.

Я нарушил добрые обычаи,
 Я не знал, что злое слово мстит,
 Что в конечном счете сам обидчик
 Терпит горе от своих обид.

ЖЕНЩИНА КУПАЕТСЯ В РЕКЕ

Женщина купается в реке,
 Солнце замирает вдалеке,

Нежно положив на плечи ей
 Руки золотых своих лучей.

Рядом с ней, касаясь головы,
Мокнет тень береговой листвы.

Затишают травы на лугу,
Камни мокрые на берегу.

Плещется купальщица в воде,
Нету зла, и смерти нет нигде.

В мире нет ни вьюги, ни зимы,
Нет тюрьмы на свете, ни сумы,

Войн ни на одном материке...
Женщина купается в реке.

ТЕРПЕНЬЕ

В твой дом несправедливость и беда
Пусть не найдут дороги никогда.

Но если их тебе не избежать,
Умей терпеть, а это значит — ждать.

Терпи, как пуля, сжатая в стволе,
Терпи, как порох, спрятанный в земле.

Как терпят боль от топора чинары,
Как терпит камень молота удары,

Есть мужество боренья, но не менее
Благословенно мужество терпения.

Терпенье — вот, мой друг,
Оружие героя,
Коль выбито из рук
Оружие другое.

* * *

Речь горцев не цветиста, а сурова,
Их разговор бесхитростен и прост
Настолько, что боюсь я вставить слово,
Как конь боится выскочить на мост.

Здесь говорят, не повышая голос,
Неприхотлив крестьянский разговор,
Но слово совершенно, словно колос,
Бесхитростно, как каменный забор.

Тревожит рассуждающих не вечность,
Не старый спор: что истина, что прах?
И в речи их нет слова «человечность»,
А просто человечность в их словах.

Течет неприхотливая беседа,
Бывая только тем омрачена,
Что ночью телка пала у соседа,
Что нет кормов и далека весна.

И о насущном хлебе вновь заходит
Речь горских мудрецов, и речь сама
Родной землею пахнет и походит
На их нелегкий хлеб и на корма.

Я не вступаю в споры-разговоры,
Мне все равно, кто прав и кто не прав,
Мне сладко просто слышать речь, в которой
И доброта хлебов, и мудрость трав.

Перевел Н. Гребнев.



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

КНИГА ШЕСТАЯ

1

Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года: ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя.

А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками; прокуроры узнали страшную пору. Судили и казнили Лавалю, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас — что ни день печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена, и это было понятно — он сыграл слишком видную роль в уничтожении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна (автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости), хотя ему было восемьдесят пять лет и Гитлером он восхищался скорее всего от старческого слабоумия.

Еще юлил перепуганный Франк. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом четвертого класса: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения XIX века, чем Хиросима, нельзя было придумать.

Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали; пока шла война — держались, а только спало напряжение — многие слегли: инфаркты, гипертония, инсульты; зачернели некрологи.

В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа — жили трудно, многие впроголодь, работали через силу и все же не опускали рук.

В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели тридцатилетние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал: «Приходится корпеть над книгой полночи — забыл,

начисто забыл! А ведь проходил, сдавал на аттестат...» Я подумая, глядя на него: конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется — у него ведь второй аттестат, вторая зрелость... Мы слишком хорошо помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, загадывали, мечтали — и про себя и вслух.

Было много различных драм; один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался — не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял: «Оказывается, и он Петя, как нарочно...» Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить, ко всему новый муж — тезка! Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллин — там демобилизовался, а по дороге зашел ко мне «ответи душу».

Профессор сказал мне об усатых, мрачных первокурсниках: «Совершенно от рук отбились...» Я про себя усмехнулся: я ведь тоже отбилсь. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за «Бюрю» только в январе 1946-го — долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит; потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться — мы все ею отравлены.

Прежде я мечтал: кончится — отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить.

В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го. (Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает; после Москвы — а я люблю Москву, в ней прошли детство, отрочество — отдыхают глаза: улицы Ленинграда связаны с природой, небо, вода входят в городской пейзаж.) Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом — то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах; работали главным образом женщины. Люди шутя говорили о «косметическом ремонте». Однако не дома наводили грусть — люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали об ее ужасах; то, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло.

Девятого июля было сильное солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет десяти скептически сказал: «Это что, пустяки! Вот когда с Вороньей горы стреляли...»

В букинистических магазинах лежали груды редких книг — библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал: «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью неизвестной мне женщине. Я и теперь не знаю, случайный ли это автограф или страница из жизни Блока; не знаю, у кого была книга до войны — у старой знакомой поэта, у ее детей или у библиофила. Может быть, это фетишизм, но, взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения.

Я увидел афишу: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом; надпись гласила, что она обнаружила пять тысяч мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо, не понимая, почему на нее смотрят, — ведь она делала только то, что делали люди, и отделалась легко — одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать — маленькие, отошавшие дворняжки; их держали хозяйки — тоже

маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимцами голодным пайком.

(Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках — «барские причуды». Я вспомнил, читая его письмо, не только о Каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторю: моя книга — сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества; с таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке; то и дело вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю об исландцах.)

На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей — Урса и Куса; они принадлежали И. А. Груздеву, биографу Горького, одному из «серапионов». В начале блокады жена Груздева принесла хлеб — паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну: у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы. Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься.

В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи — здесь забавлялись наемники из «голубой дивизии». Вероятно, думали, что не сегодня-завтра пройдут по улицам Ленинграда... Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахматова писала о Пушкине в царскосельском парке: «Здесь лежала его треуголка и расстрепанный том Парни...» Статую Пушкина нашли в земле — ее успели закопать; нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторял эти строки: «О дайте вечность мне, и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам». Нет, мена не может состояться, и не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид.

В Петергофе дворец был разрушен; говорили: «Отстроим»; я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубали три тысячи старых деревьев.

Восьмого июля в город вошли его защитники — Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно.

Вечером Л. А. Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные годы. Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать: «Какая сила в нем сокрыта! А в сем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?» Помолчав, он добавил: «Народ поумнел, это бесспорно...»

Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том, о сем. Берии присвоили маршалское звание. О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: «Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться или теперь это невозможно?» Я ответил: «Нет, по-моему, не может...» Ольга Федорова рассмеялась: «А голос у вас неуверенный...»

Ко мне пришла девушка, сказала: «Вы, наверно, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила, работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится. А потом отдайте мне — для меня это память...» Ночью я стал читать тетрадку. Записи были короткими: столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза, умер Василийев, умерла Надя, умерла сестра... Потом мое внимание привлекли записи: «Вчера всю ночь — «Анну Каренину», «Ночь напролет «Госпожа Бова-

ри»...» Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил: «Как вы ухитрялись читать ночью? Ведь света не было». — «Конечно, не было. Я по ночам вспоминала книги, которые прочитала до войны. Это мне помогло бороться со смертью...» Я знаю мало слов, которые на меня сильнее действовали, много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства — в них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олеша написал пьесу; героиня вела два списка: в один заносила то, что называла «преступлениями» революции, в другой — ее «благодетельства». О первом списке в последние годы немало говорили, только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается «благодетельств», то они действительно связаны с ее природой. Если память мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка, которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии, училась в педагогическом институте, в начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшные ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась моему удивлению, связано с сущностью советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты.

Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенциме, о Франции, о будущем. Мне было с нею легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя; умиляешься, пробуешь подтрунить над собой, нежность мешается с горечью.

Я вернулся в Москву и сразу же захотелось уехать. Пришел П. И. Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского (в одной поэме Маяковского есть о нем: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут...»). Павел Ильич предложил устроить вечера, спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах, некоторые пили, пели. Я старался спать, но не спалось.

Кострома мне понравилась — большие площади, Гостиный двор, Табачные ряды, Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. (Лавут умилился.) Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников, и картины мне напомнили улицы Москвы того времени — кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале. Директор даже руками всплеснул: «Что вы! Это влияние импрессионистов, отход от реализма».

После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился: «Ваш читатель». Он шагал, прихрамывая, по длинной улице. «Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал, начал во Львове, ходил в разведку, четыре ранения, последний раз под Будапештом, про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в горсовет. Начал кричать. Я-то знаю, что виноват он, он мне сам говорил, что нет толя, значит — нечего торопиться, но что скажешь: он тебе и генерал, и маршал, и господь-бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так. Только, пожалуйста, меня не назы-

вайте — он меня в порошок сотрет, и про Кострому лучше не пишите, просто интересный факт человеческого устройства...»

В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью; на одном изразце под двумя деревьями было написано: «Егда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений и все про деревья. Вспоминал молодость: «Я смутно жил и неуверенно, и говорил я о другом. Но помню я большое дерево — чернильное на голубом. И помню я больную женщину. Не знаю, кто кого любил, но суеверно и застенчиво я руку взял и отпустил. И все давным-давно потеряно, и даже нет следя обид, и только где-то то же дерево еще по-прежнему шумит». Писал о мужестве: «Была трава, как раб, распластана, сияла кроткая роса, и кровлю променяла ласточка на ласковые небеса. И только ты, большое дерево, осталось на своем посту, — солдат, которому доверили прикрыть собою высоту...» Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать: «...Я с ними жил, я слышал их рассказы, каштаны милые, оливы, вязы. То не ландшафт, не фон и не убранство, есть в дереве судьба и постоянство. Уйду — они останутся на страже, я начал говорить — они доскажут...»

Стихи я писал, наверно, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет; они были напечатаны в журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с поэзией.

Не помню, что было на вечеру в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. Ничего не скажешь — моя молодость меня искала...

Ядвига работала в педагогическом институте, с нею жила дочь Таня. У Тани был жених. Мне показалось, что Ядвига мало изменилась — и голос такой же, и глаза. Дочь, жених... Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверно, старость всех настигает врасплох.

Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу: дети, муж пропал без вести, пенсии не дают. Студенты спрашивали: «Скоро ли капитулирует Япония?» «Чей будет Триест — югославский или итальянский?» «Как вы относитесь к статье Александра?» «Почему никто из писателей не написал «Войну и мир?»» На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига, как в Москве четверть века назад.

Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской — вот здесь стоял дом, где я родился. — гряда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война, звонок Лапина, переправа через Днепр, годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал: скоро сяду за книгу — значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, в сердце. Побывал у Тычины, Бажана, Головановского, А. Кагана. На Подоле просидел вечер у офицера — он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска, позвал к себе, купил пол-литра, колбасу и долго рассказывал, как его сыновья росли, учились, ушли на войну и не вернулись. «Почему их убили, а не меня?.. Жена застряла в Киеве. В Бабьем Яру...» Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю — не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал.

В Москве ко мне пришел незнакомый человек, сказал: «Простите, что нагрязнул — к вам трудно дозвониться. Я — болгарский коммунист Коларов»... У нас не работал лифт, и первое, что я подумал: ведь ему под семьдесят, как он взобрался?.. А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болга-

рию, написать об этой стране. «Вас читают и на Западе...» Я сразу согласился.

Несколько дней спустя мне позвонил Г. Ф. Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. «Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей...» Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо, но я сразу понял, что это ни к чему — ничего он не сможет мне объяснить. Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию (это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия). Георгий Федорович ответил: «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. «В «Правде», в «Известиях». Он посоветовал договориться с «Известиями» и посылать регулярно очерки в эту газету: «Вы ведь старый «известинец»...» Я зачем-то подумал вслух: «Конечно. Но я скорее собака, чем кошка — привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал в «Известиях», не осталось... Впрочем, это безразлично, в «Известия» так в «Известия»...» Александров обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку.

В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула: «Ни в коем случае!» Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я (не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию). Я услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать, продаст там материю, купит муку, сало. Она — студентка текстильного института, муж тоже студент — филолог. «Он только и может, что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то что — я крепкая, а у него открытый процесс, ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный...» И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой, неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по блату. Денег у нее мало — только на носильщика, могут при пересадке украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она отказалась; я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жует. Пересадка у нее была ночью; прощаясь, она сказала: «Не думайте обо мне слишком плохо, вы — писатель, должны понять... А может быть, не стоит брать носильщика?..» Два года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка: «Помните?..» Я сразу вспомнил. «Ну как — взяли носильщика?» Она засмеялась: «Нет, сама дотащила».

Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет восьми. «Мы ее подобрали возле Барановичей — родителей немцы убили. Я после ранения служил в санбате. Она ко мне привязалась. А жена пишет: «Привези». Жена у меня больная, ее четыре раза резали. Детей нет. До войны я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в санбат — руку повредило. Ну, ничего — как-нибудь устроюсь. Проживем. А без детей скучно. Мне ведь сорок два... Девочка-то хорошая. Жена обрадуется... Девочка стеснялась, не раскрыла рта.

Я побродил по Одессе, она была печальной: много развалин, попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе, она казалась обиженной, оборванной и заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном запущенном доме — во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен: вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хрюмой кроватью висела разбитая венецианская люстра.

Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть не-

знакомые страны. Начнутся митинги, доклады. Придется диктовать статьи по телефону. Потом сяду за роман и, наверно, снова не додумаю... Как в 1932 году в Париже на улице Котантен, я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумья, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные два месяца назад: «Я смутно жил и неуверенно, и говорил я о другом...» Вот это — правда, слишком часто говорил о другом — не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выгляжу скорее мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать... Прежде мне казалось, что старость легка, естественна — постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь в Одессе под разбитой люстрой я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти, а силы.

На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени — железные скамейки. Над Черным морем болтало, а я записывал — про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку (снова я чего-то не додумал, не дописал!). Я увидел на аэродроме огромную толпу — встречали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы.

Ко мне подошли секретарь посольства С. А. Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии, сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и, забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было семнадцать лет назад, и теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут, и горбатого действительно исправит только могила.

2

Я был прав в своих опасениях: замелькали лица, города, страны. Для того, чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое — за четыре месяца я побывал в семи странах: Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковче-самолете; ковры теперь летают по расписанию, и проводница с затверженной улыбкой объявляет: «Мы совершим полет на высоте девяти тысяч метров, пассажирам будет подан обед...» Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать — о шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымалывал выходной день или, как школьник, убежал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами, находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в укромном местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступить на митинге, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статьи для «Известий», как десять лет назад; но тогда все для меня было внове, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки.

Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина — его законная жена, а литература — любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой. Потом?.. Потом настала эпоха, когда политика заня-

лась мною, как сотнями миллионов других людей, и походило это не на упреки ревнивой жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя.

Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрассветный туман. По библии бог, приступив к сотворению мира, в первый день отделил свет от тьмы, что касается тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался рассечь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идиллично. На открытии французского Учредительного собрания на правительственной скамье сидели рядом генерал де Голль и Морис Торез. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден «Победы».

Года два спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Татареску и правого социал-демократа Петреску. В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер Дома писателей, «тузы и шишки»; большинство их быстро сошло со сцены — одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синекуру и могли вспоминать бурное прошлое.

Я встречался не только с министрами, но и с румынскими помещиками, с болгарскими экспортёрами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят «джебел» — это самый дорогой табак; американцы его примешивают к «виргинии». Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар «джебел», поскольку болгарское правительство не признано Соединенными Штатами. На Московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация: пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт. Министров болгары нашли, только и они не пришлись по вкусу американцам. «Джебел» лежал непроданный.

За кулисами шли черновые репетиции 1947 года. А на сцене продолжалась пастораль. Бирнс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умиленные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тито. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за «вечную дружбу».

Я был в румынской деревне Кошерени; разговаривал с крестьянами; они не знали, радоваться ли им аграрной реформе, боялись, что помещик КонстантINESКУ отберет землю назад да еще выпорот за захват чужого добра. Я пошел к помещику; он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал: «Это дело еще неясное...» Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую силу атомных бомб.

В Будапеште в ресторане при гостинице «Бристоль» можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил пятнадцать тысяч пенго, а средний заработок служащих составлял сто пятьдесят тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр, подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал: «За наше вторичное освобождение!..»

О войне трудно было забыть: она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединивший Пешт с Будой. А прекрасная Буда с ее пышным и легкомыслен-

ным барокко казалась фантастическим нагромождением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить: Буды, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески Спаса-Нередицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно, для бездомного человека всего важнее крыша, но проходит год или десять лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает тосковать о красоте, а ее нельзя возвратить никакими планами. Я видел развалины Плоешти, Софии, Задара, Подгорицы, Фиуме, Ниша, Корчи, Брно, потом немецких городов. Бог ты мой, как разбитые дома похожи один на другой! Нужно было сосредоточиться, чтобы понять: это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск.

Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых. тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было семеро детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил, увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было четыреста тысяч, погибло восемьдесят пять тысяч.

Балканы, Центральная Европа были разорены. Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран: «Подсвечники (свечей нет), масленки (нет масла), бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок (люди ходят в драной обуви, встречал босых)». В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила двести пятьдесят пенго. В Болгарии не было молока; прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детишек. В Черногории люди голодали; местные власти говорили, что нет грузовиков — нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о «черном рынке», о баснословных ценах. Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку — кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки (у нас их прозвали «авоськами»), кокетливо обшитые орденскими ленточками — кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение.

Одни жили в оцепенении, выходя на улицу — пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других была лихорадка митингов, шествий, песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло.

В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русе. Меня подняли и долго несли на руках: таков обычай. Признаться, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе: для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом, они раз десять обегали площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали.

В один из последних вечеров в Софии меня повели в театр на «Трубадура» и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Димо Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден святого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикреплять дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал, я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В югославском Сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В Тирану я приехал вечером, вышел усталый из машины после рытвин, ухабов — и сразу меня зтолкнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской рево-

люции, театр был набит. На сцене танцевали; один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке, все начали аплодировать, кричать, я тоже зааплодировал, потом оказалось, что аплодируют мне, я уж не понимал, где актеры, где министры, а темперамент у албанцев южный; мне показалось, что это длится вечно. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам, и сейчас же начался очередной митинг.

Балканы я увидел впервые. Конечно, за два месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я старался повидать разных людей, понять характер стран, не похожих одна на другую.

Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранялся былой лоск, а в двухстах километрах от столицы в угольном бассейне Жиу многие жили, как звери — в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка: навстречу элегантной даме шла босая крестьянка в домотканой одежде, волы задерживали министерский «кадиллак». Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Лотреамона, Бретона, Джойса; а в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из семи тысяч врачей четыре тысячи работали в столице; крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха: 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плакали, вспоминая мужа или сына; они не понимали, почему была война, говорили: «Угнали в Россию, потом сказали, что убит...»

Меня привлекало добродушие, порой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая согласно обычаю притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом. Пили цуйку — сливовую водку, пили из плоских деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов: про меня знали только, что я — русский, видели, что я не собираюсь ничего отобрать, а старый хозяин сказал: «Нежданный гость — это на счастье...»

Красная Армия освободила многие страны, советский народ показал самоотверженность, пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь «культом личности», сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргези. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я с ним на моем докладе; потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было шестьдесят пять лет. Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него косились: «декадент», «западник», «индивидуалист». Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После 1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргези; а когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал: «У нас такой поэт, как Аргези!...»

Я познакомился с Михаилом Садовяну, мы потом вместе поехали в Болгарию. подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе, вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на десять лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца сороковых годов; люди, не понимавшие искусства, да и не любившие его, робели перед кротким Садовяну — вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что, казалось, ему было чуждо. Он ценил далекого ему Аргези и терпеть не мог звонких стихов, написан-

ных на заказ для газеты; любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полотен, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал: «Мы это заслужили — слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, любовь к прекрасному — кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мешанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни, не те, что обработаны для ансамблей... Вторичный расцвет искусства придет лет через двадцать — тридцать, когда вырастут другие люди с другими нормами. Но я не ропшу — хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть досыта. Значит, придет время и для искусства...» Садовяну был членом Комитета по премиям «За укрепление мира». Каждый год он приезжал в Москву, и хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Садовяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году в возрасте восьмидесяти лет.

Болгария показалась мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный — никакой «души нараспашку», страсть скрыта. Почти в каждом селе я видел «читалище» — библиотеку; крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые — даже стихи.

На софийском вокзале меня встретил боевой товарищ Мате Залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский, с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли: война началась задолго до наступления Красной Армии.

Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей Константиновым. Несмотря на свой пост, он говорил со мною откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и Абрешков, и молодой художник Альших — племянник Паскина. На любви к Илие Бешкову сходились все: для людей, опасавшихся искусства, он был полезен: рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника; он хорошо рисовал; умел выпить; играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа, не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству.

Среди старшего поколения писателей я запомнил Елина Пелина и его чудесные слова: «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту и если не завязнешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней, это не проза, а газета...» Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечере читала свои стихи, нежные и чистые. Со мною сидел рядом чиновник, приставленный к литературе, он сказал: «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно. Вроде вашей Ахматовой...» Это было в 1945-м, а не в 1946-м, и я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младенем Исаевым.

Я поехал в Бояну — посмотреть фрески XIII века. Историки искусств долго не замечали славянского Возрождения, относили живопись Болгарии и Македонии к византийскому искусству. А портреты Бояны или

Охрида так же отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал литературу Эллады; у южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а скорее почтальоном.

(В конце сороковых годов, когда, по указанию Сталина, у нас культивировалась «самобытность», вспомнили даже князя Юрия Долгорукого, но не великого живописца начала XV века Андрея Рублева.)

Потом на берегу Охридского озера, в окрестностях Прилепа и Скопле я увидел фрески XI—XIII веков. Эта живопись на сто — двести лет предшествует фрескам Джотто в Падуе. Печально, что у славянского Возрождения было только утро — в конце XIV столетия турки захватили Болгарию и Сербию.

Югославия в ту осень переживала гордость освобождения; люди были приподняты, спорили, восторгались, и нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которое, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывало народ. Я увидел своеобразную страну, или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в дворцы Возрождения, в соперницу Венеции Дубровник, в вычурные барочные особняки Загреба на фоне охровых и бледно-лимонных холмов, в чистенькую, нарядную Люблян, эту родственницу Кракова и Праги, в трагическую Черногорию? Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты.

Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Луберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским; порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков; в Словении с ее высоким культурным уровнем книга была окружена заботой.

С Ивом Андричем я познакомился еще в Болгарии, и мы как-то сразу поняли друг друга. Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо, молчал или пытался смягчить тон спора, курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле, может быть, и не на той, на которой что ни день происходили исторические события, а на земле искусства: не на лаве — на горе. Мы с ним погодки, и я всегда с восхищением, даже завистью думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал, писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственной размолвки. В апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира; встретились как друзья; потом много лет я его не видел, но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет.

Другой крупный писатель Югославии — Крлежа. Я увидел знакомое: о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Крлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно.

В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке: «Не узнаете?..» Это был друг моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брюсселе. Он был романтиком, да и остался им до конца; судьба занесла его в Дубровник, он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко.

Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в XII веке: каждый человек, решивший вступить в брак,

должен был посадить семьдесят пять оливковых деревьев — олива живет долго, триста — четыреста лет, — и правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не раз в моих мыслях я возвращался к этому закону.

Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома.

Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали: «Этот мир — тиран даже для тирана, и он вдвойне тяжек для благородных сердец. Море воюет с берегом, зной с морозом, ветер с ветром, зверь со зверем, народ с народом, человек с человеком...» Я трясся в машине и повторял горькие слова: война явно не хотела оставить меня в покое.

В Братиславе, потом в Праге я встретил старых друзей; многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, Гофмейстер, Лао Новомеский и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое — «Девятсил» и «Дав», шутили, пили вино...

Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил: «Что с Мейерхольдом?» Я ответил: «Плохо...» Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке «Ромео и Джульетты» — у меня в голове все путалось: пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку «Народне дивадло», увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарека. Некоторые говорили: «Формализм»; Незвал неистовствовал: «Это не формализм, это революция!..» Галас печально улыбался. Сейферт молчал.

В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов «Вне перемирия». Издание было прекрасное, а иллюстрации такие «формалистические», что я удивился — отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу надписали и переводчик, и художники, и рабочие типографии.

Был прием в Граде; я увидел Бенеша, он, улыбаясь, сказал мне: «Видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого...»

Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти — Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились — их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография четырехлетнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать.

Мы поехали в Терезин, где погибли сто пятьдесят тысяч человек, и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась...

Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию, в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от «Известий»: «Просим поехать в Нюрнберг, описать процесс военных преступников». Я сразу согласился — и потому, что хотел повидать суд, и потому, что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длинный роман. (Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть, а тогда к этому чувству примешивалось другое — отвык от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности.)

В Белграде дули холодные ветра. Я подумал, что еду на север — декабрь, а на мне летнее пальтишко. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело, однако, оказалось сложным. Когда я спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплые пальто, они иронически улыбались: может быть, думали, что возьму и не заплачу. (Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед.) А может быть, и вправду пальто не было, мне ведь предлагали французские духи, элегантные бумажники, в общем, то, без чего будапештцы могли прожить. В одной лавчонке я разговорился, сказал, кто я, объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной — уцелевшим евреем. Он сразу сказал: «Уцелели три скорняка. Если Илья Эренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а доставим ему пальто...» Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски; все жестикулировали, кричали. Я наконец спросил, о чем они говорят. «Очень просто: мы говорим, что Илья Эренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю семью. Можете об этом сказать на процессе. Хотя если начать читать список убитых, то на это потребуется десять лет. Он говорит, что пальто нигде нет. То есть у какого-нибудь министра, наверно, два пальто, но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки. Ему нравился Хорти. Нас он не любит, но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год войны, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей...»

Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны: развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно — дорога была забита: американские части уходили из Западной Чехии.

А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе: он не только разрушил города, убил миллионы людей, он отравил сознание выживших. Плевели расизма, национализма разлетелись далеко. Я вспомнил, как дрались два старика — венгр и румын, плевали друг другу в лицо, как итальянцы в Риеке ругали словенцев, как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что отплатят за все «проклятым венграм». В Скопле все улицы были под номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопле небольшой город; прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими, и македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать: «Ух, паршивые, Гитлер вас проморгал!..» Я видел на рукавах судетских немцев белые повязки — знак унижения, и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом его монетой. Невеселые это были мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации: «Плюнули в душу...»

Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга; никто не знал. Шофер вдруг сказал: «Кажется, мы свернули с дороги...» Поехали назад. Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять... Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался: «Дурак — стоит на дороге и стреляет...» Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга три мили.

Развалины — не скажешь, что город. «А куда нам ехать?..» Я задумался: ночь, никого не найдешь... Мы поехали в американскую коменда-

туру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?..» Он улыбнулся: «Вы здорово воевали» — и, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать, он улыбался и неизменно отвечал: «Майор сейчас придет...» Мы с чехом выкурили полпачки. Наконец стало невтерпеж, хотелось спать. Мы встали. Американец снова улыбнулся: «Майор немного опоздал... Но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу: «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся — майор скоро придет...» Солдат зевнул и сказал нам: «Пошли! А майор не придет, он в гостинице — в баре пьет виски. Я был на процессе, Геринг очень толстый, а в общем, неинтересно. Интересно другое — когда меня наконец-то отправят домой?.. Вот и гостиница. Мне сюда не полагается. Пойду ждать майора...»

3

В большом холле нюрнбергского «Гранд-отеля» толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В баре подавали коктейли; певица с большим декольте пела американские песенки (слышался немецкий акцент); танцевали. Бар был, а крыши не было; лестницу тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на третьем этаже, я взбирался наверх то по стремянке, то по доскам.

Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. Вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками; пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки; прошел трамвай; город жил, но какой-то ирреальной, растерянной жизнью. На уцелевшем заводе изготовляли портсигары с надписью «На память о Международном трибунале»: американские солдаты обожали сувениры.

Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран; большинство жило за городом в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в «Гранд-отеле» и научился быстро взбираться наверх. Обедали все в столовой при суде; каждый брал поднос, и мы проходили мимо десяти американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба.

Трибунал заседал в здании окружного суда; на стене была роспись — Адам, Ева, змий. Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров; но в коридорах отопление не действовало. Шел снег; все кашляли, чихали.

Я как-то стал вспоминать: что у меня связано с Нюрнбергом? Прежде всего пряники: когда мы еще жили на Хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге; денег у меня не было, я ел раз в день две сосиски с картофельным пюре, но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрессировал — стоял часами, глядел, даже прочитал его книгу. Туристам показывали старую башню, «железную деву»; сторож методично рассказывал, как людей пытали и казнили. В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба: «Но путь науки строгой я в юности отверг и вольною дорогой пришел я в Нюрнберг... Кто знает, сколько скуки в искусстве палача, не брать бы вовсе в руки тяжелого меча...» Прошло еще двадцать пять лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После sentimentalной

картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги; на ветру бился паук свастики; фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, я вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге...

Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды. А в это время читали документы: убиты в застенках триста тысяч, шестьсот тысяч, шесть миллионов...

По одежде Геринга было видно, что он похудел, и все же он выглядел тучным; в его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Друг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом — все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но Кукрыниксы сидели и, как всегда, рисовали. Потом один из конвойных рассказал, что Геринг меня узнал; оказалось, что они меня разглядывали, как я их.

Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли «совестью партии», с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия; целое заседание было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слова и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю, как длинный кошмарный сон.

Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану — не хотел смотреть; другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел: Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было три с половиной миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось сто тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой — понял, что его ждет?

Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями: присоединение Австрии — «планом Отто», захват Чехословакии — «зеленым планом», захват Югославии — «Маритой», уничтожение Польши — «делом Гимmlера», предполагавшееся нападение на Гибралтар — «предприятием Феликс», вторжение в Советский Союз — «планом Барбароссы». Около пятидесяти миллионов убитых и двадцать ничтожных людей — нет, это не умещалось в сознании!

Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворных и у него ослабела память, но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя, как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона, я таких видал не раз, на все отвечал, как рядовой вермахта: «Выполнял приказ»; а когда огласили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами: «Это досадное недоразумение». Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гимmlера, говорил, что он занимался исключительно «переселением»: «Я был всего-навсего административным карликом». Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом; канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул, что он украл карти-

ну Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь, — я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знаток считал себя Альфред Розенберг, он собирал редкие русские книги; был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами, отдал, например, приказ «за три часа или два до операции (так назывались массовые убийства) вырывать у евреев золотые зубы».

Ужасающие цифры неожиданно прерывались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговался, уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любит красоту; перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: «Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами...» Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. Двадцать лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении малолетней, но он выкрутился — грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля, я считал, что евреям нужно предоставить Палестину...»

Я глядел на них и видел одно — страх. Одно дело — убить миллион людей, это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт, другое — чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя — Германа, Юлиуса, Рудольфа, Альфреда. Одни пытались спорить о судебной процедуре — Зейсс-Инкварт, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права, другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний, третьи валили на соседа по скамье и все на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на других, заверял бы, что хотел благоденствия и Германии, и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали.

«Вы человек современный, то есть хладнокровный», — сказал Гитлер Нейрату. Пожалуй, эти слова многое объясняют. На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне «современно» — и захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр — предпрятие, если угодно, гигантский трест.

Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал — мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: «Как это все понять?..» Я ответил: «Не знаю». Судьям было нетрудно разобраться: состав преступления был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли.

Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных отчаявшихся крестьян, вспоминал «синюю бороду» Ландрю, сумасшед-

шего Горгулова — там мы видели искажение человеческого существа, а здесь, в Нюрнберге, — кровавая бухгалтерия, и только. Я взглянул на скамью и вдруг подумал: они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу коммивояжера Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается достоинщина и начинается мир роботов.

Полночи я проговорил с французской журналисткой Андре Виоллис, умной и благородной женщиной. (Она одна из первых написала о жестокости колонизаторов в Индокитае.) Виоллис рассказывала о печали Франции — ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле — в комнатах было очень холодно; шумел джаз. А я спрашивал: «Что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен, задолго до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают...» Виоллис отвечала: «Я об этом часто думала еще до войны... Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель, но мне кажется, что духовная структура Франка ничем не отличается от самого жестокого сатрапа древности. Только у Франка было больше возможностей — сатрап не обладал газовыми камерами».

Процесс длился долго — десять месяцев; очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее — до процесса. Из двадцати одного подсудимого десяти удалось спасти голову, но и это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой — от несоизмеримости преступлений и преступников.

Я не раз думал, сидя в нюрнбергском зале: до чего это страшно! Ведь весь мир знал: есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество, и вместе с тем он один из главных виновников убийства пятидесяти миллионов людей. А я теперь думаю и не могу понять. Я рассказывал в этой книге о Модильяни — он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатаев «Ротонды». Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели: «Гитлер сказал...» «Геринг не согласен...» «Риббентроп предлагает...» От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина, Ванчур, Макса Жакоба, Сен-Поля де Ру, фрески Новгорода и Пизы. Ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для его современников!.

В холле «Гранд-отеля» американский журналист (забыл его фамилию) говорил мне: «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным. Он заставил плясать под свою дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой крысолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства...» Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что, будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и Антония, другой нос, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного носа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль, но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос. Но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки.

Обо всем этом я думал, возвращаясь в «виллисе» домой — мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелищ Берлина. Прежде

были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники перекочевали из быта в коллекции любителей редкостного. Эти слова часто прикрывали бесовственные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».

Я вспомнил статью Марины Цветаевой — рассказ о Дантесе. Вначале он не чувствовал никакого раскаяния: убил на дуэли русского камер-юнкера, вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь — победил Пушкин, победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим.

Белобрысые школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали; было это в разрушенной Орше. Я поглядел на них — и на душе стало как-то спокойней.

4

В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело, с друзьями. Война не хотела меня отпускать, о ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колею мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским; подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» Гехман позвал меня на свадьбу; собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались, Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали семидесятилетие Кончаловского; Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подругами своей невестки. 22 февраля в годовщину смерти Толстого Людмила Ильинична позвала нас в Барвиху; все вокруг напоминало об Алексее Николаевиче, и даже горе было живым, теплым.

Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе то в Политтехическом, то на заводах, то у военных.

Однажды я пошел в Еврейский театр на пьесу «Фрейлахс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре местечек. Костюмы сделал мой друг Тышлер. Михоэлс и Зускин замечательно играли. Я смеялся вместе со всеми, и вдруг мне стало страшно — вспомнил о рвах и ярах, где теперь лежат персонажи «Фрейлахс», убитые гитлеровцами. Михоэлс и Зускин выходили на аплодисменты, раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре один будет убит на глухой окраине Минска, а другого расстреляют?..

Как-то пришел ко мне еврейский поэт А. Г. Суцкевер. (С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильнюса, убежал оттуда, партизанил; его вывезли на «Большую землю».) Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей.

Я продолжал встречаться с иностранцами — в записной книжке пометки: завтрак у французского посла Катру, ужин у норвежского посланника Андворда и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не сразу понял, что все переменялось. Мне запомнился смешной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии, он был литерато-

ром и хотел познакомиться с советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице «Националь» зал; там был накрыт стол для ужина — колумбиец пригласил человек тридцать. А пришли трое — Ф. Кельин, испанский писатель Арконада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов в десять официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались, как могли, его утешить, проносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал всех.

В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля, впервые я прочел слова «железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально: газеты продолжали печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английский и американский обвинители совместно с советским обличали Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше: вспоминать прошедшее или думать о будущем.

Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы: путевые очерки «Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений, тем паче что они уже были напечатаны в «Правде» или в «Известиях». (Два года спустя книжку изъяли из библиотек — в ней была глава о Югославии.) А стихи смущали издательство: «Чересчур пессимистично...» (Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из «Дерева», которые я включил в сборник, редактор вздыхал: «Лучше бы снять или по крайней мере заменить это слово — уж очень мрачно...») «Дерево» вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей и меня оставили в покое. Словом, «Дереву» повезло.

В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали «За доблестный труд», среди награжденных был и Б. Л. Пастернак; он сказал мне, что скоро в Политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей, награжденных медалями, выступал М. М. Зощенко. В начале апреля в Колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. Два дня спустя Анна Андреевна была у меня, и, когда я упомянул о вечере, покачала головой: «Я этого не люблю... Главное, у нас этого не любят...»

Я стал ее успокаивать — теперь не тридцать седьмой... Хотя мне незадолго до того исполнилось пятьдесят пять лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики.

В самом начале января я сел за «Бурю» и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все не решался написать первую страницу. А писал я не отрываясь и до апреля успел написать треть романа — две первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это — кануны войны; писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече двух братьев — честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео — было также немало от душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предвоенные годы: рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очернить арестованного отца.

Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы; кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части — случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж: «Он приехал из Москвы жестких скрипучих лет...» (слово «скрипучих» убрали). Лео говорит Осипу: «Вы и живете для будущего...» После шло: «Это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца-то не поймать, и пускают его, чтобы борзые быст-

рее бежали» — это зачеркнули... В рассказе о Зине напечатано: «Вы ведь знаете — у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого...», выпущена следующая фраза: «Когда его забрали, это было зимой...» О каких «неприятностях» идет речь — стало непонятным. Прерываю список «отпечаток».

Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым — на конференцию редакторов газет. Я сказал В. М. Молотову, что начал писать роман, частично его действие протекает во Франции и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже; он ответил: «Не имею возражений».

Я хочу в этой главе досказать о «Буре», и мне придется нарушить последовательность повествования. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомним о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей.

Это было в конце августа во французском городке Вуврэ близ Тура. Утром мы с Любой поехали в Ля Башеллери, где долго жил Анатолий Франс; повез нас туда внук писателя Люсьен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франса, и с его обликом — я помнил библиофила на набережной у Сены у ларьков букинистов. Танагрские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предметами обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино вуврэ. Потом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба — прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение: «Из Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зошенко».

В Париже я прежде всего побежал в посольство и попросил советские газеты. А в октябре, когда мы вернулись в Москву, узнал подробности: после доклада А. А. Жданова Анну Ахматову и Зошенко исключили из Союза писателей.

Мне казалось, что после победы советского народа тридцатые годы не могут повториться, а все напоминало прежнее — собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли «соучастников», каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами; обвиняли Пастернака и Шостаковича. Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л. И. Тимофеева и Садофьева, Межирова и А. Гладкова.

Начала выходить газета «Культура и жизнь», многие статьи выглядели, как обвинительные заключения. Особенно резко писали о Зошенко и Ахматовой. В докладе Жданова и в газетных статьях впервые была провозглашена «борьба с низкопоклонством перед Западом».

А. А. Жданова я помнил по Первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству и еще в 1934 году поручил выступить на съезде. Снова я увидел Жданова в 1947 году — он пригласил пять или шесть литераторов, среди них и меня, мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания — Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович рассказывали, что Жданов пригласил композиторов и, желая показать, что такое «мелодичная музыка», не похожая на ошибочные произведения, что-то наигрывал на рояле. Помню, как в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. А. А. Фадеев сказал: «Ужасное сообщение — умер Жданов! Сойдите вниз...»

С М. М. Зошенко я встречался очень редко; как-то вышло, что мы мало знали друг друга; однако я всегда считал его одним из лучших

наших писателей. Однажды в начале пятидесятых годов я его встретил на Пушкинском бульваре; он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяни, она сидела, как всегда печальная и величественная; читала Горация. Несчастья рушились на нее, как обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова.

Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал «Бурю». Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач — меня окружили видения военных лет, я жил с персонажами романа. В «Буре», на мой взгляд, много неудачного — вероятно, события были чересчур свежи и я не все смог осмыслить. Однако некоторые герои романа — Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Дюма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей — мне дороги. Я кончил роман в июне 1947 года.

О книге было много споров. Некоторые читатели обижались: почему французы выглядят героичнее, чем советские люди? Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи — был разгар кампании против «низкопоклонства». Приведу несколько фраз из статьи одного критика о «Буре»: «...Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Эренбург... Просто либеральные буржуа не понимают и клеветают на советский строй. Они видели в нашей стране только альперов и лабазовых, дилетантов влаховых и земских деятелей крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть... Но ведь тов. Эренбург — не либеральный буржуа... При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские... Да и полно! Русский ли Сергей Влахов? И Советский ли Союз его родина?..»

Таких критиков сердило описание первых месяцев войны, хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что именно произошло в 1941 году. Критик писал: «Все было разъяснено товарищем Сталиным...» А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, верил в слово Гитлера.

Роман печатался в «Новом мире»; редактировал его тогда К. М. Симонов; он мне писал: «Тревог нет, по-моему все в порядке». Я считал, что отделаюсь несколькими статьями наиболее исступленных обличителей «низкопоклонства».

Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель Комитета по Сталинским премиям, докладывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. «Сталин спросил, почему «Бурю» выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению Комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом нет настоящих героев. Сталин возразил: «А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка! И потом так в жизни бывает... А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем, обыкновенные люди становятся героями...» Александр Александрович добавил: «Как вы понимаете, я не стал спорить», — и громко засмеялся.

Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от Комитета повесть В. Пано-

вой «Кружилиха», ехидно спросил Фадеева: «А вы знаете, как разрешить все конфликты? Я нет...» Сталин отстаивал право Сергея любить Мадю, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещающий браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм; помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной, польской гражданки, которая писала, как над нею издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что я теперь спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона? Сказал «так бывает», подумал и решил, что так не должно быть...

Из книг, вышедших в свет с 1946-го по 1954-й, кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных славословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель. А описывая мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен: стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника.

Кончив «Бурю», я долго не думал о новом романе, писал статьи, переводил. Те годы не были легкими для работы писателя. У нас много пишут, как неблагоприятно отразился «культ личности» на сельском хозяйстве, на промышленности, на строительстве, и мне как писателю остается добавить, что он не способствовал расцвету литературы. Об этом недавно писал и К. Г. Паустовский.

Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного «юга»: «Да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит в мартовские стужи, когда отчаянье берет, все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, а только гордость и беда. И в жесткой, ледяной обиде, сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны».

А «Буря» остается для меня слабым, приглушенным эхом суровых, но чистых лет.

(Продолжение следует)



Д. САМОИЛОВ

★

ПАМЯТЬ

Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.

И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.

Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.



ГЕНРИХ БЕЛЬ

★

САМОВОЛЬНАЯ ОТЛУЧКА

Повесть

I

Прежде чем перейти к сути этой повести, к ее пружине (пружину здесь надо понимать в том же смысле, что и пружину часового механизма), то есть к семейству Бехтольдов, в которое я вошел в пять пополудни 22 сентября 1938 года, когда мне уже стукнуло двадцать один, я хотел бы дать кое-какие разъяснения касательно моей особы — упоывая на то, что они будут и ложно поняты, и ложно приняты. По всей видимости, пришло наконец время раскрыть некоторые тайны и показать, чему я обязан моим бравым видом, здоровым духом в здоровом теле — здоровье его иногда подвергается сомнению, — а также моей дисциплинированностью и твердостью, за которую меня винят друзья и бранят враги, — словом, всеми теми качествами, какие необходимы каждому современнику, ежели он человек беспристрастный и непредвзятый, дабы он мог выстоять в наш век, требующий особой стойкости, и находиться в обороне, наступлении, боевой готовности... Тут читатель может вписать все, что ему в данный момент заблагорассудится — тем же манером, каким он вписывает недостающие слова в печатные бланки: в, при... футб. ком., Общ. кат. студ. или Союзе странств. подм., НАТО, СЕАТО, Варшавский пакт, Восток и Запад, Восток или Запад; в этом месте разрешается даже задать еретический вопрос: ведь на розе ветров есть и другие страны света, а именно Север и Юг, нельзя ли вписать и их тоже? В бланк могут быть внесены и так называемые абстрактные понятия, как-то: вера, неверие, надежда, безнадежность, а если кто из читателей ощущает досадную нехватку в руководящих идеях или же недостаточное знание конкретных и абстрактных понятий, я рекомендую ему обратиться к самой многотомной энциклопедии, где он сумеет подыскать себе что-нибудь подходящее между Аару и Ящуром.

Я намеренно не упоминаю здесь ни кроткой церкви верующих, ни грозной церкви неверующих и даже не из осторожности, а из животного страха перед тем, что меня опять могут призвать на службу: слово «служба» («я на службе», «мне надо служить», «я служу») всегда вселяло в меня страх.

Всю мою жизнь, особенно после 22 сентября 1938 года, когда я, можно сказать, пережил второе рождение, я упорно стремился к одной цели — стать негодным к службе. Цели этой я так и не достиг, хотя несколько раз был близок к ней. Я не только готов был в любое время дня и ночи глотать пилюли, терпеть уколы и разыгрывать из себя сумасшед-

шего (что, впрочем, удавалось мне хуже всего), но даже позволил людям, которых не считал своими врагами, хотя они имели все основания считать меня своим врагом, всадить мне пулю в правую ногу, продырявить левую руку шепкой (правда, не непосредственно, а, так сказать, посредством немецкой теплушки, вместе с которой я взлетел на воздух), а также прострелить мне череп и тазобедренный сустав; дизентерия, малярия, обыкновенный понос, нистагм (дрожание глазного яблока), невралгия, мигрень (болезнь Менъера) и микозы — ничто не помогало мне. Медики упорно писали: годен к службе. Только один врач сделал серьезную попытку признать меня «негодным к службе». Самым отрядным последствием этого явилось то, что меня послали на десять дней в Париж, Руан, Орлеан, Амьен и Абвиль в служебную командировку, снабдив служебным пропуском, служебными талонами на питание и служебными направлениями в гостиницы. Эту командировку мне устроил милейший глазной врач (нистагм); в вышеупомянутых городах я должен был скупить для него по длиннейшему списку *les oeuvres complètes de Frédéric Chopin*¹, ибо Шопен, как он мне признался, был для него тем же, чем абсент для ранних символистов. Но, к сожалению, шопеновскими вальсами я не смог обеспечить его полностью, и он не то чтобы рассердился, но был опечален и удручен; особенно огорчало его отсутствие вальса № 9 *As-dur*, который я так и не сумел раздобыть. Не помогла делу и наспех состряпанная мною, довольно поверхностная впрочем, социологическая теорийка насчет того, что меланхоличность вальса — истинный клад для всех дам, бренчащих на рояле в больших и малых городах данной местности; он все равно был разочарован, и когда я предложил ему командировать меня в неоккупированную часть Франции, опять-таки обстоятельно разъяснив, что в Марселе, Тулузе и в Тулоне наверняка не царит та удушливая тыловая атмосфера, которая превращает вальс № 9 *As-dur* в лекарство, пользующееся особым спросом, он криво усмехнулся и сказал:

— Вот вы чего захотели.

Наверное, он считал, что с юга мне легко будет дезертировать, и решил помешать этому — но вовсе не потому, что желал мне зла (мы с ним ночи напролет сражались в шахматы, ночи напролет беседовали о дезертирстве, и ночи напролет он играл мне Шопена), а, видимо, потому, что боялся, как бы я не наделал глупостей. Я даю торжественную клятву, что не намеревался дезертировать с юга хотя бы по той причине, что на родине меня ожидала любящая жена, позже — жена и ребенок, а еще позже — только ребенок. Но как бы то ни было, его попытки культивировать мой нистагм несколько ослабели, и через два-три дня он спихнул меня главному офтальмологу армейской группы «Запад» «как пациента, представляющего большой научный интерес», — слов этих я ему век не прощу, по-моему, это равносильно самой низкой форме предательства; главный офтальмолог подавил меня как своими пышными наплечными украшениями, так и своим научным весом. Полагаю, что из мести (он, наверное, почувствовал мою антипатию) сей муж два дня подряд вливал мне в глаза какое-то мерзкое зелье, из-за которого я не мог ходить в кино. Я видел теперь не далее трех-четырёх метров, а в кино я люблю сидеть сзади. Все, что находилось за пределами трех-четырёх метров, казалось мне расплывчатым и туманным, и я бегал по Парижу, словно маленький Ганс, потерявший свою сестрицу Гретель. Негодным к службе меня так и не признали, а просто отправили в часть с резолюцией: «Посылать на стрельбы не нуж-

¹ Полное собрание произведений Фридерика Шопена (*франц.*). (Здесь и далее примечания переводчика.)

но». После чего мой начальник (прелестное слово, прямо тает во рту!) несколько переделал окончание в слове «нужно» и обрек меня на занятие, которое я в какой-то степени уже успел изучить. У солдат-сверхсрочников оно обычно фигурирует под названием «чистить нужники». Сей специальный термин я употребляю не без известных душевных колебаний и исключительно из уважения к исторической истине и ко всевозможным профессиональным жаргонам. Первые шаги на почетном ассенизационном поприще я сделал три года назад; как-то раз во время занятий с саперной лопатой я, вдруг позабыв всю прежнюю муштру, при команде «к ноге» ткнул острием лопаты в подколенную впадину моего тогдашнего начальника. А когда меня спросили о моей специальности, отчасти по наивности, отчасти по легкомыслию ответил правду: мол, был «студентом филологического факультета» — и тут в игру вступила исконная любовь немцев ко всем видам и разновидностям умственного труда, и меня закатали, так сказать, на ассенизационные нивы, дабы «сделать из меня человека».

Стало быть, я уже знал, как смастерить из старого ведра, палки, проволоки и гвоздей ковш; кроме того, мне были знакомы физические и химические условия моей работы; и вот несколько недель подряд от семи утра до полпервого дня и от половины второго до полшестого я расхаживал по длинной французской деревне, неподалеку от Мер-ле-Бен, держа в каждой руке по ведру, и уваживал аккуратные насаждения нашего батальонного командира, который в «гражданке» был директором сельскохозяйственного училища и решил здесь, во Франции, точно воспроизвести отечественный огород — у него росли капуста, лук, лук-порей, морковь и целое поле кукурузы («для моих курочек»). Самым неприятным в моем батальонном командире была его привычка «проявлять человечность во внеслужебное время», то есть подходить к подчиненным и «вступать с ними в беседу». Чтобы помешать этому нарушению стиля (начальники, проявляющие человечность, всегда казались мне худшим из всех зол), а также соблюсти свое достоинство и напомнить ему о его достоинстве, мне каждый раз приходилось жертвовать целым ведром экскрементов; я выплескивал содержимое ему под ноги таким манером, чтобы он, чего доброго, не подумал, будто это случилось по неловкости, но и не подчеркивая слишком явно, что я делаю это нарочно: ведь моя цель заключалась в том, чтобы показать ему разницу в наших чинах. Лично я ничего не имел против батальонного командира: он был мне глубоко безразличен. Отсюда явствует, что даже для людей самых низменных профессий главное — это найти верный стиль. Во всяком случае я стал для него недосыгаем, ибо постоянно окружал себя зоной экскрементов. Не моя вина, что у него как-то разлилась желчь (на него попали брызги из ведра); капитану запаса, по моему, такая чувствительность не пристала. Любовница командира — дома ему такая роскошь была бы не по карману — числилась в наших батальонных списках как «проходящая с л у ж б у» судомойка, она без конца потчевала его вальсом № 9 *As-tu*, и я подозревал и до сих пор подозреваю, что именно эта дама выхватила у меня из-под носа в Абвиле ноты того самого вальса и разрушила мои надежды на нистагм. В теплые осенние вечера она иногда расхаживала по деревне вся в лиловом, с хлыстом в руке, в лице ни кровинки — ни дать ни взять мадам Бовари коллаборационистского толка, не столько распутная, сколько развратная.

Здесь мой терпеливый читатель может перевести дух. Я несколько уклоняюсь от темы, но не в сторону, а назад и торжественно возвещаю: ассенизационный вопрос еще не совсем исчерпан, зато с шопеновским

вопросом покончено, во всяком случае ничего качественно нового я не сообщу, правда количественно мне еще предстоит кое-что добавить — из соображений композиции. Но вообще он больше не будет обсуждаться. А сейчас я в припадке раскаяния бью себя в грудь — в ту самую грудь, внешние данные которой можно узнать у моего портного, а внутренние определить столь трудно... Так вот, мне бы очень хотелось представиться на этих страницах по всем правилам, как положено солдату, проходившему службу; к примеру: политические взгляды — демократ. Но можно ли говорить так о человеке, который не пожелал быть «запанибрата» с начальством и который, правда с помощью экскрементов, держал его на известном расстоянии? Или возьмем такую графу, как вероисповедание. Тут прямо напрашивается вставить какое-либо из ходких сокращений (выбор невелик), например: еванг., еванг.-лют., еванг.-реф., кат., рим.-кат., ст.-кат., изр., иуд., вед. Меня всегда неприятно поражало, что религии, над смыслом которых посвященные и непосвященные бились на протяжении двух тысяч, шести тысяч или четырехсот лет, разрешают низвести себя до нескольких жалких букв, но даже если бы я хотел воспользоваться ими, мне бы они все равно не подошли.

И здесь следует сразу же указать на один мой недостаток, который, будучи чуть ли не моим врожденным пороком, принес мне немало неприятностей и вызвал немало недоразумений. Мои родители — люди разной веры — были такими любящими супругами, что не хотели огорчать друг друга, раз и навсегда установив мое вероисповедание (только на похоронах мамы я узнал, что евангелическую церковь в этом браке представляла она). Родители разработали очень сложную систему взаимного уважения — каждый из них по воскресеньям попеременно ходил то в церковь Троицы на Фильценграбене, то в церковь девы Марии в Лизкирхене; это было, так сказать, верхом вежливости в вопросах веры, причем главным украшением ее являлось то, что каждое третье воскресенье никто из них вообще не ходил в церковь. Мой отец неоднократно уверял, что я христианин, поскольку меня крестили; тем не менее уроки закона божьего я никогда не посещал. По сию пору я блуждаю в потемках — хотя мне уже под пятьдесят, и финансовое ведомство считает меня атеистом, так как я не плачу церковного налога. Я с удовольствием стал бы иудеем, чтобы избежать всяких неприятных «вед» в графе «вероисповедание», но отец считает, что после его смерти, когда наконец-то станет известна тайна его религии, мне придется отречься от иудаизма и люди могут истолковать это превратно. В частных беседах я охотно называю себя «христианином грядущего», что навлекает на меня несправедливое подозрение, будто я адвентист. Да, в вопросах веры — я неисписанный лист, человек, приводящий всех в отчаяние; для атеистов — бельмо на глазу, для верующих — «трудный случай», незрелый субъект, который слишком нянчится с памятью покойной матери; ведь в конце концов, как мне недавно заявил один священнослужитель, «вежливость — вовсе не богословская категория». Весьма сожалею, ибо в противном случае я был бы очень набожным.

Все, что в этой повести касается меня, и не только меня, но и всех других персонажей, я хотел бы изложить не в форме связной записи, а в той форме, в какой составлены альбомы «Раскрась сам», известные всем нам со времен нашего золотого детства: их можно было купить за десять пфеннигов (а в магазине стандартных цен за десять пфеннигов — две штуки). Альбом «Раскрась сам» был традиционным подарком не слишком изобретательных, скуповатых тетушек и дядюшек, которые считали само собой разумеющимся, что у ребенка уже есть коробка красок или набор цветных карандашей. В этих альбомах контуры были намече-

ны тонкими линиями, а то и пунктиром, который можно было превратить в линии. Уже это представляло некоторую свободу творчества, а при раскраске свобода была полная. Фигуру, которая, если судить по слегка намеченным воротнику и тонзуре, изображала священника, вы могли покрыть черной краской (цветом всех церковников), но при желании также и белсой, красной, коричневой и даже сиреневой. В верхней части каждой страницы оставалось свободное место, что также способствовало полету фантазии; вы имели право пририсовать священнику любой головной убор — от маленькой шапочки до тиары; наконец вы могли переделывать патера в равнина или же, изобразив брыджи, дать понять, что это священник постреформатского вероисповедания. А уж на крайний случай можно было взять энциклопедию, раскрыть ее на «Церковном облачении» и точно выяснить, во что следует облачать шею, голову и ноги служителей того или иного культа (например, сандалии францисканца). И потом, разумеется, вы могли вообще игнорировать «священника» — благо, он был намечен скухими штрихами — и изобразить вместо него крестьянина, булочника, пивовара или даже императора, хироманта, клоуна. Кондуктора — пунктир, штрихи и компостер, довольно-таки топорное изображение — можно было сделать трамвайным, железнодорожным или автобусным кондуктором. Ну, а если бы кто пожелал (в печатной инструкции это отнюдь не возбранялось), он мог несколькими смелыми штрихами превратить кондукторский компостер в потухшую трубку или же нарисовать трэсть, а компостер переделать в набалдашник, и вот уже перед нами музейный служитель, фабричный сторож или старый вояка, который бодро отбивает шаг на встрече ветеранов. Что касается меня, то я всю использовал предоставленную мне свободу и, к ужасу моей матушки, превращал явных поваров в хирургов; разливательные ложки я переделывал в скальпели, а лица поваров расширял с тем расчетом, чтобы их колпаки казались ниже. С женскими фигурами я обращался еще более вольно — самое легкое, как известно, рисовать решетки, — поэтому я всех женщин без разбора делал монахинями за решеткой; отец, правда, путал иногда моих монахинь с одалисками в гареме.

Всякий поймет, что несколько штрихов, умело дополненных пунктиром, чтобы придать штрихам определенную целенаправленность, дают куда большую свободу, нежели столь возделанная абсолютная свобода творчества, где все предоставлено фантазии индивидуума, а ведь индивидууму зачастую ничего не приходит в голову, ровным счетом ничего, да и пустой лист бумаги ввергает его в такое же отчаяние, как свободный час, когда вдруг сломался телевизор.

Вся эта сцена прощания с вымирающим искусством «Раскрась сам» — слезы и прочувствованные слова — служит не только для того, чтобы отвлечь внимание от моего портрета. С тех пор как наши дети научились малевать на чистых листах бумаги картины, годные для выставок, и в четырнадцать лет рассуждать о Кафке, иные полотна взрослых стали просто невыносимы, так же как и иные рассуждения взрослых о литературе. Невинная овечка, если она и впрямь невинна и умеет толковать улыбку авгуров, еще может перед тем, как ее поведут на заклание, оригинально и со смыслом распорядиться своим нутром, предварительно наглотавшись булавок, иголок, скрепок, партийных и прочих значков или же квитанций на уплату церковного налога. Однако овечка, потерявшая невинности и дар разгадывать улыбку авгуров, просто выворачивает свои внутренности, и мы видим их такими, какие они есть «на самом деле», а по этим жалким кишкам уж ни в коем случае нельзя предсказать будущее, как это делали древние...

...Итак, я предлагаю читателю всего несколько штрихов и точек, пусть он использует их на манер картинки из детского альбома, чтобы украсить мою небольшую повесть, которая является не чем иным, как возведенной, но еще не отделанной поминальной часовней; на голых стенах этой часовни он может изобразить все, что ему угодно: фреску, сграффито или мозаику.

Авансцену и задний план я оставляю совершенно пустыми: тут есть место для предостерегающе поднятых пальцев, для заломленных от возмущения или от отчаяния рук, для укоризненно покачивающихся голов, для губ, поджатых со старческой мудростью и строгостью, для нахмуренных лбов, для зажатых носов, для лопнувших воротничков (воротнички могут быть с галстуками и без оных, их заменяют также бриджи духовных лиц и т. д.), здесь же разрешается трястись, как в припадке виттовой пляски, демонстрировать пену на губах, а то и бросаться печеночными и почечными камнями, которые появились по моей вине. Подобно прижимистому дядюшке или малость скуповатой тетушке, я предполагаю, что у читателя уже есть коробка красок или набор цветных карандашей. А тот, у кого под руками окажется всего лишь черный карандаш, чернильница или тушь на доньшке пузырька, пусть испробует свои силы в монохромной живописи.

Если же кто-нибудь останется недоволен тем, что в повести нет второго, третьего и четвертого плана, я могу предложить ему взамен разные исторические пласты: пыль веков, которую каждый получает совершенно задаром, и хлам истории, который стоит и того меньше. Разрешаю также удлинить на картинке мои ноги или же сунуть мне в руку археологическую лопатку, тогда я сумею извлечь на свет божий что-нибудь забавное: например, браслетку Агриппины, которую сия матрона, напившись, потеряла в драке с пьяными матросами римско-рейнского флота как раз в том месте, где стоял (и вновь стоит) мой отчий дом, а не то башмак святой Урсулы или даже пуговицу от пальто генерала де Голля, вырванную с мясом восторженной толпой, а потом проникшую сквозь каналы новейшей формации в более интересные исторические пласты. Лично я уже раскопал кое-что стоящее: к примеру, рукоятку меча Германика — он обронил его в ту минуту, когда с излишней горячностью, пожалуй даже нервно (чтобы не сказать — истерично), схватился за ножны, дабы показать ропшущей толпе римско-германских мятежников меч, который так часто вел их к победам; и еще отлично сохранившуюся белокурую исто германскую прядь волос — без малейшего труда я установил, что в свое время она украшала голову Тумелика; а кое-какие вещицы я не называю, чтобы не возбуждать у туристов зависти и охотничье-археологических инстинктов.

Но теперь мы уже не отклоняемся от темы ни назад, ни в сторону, а прямым путем движемся к цели, наконец-то подходим к чему-то реальному, а именно к Кёльну. Гигантское наследие, грандиозный исторический груз (грандиозный во всяком случае, если исходить из его объема). Однако, прежде чем завязнуть в тине истории, скажем то, что говорят матросы: «Корабль к бою!» Стоит мне только упомянуть, что Калигула именно здесь нарочно провоцировал стычки с врагами — тенктерами и сикамбрами, — чтобы упрочить свою раздутую и дутую славу, — как мы уже пускаемся в дальнее плавание без всякой надежды достичь берегов. А если бы я захотел проникнуть в пласт Калигулы — четвертый снизу, мне пришлось бы полностью снять позднейшие напластования, примерно двенадцать по счету, и тут я обнаружил бы, что даже самый верхний слой совершенно забит историческим хламом: кусками цемента, обломками мебели, человеческими скелетами, солдатскими касками, коробками от противогазов и пряжками от сол-

датских ремней — и что все это только слегка утопано, слегка утрамбовано... И уже не говоря обо всем прочем, как бы я мог объяснить молодому поколению, что означает надпись на пряжке: «С нами бог»? Раз уж я признал, что родился в Кёльне (обстоятельство, которое заставит в отчаянии заломить руки всех правых, левых, срединных и грегорианских католиков, рейнских и прочих протестантов, равно как доктринеров любых мастей, а следственно, почти всех без исключения), мне хочется создать благоприятную почву и для недоверия, и для недоразумений; поэтому я предлагаю как место своего рождения по меньшей мере четыре улицы на выбор: Рейнауштрассе, Гроссе Вичгассе, Фильценграбен, Рейнгассе, — и пусть каждый, кто подумает, будто я помещаю свой отчий дом в рискованной близости к тем обителям, где Ницше в свое время потерпел фиаско, а Шелер имел успех, пусть он знает, что на этих улицах не занимались и не занимаются ремеслом, каковое пьяные римские матросы приписали Агриппине, и если после этого ищейки от археологии возьмутся за дело, чтобы установить, где Агриппина действительно дралась с матросами, где Тумелик действительно причалил к берегу, а Германик произнес свою знаменитую речь, я попытаюсь еще усилить всеобщую неразбериху: когда в моей коллекции найдут шкатулку из слоновой кости и спросят, чьи волосы в ней хранятся, я заявлю, что это прядь, украшавшая голову одной из натурщиц Лохнера или голову святого Энгельберта; такого рода путаница весьма обычна и привычна в городах, где много паломников.

На вопрос о моей национальности я без обиняков отвечаю: иудей-германец-христианин. Промежуточное звено этой триады можно без ущерба заменить названием какой-либо из многочисленных народностей, населяющих Кёльн, чистой или смешанной, например, чистокровный самоед, или помесь шведа с самоедом, или гибрид словака с итальянцем; но от первого и от последнего звеньев триады иудей — христианин, которые, так сказать, скрепляют мою помесь, я отказаться не могу; объявляю, что человек, который не соответствует ни одной из трех перечисленных здесь категорий или только одной (например, помесь славянина с германцем), «годен к службе» и ему надлежит тотчас получить повестку о явке на призывной пункт. Условия явки известны: быть чисто вымытым и готовым во всякое время раздеться догола.

II

Итак, мы покончили с внутренним содержанием рисунка и можем немедленно перейти к внешним контурам: рост 1 м. 78 см., масть — темно-русая. Вес — в пределах нормы. Особые приметы — легкая хромота (как результат ранения тазобедренного сустава).

Двадцать второго сентября 1938 года, примерно без четверти пять пополудни, когда я сиделся в седьмой номер трамвая у Кёльнского главного вокзала, на мне была белая рубашка и серо-зеленые штаны; увидев их, каждый посвященный сразу понял бы (тогда), что это солдатские штаны. Человек, находившийся на некотором расстоянии и, следственно, не ощущавший запаха, который я распространял, счел бы, что вид у меня «вполне приличный». Но люди, знавшие меня, были бы поражены, ибо всем, кто меня знал, известно, что от моего прапрадедушки со стороны отца, родом из Ньимвегена, я унаследовал мизофобию — манию мытья рук; таким образом, я сообщаю еще одну мою особенность, которая могла бы завести нас очень далеко, — так вот, всех, знавших меня, наверное, очень удивили бы и даже умилили мои руки с трауром под ногтями. Что касается грязных ногтей, то у меня есть на это четкий ответ: в том идейно-казарменном сообществе, чью форму я, собственно, должен был

бы носить (как только поезд отошел, я сбросил в туалете и упрятал в чемодан все ее составные части, исключая штаны, которые не снял из соображений благопристойности, и башмаки, которые оставил из соображений целесообразности), — в этом казарменном сообществе я в совершенстве усвоил одно правило: быстро чистить ногти вилкой перед тем, как их провешивало начальство, то есть за обедом. Но тот день я почти целиком провел в поезде (денег на вагон-ресторан не было, а следовательно, не было и вилки для чистки ногтей) и поэтому, несмотря на сравнительно поздний час, разгуливал по дорогам истории с грязными ногтями. Еще сейчас, четверть века спустя, сидя за праздничным или за обычным столом, я с трудом удерживаюсь от того, чтобы быстренько не почистить себе ногти вилкой; кельнеры нередко мечут на меня грозные взгляды, принимая за голодранца, а бывает, смотрят с одобрением, принимая за сноба. Сообщив читателям об этой моей привычке, я хотел бы указать им на то, какой неизгладимый след оставляет в человеке военная муштра. Если ваши дети садятся за стол с грязными ногтями, немедленно посылайте их на освидетельствование, а затем сразу же в казарму. Довожу до сведения читателя, которого, быть может, затошнит или у которого, упаси бог, возникнут какие-либо сомнения гигиенического характера, что мы в нашем казарменном сообществе не только вытирали затем вилки о штаны, но и споласкивали их в горячем супе. Время от времени, когда я остаюсь один — что случается не так уж часто, — то есть когда меня не опекает и не контролирует теща или внучка и когда я не закусьваю в обществе деловых людей на открытой веранде рейхардского кафе, я машинально хватаю вилку и чищу себе ногти. На днях один турист-итальянец за соседним столиком спросил меня: не является ли это исконно немецким обычаем, на что я без колебаний ответил: да. Более того, я указал ему на Тацита и на термин, известный еще со времен италийского Возрождения: «*formalismo teutonico*»¹. Турист тотчас же записал это в своем путевом дневнике и шепотом переспросил: «*Formalismo tautonico?*». Я оставил его в этом приятном заблуждении, ведь слова «*formalismo tautonico*»² звучали так красиво.

Итак, если не считать грязных ногтей, вид у меня был вполне пристойный. Даже башмаки надраены до блеска. Правда, не моей рукой (я до сих пор упорно уклоняюсь от этого дела), а рукой моего однополчанина, который не знал, как отблагодарить меня за оказанные ему услуги. Из чувства такта он не решался предложить мне ни деньги, ни табак, ни прочие материальные блага; мой товарищ был неграмотный, и я писал за него пылкие письма двум девицам из Кёльна, которые обитали хоть и недалеко от моего отчего дома (всего за два или за семь кварталов), но вращались в совершенно незнакомой мне среде (как раз в той, с которой связывали Агриппину, и в той, где Ницше так не повезло, а позднему Шелеру так повезло). Мой сотоварищ по фамилии Шменц, сутенер по профессии, в порыве необузданной благодарности набрасывался на мои башмаки и сапоги, стирал мне рубашки и носки, пришивал пуговицы и утюжил штаны — ибо пылкие письма приводили адресатов в восторг. Письма эти были на редкость благородные, даже несколько таинственные и сильно стилизованные, что ценилось в той среде почти наравне с перманентом. Как-то раз Шменц отдал мне даже половину своего пудинга с жженым сахаром — это блюдо скрашивало наши воскресные дни, — долгое время я считал, что он не любит этого пудинга (я не встречал людей, более избалованных, чем сутенеры), но потом мне

¹ Псевдоученая испорченная латынь, здесь: «тевтонская любовь к вилке».

² «Формальная тавтология».

убедительно доказали, что именно пудинг с жженым сахаром — один из его любимейших десертов. Вскоре пошла молва, как пылко я пишу, и мне волей-неволей — скорее неволей — пришлось писать письма; так я стал если не присяжным писателем, то присяжным писцом. В качестве гонорара я получал довольно-таки своеобразные привилегии: у меня больше *не* воровали табак из тумбочки и мясо с тарелки, меня больше *не* сталкивали во время утренней зарядки в сточные канавы, мне больше *не* подставляли ножку во время ночных переходов и — словом, я имел все те льготы, какие только возможны в подобных сообществах. Позднее многие мои друзья — марксисты и антимарксисты — упрекали меня в том, что, сочиняя любовные письма, я вел себя неправильно. Моим долгом было, «используя любовный жар, накопившийся у этих неграмотных людей, воздействовать на их сознание и по возможности даже поднимать их на мятеж». Кроме того, как человек честный, я обязан был каждое утро барахтаться в сточных канавах. Каюсь, я действительно поступал неправильно и был непоследователен по двум совершенно разным причинам: первая из них коренится в моем врожденном пороке, вторая в моем дурном окружении — я человек вежливый и боюсь мордобоя. Мне и впрямь было бы приятнее, если бы Шменц не чистил мои сапоги, а все остальные продолжали бы сталкивать меня в сточные канавы и за завтраком окутать мою папиросную бумагу в кофе. Но я просто не мог набраться невежливости и смелости, чтобы помешать им оказывать мне услуги. Да, я клянусь себя, признаю виновным без смягчающих обстоятельств; теперь, быть может, люди, которые уже приготовились в отчаянии заломить руки, опустят их; нахмуренные лбы разглядятся, и кто-нибудь сотрет пену с губ. Торжественно обещаю, что в конце этой повести я во всем сознаюсь, преподнесу готовую мораль, а также дам такое истолкование всего вышесказанного, которое избавит от тяжких вздохов и раздумий толпу толкователей, начиная от гимназистов-старшеклассников, кончая знатоками-интерпретаторами в архиученых семинарах. Оно будет составлено так просто, что даже самый немудрящий, самый неискушенный читатель сможет «проглотить его, не разжевывая», оно будет гораздо проще, чем инструкция по заполнению бланка для уплаты подоходного налога. Терпение, терпение. До конца еще далеко! Признаюсь, что в нашем свободном и множественном индустриальном мире я предпочитаю всем остальным свободному чистильщику сапог, гордо отвергающего чаевые.

Ну, а теперь оставим на несколько минут мою особу, мои грязные ногти и начищенные до блеска башмаки в седьмом номере трамвая. Семерка, уютно и старомодно покачиваясь (нынешние трамваи стали прямо-таки автоматами для водворения и выдворения пассажиров), проезжает мимо восточного крыла собора, заворачивает в Унтер Ташенмахер, едет к Альтермаркту и уже приближается к Сенному рынку — и только у Мальцмюле или самое позднее на повороте к Мальбюхелю, где я обычно соскакиваю на ходу, мне предстоит принять важное решение: пойти ли вначале домой, чтобы помочь отцу (или родителям; папина телеграмма: «Мать скончалась», которой я был обязан временным освобождением из моего идейно-казарменного сообщества, вполне могла оказаться блефом — ради меня мама была способна разыграть мнимую смерть), или же доехать до Перленграбена, чтобы сперва посетить Бехтольд. Оставим этот вопрос без ответа, пока трамвай не доберется до Мальцмюле, а сами вернемся на ассенизационные нивы, в тот угол нашего казарменного двора, где я познакомился с Энгельбертом Бехтольдом, который в дальнейшем будет именоваться, как и все кельнские Энгельберты, просто Энгелем, то есть Ангелом. Так его звали дома, в казарме, так его звал я, так он и выглядел.

Исполняя заветную мечту моего начальника «сделать из меня человека», того самого начальника, которого я ткнул во время учения саперной лопатой в подколенную впадину (и притом ткнул не намеренно, в чем меня упрекают марксистские и прочие друзья, а... и это мое признание приведет всех в ужас... а исключительно повинуюсь воле провидения), так вот, исполняя заветную мечту моего начальника — меня во мгновение ока укатали в те райские куши, где Ангел — в нашей части личность почти легендарная — уже три месяца не разгибая спины и с несгибаемой волей выполнял самую разнообразную черную работу: ежедневно чистил громадную выгребную яму, не имевшую стока для нечистот (от цифровых данных я избавляю и себя и читателя), наливал помой в корыта для свиней, чистил и топил печи наших предводителей, наполнял ихние ведра углем, устранял следы их пиршеств (главным образом блевотину, состоявшую из смеси пива и ликера с картофельным салатом) и без конца перебирал наши почти неисчерпаемые картофельные запасы в погребе — выбрасывал гнилую картошку, чтобы гниль не распространялась дальше.

Стоило мне очутиться рядом с Ангелом, как я понял, что не моя воля и уж тем более не какая-то дурацкая «закономерность» или злоба моего предводителя, а как раз божественное и незримое провидение привело меня сюда, чтобы «сделать человеком». Увидев Ангела, я понял также, что, коль скоро такой Ангел оказался на службе, он должен чистить нужники, а для меня просто честь находиться в его обществе и заниматься тем же.

В казарменных сообществах воистину «становятся людьми» не те, кому даются льготы, а как раз те, кому достаются тяготы. (Терпение! Я прекрасно знаю, что тяготы могут обернуться льготами, и всегда настороже!) Например, моя шопеновская служебная командировка до сих пор представляется мне в известной степени пятном, которое можно извинить разве что моей относительной молодостью — мне тогда было двадцать два. Другие льготы (не «тяготы навыворот», а истинные льготы) я не рассматриваю, как пятна, — к примеру, то обстоятельство, что, будучи батальонным поставщиком угля — отсюда явствует, что я занимался не только экскрементами, — я вел с настоятельницей монастыря бенедиктинок близ Руана сложнейшие переговоры, сильно затянувшиеся по причине эротики высшего порядка. Мы ежедневно беседовали по несколько часов, сговариваясь об одном дельце (к тому же я должен был рассеять ее страхи, убедив, что не донесу на нее): в обмен на хороший уголь, который срочно требовался настоятельнице для прачечной, она должна была разрешить мне принимать два раза в неделю ванну. Обе договаривающиеся стороны дошли прямо-таки до высшей математики в дипломатии и эротике, в духе Паскаля и Пеги. Хотя монашки догадывались, что мое вероисповедание неясно, они приглашали меня на праздничную мессу в день вознесения богородицы, а после потчевали чаем и песочными пирогами (настоятельница знала, что я терпеть не могу кофе). Я отблагодарил монахинь порыцарски, презентовав лишний центнер угля и три офицерских белоснежных носовых платка, которые собственноручно стянул — чем особенно горжусь — на вешевом складе немецких вооруженных сил, а потом дал одной парализованной учительнице, и она за мой счет вышила на них слова: «Пусть вашим другом будет неправедный Маммон. *Votre ami ailemand*¹». Чтобы не усложнять излишне эту повесть, мне не хотелось бы перечислять многие другие, а уж тем паче все без исключения льготы, которые я получил; так, скажем, в одной

¹ Ваш немецкий друг (франц.).

лавчонке тканей в Яссах на редкость красивая румынская еврейка поцеловала меня в обе щеки, в губы и в лоб, пробормотав на жаргоне странные слова: «За то, что вы принадлежите к такому жалкому народу»; это дело имело и свою предысторию, и свое продолжение; я рассказываю его с середины, ибо все остальное слишком сложно объяснить. А уж о венгерском полковнике, который помог мне подделать одну справку, я и вовсе не хочу упоминать.

Давайте еще два раза быстренько отклонимся от темы: вначале вернемся назад к седьмому номеру трамвая, который только-только прехал Мальцмюле и, жалобно позванивая, приближается к Мюленбаху, а оттуда тащится в гору, к Вайдмаркту... а потом снова обратимся к ассенизационному кварталу нашего поселения, где я внезапно очутился рядом с Ангелом, наслаждавшимся на выступе стены между кухней, лазаретом и отхожим местом своим завтраком: ломоть черствого хлеба, самокрутка и кружка суррогатного кофе. Он напомнил мне в эту минуту подметальщиков улиц в моем родном городе; я всегда восхищался и всегда завидовал той благородной манере, с какой они вкушали свой завтрак, сидя на ступеньках памятника, изображавшего атлетов, тянущих канат. Ангел, подобно всем ангелам на полотнах Лохнера, был светловолосый, скорее даже златоволосый, маленького роста, приземистый, и хотя лицо его было абсолютно лишено античных черт — приплюснутый нос, слишком маленький рот и почти подозрительно высокий лоб, — оно прямо-таки ослепляло. В темных глазах Ангела не было и тени меланхолии. Когда я появился, он сказал «привет» и кивнул мне так, словно мы уже лет четыреста назад сговорились об этой встрече и я просто чуть-чуть опоздал, а потом, не отнимая кружку ото рта, между прочим, прибавил:

— Тебе бы следовало жениться на моей сестре. — После этого он поставил кружку на выступ стены и продолжал: — Она красивая, хотя похожа на меня, ее зовут Гильдегард.

Я молчал: ведь человеку, внемлющему гласу и повелению ангелов, не остается ничего иного, как молчать.

Ангел загасил свою самокрутку о стену, сунул чинарик в карман, поднял с земли пустые ведра и начал давать мне указания делового характера о предстоящей работе; в основном они касались некоторых деталей из области физики: вместительность ведер в килограммах, грузоподъемность палки, на которой висели ведра, и т. д. Потом он добавил еще несколько разъяснений химического порядка, но воздержался от всяких гигиенических замечаний, поскольку над отхожим местом красовался большой плакат: «Коль сюда вошел перед едой, руки тщательно помой». Отсюда явствует, что отец, немедленно посылающий своего сына на военную службу, может не опасаться: там ничего не упустят. К этому еще следует добавить, что в столовой нашей части висел плакат: «Труд дает свободу»¹; стало быть, наше начальство позаботилось обо всем — и о лирике и о мировоззрении.

Всего лишь две недели я занимался вместе с Ангелом той деятельностью, которая и по сей день дает мне возможность во всякое время зарабатывать свой кусок хлеба в качестве ассенизатора или сортировщика картофеля. Никогда в жизни я не видел столько картошки сразу, как в те дни в подвале под нашей кухней; пробиваясь сквозь крохотные оконца, тусклый дневной свет освещал коричневатую картофельную гору, казалось, она дышит, подобно пузырящейся трясине;

¹ Надпись на воротах фашистских концлагерей.

сладковатый алкогольный дух наполнял все помещение, когда мы, отобрав целую грудку гнилого картофеля, складывали его, чтобы поднять наверх. Позитивная часть нашей программы состояла в том, что мы наполняли драгоценными овощами ведра (во имя спокойствия мамаш разъясняю, что это были другие ведра), уносили их на кухню и ссыпали в заранее приготовленные чаны для ежевечерней коллективной чистки картофеля. После того, как несколько ведер уже было внесено на кухню, нам отдавалась команда, которую наш шеф-повар (один из немногих субъектов в этом казарменном сообществе, не имевший судимости) называл командой «на брюхе вперед»; это означало, что мы должны были броситься ничком на липкий пол и ползать вокруг гигантской плиты; при этом нам разрешалось поднимать голову лишь настолько, чтобы не ободрать лицо о пол. Передвигаться можно было исключительно с помощью носков ног, если же мы упирались в пол руками или коленками, а не то и вовсе замирали от изнеможения, нас подвергали наказанию — мы пели по команде: «Эй, запевай, запевай что-нибудь веселенькое!»; до сего дня не знаю, чем можно объяснить — просто ли интуицией, или родством душ между Ангелом и мною, — во всяком случае я в первый же раз затянул песню, которая была коронным номером в репертуаре Ангела: «Германия, Германия — превыше всего». Таким образом, мы видим, что в процессе «делания человека» начальство не пренебрегало и патриотическими струнами нашей души; отцы, которые боятся, что их отпрыски могут когда-нибудь забыть свою немецкую национальность, незамедлительно должны, как уже было сказано на странице 134, послать их на военную службу и желать им по возможности самой суровой муштры. Во время пения я с присущей мне добросовестностью размышлял, действительно ли можно назвать песню, которую мы пели, «веселенькой». Впрочем, описанный здесь метод — это я сообщаю авансом для будущих литературоведов — является самым лучшим, самым действенным методом для успешного вбивания в голову подрастающему поколению его национальной принадлежности и подданства. Рекомендую его швейцарцам, французам и другим народам. Не каждому ведь посчастливилось получить поцелуй от красивой еврейской девушки в румынской лавчонке.

Никого не удивит, если я скажу, что мы были очень измучены и не могли поэтому петь по-настоящему, с тем совершенством, с каким поют в певческих ферейнах. Лежа на липком кафельном полу, мы невнятно бормотали незабвенные и незабываемые слова. Ну, а потом мне — как раз мне! — запретили петь немецкий гимн; однажды наш обер-предводитель — командир части — разыскал меня в картофельном погребе и наорал за то, что у меня не оказалось свидетельства о крещении; неожиданно — было ли это совсем необоснованно, до сегодняшнего дня не знаю, дело темное — он обозвал меня «жидом пархатым», что я всегда воспринимаю как своеобразный обряд крещения или обрезания. С тех пор мне не разрешалось петь немецкий гимн, и вместо этого я пел «Люрелей».

Никого не удивит также, если я скажу, что мы почти не разговаривали больше с Ангелом, тем паче о Гильдегард. Чаше всего мы уже около половины десятого утра были так измучены, что с трудом справлялись с нашими многообразными обязанностями — нас шатало и тошнило от усталости и отвращения. Объяснялись мы только знаками. Благодаря рвотам, головным болям и изнеможению у нас была полная возможность осознать, что наши тяготы отнюдь не грозили обратиться в льготы. Когда Ангел — отчасти виновато, отчасти покорно — пожимал плечами, я знал, что он хочет сесть на грудку картофельных мешков, чтобы помолиться, перебирая четки («Я обещал маме»).

Разумеется, и в этом казарменном сообществе существовала «человечность во внеслужебное время» и даже вариант оной — «человечность в служебное время»; представлял ее и проводил в жизнь некий молодой предводитель, лютеранин с благородной внешностью, бывший студент богословского факультета, который иногда подходил к нам, чтобы «вступить в беседу». Для него я всегда держал наготове специальную смесь из гнилого картофеля и экскрементов, которую в нужный момент выливал рядом с собой; зато преисполненный христианского смирения Ангел и впрямь «вступал с ним в беседу»; раза два за те четырнадцать дней я минуты по три принимал подавание в виде слов: «необходимость», «всемогущий дух», «судьба» — будто скромный нищий, принимающий черствую горбушку.

Тем временем семерка уже давно подъезжает к Вайдмаркту, и я думаю только о Гильдегард Бехтольд. В прошедшие две недели я не раз собирался написать ей и с места в карьер «попросить ее руки» (другого, лучшего выражения я не знал тогда и не знаю по сию пору), но как раз в те дни меня особенно осаждали и мне особенно досаждали и угрожали ежевечерние клиенты, ибо стиль моих писем стал для них все же чересчур «утонченным». Грубые нежности, которые мои заказчики желали высказать своим партнершам (первичные и вторичные половые признаки употреблялись во всевозможных сочетаниях, а эти сочетания в свою очередь перемежались с названиями разных частей тела), заставили меня перейти в иную, еще более возвышенную плоскость и выработать настолько изысканно-туманный стиль, что я и сейчас еще могу писать письма от любого лица мужского пола любому лицу женского пола так, что они пройдут любую цензуру; все в них будет сказано и ничего не написано. Стало быть, я всегда могу заработать свой кусок хлеба как составитель писем. И поскольку я люблю писать самыми черными чернилами или самым мягким карандашом на самой белой бумаге, то считаю эту свою специальность той привилегией, которой не следует стыдиться.

На Вайдмаркте мое беспокойство обратилось прямо-таки в нервозность; еще минута — и я сойду на Перленграбене. Решение принято. (Мама умерла, и я это знал.) Поскольку даже здесь, на остановке седьмого номера, запах экскрементов образовал вокруг меня зону отчуждения, я был как бы заключен в башню из слоновой кости; так называемый внешний мир воспринимался мною несколько нереально и нечетко (а может, и четко), как он воспринимается сквозь тюремную решетку. Штурмовик (и как только человек может надеть такую форму!), господин с шелковым галстуком, явно принадлежавший к образованному сословию, молоденькая девушка, которая своими детскими пальцами вынимала из бумажного пакета виноградины, и кондукторша — ее молодое грубоватое лицо казалось красивее благодаря выражению неприкрытой чувственности, отличавшему в свое время лица всех кельнских кондукторш — все они шаркались от меня, как от прокаженного. Я протиснулся к передней площадке, соскочил с трамвая и помчался по Перленграбену; три минуты спустя я уже подымался по лестнице на четвертый этаж доходного дома. Интерпретатору, который гонится за истиной, я советую описать полукруг западнее Северинштрассе с радиусом в три минуты, установив ножку циркуля на трамвайной остановке Перленграбен, а потом выбрать себе одну из улиц в этом полукруге; чтобы точнее определить радиус, мне следовало бы сообщить мою скорость; предлагаю нечто среднее между скоростью Джесси Оуэна и скоростью бегуна-любителя, добившегося неплохих результатов. Меня ничуть не удивило, когда я увидел над дверью квартиры Бехтольдов табличку с надписью: «Глядите на него. На кого? Се жених грядет! Как грядет? Как

агнец!» Не успел я нажать на кнопку звонка... говорить об этом излишне, но для верности все же скажем... как Гильдегард уже открыла дверь, упала в мои объятия, и вся вонь вокруг меня исчезла.

III

Изобразить на этих страницах хотя бы несколькими штрихами силу любви, а тем более проанализировать ее не входит в мои намерения и выходит за рамки моих возможностей. Одно ясно: то не была любовь с первого взгляда. Только час спустя, когда я уже прошел обряд посвящения, неминуемый в бехтольдовском клане, когда я уже выпил свой жениховский кофе и наполовину изничтожил жениховское пирожное, у меня впервые появилась возможность как следует разглядеть Гильдегард. Она была куда красивее, чем это позволяло предполагать ее сходство с Ангелом; и я вздохнул с облегчением. Хотя я любил ее вот уже две недели, мне было приятно, что она показалась мне красивой. Боюсь, если я сообщу теперь, что с той поры мы с Гильдегард как можно чаще, хотя и не так уж часто, заключали друг друга в объятия, и напомним, что приписываю это божественному провидению, которое заставило меня в ту секунду, когда раздалась команда «лопату к ноге», позабыть внезапно всю прошлую муштру, это наведет заботливых папаш на мысль посылать своих сыновей «на службу» не только из воспитательных соображений, но и с той целью, чтобы они, пусть окольными путями, неправильно исполнив команду «ружье к ноге» (саперных лопат у них сейчас уже не водится), заполучили себе такую милую, умную и красивую жену, какую заполучил я. Я хотел бы предостеречь от этого, сославшись на сказку о госпоже Метелице (и на другие аналогичные сказки), в которой говорится, что человек, совершающий добрые поступки без заранее обдуманного намерения, пожинает куда более богатые плоды, нежели человек, подражающий ему и совершающий добрые поступки с заранее обдуманным намерением; еще раз торжественно клянусь, что я делал все не преднамеренно (на этом месте пусть злыдни скрежесут зубами; опьяненные своими дурными умыслами, они не желают верить, что божественный разум может без всякого умысла привести к добру).

Разумеется, мне не дано постичь все намерения провидения, но одно из них, безусловно, состояло в том, чтобы обеспечить семейство Бехтольдов кофе не только в военные годы, но и во все последующие (отец мой занимался оптовой торговлей кофе и передал мне свое дело). Вторая, побочная цель состояла в том, чтобы продемонстрировать мне в лице моих шуринов то безумие двадцатилетних, о котором я не имел понятия до 22 сентября 1938 года. (Буржуазная семья, аттестат зрелости, один семестр у Бертрама, в национал-социалистской партии и в других нацистских организациях до того времени не состоял.) Далее. Провидение, возможно, позаботилось и о том, чтобы подыскать мне, когда я потерял маму, хорошую тещу, которая любила бы меня, как родная мать (моя теща не только готова была разыграть мнимую смерть, она пошла еще дальше, что соответствовало ее прямому характеру,— с большим трудом пробилась к начальнику военного округа и обозвала его «полоумным обывателем и законченным кретином», потому что он не желал продлить мне увольнительную, хотя моя дочурка заболела скарлатиной). И наконец еще одна цель: предоставить моему папаше в лице старого Бехтольда собеседника на всю жизнь, с которым он мог бы ругательно ругать нацистов, а также обеспечить младшего брата Ангела — Иоганна, который был заядлым курильщиком, моим табачным пайком на все то время, что табак выдавался по талонам (стало быть, почти на

одиннадцать лет). Возможно также, божественное провидение замыслило сбалансировать экономическое положение двух семей: у нас были деньги, у Бехтольдов их не было. В отношении кофе мне все абсолютно ясно: ни одному семейству не пришлось бы так туго с кофе во времена, какие вскоре наступили, как Бехтольдам. При каждом удобном случае каждый из членов этой семьи вопрошал: «А не сварить ли мне еще кофейку?» — хотя можно не сомневаться, что уже до этого на стол четыре или пять раз ставили кофейник. Позднее, когда война действительно разразилась, я совершил одним махом два серьезных греха как в отношении статистики, так и психологии: во-первых, я снизил потребление кофе в бехтольдовской семье с двухсот фунтов до семидесяти пяти ежегодно и установил продолжительность войны в семь лет, не знаю по какой причине — то ли из пессимизма, то ли из мистической приверженности к числу «семь», — во всяком случае я заставил отца спрятать на складе соответствующее количество кофе в зернах. А во-вторых, вдолбил в голову теще необходимость экономить кофе; я напугал ее, изобразив картину бескофейной эпохи, которая грозит наступить, если теща не будет достаточно экономной.

IV

Прежде чем продолжить свой рассказ, я хочу заверить, что ассенизационная тема исчерпана так же, как на странице 130 была исчерпана шопеновская тема. Я собираюсь покончить также с описанием воспитательных мероприятий в военных организациях. У читателя легко может возникнуть подозрение, будто эта повесть написана с антимилитаристских позиций или даже с позиций борьбы за разоружение — иначе говоря, враждебных вооружению. Нет, нет, дело идет о более высоких материях, о... ведь каждый непредвзятый читатель это уже давно понял... о любви и о невинности. Не моя вина, если обстоятельства сложились так, что детали, с помощью которых я пытаюсь изобразить любовь и невинность, вынуждают меня упоминать известные учреждения, установления и порождения; это вина судьбы, на которую каждый может роптать, сколько его душе угодно. Разве я виноват, что пишу по-немецки, что в погребе немецкого казарменного сообщества его предводитель обругал меня «жидом» и что в задней комнате задрипанной румынской лавчонки красивая еврейка подарила мне поцелуй как немцу? Родись я в Баллахулише, я писал бы самыми черными чернилами или самым мягким карандашом на самой белой бумаге о любви и о невинности при совершенно иных обстоятельствах и с иными деталями. Я воспел бы собак, лошадей и ослов, воспел бы милых дев, которых целовал после танцев у изгороди, посулив им то, что хотел даровать, но потом даровать не смог — свадебный венец. Рассказал бы о лугах и болотах, о ветре, который воеет в торфяных ямах, о ветре, заливающим темные торфяные ямы водой, о воде, которая вздымается так, как вздымалась черная шерстяная юбка девы, той самой, что решила утопиться, ибо юноша, целовавший ее и обещавший повести под венец, стал священником и покинул родные места. Я бы исписывал страницу за страницей, чтобы воздать хвалу собакам из Дингуолла; эти умные и верные животные — чистокровные, как все ублюдки, — уже давно заслужили памятник на бумаге. Но от себя не уйдешь, и я снова чиню карандаш — не для того, чтобы сообщить нечто безрадостное, а для того, чтобы сообщить, как все было... И мы волей-неволей, вздохнув, возвращаемся в Кёльн, на улицу, которую можно обнаружить западнее Перленграбена, в трех минутах от трамвайной остановки, если эту улицу вообще можно обнаружить. О нет, земля ее не поглотила! Ее смелó. стерло с лица земли. и чтобы в альбоме «Раскрась сам» эта страница не осталась совершенно пустой и, таким обра-

зом, не возникло бы никакой путаницы, я сообщаю три мелкие приметы этой улицы: табачная лавка, меховой магазин, школа и много-много желтовато-белых домов; дома почти такого же цвета, какие я видел в Пильзене, но не такие высокие. Рекомендую способным и послушным детям нарисовать три экскаватора: на одном из них будет болтаться меховой магазин, на втором — табачная лавка, на третьем — школа, а в качестве эпиграфа для этой страницы я предлагаю слова: «Труд дает свободу».

Одно плохо — никто не будет знать, где надо прибить мемориальную доску, если в один прекрасный день люди почуют, что Ангел был святым. Я прекрасно знаю, что не являюсь представителем церковной конгрегации и без помощи «адвокатов дьявола» не могу ставить вопрос о причислении к лику святых, но, поскольку мое вероисповедание неясно, надеюсь, никого не оскорбит, если я протащу лишнего святого в какую-либо религию, к которой, по всей вероятности, не принадлежу. Как и всё в моей повести, это будет непредумышленно. Конечно, тот факт, что Ангел был посредником в моем браке, а также моим шурином, заставит людей недоброжелательных воскликнуть: «Ага!» Но раз графа «вероисповедание» все равно остается в альбоме незаполненной, я, по-моему, могу позволить себе некоторую вольность: ведь с Ангелом я как-никак провел целые две недели; почуяв его святость, люди, возможно, перестанут чухать в этой повести запахи эксcrementов. Вижу, вижу, мне ничего не позволят, подозревая злые умыслы, но я оставляю все, как есть, ведь вежливость (как говорят) не является богословской категорией. А потом отец мой еще жив и уже давно перестал ходить попеременно в разные церкви; он в них вообще не ходит и свои бланки на уплату церковных налогов мне не показывает. До сих пор они вместе со старым Бехтольдом, моим тестем, ругательски ругают нацистов. Эти старички целиком посвятили себя весьма возвышенной деятельности — они исследуют прошлое Кёльна, его пласты. День и ночь они возятся в шахте, которую мой папаша прорыл у нас во дворе и велел покрыть навесом; вполне серьезно, хотя и хихикая, они уверяют, что открыли развалины храма Венеры. Теща моя — католичка на свой особый, весьма милый лад; как и все кёльнцы, она придерживается лозунга: «Что такое католицизм, мы здесь сами знаем». Когда мне приходится беседовать с ней на религиозные темы (как-никак я отец двадцатичетырехлетней дочери, которая согласно горячему желанию моей умершей жены была воспитана католичкой, но потом вышла замуж за лютеранина и в свою очередь стала мамой трехлетней дочурки, которая согласно ее горячему желанию воспитывается католичкой); так вот, когда мы с ней беседуем на эти темы и я на основе достоверных фактов доказываю, что ее точка зрения не соответствует официальной позиции церкви, теща возражает мне и при этом произносит сентенцию, которую я воспроизвожу не без душевных колебаний: «Тогда, стало быть, сам папа римский ошибается». А если при наших беседах присутствуют церковные должностные лица — чего иногда не избежит ни на шаг и ссылается на нечто такое, что столь же трудно доказать, как и опровергнуть. «Мы, Керкхоффы, — говорит она (моя теща урожденная Керкхофф), — всегда были католиками по интуиции». Не мое дело разубеждать тещу. Для этого я ее слишком люблю. Но чтобы еще усугубить путаницу в отношении этой любезной особы (во время войны она как-то раз собственноручно сбросила с лестницы молодчика из полевой жандармерии, который выслеживал ее сына Антона — дезертира; сбросила, в буквальном смысле слова, собственноручно), я сообщаю еще одну деталь для альбома «Раскрась сам»: моя теща три недели руководила коммунистической ячейкой, пока не решила, что «это дело» не

согласуется с ее интуитивным католицизмом, кроме того, она возглавляла и до сих пор возглавляет молитвенный кружок.

Предлагаю раскрасить фон хотя бы на одной из страниц, посвященных ей в альбоме, в голубой цвет; любой человек, изображавший небо над Неаполем, хорошо знаком с этим цветом. А если читатель теперь «уж вовсе не знает, что и подумать» о моей теще, значит, я достиг цели; пусть каждый хватает цветные карандаши, коробку с акварелью или палитру и красит мою тещу в тот цвет, который символизирует для него «нечто подозрительное» или даже «скандальное». Лично я рекомендую пастельный тон — красный с фиолетовым отливом. Не стану распространяться долго о моей теще; она мне так дорога, что я не хочу бросать на нее чересчур яркий свет; основные черты ее облика я скрываю в своей личной камере-обскуре, памяти. Зато с удовольствием сообщаю ее внешние приметы: теща — женщина маленького роста, была когда-то хрупкой, «но основательно раздалась в ширину», до сих пор поглощает кофе в невероятных количествах; в преклонных годах, семидесяти двух лет, пристрастилась к курению. Со своими внуками обращается прямо-таки «непозволительным образом»: детей моего погибшего шурина Антона, который был безбожником и «явно левым», двух молоденьких девиц восемнадцати лет и двадцати одного года, она загоняет на кухню, сует им в руки четки и молится с ними; детям моего второго шурина Иоганна, здравствующего и поныне, которые воспитываются в ортодоксально-церковном духе, десятилетнему мальчугану и двенадцатилетней девчужке, она, напротив того, «прививает упрямство и строптивость» (слова, взятые в кавычки, являются цитатами из ее речей).

Для тещи я по-прежнему «славный мальчишка, с которым моя Гильдочка была так счастлива, а с моим Ангелом он много месяцев (на самом деле всего четырнадцать дней) чистил нужники» (во имя исторической правды я снова вынужден употребить сие резкое слово). Оба эти обстоятельства она не забыла, равно как и тот факт, что я снабжал ее кофе «и в военные и в мирные годы». Мои практические заслуги она всегда перечисляет под конец, что, возможно, говорит в ее пользу. А в общем и целом старуха считает меня «наивным дурачком», хотя бы по той причине, что «он как идиот разрешил в себя стрелять настоящими пулями и даже допустил, чтобы в него попали».

Здесь она не признает никаких резонов. Теща считает, что ежели «человек интеллигентный не имел ничего общего с тем делом ни фактически, ни формально (под «тем делом» она в данном случае подразумевает нацистский режим), он должен был как-то уклоняться». Наверное, она права; когда я начинаю с ней спорить и напоминаю, как погиб Ангел, теща говорит: «Ты прекрасно знаешь, что Ангел не дорос до интеллигентности, а может, и перерос ее»; и тут она права. Сам не пойму, как это я разрешил в себя стрелять настоящими пулями и даже допустил, чтобы в меня попали. Ведь я был освобожден от стрельбы; почему же я отправился туда, где стреляли, сам не сделав ни одного выстрела? В моем сознании и на моей совести это темное пятно. Наверное, мне просто осточертел Шопен, а может, я устал от Запада и стремился душой на Восток; не знаю точно, что со мной было, не знаю, что заставило меня пренебречь медицинской справкой, выданной главным офтальмологом армейской группы «Запад». Гильдегард писала тогда, что она меня понимает, но я сам себя не понимал. Теща вполне права, характеризуя мою тогдашнюю и теперешнюю позиции словами: вел себя «как идиот». Все это совершенно неясно и темно; поэтому разрешаю каждому, предварительно обмакнув кусок ваты в черную гушь, посадить здоровую кляксу в то место альбома «Раскрась сам», где должно обретаться мое сознание. Как бы то ни было, я с самого начала распрощался с мыслью о дезертир-

стве: меня не прельщало сменить мою тогдашнюю тюрьму на какую-либо другую.

— Ну, а что играют на рояле русские? — спросила меня теща, когда я ненадолго приехал на побывку.

Не покрывив душою, я сказал, что всего трижды слышал звуки рояля и что русские всякий раз играли Бетховена.

— Это хорошо, — сказала она, — очень хорошо.

Здесь, в самой середине нашей идиллии, мне хочется наверстать упущенное, выполнить свой долг; на одной или двух страницах я намерен воздвигнуть часовню, чтобы увековечить в ней память погибших героев этой повести.

1. Гильдегард Шмёльдер, урожденная Бехтольд, родилась 6 января 1920 года, умерла 31 мая 1942 года во время воздушного налета на Кёльн, недалеко от Хлодвигплатц. Ее бранные останки так и не были найдены.

2. Энгельберт Бехтольд, прозванный Ангелом; родился 15 сентября 1917 года, убит 30 декабря 1939 года между Форбахом и Сент-Авольдом французским часовым, который, как видно, решил, что Ангел хочет напасть на французский пост, хотя тот просто собрался перебежать. Его бранные останки так и не были найдены.

3. Антон Бехтольд, родился 12 мая 1915 года, расстрелян в феврале 1945 года у веранды кафе Рейхард в Кёльне, между теперешним Домом радио и теперешней резиденцией каноников, недалеко от транспортного агентства, just in front of the cathedral¹ — у веранды, где ничего не подозревающие туристы и уж совсем ничего не подозревающие сотрудники кёльнского радио потягивают кофе с мороженым. Его бранные останки так и не были найдены, зато нашлось его «дело». В официальных бумагах он именуется «дважды дезертиром» и, кроме того, обвиняется в краже армейского имущества, в торговле оным на черном рынке и в сколачивании группы дезертиров в подвалах разрушенных домов неподалеку от Хоэпфорте в старом городе — группа вела под его руководством настоящие оборонительные бои против «органов порядка вооруженных сил Велико-Германии». Вдова его, Моника Бехтольд, в свое время очень много говорила об «этом», сейчас она больше не говорит об «этом».

Воздвигнув сию часовенку посреди нашей идиллии, я не буду ее украшать, пусть она останется незавершенной. Но каждый читатель вправе украсить ее по своему разумению и вкусу: шиповником, анютиными глазками или бирючиной. Розы тоже не возбраняются, можно также произносить молитвы и уж тем более вполне дозволено размышлять о бренности нашего праха. Тех, кто хочет молиться, я прежде всего прошу не забывать Антона: раньше я его не любил, но теперь желаю ему, чтобы в тот миг, когда зазвучат трубы страшного суда, его поцеловал бы самый милый ангел, не из архангелов, а кто-нибудь попроче, кому не разрешено трубить, а только начищать трубы. Я желаю Антону освободиться от его напускного безумия, от непризнания людей и от непризнанности. Пусть ангел вернет ему то, что было, наверно, когда-то дано и ему — невинность.

V

Вот уже и военная тема почти исчерпана, во всяком случае в этом произведении, и мы вновь возвращаемся к тому мирному сентябрьскому дню, когда я в первый раз поцеловал Гильдегард и вся вонь вокруг меня внезапно исчезла.

¹ Прямо перед собором (англ.).

Передняя Бехтольдов представляла собой примерно восьмиметровый темный закуток, в который выходило пять дверей — три из спален, одна — из кухни, одна — из ванной. В узких простенках между дверями прямо в штукатурку были вбиты крючки. На них болтались платья, пальто, куртки, платки, заношенные халаты и «мамины смешные шляпенции», то и дело эти вещи застревали в какой-нибудь из дверей, и Бехтольды вытаскивали их, иногда прищемляя себе пальцы.

В ту минуту, когда Гильдегард лежала в моих объятьях, открылись сразу три двери: госпожа Бехтольд вышла из кухни, старик из спальни, Антон и Иоганн из своей комнаты, и все четверо затянули хором: «Се жених грядет! Как грядет? Как агнец!»

Самое позднее на этом месте мудрый читатель разгадает один секрет, который мы с ним не вправе дольше скрывать от менее мудрого читателя, а именно — эта повесть и впрямь задумана как идиллия чистой воды, и вонь клоаки носит в ней те же функции, что в иных произведениях аромат роз; где можно, мы не будем хулить войну или во всяком случае сделаем это лишь мимоходом, а вопрос о нацизме рассмотрим как нечто промежуточное между обыкновенным насморком и серным дождем.

А если на одной из последующих страниц читатель узнает еще, что мы с Ангелом вступили — правда, порознь, но все же оба, хотя и фиктивно, — в СА, служили-то мы в других частях и никогда не облачались в эту ужасную форму штурмовиков, — каждый скажет: лучше бы он родился в Баллахулише, лучше бы на его писчей бумаге был иной водяной знак — не герб города Кёльна, а лира. Не к чему мне было родиться немцем, напрасно я родился кёльнцем. А если я еще признаю, что после войны стал владельцем отцовской торговли кофе и в данный момент изо всех сил стараюсь не огорчаться и не расстраиваться при известии о том, что оборот в истекшем году повысился всего на три и семь десятых процента, тогда как в позапрошлом году — на четыре и девять десятых процента по сравнению с позапозапрошлым годом, — читателю станет ясно, что мои шурины были правы, называя меня «стыдливой маргариткой». Тщетно я пытаюсь успокоить моего беспокойного поверенного премиальными. Он не понимает моих намеков на огнедышащую колесницу, которая вознесла на небо Илью-пророка, не понимает также, почему я позволяю моей трехлетней внучке баловаться с нашими сложными, дорогостоящими счетными машинами; и когда я подсовываю финансовому ведомству счета за ремонт этих машин, он возмущен, морально подавлен, точно так же, как и тем, что для меня эти технические шедевры — всего лишь усовершенствованные ткацкие станки. Его опасения насчет того, что дело «катится по наклонной плоскости», меня не страшат. Куда же ему еще катиться? Ведь каждый раз, спускаясь к пристани Лея и прогуливаясь вдоль Франконской верфи, я должен напрячь волю, чтобы не броситься в темные воды Рейна. Только рука моей внучки удерживает меня от этого и еще мысль о теще. А так, что мне эта кофейная торговля? Сам я пью только чай.

Отцу и тестю меня не удержать. Их возраст открыл перед ними новые просторы, новую область утех, столь древнюю, как и хлам, в котором они копаются. Они «слились воедино с Кёльном», и отнюдь не мудрость, а всего лишь убывающая мужская сила мешает этим хихикающим старцам завершить свои утехы амурными проказами. Старый Бехтольд, чья прямота рабочего мне когда-то так нравилась, приобрел изысканные манеры, и теперь, когда старики вылезают из своей шахты и выносят на свет божий какой-нибудь камень или обломок, на котором что-то нацарапано, они напоминают мне собак — и не только из-за своей привычки облизываться: их хихиканье укрепляет мои

подозрения в том, что все мы — и Ангел, и Гильдегард, и я — были лишь приманкой; каждый из нас был приманкой для другого, а в глубине сцены кто-то все время хихикал. То, что случалось вокруг нас, и то, что делали мы сами — развешивали ли кофе или чистили выгребные ямы, разрешали в себя стрелять, жили или умирали, — всегда было кому-то на руку. Смерть мамы и та пригодились всем как нельзя лучше — Бехтольдам, мне, даже отцу, который «больше не в силах был смотреть на ее страдания», да и маме самой — она не выносила нацистские рожи и их мундиры, не была ни набожной, ни невинной, а к тому же была недостаточно ученой и недостаточно отпетой, чтобы жить в этой клоаке. Не хочу повторять, что говорил на ее могиле евангелический пастор — до того это было ужасно. Определенные формы лицемерия я вообще не замечаю с истинно божественной вежливостью. Надеюсь, что в тот час, когда затрубят трубы страшного суда, архангелы не станут запихивать ему в рот гору патоки — все те слова, которые он произнес при жизни.

После похорон, выражая соболезнование отцу и мне, пастор неодобрительно взглянул на мой штатский костюм и строго прошептал:

— Почему вы не носите доблестный мундир?

За это замечание объявляю его самым несимпатичным персонажем моей повести, гораздо более несимпатичным, чем облаченный в доблестный мундир, командир части, он же предводитель, который благословил нас на то, чтобы мы ползали на брюхе. Я протянул пастору свои руки с ногтями в траурной кайме — словно немой призыв. Это была единственная намеренная грубость, какой я могу похвастаться. Только через двадцать лет на свадьбе моей дочери я снова встретился с ним — он оказался родным дядей моего зятя — и снова протянул ему руки, на сей раз чистые, и это уже было не намеренной грубостью, а просто условным рефлексом, что могут подтвердить все психологи. Пастор залился краской, начал заикаться на каждом слове и не принял наше приглашение на семейный завтрак; тесть до сих пор сердит на меня за то, что я нарушил «гармонию этого дня».

Пусть экскурсии вперед и назад не нервируют читателя. Любой школьник самое позднее на седьмом году обучения узнает, что такие экскурсии называются переходами из одного повествовательного плана в другой. Нечто подобное бывает на фабриках с разными сменами — этим я хочу сказать, что стыки разных планов отмечены у меня как места, где я должен снова очинить карандаш, чтобы наносить на бумагу очередные штрихи и точки. В этой повести вы видите меня в возрасте двадцати одного года и двадцати трех лет; потом увидите двадцатипятилетним и почти пятидесятилетним. Вы видите меня женихом, супругом, потом увидите вдовцом и дедушкой; пролетело почти двадцать лет, а перед нами одни пустые страницы; я набросал на них кое-какие контуры, но ничего больше не изображу... Ну, а теперь, очинив карандаш, перейдем поскорее в старый план этой многоплановой повести — к «22 сентября 1938 года, без четверти пять пополудни».

VI

Слова приветственного хора отзвучали; на моей шее и щеках я ощутил слезы Гильдегард, длинные пряди ее волос — белокурых, как на картинах Лохнера, — разметались по моей рубашке. Из распахнутой кухонной двери донесся запах только что снятого с плиты кофе... (кто будет заваривать мне в этом доме чай?) и только что вынутой из духовки бабы (в других местах ее именуют кексом). Сквозь открытую дверь спальни мальчиков я увидел мольберт Антона Бехтольда — желтые и

фиолетовые пятна, хаос, но, несмотря на это, можно ясно различить (на мой взгляд, слишком ясно), что сие живописное произведение изображает обнаженную женщину, покоящуюся на фиолетовой тахте. Сквозь другую открытую дверь я увидел кипу красновато-желтых кусков кожи размером этак пятьдесят сантиметров на восемьдесят, низенький стул, на каких сидят сапожники, громадную пепельницу в виде пруда с лебедями, а в ней дымящуюся сигару. После неудачных сделок и вполне удавшегося банкротства, хотя и не злостного, папаша Бехтольд вынужден был закрыть свою сапожную мастерскую и занялся мелким ремонтом обуви на дому; впрочем, он зарабатывал себе на хлеб — «Какой это хлеб? Так, одно недоразумение!» (цитирую свою тещу) — как агент по продаже кожсырья.

Все смущенно молчали, что вполне естественно после только что свершившегося чуда. Если кто-нибудь спросит меня: «Откуда Бехтольды узнали, что вы приедете, а раз они уже узнали, что ваша мама умерла, — кстати, отчего она умерла? — как мог Энгельберт известить их об этом настолько быстро, что они успели подготовить вам торжественную встречу?»

На это я могу дать только один правдивый ответ: в полном недоумении пожать плечами; пожатием плеч я уже привел в отчаяние немало любопытных. Могу присовокупить также, что казармы нашего сообщества находились на расстоянии более трехсот километров от Кёльна и как раз в тех лесах, где разыгрывалось большинство сказок братьев Гримм; к тому же Ангела постоянно лишали увольнительных — одним словом, Бехтольды хоть и знали, что я приеду, но совершенно явно не могли знать, что мама умерла; тут, правда, можно вспомнить специальных гонцов королевы или передачу вестей при помощи барабанов там-там — во всяком случае я не могу дать никаких иных объяснений этого факта... Смущенное молчание прервал папаша Бехтольд; покачав головой так, что мне стало жутко (я подумал, что так покачивают головой палачи), он сказал:

— Лучше, если вы сразу с ним покончите.

И меня тут же вырвали из объятий Гильдегард и потащили по направлению к мольберту, а потом дверь захлопнулась. Я разглядел две неряшливо заправленные кровати, две тумбочки и книжную полку с подозрительно малым количеством книг (штук семь или десять); зато в комнате было много мазни, между прочим, кажется, двенадцать только что написанных картин кисти Антона из задуманной им серии «Грех» («Грех буржуа», «Грех по-мещански», «Грех по-пролетарски», «Грех церковника» и т. д.). Меня подтолкнули к деревянному умывальнику, Иоганн сунул мне в руки кожаный мешочек с игральными костями и потребовал, чтобы я «попытал счастья» — то был первый и последний раз, когда я играл в кости, и все же Антон и Иоганн, судя по их кивкам, высоко оценили мою технику. Я метнул, и на костях выпало две «пятерки» и одна «шестерка», что побудило Иоганна в ярости замахнуться горячей сигаретой и воскликнуть: «Г...!» (Цитата!) Тут я должен мимоходом заметить, что оба вышеупомянутых представителя мужской части семьи Бехтольдов в отличие от Ангела и своего папаша были брюнеты, небольшого роста, жилистые, и оба носили маленькие мефистофельские усики; после того, как братья выбросили жалкие «двойки» и «тройки», я робко осведомился о ставке в игре, но они без лишних слов заставили меня метнуть кости снова; на этот раз выпали две «пятерки» и одна «четверка», и тут братья начали изрыгать бранные слова, которые я обоюду молчанием с той же божественной вежливостью, с какой обошел лицемерную болтовню пастора. Определенные формы мужской откровенности и упот-

ребляемые при этом термины мне всегда подозрительны, так же как и патока; мне кажется, что для известного сорта мужчин это вроде профессионального жаргона, как для сутенеров. А ведь именно в этом вопросе благодаря общению с сутенерами я несколько избалован и особенно чувствителен к хорошему стилю. Как бы то ни было, я не покраснел, обманув их ожидания. Правда, я вспотел и почувал, что вонь снова пристала ко мне; лишь после того, как я явно выиграл и в третий раз, мне стало известно, ради чего мы сражаемся — речь шла о том, кому из трех братьев Бехтольдов выпадет тяжкий жребий — вступить в СА, и меня избрали метать кости вместо Ангела. Один бывший однокашник папаша Бехтольда — среди прочего он ведал поставками кожи кёльнским штурмовым отрядам в районах Центр — Юг, Центр — Запад и Центр — Восток — как-то раз намекнул Бехтольду, что ты, мол, можешь «рассчитывать на неплохой заказик, если хоть один из твоих парней вступит в наши ряды». И получилось так, что, несмотря на возражения моей тещи, один из парней действительно попросился в СА, и этим парнем был Ангел — несмотря на мою успешную игру в кости; ну, а я не захотел оставлять его одного и подал заявление одновременно с ним; к несчастью, нас обоих приняли, хотя наш обер-предводитель дал нам из рук вон плохие характеристики, а я даже не мог представить свидетельство о крещении; но объяснить все эти запутанные события и тем паче объяснить правдоподобно превыше моих слабых сил. Для очередной страницы альбома «Раскрась сам» предлагаю беспорядочное нагромождение штрихов, которое может сойти за стилизованный рисунок «лесные дебри». И еще я должен признаться, что все военные годы, все без исключения, получал к рождеству, где бы я его ни проводил (как-то я провел его в тюрьме), посылку: полфунта мелких пряников, три сигареты и два больших пряника, и что в качестве адресата на посылке значилось: «Штурмовые отряды. Кёльн, Центр — Юг»; к посылке прилагалось также отпечатанное на гектографе письмо, которое начиналось словами: «Нашему товарищу, штурмовику, сражающемуся на фронте» — и кончалось: «С наилучшими пожеланиями. Ваш штурмфюрер»; теперь каждый поймет, что меня можно с полным правом причислить к категории лиц, извлекших выгоду из нацистского режима. А ведь папаша Бехтольд так и не дождался «заказика», да и вообще не продал СА ни унции кожи. Совершать глупости достаточно горько, но еще горше совершать их бесцельно. И все же мое признание вынуждает меня представить красочный отчет о шести годах моей жизни для соответствующей страницы альбома «Раскрась сам», которая представляет собой лист плотной бумаги примерно шесть сантиметров на восемь.

Чтобы избежать пробела, упомяну еще об одном персонаже этой повести, единственном из оставшихся в живых с 1938 года, не считая моего отца, тещи и тестя, — о моем шурине Иоганне. После грешной молодости он и впрямь закалился и очистился в горниле войны и, придя домой в чине фельдфебеля пехоты, вернулся к религии своих предков (католической), поступил в университет, получил диплом и избрал себе почтенное поле деятельности — торговлю мануфактурой; о своем погибшем брате он и слышать не хочет, поскольку тот был «левым смутьяном». К моей особе также относится с недоверием: ведь на мне лежит клеймо бывшего штурмовика. Из-за той же божественной вежливости я не желаю напоминать ему о сцене с игральными костями в его прежней комнате. Думаю, если я все же решусь напомнить об этой сцене, он испепелит меня взглядом как лжеца. Мою дочь и внучку, равно как зятя и тещу, я не упоминаю среди уцелевших, а вернее, среди живущих, потому что на их счет у меня особые замыслы. Разместив их в порядке моей симпатии к ним, я использую их на последних страницах этого

идиллического альбома, как замковые камни свода. Для этого мне придется их немножко обтесать и стилизовать — тогда они станут на место и украсят все здание.

Моя теща настояла на скорейшей свадьбе не по расчету, хотя она постоянно твердит, что была очень рада «пристроить дочку за хорошего человека». Просто теща заботилась о том, чтобы легализовать и официально санкционировать то положение, которое она именовала «их явным тяготением друг к другу» и их «бесконечными уединениями». Она честно признавала, что боится, как бы мы не наградили ее «внебрачными внуками или внуками, которые родились подозрительно быстро после свадьбы». Поскольку я был совершеннолетний, а фотокопировщики работали всюду, выполняя лозунг: «Каждому немцу — справку об арийском происхождении», и все документы можно было достать быстро и за умеренную плату (кроме свидетельства о моем крещении), нам удалось после поспешных и печальных похорон поспешно сыграть свадьбу, от которой даже сохранился фотоснимок. Гильдегард кажется на этом снимке удивительно меланхоличной, зато достойны восхищения иронически ухмыляющиеся физиономии моих обоих шуринов. Сохранилось также брачное свидетельство, выданное отделом регистрации браков, со свастиками и гербовыми орлами; в нем я именуюсь «студентом филологического факультета, ныне проходящим службу». Наш союз с Гильдегард, по ее желанию, был скреплен церковью — и у меня до сих пор лежит церковное свидетельство с печатью прихода Иоанна Крестителя. Свадебный завтрак состоялся в квартире Бехтольдов («Нет, нет, такое событие надо отметить у нас!»); после импровизированной кадрили и полонеза нас отпустили с миром в поспешно снятую меблированную комнату (двадцать пять марок в месяц) вести семейную жизнь, которая должна была длиться двадцать три часа, но растянулась почти на целую неделю. Если юные, а также пожилые читатели сочтут, что для семейной жизни это довольно-таки короткий срок, я позволю себе указать, что многие браки двадцатилетней давности не длились и недели. А чтобы тот факт, что меня арестовали и отправили в другое казарменное сообщество не в первый же день, а лишь на седьмой, не вызвал недоверия или презрения к тогдашним властям, я должен указать на стойкость всего бехтольдовского клана и моего отца, которые заявили, что мы «отбыли в неизвестном направлении». Мы так и не узнали, кто нас все же выдал. Меня арестовали в магазине Батто «Масло — яйца — сыр» на Северинштрассе, где я, облаченный, как и прежде, в серо-зеленые штаны, с хозяйственной сумкой в руках, синей в белую полоску, закупал (уже по карточкам) масло и яйца на завтрак (свежие булочки лежали в сумке), а Гильдегард в это время прибирала нашу комнату. Я был «как идиот» — погружен в блаженно-сомнамбулическое состояние: двое молодых в серо-зеленых мундирах, внезапно схватившие меня за руки, показались мне дурным сном, а крики милой продавщицы у Батто — демонстрацией симпатии (что, впрочем, так и было). Я оказал сопротивление и выкрикивал (вопреки своей привычке) ругательства, а на позднейших допросах не только не проявил раскаяния, но даже показал нечто такое, что в официальных бумагах красиво назвали «упрямым высокомерием». Те месяцы, что мне оставалось провести в моем казарменном сообществе, я просидел в тюрьмах и карцерах всевозможных видов, в том числе несколько дней в кельнской городской тюрьме — именно оттуда я и отправил письменное ходатайство о зачислении меня в СА. Ангела я так больше и не увидел, Гильдегард встретил только через год и три месяца. Нам разрешили послать друг другу несколько писем, проверенных цензурой, но письма, проверенные цензурой, для меня уже не пись-

ма; я признаю их только как средство дать знать о себе. Раз или два Гильдегард тайно посетила меня, несколько раз я ее, но встречи эти я расцениваю не как семейную жизнь, а скорее как свидания. За это время на меня успели составить специальное «дело» и перевести из одного казарменного сообщества в другое; семейную жизнь я вел еще один раз в течение пяти дней в 1940 году, когда родилась моя дочка, и еще раз в течение двух недель в начале 1941 года — я лечился тогда после черепного ранения, которое получил по милости одного француза, имевшего все основания считать меня своим врагом. Я буквально налетел на него в ту минуту, когда он перебежал через дорогу с двумя пулеметами, видимо, изъятymi с оружейного склада моего тогдашнего казарменного сообщества. Я заговорил с ним на изысканном французском языке, каким изъясняются начальницы гимназий, и попросил не ставить меня в такое положение, когда я вынужден буду повести себя невежливо — как именно, я и сам не знал, — пусть лучше он просто бросит эти штуковины и удерет или же пусть, бог с ним, удирает в месте с этими штуковинами, но так, чтобы я, опять-таки без всякой невежливости, мог следовать за ним, разумеется на некотором расстоянии, — любого рода «соприкосновения с противником» меня не прельщают. Но француз не дал мне выговориться, прострелил из пистолета мой череп и оставил лежать на дороге в луже крови, из-за чего я попал в крайне неприятную ситуацию: «нежданно-негаданно показал себя как герой», — как заявил впоследствии предводитель нашего казарменного сообщества. Все это происшествие мне чрезвычайно не нравится, упоминаю о нем только из композиционных соображений.

Тем самым исчерпана как военная, так и семейная темы: отныне в этой повести будет сплошной аромат роз — мир и благодать. Те военные и послевоенные события, о которых мне еще необходимо будет упомянуть — из количественных соображений, — я преподнесу в стилизованном виде: либо в немецко-декоративной манере начала двадцатого века, либо в манере художников Шпитцвега и Макарта. Как бы то ни было, я перемещу их в сферу искусства, и они смогут украсить любую почтовую открытку. Чувство, какое я испытываю к войне, не совсем сродни чувству, какое питает любитель чая к кофейной фирме, скорее это чувство, с каким пешеход относится к машинам.

VII

В этом самом качестве, то есть в качестве пешехода, я предлагаю здесь, в особом разделе, кое-какой исторический материал. Даю его в сыром, необработанном виде — вместо карандаша вооружаюсь ножницами. Пусть каждый использует этот материал, как ему заблагорассудится — он может составлять из него орнаменты для своих детишек или же клеивать им стены. Материал этот отнюдь не без пробелов, наоборот — в нем полно пробелов; кто хочет, пусть склеит из него бумажного змея и запустит в небо или же склонится над ним с лупой, чтобы подсчитать мушинные следы. В каком виде ни рассматривать материал, который я здесь даю, в увеличенном или в уменьшенном, ясно одно — он подлинный, а как его используют — не мое дело. Быть может, лучше всего склеить из этого материала своего рода траурную рамку для нашего альбома «Раскрась сам». В свое время я считал все это хоть и подлинным, но нереальным — поэтому предоставляю каждому извлечь из него ту реальность, какая ему подходит.

В Ахене состоялся первый всегерманский шахматный турнир национал-социалистской организации «Сила через радость». Некий Ион

избрал французскую защиту, некий Леман — староиндийскую защиту, Забиенский — голландскую, некий Тильтю выиграл у некоего Рюскена, который применил сицилианскую защиту, но не добился успеха.

В Лондоне была проведена встреча немецких и английских ветеранов первой мировой войны: ветераны заявили о своем горячем стремлении к подлинному миру.

В Берлине собрался съезд ученых, посвященный психологии животных. На этом съезде подчеркивалось, что ученые, занимающиеся психологией животных, — соратники, союзники и коллеги ученых, занимающихся психологией человека. Особенно убедительно выступал некий профессор Йенш на тему: «Психология домашней курицы»; он заявил, что к ряду проблем человеческой психики можно весьма успешно подойти, исходя из психологии курицы, ибо в мироощущении курицы, точно так же как и в мироощущении человека, решающую роль играют зрительные факторы. «Курица, — заявил оратор, — является подопытным животным любого психолога, в то время как кролика мы считаем подопытным животным физиолога».

Одновременно в Берлине состоялся конгресс по вопросам отопления и вентиляции, на котором подробно обсуждались некоторые принципы устройства вентиляции а также правила вентиляции, принятые «О-вом нем. инж.».

Неслыханное веселье сулило некое заведение под названием «Циллерталь». Милович играл «Гадину», а в Драматическом театре шло «Укращение стропливой».

В тот же день в Кёльн прибыло тридцать пять гитлеровских отпущников, тепло встреченных крупным чиновником имярек, который указал им на то, что в эти часы взоры всего мира прикованы к Рейнской области.

Как и следовало ожидать, в то время в Европе снизилась рождаемость.

Ветераны бывшего 460-го стрелкового полка и 237-й стрелковой дивизии объявили о своей очередной встрече. В пивной «Зальцрюмхен» неподалеку от училища правоведения.

Что касается «большого футбола», то в эти дни встал огромной важности вопрос: удержат ли свои места лидирующие команды?

В хлестком написанном репортаже рассказывалось о ходе фортификационных работ на западе рейха:

Мы сворачиваем за угол, и к нам уже приближается дымящаяся полевая кухня — ее тащит в гору пара здоровенных лошадей. Запахло кислой капустой и бужениной.

Отыскать здесь что-нибудь — дело нелегкое. Все вокруг создано заново. Никто не может дать нужную справку. Ибо боец Трудового фронта не гуляет попусту. Он знает свое рабочее место, знает дорогу к своему лагерю. Этого достаточно. К тому же люди дают справки неохотно, с опаской. Каждый преисполнен здоровой подозрительности.

Повсюду расположены трудовые лагеря, множество таких лагерей

мы уже проехали, но наша цель добраться туда, где вчера побывал доктор Лей¹.

Там раскинулся лагерь спайки в лучшем смысле этого слова. В нем собрались соплеменники из всех концов рейха — из Мекленбурга, из Померании, Гамбурга, Вестфалии, Тюрингии, Берлина; и наших кёльнцев тут немало. Со времен войны известно, что в воинской части, где собираются дружки из Кёльна, всегда царит здоровый юмор и бодрый смех. Так оно и здесь. Но дело не только в этом. Бодрое настроение, по словам шеф-повара, лучшее доказательство того, что в лагере уделено надлежащее внимание телесным потребностям и желудку бойца. Мы охотно верим ему: еда, оставленная нам от обеда, очень вкусная. Распределением продуктов ведаёт Трудовой фронт, он следит за тем, чтобы у рядового было всего в изобилии, не говоря уже о духовной пище; и следует признать, что в этом смысле делается все, что в человеческих силах.

Каждому бойцу выдается на день 125 г. мяса, 750 г. картофеля, 250—500 г. овощей в зависимости от вида; 750 г. хлеба, 70—83 г. масла, 125 г. колбасы, сыра и проч.; и дополнительно — шоколад, сигары, сигареты или консервы.

Кинопередвижка всегда тут как тут, лагеря обеспечены радиоточками, имеются библиотеки, шахматы и другие игры, а также спортивный инвентарь.

Собственными глазами мы увидели: наш фронт на западе непоколебим. Он создан немецкими трудовыми руками. Весь немецкий народ строит здесь свой оборонительный вал.

Экскурсии организации «Сила через радость» в Грецию и Югославию. В 1938—1939 годах пять океанских пароходов-гигантов отправятся на юг. Национал-социалистская организация «Сила через радость» составила на текущую зиму 1938/39 года программу путешествий по Средиземному морю, превзошедшую все до сих пор известные программы.

Полковник генерального штаба по фамилии Ферч опубликовал фундаментальный труд о значении переподготовки резервистов. Он трезво разъяснил, что индивидуальная оборонная способность нации опирается прежде всего на обученные резервы. По словам Ферча, мимолетное недовольство, которое возникает у некоторых призывников-резервистов, исчезнет без следа, как только в стране снова воцарится тот дух, какой царил повсюду в 1935 году, в день Памяти героев, когда воспрянул буквально весь народ, узнав, что в Германии снова введена всеобщая воинская повинность. Сознание необходимости обороны государства и готовность нации к жертвам — вехи, определяющие масштаб оборонительных мероприятий. «Если целое поколение немцев, — писал Ферч далее, — в течение четырех лет могло вести необычную героическую борьбу, это объяснялось тем, что этому поколению не было в тягость потратить четыре недели на переподготовку».

Управление юридических консультаций немецкого Трудового фронта опубликовало решение имперского суда по трудовому конфликту (за № 114/37), в котором суд рассматривал вопрос об увольнении без предупреждения за отказ вступить в Трудовой фронт. Управление юридических консультаций одобрило эту меру, заявив, что за отказ следует увольнять без предупреждения. Увольнение с предупреждением за невступление в Трудовой фронт уже давно практикуется и считается

¹ Роберт Лей — руководитель «единых» профсоюзов в гитлеровской Германии, так называемого «Трудового фронта».

правильным; допустимо также увольнение без предупреждения, если данное лицо отказывается вступить в Трудовой фронт из-за своих социально-враждебных настроений.

ВЫРЕЗАТЬ СОХРАНИТЬ
НАКЛЕИТЬ

Каждый дом должен подготовиться к тушению пожаров в плане противовоздушной обороны и иметь для этой цели хотя бы простейшие противопожарные средства:

1. Ведра в возможно большем количестве.
2. Бочку не менее чем на 100 литров воды.
3. Огнесбивалку для сбивания огня и для тушения труднодоступных очагов пожаров. Она представляет собой палку с куском сукна, который перед употреблением погружается в воду.
4. Ящик, вместимость которого не менее $\frac{1}{4}$ кубометра песка или земли, и обычную лопату (например, лопату для угля) или:
5. Заступы, лопаты, совки.
6. Топоры или колуны.
7. Скребок.
8. Веревку (длинная крепкая бельевая веревка).

Все это обычно имеется в каждом хозяйстве или может быть приобретено без особых затрат. По сигналу воздушной тревоги весь инвентарь необходимо вынести и распределить по лестничной клетке, руководствуясь указаниями начальника противовоздушной обороны.

Прогноз погоды: при ветре слабом до умеренного, на юге по утрам усиление тумана, днем — ясная погода, временами небольшая облачность, тепло. Дальнейшие прогнозы: сухо и ясно. Вчера на границе между теплым субтропическим воздухом и мягким морским воздухом на северо-востоке Франции и в районе Ламанша наблюдались осадки. Однако эти неблагоприятные факторы не распространились сколько-нибудь значительно к востоку. В результате повсеместного увеличения атмосферного давления над Западной и Центральной Европой район высокого давления продвинулся с востока Европы дальше на запад. Неблагоприятные факторы в Атлантике, выразившиеся сегодня утром в ураганных ветрах в районе Ирландия — Ньюфаундленд, пока что не окажут влияние на погоду на западе Германии.

Максимальная температура 23,3 градуса. Средняя дневная температура 19,2 градуса. Самая низкая температура прошлой ночью 15,4 градуса. Без осадков.

Некий скульптор считает необходимым сообщить, что изготовленная им по заказу военно-строительного ведомства для одного из штабных зданий эмблема — орел как символ верховной власти — была сделана в одной из старейших художественных мастерских, но по его эскизам.

Дабы ознакомить читателей, не имеющих счастья проживать в Рейнской области, с весьма распространенным в то время жанром стихов о матерях, попытаюсь перевести один из таких опусов, написанных на кельнском диалекте, на более или менее приемлемый литературный язык:

Сын, иди гуляй по белу свету,
Это вряд ли повредит тебе,
Мать твоя оценит жертву эту.
Каждый твой товарищ по борьбе

Отчий дом покинул и кочует,
 Бороздит пустыню или снег.
 Мать его нисколько не горюет.
 «Милый мальчик, ты был лучше всех.

Как бы там вдали ни стало тяжко,
 Все же ты не должен забывать
 Ни очаг родимый, мой бедняжка,
 Ни тобой гордящуюся мать».

Мать такую назову я гордой
 И храбрее тысячи мужчин.
 Ты ушел. Она осталась твердой,
 Хоть у ней для горя сто причин¹.

В Кёльне состоялся международный съезд парикмахеров; в нем согласилось участвовать двадцать наций; впервые среди парикмахеров разыгрывалось первенство, борьба шла за учрежденный доктором Леем приз — все это не могло не стать предметом законной гордости всех немцев, особенно жителей Кёльна.

Если я сообщаю далее об активной деятельности кролиководов в Бергиш-Гладбахе, то отнюдь не для того, чтобы посмеяться над этими достойными людьми, и также не из композиционных соображений в связи с вышеупомянутым конгрессом специалистов по психологии животных, а просто из чувства справедливости и, главное, потому, что в этом городишке у меня были друзья. Союз кролиководов в Бергиш-Гладбахе объявил, что ежегодная прогулка членов союза и их семей не имеет на этот раз точного маршрута, и призвал всех друзей и почитателей союза принять участие в экскурсии и разделить предстоящее веселье.

Солдатское объединение в том же городке оповестило о своем очередном ежемесячном сборе, а местное отделение нацистской организации «Сила через радость» обещало жителям много радостей и удовольствий, — но об этом я рассказываю только лишь для полноты картины.

И наконец я предусмотрительно напоминаю о нескольких мелочах, хотя о них и так уже знает «каждый ребенок», однако есть основания думать, что не каждый взрослый; словом, из предусмотрительности я вновь отмечаю то, что известно «каждому ребенку».

А именно:

Во второй половине сентября, а может, даже как раз 22 сентября, в Берлинском институте кайзера Вильгельма, в Далеме, ученые обнаружили новый тип ядерной реакции, ныне знакомый нам всем. Несколько месяцев спустя с соблюдением всех предосторожностей, как это принято в науке, были опубликованы первые сообщения о результатах исследований, а еще через месяц физики-атомщики во всем мире знали, что стало возможным создание атомной бомбы и что началась новая эра.

В тот самый день 22 сентября 1938 года английский премьер Невиль Чемберлен прибыл в Бад-Годесберг, чтобы обсудить так называемый судетский кризис; разумеется, это известно не только каждому ребенку, но, можно сказать, каждому младенцу, и если я повторяю и подчеркиваю сей факт, то исключительно для взрослых. *«Когда Чемберлен, — повествует летописец, запечатлевший тот памятный день, — прибыл сюда из Кёльна, он с явным удовольствием взглянул на залитую солнцем прирейнскую долину и выразил свое полное удовлетворение выбором места встречи, расценив его широкие горизонты как символиче-*

¹ Перевод Б. Слуцкого.

ский знак; фотографы запечатлели благожелательную и открытую улыбку премьера, которая благодаря его смелому полету за одну ночь прославилась на весь мир».

VIII

Моя трехлетняя внучка не называет меня «дедушкой»; она говорит мне «ты» и «Вильгельм», а в разговоре с другими людьми именует меня «он» или тоже «Вильгельм»... Поэтому я всегда бываю застигнут врасплох, когда она спрашивает о своей бабушке. Гуляя с ней вдоль пристани Лея и Франконской верфи, а потом по набережной кайзера Фридриха и возвращаясь домой (мы ходим медленно, ноги у меня слабые), я рассказываю внучке об Анне Бехтольд, моей теще; рассказываю, как она из-за своих стычек с полевой жандармерией сидела в Сигбургской каторжной тюрьме, дважды бежала: один раз добралась до Грембергхофена, другой — до Кёльна-Дейца, но оба раза ее схватили; я повествую об этом в стиле баллад и таким тоном, каким пересказывают сагу о Ганнесе-живодере: в моем рассказе бомбы с адским воем низвергаются с небес, гранаты грохочут, а молодчиков из полевой жандармерии я живописую во всей их страшной, воинственной красе. Но тут малютка Гильда дергает меня за рукав и напоминает, что она просила рассказать вовсе не о прабабушке, а о бабушке, и я начинаю карабкаться то вверх, то вниз по генеалогическому древу, пока не нахожу, как мне кажется, подходящую ветвь — Катарину Бертен, мать ее отца, моего зятя. Эту даму я тщательно избегаю, несмотря на то, что она признанная красавица и одних лет со мной; в свое время делались даже попытки сосватать нас. Но Катарина напоминает мне стайку моих кокетливых кузин и их игру в фанты, от которой у меня сохранились самые мрачные воспоминания, еще более мрачные, чем о некой Герте из обители профессиональной любви, с которой я так часто обменивался письмами, правда, не от своего имени. Чудовишное безразличие профессионального порока — а Герта служила ему пять лет — вернуло ей нечто вроде невинности. («Неужели он и впрямь погиб?» — «Да». — «Вы видели это собственными глазами?» — «Да». — «Где?» — «Ах... И даже без приглушенной барабанной дроби. А ведь он так любил пудинг с жженым сахаром».)

— Ну, конечно, Бертены происходят из древнего кёльского рода; этот род уже в...

— Да нет,— обеими руками внучка дергает меня за рукав, будто за веревку колокола.

Бабушка — это Гильдегард. Как трудно представить себе, что для кого-то Гильдегард бабушка. Что я могу о ней рассказать? Ничего. Что волосы у нее были светлые и что она была очень-очень милая. И что любила занавески, а еще книги и герань. И что у Батто ей постоянно давали больше яиц, чем полагалось по карточкам. Кто возьмется живописать невинность? Я не берусь. Неужели я должен представить Гильдегард моей трехлетней внучке так, словно представляю ее медкомиссии по освидетельствованию призывников — чисто вымытой и раздетой до гола? Здесь я пас. Не могу же я описать три десятка наших совместных завтраков, каждый в отдельности? Это невозможно. Не столь уж трудно объяснить трехлетней крошке, что означает самовольная отлучка из части, но как объяснить ей, из какой части? На это я не способен. Процесс «делания человека» начинается лишь тогда, когда ты отлучаешься из всех частей, какие только есть; этот вывод я без обиняков советую усвоить грядущим поколениям. (Но будьте осторожны, когда начнется стрельба, есть кретины, которые целятся и попадают в цель!) В беседах с внучкой я ограничиваюсь вариантом в стиле мешанских картин

Шпитцвега: хорошенькая молодая женщина выглядывает из своей мансарды — она поливает герань в ящике за окном из желтой лейки; на заднем плане в кухонном шкафчике виднеются «Идиот» Достоевского, «Пальма Кункель», сказки братьев Гримм и «Михаэль Кольхаас», а по бокам две фарфоровые банки с надписями «Рис», «Сахар», около шкафчика детская коляска с барахтающимся младенцем, которому кто-то (это был я; в припадке раскаяния бью себя в грудь кулаком) смастерил погремушку из веревки и ременных пряжек. На пряжках вооруженный биноклем шпик без труда различил бы лопату в обрамлении колосьев. («И это была моя мама?» — «Да».) А если я выбираю другое место для прогулки — не пристань Лея и не Франконскую верфь, а Дровяной рынок и Байенштрассе, да еще даю себя увлечь на бульвар у Небирринга, то тут внучка с детской настойчивостью и неумолимостью тащит меня на улицу, название которой я однажды выболтал, местоположение которой однажды выдал. («Где стоял этот дом?» — «Вон там».— «Где была ваша комнатка?» — «Приблизительно тут».— «Как же случилось, что бомба не попала в маму?» — «Она была у бабушки».— «Ты хочешь сказать: у прабабушки?» — «Да».) Я торжественно обещаю — и намерен выполнить это обещание — прочесть ей вслух «Идиота», «Михаэля Кольхааса» и «Пальму Кункель». Сказки братьев Гримм мы с ней уже читали. Прогулки в сторону Байенштрассе обычно заканчиваются визитом к прабабушке. Там пьют кофе (я не пью), едят пироги (бабу, которую в других городах именуют кексом; я не ем), курят (я не курю), молятся (я не молюсь). Заложив руки за спину, я подхожу к окну и смотрю на Северинстор. Когда над городом появляются самолеты — или, как изяшно пишут газеты: «проносятся самолеты», — у меня начинается то внезапное, почти эпилептическое подергивание, которое делает мое здоровье столь сомнительным — и здесь уж каждый читатель догадается, о чем давно догадался читатель мудрый: я — психопат. Иногда припадки длятся долго: на обратном пути я волочу ноги, руки у меня трясутся. Недавно одна мамаша, указав на меня пальцем, громко и внятно сказала своему сыну, парню лет пятнадцати:

— Погляди-ка, типичная болезнь Паркинсона.

Что, впрочем, не соответствует действительности. При виде экскаваторов я иногда также начинаю подергиваться и шепчу про себя: «Труд дает свободу» — это обстоятельство побудило на днях одного молодого человека, шедшего позади меня, воскликнуть: «Знакомый субъект!» К тому же я еще заикаюсь — следствие черепного ранения; только песни беспрепятственно слетают с моих уст, а что может спеть человек, как не строфу немецкого гимна: «Немецкие женщины, немецкая верность, немецкое вино и немецкая песня»? Так что замечания вроде: «Знакомый субъект!» — мне приходится выслушивать часто. Я к ним привык. Но я упрямо не приемлю эту дань здравого смысла.

Советы я приемлю только от тещи: «Почему ты не бреешься? Надо больше интересоваться делами фирмы. Не расстраивайся из-за этого Бергена, очень жаль, что твоя дочь вышла за него замуж. Неужели никто не может пришить тебе пуговицу? Поди-ка сюда!»

Что правда, то правда: шить я не умею; поэтому с удовольствием изображу в альбоме «Раскрась сам» много-много пуговиц, потерянных мною в те долгие годы, которые прошли со дня, когда мне минуло двадцать один, и до сего дня, когда мне уже стукнуло сорок восемь, — пуговицы будут круглые и овальные. И круглые и овальные пуговицы читатель может видоизменить и раскрасить по собственному усмотрению. Если ему захочется, пусть превратит круглые пуговицы в маргаритки или в ромашки; можно также сделать из них монеты, часы, луны или же

сахарницы и электрические розетки — вид сверху; предоставляю полную свободу фантазии читателя: мои пуговицы он может превратить во что угодно — лишь бы оно было круглое, хоть в значки нацистской партии или в медали спасения на водах. Пуговицы овальные — их обычно пришивают, и притом довольно-таки слабо, к курткам и сходным одеяниям — легко могут быть превращены в шоколадные конфеты с ромом, в полумесяцы, в ванильные рожки и в запятыя, а также в елочные украшения и серпы. Для каждого года, вплоть до 1949-го, я щедро предоставляю читателю по дюжине, а после сорок девятого по полдюжине пуговиц — круглых и овальных, не считая нескольких сломанных «молний», весьма пригодных для превращения их в заросли терновника или же в колючую проволоку. Ну, а что касается крошечных пуговок от рубашек — к сожалению, они бывают только круглые, — то мы просто высыплем их двумя-тремя пригоршнями на страницы альбома, как сахарную пудру на готовый пирог. Могу предоставить также богатый выбор дырок разных фасонов — дырки в чулках, дырки в рубашках, так называемые прорехи; дырки — особенно ценный материал для разведчиков недр, ведь каждому ребенку известно (я повторяю это для взрослых, у которых вообще короткая память), что для археологии нет ничего более важного, нежели дыра. А вдовец, который, подобно мне, упорно не желал освоить швейное мастерство и столь же упорно не хотел надраивать себе башмаки, — может предоставить сколько угодно дырок. На днях один профессиональный чистильщик сапог — их теперь днем с огнем не сыщешь — сказал мне тоном упрека:

— Очевидно, вы даже не представляете себе, что значит следить за обувью.

Уверен, что во времена оны он был фельдфебелем, а стремление воспитывать — у каждого немца в крови. Зато теща меня не воспитывает, она просто старается привести меня в божеский вид: то снимет пушинку с пальто, то «поправит» плечи — два ватных валика, вшитые в пиджак и в пальто, то нагнется, чтобы покрепче затянуть (а не развязать) шнурки и засунуть их в ботинки. Она нахлобучивает мне шляпу так, чтобы я «не отставал от моды» (под этим она разумеет то, что считалось модой в двадцатых годах); она вдруг раздражается слезами, обнимает меня, целует в обе щеки и говорит, что я всегда был ей настоящим сыном, больше, чем ее родные сыновья, за исключением, конечно, Ангела, тот был для нее «гораздо больше, чем сын». Своего сына Иоганнеса она попросту называет «вонючкой», своих невесток — «лишним балластом», а своего мужа — «отщепенцем из пролетариев»; с тех пор как старик завел себе пуделя (желтый ошейник, желтый поводок), он для нее вообще не существует. «При разводе мы и то не были бы такими разведенными, как сейчас». А когда теща говорит: «Ты все еще в самовольной отлучке» — я знаю, что она имеет в виду.

Время от времени я приглашаю ее в ресторан, а потом катаю на такси по Кёльну: хочу, чтобы она уяснила себе, до какой степени можно разрушить разрушенный город. Я требую счет за обед (на аппетит она, слава богу, не жалуется и любит «вкусно покушать») и за поездку на такси, а потом пишу на счетах: «Деловое собеседование между поставщиками фирмы». И каждый раз после этого у моего щепетильного и дотошного поверенного слегка разливается желчь: во-первых, нельзя писать между поставщиками, надо писать «с»...; во-вторых, потому что это вообще «некорректно». Недавно, сидя в такси, теща посмотрела на меня своими темными глазами, вернее, бросила взгляд под названием «я тебя вижу насквозь», — и сказала:

— Знаешь, чем тебе надо заняться, знаешь, что ты должен делать?»

— Нет, не знаю, — сказал я с беспокойством.

— Тебе надо бы опять приняться за учение.

Впервые за последние восемнадцать лет я расхохотался, могу сказать не колеблясь, что это был оглушительный смех. В последний раз я хохотал столь оглушительно, когда один американский лейтенантик назвал меня «Gocken German Nazi»¹. Вероятно, оба они были правы — и теща, и американский лейтенант. В присутствии лейтенанта я запел полголоса то, что часто напеваю, уже почти произвольно: «Немецкие женщины, немецкая верность, немецкое вино и немецкая песня...»

Иногда мы сидим в кафе Рейхарда вместе с тещей — она тихонько плачет, и я не жду объяснений, сам ничего не объясняю и тем более не навязываю ей своих утешений; она оплакивает погибших детей и размышляет о том, что никто из них не нашел успокоения на кладбище. И нет могил, чтобы их можно было убрать цветами, нет успокоения и той обманчивой, грустной, украшенной цветами тишины, которая притягивает к кладбищам романтиков (таких, как я) и превращает сии печальные места чуть ли не в санатории для психопатов (таких, как я) — ибо, сидя под сенью кладбищенских деревьев и кустов, они могут созерцать вдовец, выпальвающих сорную траву на могилах (как ни странно, вдовцы, выпальвающие сорную траву на могилах, почти не встречаются), и размышлять о бренности человеческого праха.

Just in front of the cathedral, когда я сижу на веранде кафе Рейхарда, у меня есть все основания жалеть, что я нахожусь не на базарной площади в Баллахулише и не ожидаю там прибытия бродячего цирка, который появится этак месяцев через восемь.

Внучка спрашивает, почему плачет прабабушка, и при этом у нее больше общего с кельнерами и их клиентами, которых ужасно смущает эта «диковинно одетая старуха», нежели с нами; и вопрос ее низводит нас прямо-таки в категорию неандертальцев. Моя дочь и зять «наотрез отказываются» появляться с нами в общественных местах. У дочери, правда, хватает почтительности не анализировать причины своего отказа, зато зять не скрывает, что мы для него — «нечто среднее между слабоумными стариками и антисоциальным элементом». Только внучка сохранила ту невинность души, которая позволяет ей развлекаться в нашем обществе. Но если бы я захотел ответить на ее вопрос и объяснил бы, что в каких-нибудь двух-трех метрах от нас расстреляли ее дядю, она вряд ли поверила бы мне, куда легче верить обоим прадедушкам, которые с такой точностью датируют свои археологические находки. И уж вовсе бесполезно объяснять ей, что есть люди, которые плачут на могилах и на местах казней, особенно если один из казненных — их сын; тут даже наша малышка решит, что такого рода взрывы чувств основаны на «комплексах и старомодной злопамятности». Напрасно я ссылаясь бы на деву Марию, которая, как говорят, плакала у подножия распятия, — все равно мою тещу не спасешь от подобного рода ярлыков, и все равно мой расстрелянный шуринок Антон будет вызывать ассоциации с некоторыми кинофильмами. Да и нашу малышку уже не спасти, и не потому, что она воспитывается католичкой, а скорее несмотря на это. Религия будет для нее, как духи, которыми она всегда душилась, — через несколько лет они повисят в цене, так как станут редкостью.

Теща тихо плачет и вытирает слезы чересчур большим платком, внучка лакомится мороженым, а я тем временем придумываю бесспорно бразильские фамилии для нашего счета, который намерен положить на стол своему добросовестному поверенному в качестве документа, поскольку представительские не облагаются налогами. Не знаю, на какой

¹ Воючий нацист (англ.).

фамилии остановиться — на Оливейро или на Эспиньяго? Разумеется, я сделаю их владельцами кофейных плантаций или же крупными оптовиками и в любое время буду готов поручиться, что вел с ними переговоры от имени фирмы. А уж после моей присяги Оливейро или Эспиньяго станут правомочными лицами для всякого рода официальных документов. Очень возможно, что я пристегну к ним еще какую-нибудь Маргариту или Хуаниту — и опять-таки под присягой засвидетельствую, что послал ей в номер цветы.

Всем уже знакомо мое пристрастие к чаю. Надо ли после этого объяснять, что значит для меня торговля кофе? Ну, конечно же, ровным счетом ничего. С этим кофейным бизнесом меня не связывают никакие духовные узы. Бумаги, которые мне дает поверенный, я подмахиваю, не глядя. Но иногда я вынужден беседовать с плантаторами или крупными кофейными торговцами — на такой случай у меня в шкафу, разумеется, висит то, что люди называют «черным костюмом». Заиканье и нервное подергиванье выглядят при деловых свиданиях не только эффектно, но, я сказал бы, даже изысканно. Они придают моей внешности нечто декадентское, и это впечатление еще усугубляется тем, что я демонстративно пью чай. Всякие разговоры, даже в отдаленной степени напоминающие «частные беседы», я пресекаю в корне легким движением руки и гримасой, которую нельзя истолковать иначе чем гримасу отвращения. Я всегда терпеть не мог фамильярности, а так называемое «проявление человечности» слишком живо напоминает мне бесчеловечность. Зять, который участвует во всех деловых встречах фирмы, с одной стороны, восхищается моим стилем, с другой (по вполне понятным причинам) — ненавидит его; иногда он смотрит на меня так, будто я статуя, только что извлеченная из земли и неожиданно начавшая делать какие-то телодвижения.

Скоро я окончательно переберусь к теще и, возможно, даже последую ее гениальному совету: «опять примусь за учение». Придется только обождать, пока фирма не перейдет в руки зятя и юридически и фактически. Он сам предостерег меня, посоветовав внимательно изучить каждый параграф договора и не полагаться на его гуманность, «так как в делах гуманность — пустой звук». Это его признание можно счесть почти гуманным, во всяком случае добросовестным, но я не доверяю добросовестным людям, у которых нет собственного стиля; придется поэтому подойти к договору с сугубой осторожностью. Старик Бехтольд уже фактически выехал из своей комнаты, правда, там все еще валяются образчики кож и по-прежнему стоит низкий сапожный стульчик (Бехтольды переезжали пять раз, и он все время таскал его с собой), хотя с тех пор, как мы с его сыновьями метали жребий, кому вступить в штурмовики, он ни разу не чинил башмаков. Комнату нужно заново оклеить и расставить там мою мебель. Анна Бехтольд уже подготовила программу нашего совместного житья — «в самовольной отлучке я займусь науками». Я обещал ей также двадцать с лишним лет спустя высказать наконец, что значит тот самый «рейнский гульден», о котором Гильдегард так взволнованно рассуждала вечером накануне смерти, когда она принесла маленькую Гильдегард к бабушке. Ну и, конечно, нам предстоит «визиты родственников» — покупать продукты надо, и уже по одному этому нельзя замуровать себя в четырех стенах. К нам будут захаживать «вонючка» Иоганнес, «лишний балласт» — невестки, внуки, правнуки. Время от времени нам придется лицеизреть моего зятя; хитро посмеиваясь, он даст понять, что ему все равно удалось обвести меня вокруг пальца, но его совесть будет совершенно чиста, ведь он меня предостерег. Я даже готов согласиться с романтическими представлениями тещи о «студенческой каморке». И поскольку у нее есть опыт

в обхождении с «квартирантами из мебелирашек», могу следовать также ее представлениям о «моде» — у меня лично они совершенно отсутствуют, — хотя эти представления почерпнуты из практики двадцатых годов; до сих пор теща применяла их, лишь нахлобучивая на меня шляпы «помодней». Теща вызвалась даже научиться заваривать чай.

Не знаю, сообщил ли я уже, что она, хоть и считается грамотной, пишет с трудом и что именно я призван писать под диктовку ее мемуары — самыми черными чернилами на самой белой бумаге. Если я этого еще не сообщил, то сейчас наверстываю упущенное.

IX

Зять просит меня, чтобы я в своих записках «уделил больше внимания, пусть в отрицательном смысле», ему и его жене, ведь все равно я выбалтываю все семейные тайны. По отношению к дочери я в трудном положении: в конце войны, когда ей было четыре годика, она пережила тысячу тяжелых воздушных налетов (теща не хотела уезжать из Кёльна «именно потому, что здесь у меня погибло двое детей»)... Как же можно обижаться на то, что дочь охвачена жаждой жизни? Внешне это проявляется в несколько лихорадочной погоне за материальными благами. Даже в самых приятных чертах ее характера — она чаще молчит и у нее широкая натура — есть что-то лихорадочное. Со мной она не очень-то терпелива (по причине уже известных всем травм я весьма медлителен — медленно раздеваюсь и одеваюсь, медленно ем, а мои припадки вызывают у нее отвращение, которое ей трудно скрыть), но я очень охотно прощаю ей по десять бестактностей за каждый воздушный налет; таким образом, дочь пользуется у меня почти неограниченным кредитом. К сожалению, она похожа не на Гильдегард, а на меня (факт более прискорбный для дочери, нежели для отца), и это еще повышает ее кредит. Даже в ее набожности чувствуется что-то лихорадочное — пунктуальность, приверженность к догмам; в результате брака с человеком иной религии она впала сейчас в своего рода религиозный транс, который, впрочем, пройдет, как проходит действие всех возбуждающих средств. При встречах мы улыбаемся друг другу, но эта улыбка — всего лишь вариант пожимания плечами. Дочь целиком находится под влиянием моего отца и моего тестя и усердно собирает «старинную мебель», которой обставит мои комнаты, как только я выеду; мысленно она уже выбрасывает мою мебель и ставит свою, взглядом специалиста по интерьерам измеряет расстояния, прикидывает различные варианты, собирает, какие цвета будут эффектней; я не удивлюсь и не обижусь, если, неожиданно войдя к себе в комнату, застаю ее там со складным метром в руках. Правда, это маловероятно: из-за моего подергивания и больной ноги я поднимаюсь по лестнице очень медленно и отнюдь не бесшумно, тем самым я заранее предупреждаю о моем приходе. В связи с моей техникой хождения по лестницам я уже не раз слышал словечко «ползать». Однако о ползанье на брюхе, о «делании человек» и о чистке нужников пока еще речи не было. Иногда меня называют «идеалистом», потому что я не ходатайствовал о пенсии как инвалид войны. Но, по моему скромному мнению, это вызвано не идеальными, а вполне материальными причинами, связанными с моей мизофобией, то есть с манерой чистоплотности. Я всегда считал, что изучение того, как особи мужского пола во время войны оказывались в дураках — крайне неприятное занятие, пусть оно даже будет вынужденное. Одурачивание немцев мужского пола еще может вызвать сострадание, но уж никак не уважение. Нет, я не смирюсь — я буду учиться, что и является, возможно, формой смирения, и не только для меня одного.

Кто ищет, тот обрящет: меня всегда можно будет разыскать там, где, не рискуя сломать себе шею, я смогу глядеть на Северинстор.

Дополнения

Я трижды крещен: как иудей — бранью, как немец — поцелуем, как христианин — церковью.

1. Важное признание. Мне так и не удалось изобразить выражение лиц обоих Бехтольдов после того, как я трижды обыграл их в кости, — этакую смесь почтительности и изумления с истерической злостью и унынием; а когда позднее я предложил им, как будущий зять, заменить одного из сыновей Бехтольдов и вступить в СА — они заорали от ярости: им хотелось запятнать Ангела, хотелось, чтобы именно он стал штурмовиком.

Маму я обозначаю всего лишь пунктиром — и на это есть основания: она была слишком хрупкая — вот-вот сломится или же рисунок не удастся; поэтому лучше, если читатель наклеит в альбом «Раскрась сам» какое-нибудь клише или воспользуется переводной картинкой — мать была дама из буржуазных кругов, так сказать, эпохи тридцать восьмого года, лет сорока пяти — хрупкая, но отнюдь не томная. Окружающее вызывало у нее отвращение, но не по социальным причинам. Что касается меня, то я уже признал, что являюсь романтиком, а также психопатом и питаю склонность к идиллиям; повторяю это исключительно для взрослых.

Все эти двадцать лет я знаю историю «рейнского гульдена», о котором Гильдегард так взволнованно говорила. Казарменное сообщество, где меня благословили ползать на брюхе, обругали жидом, приказали чистить нужники, чтобы «сделать человеком», и где я встретил Ангела, — находилось в лесных дебрях, тех самых, где разыгрывались многие сказки братьев Grimm; приказы, ругань и благословенья предводители этого сообщества в большинстве случаев произносили на диалекте, на котором, вероятно, изъяснялась сказочница, развлекавшая братьев Grimm своими побасенками. Поэтому нет ничего удивительного, что я подарил Гильдегард на свадьбу «Михаэля Кольхааса» и «Сказки братьев Grimm» («Идиота» и «Пальму Кункель» она принесла в приданое); не удивительно также, что Гильдегард любила читать сказки и что сказка «О том, как дети играли в войну» произвела на нее самое сильное впечатление, показалась ей, так сказать, наиболее актуальной. Наверное, она знала ее наизусть, раз все время повторяла фразу, которую так и не поняла теща: «И вот они берут рейнский гульден, берут рейнский гульден».

Стало быть, я знаю, в чем дело — но дело такое сложное, что я не берусь объяснить его теще. Да и у меня у самого кое-что построено на догадках. Во всяком случае актуальность «рейнского гульдена» не подлежит сомнению. Кому придет в голову брать яблоко, если каждому ребенку известно, что за гульден можно купить, наверное, целую сотню яблок? Все мы играли друг с другом в войну, хотя уже выросли из детского возраста, да и невинность — не разменная монета. Если я еще добавлю, что моя любимая сказка — «Поющая косточка», читатель вовсе умрет от смеха.

2. Мораль. Настоятельно рекомендуется самовольная отлучка из части. Дезертирство и побеги в этой повести скорее поощряются, нежели осуждаются: ведь я уже говорил, что есть кретины, которые не только

целятся, но и попадают в цель, поэтому каждый должен знать, чем он рискует. Огнестрельное оружие шуток не любит. Напоминаю вам об Ангеле и об Антоне Бехтольде.

Отлучка из регулярных частей особенно опасна: у так называемых мыслящих людей, обычно страдающих недомыслием, она, можно сказать, автоматически возбуждает подозрение, будто «отлучающийся» хочет перейти в регулярные части. Итак, будьте сугубо осторожны.

ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА

А. Три офицерских носовых платка (белых), которые были подарены монахиням и украдены на армейском складе, не что иное, как три лилии, превращенные в платки: такого рода лилии кладут к подножью алтарей святого Иосифа, девы Марии и вообще всех, кто сохранил невинность и был причислен к лику святых. Упомянутые лилии непосредственно связаны с самой белой бумагой, на которой я пишу, с моей манией мытья рук, с отвращением ко всякого рода смотрам и к собственноручному надраиванию сапог, а также с моей явной любовью к чистоте. Иначе никто не стал бы из-за нескольких ванн красть военное имущество, ибо уголь хоть и был добыт в Лотарингии, но по праву принадлежал германскому вермахту; да и сложные переговоры, и именно с монахинями, свидетельствуют о полной невинности.

С другой стороны, частые упоминания экскрементов и грязных ногтей, равно как и почти сладострастное изображение собственных недугов: припадков эпилептического свойства, хромоты и болезненного отвращения к гулу самолетов, который и вызывает упомянутые припадки,— все это показывает, что рассказчик совершенно справедливо назвал себя психопатом, а также справедливо причислил себя к разряду романтиков и людей смирившихся. Нельзя также не отметить авторской тенденции говорить об «избранных», хоть дело идет об «избранных» в среде золотарей. Следует выяснить также, не связано ли отвращение к «рейнскому гульдену» с нежеланием (совершенно непонятным) выхлопотать и получить то, что «положено» в качестве компенсации за ранения и травмы?

Б. Упоминание о Гансе и Гретель объясняется обстоятельствами, которые нетрудно установить: рассказчик неоднократно находился в лесах в отлучке из своей части, трудившейся не покладая рук; он блуждал один с куском хлеба в кармане и с тоской думал о Гретель, утешавшей своего братца. А тот факт, что третья сказка, упомянутая автором в качестве его «любимой сказки» — «Поющая косточка», — несомненно, как-то связан с «рейнским гульденом».

В. Попытку поставить знак равенства между учением и смирением или во всяком случае как-то сблизить эти понятия можно объяснить глубоко укоренившимся с детства подсознательным отвращением к собиранию гербариев.

Г. Ангел (Энгельберт) не является символом ангела, хотя его так звали и хотя он, по словам автора, был похож на одного.

Д. Рассказчик что-то скрывает. Что именно?

Авторизованный перевод с немецкого Л. Черной.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС ПАСТЕРНАК

★

СТИХИ И ПРОЗА *

1917 — 1942

Заколдованное число!
Ты со мной при любой перемене.
Ты свершило свой круг и пришло.
Я не верил в твое возвращенье.

Как тогда, четверть века назад,
На заре молодых вероятий,
Золотишь ты мой ранний закат
Светом тех же великих начатий.

Ты справляешь свое торжество,
И опять, двадцатипятилетье,
Для тебя мне не жаль ничего,
Как на памятном первом рассвете.

Мне не жалко незрелых работ,
И опять этим утром осенним
Я оцениваю твой приход
По готовности к свежим лишениям.

Предо мною твоя правота.
Ты ни в чем предо мной не повишно,
И война с духом тьмы неспроста
Омрачает твою годовщину.

6 ноября 1942 г.

Памяти Марины Цветаевой

(Отрывок)

Хмуρο тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.

* Публикация и примечания Льва Озерова.

За оградю вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастье мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

Декабрь 1942 г.

*Освобожденный город*¹

Константину Федичу.

Мы входили в освобожденный город. Он был взят накануне. По последней инструкции неприятель должен уничтожать за собой все до основания. Здесь он этого не успел, выбитый раньше ожидания. Он спешил наверстать упущенное.

Обгоняя войска на марше, мы с широкой пыльной дороги свернули на тряский лесной проселок. Над нами ленивыми фигурными кругами заскользили самолеты. В них десятую черными облачками пыхнули зенитки.

С конца 1941 года я не видал немецкой авиации. Не было ее в эти дни затишья и над армией, где мы находились. С понятным чувством встретили мы старую знакомую московских кровель.

Остановив машины, мы отошли в кусты. Где-то впереди, очевидно за лесом, и на оставленной нами дороге началась бомбежка.

Немного погодя мимо тянувшихся без конца усталых бойцов и лошадей, мелькавших на каждом шагу немецких надписей, дымившихся на ходу полковых кухонь и располагавшихся в сосновой роще замаскированных батарей мы въехали в зажженный с воздуха город. Мы стали его осматривать.

¹ В начале и в ходе Великой Отечественной войны Борис Пастернак добивался, чтобы его послали на фронт. Об этом он писал в письмах, адресованных жене — З. Н. Пастернак, находившейся в ту пору с детьми в Чистополе. «Я просил Фадеева устроить мне поездку на фронт. Он взялся за это очень горячо, но вот видишь, я по сей день в Москве. Теперь я обратился с той же просьбой в редакцию «Красной звезды» и, наверное, на днях уеду в названном направлении числа до 20-го...» — пишет Пастернак в ноябре 1942 года. В начале декабря того же года: «Три недели тому назад я выразил желание побывать на фронте Фадеев и в редакции «Красной звезды». Это принял так горячо, что у меня создалось опасение, дадут ли мне полчаса для необходимых сборов. Последние две недели я каждую ночь (в редакции работают ночами) звонил в «Красную звезду» и каждый раз мне отвечали, что меня снарядят на днях». Поездка состоялась лишь в августе 1943 года. После нее и написаны публикуемые очерки.

Он пылал с нескольких концов. Как щенята из-под брюха суки, языки пламени жадно лизали и посасывали края железных крыш или неистовствовали, вырываясь наружу. Мы пошли на немецкое офицерское кладбище в середине города.

Его хорошо описал Всеволод Иванов. Среди пыли и мусора соседних разрушений этот лес выстроенных по ранжиру черных орденских крестов казался голосом самой ограниченности среди бессмертного безмолвия страдания.

Не все иностранцы знают: совсем недавно Россия была купеческой страной. Блеску наших умственных верхов завидовала Европа. Это наше дело, почему, купеческие сыновья и дети профессоров, не говоря уже о народе, мы на время по-своему распорядились нашими запасами и знаниями. Кто хочет судить Россию по густоте устоявшегося уклада, должен был это сделать до 1914 года. Теперь предмет ее гордости иной.

В спаленных ли неприятелем областях, в индустриальной ли близости Москвы или на нетронutom войною востоке лицо ее одинаково, не смотря на военные и географические различья. Подобно кинувшейся в лицо бледности или краске, все ее черты заслонены светом ее нынешнего, никому не снившегося исторического часа. Ее природой остается природа ее переворота. По замыслу врага, его война должна была быть тою раз в тысячелетье разорвавшейся эпохальной бездной, которая вместе с Европой и всем ему негодным должна была поглотить главный предмет его ненависти — русскую революцию. Между тем как раз русская революция, то есть наша добровольная скромность и привычка к лишениям, оказалась эпохальной бездной, поглотившей его войну.

Мосты в городе взорваны. Случайно уцелела земляная насыпь заводской плотины, на которой мы стоим. Теперь это единственная переправа.

Прямо перед нашими глазами на одной из улиц, ведущих к берегу, проходят заботы и тревоженья приозерных жителей. Одни ищут фельдшера для раненых, другие ташат куда-то столы, койки и пустые кадучки, третьи давно что-то обсуждают посреди дороги. Их немного, и их голоса беспрепятственно разносятся по пустому городу, как по недостроенному дому или брошенной на зиму усадьбе.

Слева — вдалеке уходящая территория машиностроительного завода. Его взрывали трижды. Один раз мы, эвакуировав оборудование, и два раза при нашем приближении — немцы.

Там, где прежде были турбины и откуда время от времени доносится плеск и капанье воды, разрушенные цеха заросли густым и сочным лозняком. Остальное глушит белена и пыльный, выше человека разросшийся репейник. Вавилоны погнутых ферм и лабиринты полопавшихся пролетов, на которые, вплоть до самого дальнего, загляделось как прищурившееся осеннее солнце.

Посреди завода братская могила. Если верить надписи, в ней заботами населянья с ведома противника погребены убитые красноармейцы. Но вот к нам подходят. Разбившись по двое — по трое, мы вступаем в разговоры.

И прежде всего мы узнаем правду о могиле посреди завода. Нам рассказывают о старом желчном скопидоме, утвержденном немцами городским головой, и о молодом типографском работнике, ко времени прихода немцев сидевшем за кражу и из тюрьмы попавшем в помощники бургомистра. Когда в начале января 1942 года в течение нашего первого наступления мы ненадолго вернули город и потом его оставили, 143 человека были расстреляны по распоряжению градоправителя на дворе завода. Они-то и похоронены в братской могиле. Обыкновенно же казненных не зарывали, — рассказывают нам. Их приканчивали на берегу

(нам показывают это место) так, чтобы тела падали с мыса в озеро, а зимою в прорубь.

Мои товарищи разговаривают с женой партизана Вострухина, Марьей Кузьминичной. Долго, играя с огнем, она поддерживала связь с мужем. На нее донесли и после полицейской отсидки приказали найти и указать его след. Она разыграла смертельно опасную комедию его притворных розысков, обойдя ближние леса под немецким конвоем. Но теперь она действительно не знает, где ее муж и жив ли он, и спрашивает Иванова и Фебина, где разместится райком, чтобы об этом справиться.

Другая группа окружает местного железнодорожного машиниста и его семью. На вчерашнем вынужденном отходе они потеряли друг друга и лишь несколько минут тому назад нашли. Сцены неизвестности друг о друге и нечаянных встреч совершаются на наших глазах. Но, разумеется, это исключенья, и в трагедии семейных гибелей, пропав и разминок — ничем не искупимы и к небу вопиют неисчислимы страданья потерявшихся детей.

Я беседую с Риммой, славною девушкой со светлыми начесанными на лоб волосами. С ее лица не сходит та рассеянная и немного возбужденная улыбка, которую ленивые военные корреспонденты, не привыкшие ни над чем задумываться, кроме гонорара, называют улыбкой радости. Между тем в этой улыбке целое историческое таинство. Это улыбка усталости, раздвигающей скулы и челюсти смертельно перемучившего человека в момент облегченья, ни о чем не думающая и ничего не спрашивающая улыбка поколенья, связывающая нас и собеседниц почти телесным блаженством одного языка и понимания. Римма хочет в армию и спрашивает о формальностях приема.

Как просятся девушки в армию? В ряде случаев это одинокие, у которых близкие умерли, убиты или пропали без вести. Сердце их ищет утешенья, а руки — дела. Армия для них семья, чистый угол и кусок хлеба, главное же — источник покоя, полный желанной человеку жертвенности.

Нас с Риммой все время прерывают. Подходит дряхлый обыватель с палочкой, в сапогах и тройке, с бороденкой, каких у нас уже не носят, и, что-то шамкая, трясушимися руками вынимает бумажник. Подходит насмешливого вида любопытный с такою же бородкой и сопровождает пояснениями глухое бормотанье первого. Нам показывают открытку, полученную им от племянника с его работы из Германии. Я вижу новую немецкую почтовую марку с профилем Гитлера. Племянник пишет, что живет хорошо, только не дают спать клопы и мухи, и жаль, не захватил с собой деревянного изделия по мерке (гроба).

Нам с Риммой все время мешают, и потому наши разговоры вертятся вокруг пустяков. Как зарабатывали при немцах, чем жили? Были ли товары в лавках? «Только советские», — отвечает Римма, — и то остатки, вначале, а больше ничего». На бывшем дизельном заводе изготовляли сковороды, а при заводской конторе, обращенной в покойницкую, гробы для офицерского кладбища. Главною работой было рытье окопов, возка леса, настилка накатов в блиндажах и боковая маскировка дорог. За дневную выработку давали двести пятьдесят граммов хлеба и горсточку пшена. Всех держали в страхе, унижали слабых, в особенности же издевались над собственными штрафными. Римма торопливо рассказывает об этом и вдруг обрывает. Мимо проходят несколько человек, в их числе незнакомый майор. «Его надо остановить», — говорит Римма, — этот военный знает, где муж Вострухиной, а ей это неизвестно, они незнакомы». «Так остановите», — говорю я. «Я робею», — отвечает Римма. Я окликаю майора. Римма подбегает к нему. Вскоре оба подзывают Вострухину.

Она возвращается сияющая к Федину и Иванову. «Муж жив,— говорит она.— Получил два ордена».

Все время из горящего дома на озерной набережной доносятся звуки «Чижика». Говорят, там брэнчит на пианино мальчик, оставшийся без отца и матери. Его здесь знают. Тут же я слышу, как наши военные стовариваются взять его с собою. Близится вечер. Мы решаем ехать к себе на стоянку, попутно объехав город. Римма садится к нам в машину в качестве попутчицы.

Пожар разгорается. Высшее педагогическое училище в городе объято морем пламени. Мы подъезжаем к зданию другой школы. Ввиду гигиенических преимуществ оно было занято немцами под баню, при которой имелись пивная и колбасная. Вот где вволю разгулялось художественное воображение нашего меченосца.

По стенному фризу, подобно порхающим амурам, пущены круглорожие малые с ножами верхом на свиньях. Под ними соответствующая самодеятельность в легких двустульях. Как гармонирует эта идиллия с заглядывающим из-за двери кровавым заревом и осторожно спускающейся на минированную землю ночью!

Мы подъезжаем к вытянувшемуся в длину тесовому домику с двумя крылечками и садом, где мы стоим. Я прошу, чтобы Римму угостили обедом в офицерской столовой, но мою просьбу исполняют только вполнину, потому что кухня только что подошла и ничего не готово. Мы с ней прощаемся и, стараясь не стучать сапогами, поодиночке проходим на нашу походную квартиру.

Ее нынешние хозяева, приятели прежних, подчинившихся распоряженью о выезде, ходят по неубранным комнатам, загроможденным сдвинутой в беспорядке мебелью, копают днем картошку, и рубят капусту, и продолжают принимать знакомых, которые сбежали с полпути от неприятеля или возвращаются из лесных укрытий со страшными рассказами об утренней бомбежке на большой дороге.

Почти впотьмах мы отправляемся ужинать в столовую Военного совета. У входа, между березовыми балясинками цветника, излюбленной ограды немцев, две дамы в серых боа и шляпках, как на работах Серова, спрашивают, где состоится торжественный митинг по случаю освобождения города, о котором мы еще не слыхали.

1943.

*Спешные строки*¹

Чувствовалась близость фронта.
Разговор катюш
Заносило с горизонта
В тыловую глушь.

И когда гряда позиций
Отошла к Орлу,
Все задвигалось в столице
И ее тылу.

¹ В самом начале сентября 1941 года Пастернак писал жене в Чистополь: «Я делаю все, что делают другие, и ни от чего не отказываюсь, вошел в пожарную оборону, принимаю участие в обученье строю и стрельбе...» Еще через три дня: «Вчера у меня счастливый день. Утром я стрелял лучше всех в роте (все заряды в цель) и получил отлично».

Помню в поездах мороку,
Толчею подвод,
Осень отводил к востоку
Сорок первый год.

Помнится искус бомбежек,
Хриплый вой сирен,
Щеткою торчавший ежик
Улиц, крыш и стен.

Тротуар под небоскребом
В страшной глубине
Мертвым островом за гробом
Представлялся мне.

И когда от бомбы в небо
Кинуло труху,
Я и Анатолий Глебов
Были наверху.

Чем я вознесен сегодня
До семи небес,
Точно вновь из преисподней
Я на крышу влез?

Я сейчас спущусь к жилицам,
Объявлю отбой,
Проведу рукой по лицам,
Пьяный и слепой.

Я скажу: — Долой суровость!
Белую на стол!
Сногшибательная новость:
Возвращен Орел.

Я великолепно помню
День, когда он сдан.
Было жарко, словно в домне,
И с утра — туман.

И с утра пошло катиться,
Побежало вширь:
Отдан город, город-птица,
Город-богатырь.

Но тревога миновала.
Он освобожден.
Поднимайтесь из подвала,
Выходите вон!

Слава павшим. Слава строем
Проходящим вслед.
Слава вечная героям
И творцам побед!

Поездка в армию

1

С недавнего времени нами все больше завладевают ход и логика нашей чудесной победы. С каждым днем все яснее ее всеобъединяющая красота и сила.

Победил весь народ сверху донизу, от маршала Сталина до рядовых тружеников и простых бойцов (на войне это — главные герои), — победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразье.

Победили все, и в эти самые дни на наших глазах открывают новую, высшую эру нашего исторического существования.

Дух широты и всеобщности начинает проникать деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях.

2

Бригадой, числившей несколько литературных имен¹, мы ездили в части, бравшие Орел в дни, теперь уже далекие, когда Брянск и Смоленск еще не были нашими, но уже чувствовалось, что они ими будут. Жизнерадостно до легкомыслия покатали мы утром на грузовой машине, развивая бешеную скорость, и пестрое Подмосковье вихрем замелькало навстречу. Техническое совершенство машины и наши бумаги давали нам право стрелю уноситься от прочего движения, но в минуты задержек соотношение уравнивалось, и отставшие обгоняли нас, и был такой плотный военный, к нижней губе которого прилип и трепетал на ветру обрывок папиросной бумаги. Он по несколько раз обгонял нас на открытом «виллисе» и снова оставался позади, и время шло, менялись края и виды, а бумажка на губе все держалась.

Мы пообедали в Туле, где сохранились уличные баррикады, свидетельства позапрошлогодней гражданской обороны, и где нам скучно и ординарно о ней рассказывали в обкоме, пока не пришел ее герой и устроитель т. Жаворонков, изобразивший ее в живых и свободных красках. Мы поехали дальше. Мелькнули бурые угли Шекина. Садилось солнце, когда по закатному небу прочертился непомерный костяк Косогорского индустриального гиганта. Дальше пошли достопримечательности. Места особо прогремевшей стойкости, памятники страданий. Вечерело. С главной дороги мы свернули на боковую и, сделав километров пятнадцать, остановились.

По всем видимостям, мы были в каком-то селении. Царила тишина, как на необитаемом острове. Нечто другое, чем обычные недосказанности теплой августовской ночи, окружало нас. Совершенно так, как могла бы стоять настоящая каменная стена, отвесно возвышалось перед нами небо ночи. Семь звезд Большой Медведицы свободно размещались в

¹ В поллитотделе Третьей армии, которой командовал генерал-лейтенант А. В. Горбатов, возникла идея о создании книги, посвященной битве за Орел. Эту мысль поддержал начальник военно-исторического отдела Генерального штаба генерал-майор Н. А. Таленский. Для подготовки книги было решено обратиться к писателям. 28 августа 1943 года бригаде писателей, в которую входили А. С. Серафимович, К. А. Федин, Б. Л. Пастернак, В. В. Иванов, вдова Н. Островского — Р. П. Островская и другие, выехала на фронт.

Писатели участвовали в митингах, беседовали с солдатами и офицерами. Так, Б. Л. Пастернак вместе с А. С. Серафимовичем и Р. П. Островской участвовал в митинге, посвященном книге «Как закалялась сталь» и армейцам-кочагинцам. В другой раз Пастернак читал солдатам стихи из книги «На ранних поездках».

кривом проломе какого-то сада или строения. Нас обступали тени каких-то разрушений, непонятных в потемках. Это были развалины Черни, районного города области, начало нашего последующего шествия по некопчаемой дороге пустырей и пожарищ, первое преддверие того, что язык вражеских приказов называет так всеизвиняюще просто зоною пустыни.

Вдруг пустыня оживилась. Где-то постучали в оконце. Тишина наполнилась шагами. Две-три женских тени, шагнув из-за угла, ушли за поворот. Последовали распоряжения. Мы двинулись за бригадирами.

Через полчаса мы сидели в гостеприимном кругу секретарши чернского райкома А. А. Кукушкиной и ее молодых помощниц. Деревянный верх маленького, чудом уцелевшего дома был жарко освещен керосиновой «молнией». Наши хозяйки, деятельницы комсомола и городских учреждений, то отрываясь от общей беседы, то к ней возвращаясь, разносили по очереди чай и, минутой отлучаясь на кухню, жарили яичницу. Они были в светлых блузах, стянутых кушаками, прямых юбках и гладких круглых прическах. Их развитие и непринужденность вызывали в памяти что-то близкое, давно и лично пережитое. Девушки напоминали лучшую университетскую молодежь прошлого, курсисток девятьсот пятого года.

Разговор вращался вокруг двух тем: души времени и особенностей места. Душой времени была война. Девушки рассказывали, как они уходили из Черни, когда ее стали окружать немцы, и какой это требовало смелости и изворотливости, потому что немцы подступали с нескольких сторон и все деревни кругом были заняты. Главная опасность заключалась в их партийности, но население их покрывало. Все ушли, кроме двух подруг. Это были такие девушки, — продолжают рассказчицы, — что, бывало, кто на них посмотрит, так сейчас же и полюбит, и нельзя было подумать, чтобы их кто-нибудь тронул; их и правда долго не трогали, не знали, как велико их влияние и что они поддерживают связь с советской стороной. Но вот однажды мирволивший им немец пришел пьяный и сказал, что он много им прощал, а этого не спустит, и велел снять со стены Ленина и Сталина. Подруги уперлись, тогда он выхватил револьвер, выстрелил в портреты и застрелил девушек.

Умная и энергичная А. А. Кукушкина одновременно и принимает нас на правах хозяйки, и распоряжается ужином, и заботится о нашем ночлеге, и с живою искоркой дает направление беседе. От нее мы узнаем не только тяжелые подробности немецкого пленения Черни, Орла и Мценска, но и любопытные черты из драгоценной истории края.

Читатель помнит: это места биографии Жуковского, Дельвига, Толстого, Тургенева, Фета, Лескова и Бунина. Неожиданно я начинаю понимать, отчего такой естественностью дышат слова наших собеседников и их манеры. Мы у первоисточника наших лучших национальных сокровищ. В этих уездах сложился говор, сформировавший наш литературный язык, о котором сказал свои знаменитые слова Тургенев. Нигде дух русской неподдельности — высшее, что у нас есть, — не сказался так исчерпывающе и вольно. Наши знакомые — уроженки этих гнезд. На них налет высшей русской одаренности. Они кость от кости и плоть от плоти Лизы Калитиной и Наташи Ростово́й.

Когда мы утром встаем с сеновала, мы видим вчерашнее общество еще ярче при солнечном свете. Перед нами обломки города, который, наверное, живописно располагался по холмам и утопал в садах, а теперь своими руинами хищно и мстительно напоминает какой-то дагестанский аул времен Шамиля. Следом за своей вдохновительницей по его развалинам выводком ходят питомцы революции и ее блюстительницы, наво-

дя до последней мелочи порядок в разоренном районе, и совершают дела величайшей государственной важности так же прирожденно расторопно, как нагнулась бы их бабка за сбитым яблоком в траву или пошла бы шупать кур на птичий двор.

3

В отличие от удобств вчерашней гудронной дороги мы сегодня тарактим по грунтовой. Вдобавок она не везде разминирована и местами взорвана. Мы все чаще объезжаем стороной ее мосты и переправы. Подскакивая на выбоинах, едем мы по настилу жердянок, по разнообразной раскраске ее проходя курс местного почвоведения. Сейчас это посеревший от сухости, сизый, как уголь, чернозем. Он начался с горемычного Мценска с его домами, завалившимися со скалистого берега в илистую Зушу, точно город несли на руках, поскользнулись и грохнули в воду. Все ближе война и армия. По-настоящему это начинает чувствоваться отсюда. Все чаще поля по сторонам обтянуты колючей проволокой с предупреждениями на дощечках. Завтра по краям таких дорог гуськом потянутся саперы со шупами, сегодня это—колонны пополнения, шуплая и безусая молодежь, почерневшая от пыли и утомления. Первые подбитые танки где-нибудь среди гряд с капустой, первые обгорелые остатки уничтоженных самолетов. И вот, задолго к этому подготовленные вышедшей из лесу панорамой, мы въезжаем в Орел.

Не сразу понятно, что мы пересекаем территорию вокзала. Точно тут треснула действительность и лопнул воздух, всюду, куда хватает глаз, куски покалеченной и разлетевшейся материи. Без конца торчащие пустые фермы дебаркадера. Мы едем по распавшимся обрубкам четвертованных рельс, точно тут рубили змей или топтали сороконожек. Вывихнутые плечи и пролеты взорванного моста, который мы объезжаем по свеженаведенному плашкоуту, и мы в городе.

Жаль, что мы ни разу в нем не бывали раньше. Его не раз описали Тургенев, Лесков и Бунин. Он, наверное, был необычайно красив, как позволяют думать его камни, и производил впечатление большого европейского города, судя по его планировке. Сюда приезжал бушевать по поводу своих неудач Гитлер, здесь сместил главу своих танковых армий Шмидта, здесь заменил его генералом Моделем.

Орла больше нет. Как про Оку, на которой он стоял, про него можно сказать, что он стоит на химических минах замедленного действия. Он стоит на них и продолжает рваться и падать на наших глазах. Мы это видим из неполотого и заросшего цветника, куда заехали к командиру здешнего запасного стрелкового полка на короткий роздых.

Противоестественность зрелища так велика, что отраженным образом ее все время приписываешь освещению. Безоблачный полдень. Сухой цветет мальва. Все засижено мухами. За колючей изгородью тюрьмы через дорогу производит расследование массовых расстрелов и пыток немецкой комендатуры выездная комиссия из Москвы. Где-то вертится и гнусавит патефон, и, озаренные черным креповым светом с замогильного неба, целыми улицами лежат обмякшие здания с развинченными каменными конечностями, хватаясь за соседей; где-то с треском взлетают на воздух отдельные кирпичные одиночки, и сползают и падают целые расслабленные кварталы по краям большого парка, где стоит скромная и славная могила командира 408-й стрелковой дивизии, героя Сталинграда и Орла генерала Гуртьева.

Во второй половине дня мы выбираемся из конвульсивного собрания судорожных орловских обломков. Но мы потеряли дорогу и долго, по несколько раз возвращаемся к одному и тому же дому, распотрошен-

ному во всю глубину и вместительному, как некое поселение. Это целая многоэтажная драма с лестницами трех родов, черными, парадными и пожарными, длинными переходами вовнутрь и множеством сцен и явлений. Мы запечатлеваем на всю жизнь узор его обоев и, подкатив к нему в третий раз, неожиданно находим дорогу и мчимся дальше.

Но что сказать о Карачеве, который мы проезжаем к вечеру, если так много слов уже сказано об Орле. Мы думали, конца не будет бывшему городу купеческих невест и мукомолов. Чудовищно представление о целом, когда оно дано в разложении на мельчайшие частицы. Одно дело сказать: пятьсот каменных домов и две с половиной тысячи деревянных. Вы представляете себе провинциальный городок, притом весьма небольшой. Другое дело, когда вам покажут три тысячи огромных бесформенных куч щебенных и щепаемых. У вас закружится голова, а глаз обессилеет, взмолятся о милости и разрыдается от жалости и обиды.

4

В глубокие сумерки мы приезжаем в Песочню. Деревенская улица загромождена народом и транспортом. Ни одного штатского, одни военные, грузовики и повозки под всеми углами поперек дороги. Это штаб армии, куда мы направлялись, цель нашей поездки. Завтра или, если позволят обстоятельства, сегодня ночью мы познакомимся с командованием, с легкой руки которого мы стали побеждать в такой планомерной прогрессии. А пока пойти выкупаться, смыть дорожную пыль и грязь, хотя уже тьма, хоть глаз выколи. «Там могут быть мины, — говорят нам, — там во всяком случае дно в рваном железе, нырнете и напоретесь». Отправившись на реку, мы ныряем в холодную, плотным туманом текущую мимо неизвестность...

5

Так вот они, наше счастливое военное предопределение, творцы орловской победы и косвенные пособники последующих! Мы в просторной избе на приеме у знакомящихся с нами членов Военного совета. Перед нами приветливый и молодой командующий, гвардии генерал-лейтенант Александр Васильевич Горбатов, друг и сподвижник покойного Гуртьева. Ум и задушевность избавляют его от малейшей тени какой бы то ни было рисовки. Он говорит тихим голосом, медленно и немногосложно. Повелительность исходит не от тона его слов, а от их основательности. Это лучшая, но и труднейшая форма начальствования. Рядом с ним глубокомысленный и дальновидный генерал Кононов и образованный и блестящий генерал Сабенников. Еще ранее, минувшей ночью, мы познакомились с генералом Ивашекиным, находчивым и решительным стратегом в минуты опасности и осложнений и добродушным собеседником на отдыхе и за столом. Он и генерал Терпиловский отсутствуют. За их незанятыми местами в окошко виден конец растянувшейся в длину деревни. Серенький непогожий денек. По деревне с автоматами, минометами и противотанковыми ружьями бесконечной цепью проходит с утра пехота. Командиры рот и полков объезжают на лошадях свои части и скрываются с ними за поворотом дороги. Это армия на марше. После июльского рывка мы безостановочно продвигаемся частыми и быстрыми переходами на запад.

Мы выходим на улицу. От проходящей мимо колонны отделяется и подъезжает на лошади к нашей группе военный. Наклонившись к седлу, он разговаривает с нашим бригадиром и, приставившись, нагоняет

свою часть. Бригадир говорит мне, что это интереснейший человек, москвич, химик, пошедший капитаном запаса на войну и теперь командующий полком. Мне запоминается лицо капитана Д. По ложным основаниям мне кажется, что оно похоже на одно из многих, виденных вчера и позавчера на дороге, может быть, на военного с бумажкой на губе. Я тут же сам ощущаю ошибочность этого сближения и тут же осознаю, что это ошибка не случайная, и мне хотя бы ценой оплошности надо удержать образ капитана для чего-то, что когда-нибудь выяснится. Через два дня я узнал, что капитан погиб, подорвавшись на mine.

6

Предположено, что мы будем писать книгу об орловской операции. После того, как мы знакомимся с ее ходом в самых общих чертах со слов ее вдохновителей, мы разъезжаемся по отдельным полкам и дивизиям к ее непосредственным участникам.

Мы все время в движении, развозим товарищей к нашей цели. Мы заезжаем в 267-ю дивизию. Она стоит в редком смешанном лесу, и облетелый лист попеременно с рваными бумажками придает стоянке вид предотъездного беспорядка. Дивизия действительно в дорожных сборах. Всюду что-то запикивают и увязывают и с минуты на минуту должны сняться с привала.

380-я располагается в перелесках с полянами. На одной из них мы наезжаем на командира дивизии, полковника Кустова, части которого наряду с 129-й первыми ворвались в Орел на рассвете 5 августа, а еще раньше, утром 12 июля, вместе с 308-й дивизией начали знаменитое наступление, которое привело к прорыву немецкой обороны.

Хотя дивизия тоже готова к маршу, у полковника все так слажено, что его не заботят мелочи передвижения. Изящный и насмешливый, он намеренно изображает из себя верх светской беспечности. Поздоровавшись с нами среди леса, он продолжает, как до нас, перебрасываться шутивными замечаниями с летчиком, прикомандированным к нему из соседней части для согласования действий. Оба куда-то всматриваются и ждут, по-видимому, машины. Кустову подводят красивую трофейную лошадь. Он легко на нее взвизгивает и, попорхав на ней по всем правилам высшей манежной выездки, возвращается и сдает ее вестовому. В это время подъезжает машина. Он картинно раскланивается и, сказав, что торопится, с извинениями уезжает. В его красивом орлином профиле есть что-то от героев 12-го года, тучковское, багратионовское. Китель безупречно его облегает. Он выражается изысканно и витиевато. «Изволю торопиться», — говорит он о самом себе. Солдаты его обожают.

7

Десять дней мы только и знаем, что носимся по дорогам Орловского и Калужского края. Фронт по всей линии перемещается на северо-запад.

В продолжение трех дней я разыскиваю 308-ю Гуртьевскую дивизию, а она все уходит, и мне ее не догнать. О ней же спрашивают попадающиеся встречные отряды пополнения и офицеры связи. Дивизии не найти. Поиски заносят меня в Жиздру, Щигры и в Брынью у Сухиничей. Трижды пересекаю я границу между территорией, освобожденной в нынешнюю летнюю кампанию и в прошлогоднюю. Разница непередаваема. К югу — несчетные километры выжженных каракум без малейших признаков жизни. На север — смеющиеся зеленые горизонты с

оранжевыми крапинками каменных сел и усадеб среди темно-оливковых и бело-сизых картофельных и капустных пространств. Убедившись, что дивизия неуловима, я решаю возвратиться в 342-ю, участвовавшую во взятии Миенска.

8

Однажды среди таких разъездов наши машины остановились в селе Белый Колодезь. Счастье села заключалось в том, что оно было не совершенно стерто с лица земли, и когда уходили немцы, хлеб еще только колосился, и они не успели потравить его и сжечь. Его необмолоченные скирды возвышались среди села на общественном току за прудом.

Через дорогу от пригорка, у которого мы остановились, несколько баб копошились у входов в подземное убежище, и играли дети на местах сгоревших изб и у печных устьев. Мы к ним подошли. Бабы были в белых зипунах с красной оторочкой поверх черных клетчатых панев, в лаптях с онучами и платках, стянутых по-старинному узлами на затылок. Спокойно и без ложного пафоса рассказали они судьбу своего села, общую со многими тысячами подобных и ранее описанных. Мы узнали, что перед уходом немцы приказали жителям собраться со скотом и пожитками во временное переселение на запад, впредь до их возвращения. Большинство угнали, и лишь немногим удалось спрятаться в лесу. Зажимая детишкам рты и заматывая морды коровам, чтобы не мычали, они отсиживались в чаше, а ночами смотрели с опушки, как жгут их дома и рвут школу, колодцы, мельницу и каменные амбары.

Кругом, вымазавшись углем головешек, играли в золе и пепле дети, и оскорбительно было соседство садовой мебели из березовых веток, излюбленного украшения немецких уголков для отдыха, и изящных полуведерных жестянок из-под консервированной кислой капусты из Эслингена-на-Неккаре.

9

Вечерний костер в вековом высокоствольном дубовом лесу. Лес так густ, что, несмотря на наступающую ночь и требование светомаскировки, костра не тушат. У кухонь собирают ужин бойцам и командирам. Накрапывает дождь.

По эту сторону костра — я и девушка-боец В. Ф. на плохо утвержденной лавке, которая того и гляди опрокинется; по ту — вдова писателя Р. П. Островская и майор К. Костер мечется по ветру и, когда в него подкладывают сучья, забрасывает нечеловеческие тени на озаряющийся в высоте над нами лиственный навес.

Я прошу В. Ф. рассказать, как ей жилось в Калуге при немцах. В то же время я краем уха прислушиваюсь к громкому разговору по ту сторону костра. В. Ф. тихо удовлетворяет мою просьбу. В ее голосе печаль и злора на немцев, а также досада на меня за мою невнимательность, и на майора, мешающего ей рассказывать, и на костер, собравший вокруг себя столько отвлеченностей и противоречий. Обстоятельства разговора по ту сторону костра следующие.

Когда после Миенска наши части освободили тургеневское имение Спас-Лутовиново, комсомольцы отличившихся частей устроили в разрушенном заповеднике торжественное собрание. Естественно посвященное памяти Тургенева и нашей литературе, оно каким-то образом связалось с именем Николая Островского, автором книги «Как закалялась сталь». Собравшиеся дали клятву следовать примеру комсомольского писателя и драться с немцами так, как дрался его герой Павел Корчагин.

Они оправдали эту клятву в ближайших сражениях. За ними утвердилась кличка корчагинцев. Комсомольцев того объединения было много

во всей 342-й дивизии, особенно в 1150-м полку, митинг которого мы на другой день посетили.

Извещенная об этом движении, Островская приехала за материалами о нем. Соответствующие сведения сообщал ей отрывистый и уверенный в себе майор с правильными чертами лица, может быть, сам еще комсомолец и корчагинец.

А по эту сторону пламени девушка-боец, сама заслушиваясь майора, с машинальной и рассеянной грустью рассказывала мне свои мытарства. И я мысленно видел.

Лютая пятидесятиградусная зима. Дров не напасишь, и в Калуге разбирают заборы и дома на топливо. Густой иней на окнах темнит комнаты. Люди без голов, деревья без вершин, здания без крыш, черные дни.

«Я на вас докажу, вы передо мной хоть по полу катайтесь, хоть валяйтесь в ногах. Теперь моя воля, возьму и докажу, — говорит молодая и незлая их соседка-беспутница — и дни и ночи гуляет с немцами. — Вот ты мне сак отдала и ботинки, я с тебя последнюю рубашку сниму, а вспомню я вашего Ленина, тут такое со мной делается, я с собой владеть не могу, и я над тобой натешусь».

И она раздевает их до нитки, а кругом списки, улики и обыски, иней, туман, черные дни. И девушка-комсомолка скрывается из дому и узнает, что взяли сестру и мать. «А как тогда вешали. На проволоке. Ей-богу, правда. На проволочной петле. Но моих, если правду говорят, не мучили, расстреляли».

Но все это было с полбеды. А потом наехали эти, с нашитыми черепами, карательные отряды. И опять холода наступили, лютующие холода. Привезли в собор немцы колокол, повесили, теперь, говорят, будет служба по-церковному, говорят, лютеранский брак. И девушки наши за них шли, ну, конечно, самый сброд и дурочки. Тоже доказчица, которая маму и сестру извела. Мороз, а они в подвенечном на паперти, белые кружева, рожки красные, нахальные, хохочут. А с ними их кобеля в высоких сапогах с нагайками, кости крест-накрест, нашитые черепа. А как вы стали подходить, эти бабы ревмя: «Что вы теперь с нами сделали?» А те: «Да помилуйте, чтобы мы законных, да что вы!» — И ржут по-своему. Тут они опять немножко покуражились. Счастливо оставаться! Едем на самолетах в Берлин!

Потом их всех за рошей подобрали, узнали по платьям. Их с летящих самолетов посбрасывали за городом.

Вот обрывки каких картин проплывают по эту сторону костра. А по ту — препирательства и отнекивания. Майору дела храбрости кажутся долгом чести и простой азбукой. Что тут рассказывать. Но вот отдельные случаи, когда немногие примером своей неустрашимости увлекли всех и этим решали исход боя. Часто почин этот исходил от корчагинцев. Я не слышу всех рассказов майора. Лишь отдельные слова долетают до меня. Орловская операция в ее боевой последовательности проходит передо мною. Я заслушиваюсь.

Она мне представляется звено за звеном в своей нравственной логике и справедливом ходе. Я стараюсь вспомнить, как в последний раз (потому что когда-нибудь эта безнаказанность ведь должна была кончиться) поднялись немцы пятого июля в свое бешеное наступление с двух хитроумных пунктов, чтобы перерезать с севера и с юга наш Курский выступ. Как семь дней подряд бились, бились они с очень слабой наградой за свою похвальную осатанелость. В течение первого дня

ими было выпущено больше снарядов, чем за всю польскую кампанию, а за три первых дня — столько же, сколько за весь поход во Францию. Мы отвечали им артиллерийским огнем еще более густым, примерно из двух тысяч стволов с двух километров фронта, и к концу первой недели все их продвижение было сброшено со счетов. Они вернулись в исходную позицию. С двух хитроумных пунктов, с севера и с юга, мы стали срезать их Орловский выступ. Все перевернулось, названия, роли, соотношение сил. Немецкое наступление стало называться обороной с безотчетным предчувствием отступления, в которое ему суждено было превратиться. В математике и логике такие вещи называются выводом и следствием, в мире нравственном — воздаянием.

Двенадцатого утром Кустов и Гуртьев с 308-й и 380-й дивизиями прорвали немецкую оборону, и четырехкилометровый прорыв к вечеру расширился в полтора раза. Дальше все пошло так, как это полагалось из верховного стратегического предвидения и талантов отдельных начальников. Не раз и не два дело спасали твердость характера и быстро-сообразения.

Сперва в развитии прорыва армии двигались к Орлу с востока и к двадцатым числам вышли к Оке. Противник не допустил попытки форсировать ее в этом месте. В ожесточенных налетах с 21-го по 23-е его авиация день и ночь висела над переправой. К этому времени 342-я дивизия, преследовавшая неприятеля от взятого накануне Мценска, захватила плацдарм у Багатищева и Нарыкова. Это открывало возможность продвижения на Орел с северо-востока. 25-го на соединение с 342-й дивизией сюда была двинута часть остальной армии. Однако противник разгадал план обхода. Подтянув 2-ю и 8-ю танковую и 26-ю мотодивизию сверх бывшей тут 56-й пехотной дивизии, он сосредоточил на этом фланге большие силы в ущерб своему фронту, который он частично оголил. Тогда генерал-лейтенант Горбатов снова решил брать Орел лобовым ударом с востока. Заручившись уверенностью, что свою стремительную и сложную перегруппировку он совершит раньше, чем о ней догадается неприятель, он стянул 380-ю и 308-ю дивизии, стоявшие в обороне на широком фронте, перебросил к ней с направления главного удара 17-ю танковую бригаду, и 5 августа на рассвете знаменосец из Кустовской дивизии Аджаров водрузил над освобожденным городом красное знамя.

II

Нельзя быть злодеем другим, не будучи и для себя негодяем. Подлость универсальна. Нарушитель любви к ближнему первым из людей предает самого себя.

Сколько заслуженной злости излито по адресу нынешней Германии! Между тем глубина ее падения больше, чем можно обнаружить справедливого негодования.

В гитлеризме поразительна утеря Германией политической первичности. Ее достоинство принесено в жертву производной роли. Стране навязано значение реакционной сноски к русской истории. Если революционная Россия нуждалась в кривом зеркале, которое исказило бы ее черты гримасой ненависти и непонимания, то вот оно: Германия пошла на его изготовление. Это задача посторонняя, окраинная, остзейская, и ее провинциализм тем отчетливее, что ему присвоены всемирные масштабы.

Весь девятнадцатый век, в особенности к его концу, Россия быстро и успешно двигала вперед свое просвещение. Дух широты и всечеловечности питал ее понимание. Начало гениальности, подготавливавшее нашу революцию как явление нравственно-национальное (о политической

подготовке ее мы не смели судить — это не наша специальность), было поровну разлито кругом и проникало собой атмосферу исторического кануна. Этот дух особенно сказался во Льве Толстом, русскими средствами выразившем природу гения и его предвзятость, подобно тому, как на заре английской самобытности такое же начало, общее двадцати предшественникам, впитал и воплотил в себе Шекспир. Но что такое гений?

Гений есть кровно осязаемое право мерить все на свете по-своему, чувство короткости со вселенной, счастье фамильной близости с историей и доступности всего живого. Гений первичен и ненавязчив. Те же черты новизны и оригинальности сложили нашу революцию.

И всегда рядом с неряшливою щедростью самородка следует что-нибудь завистливо рядовое и посредственное. Дела и поступки счастливого соперника кажутся ему чудачеством и безумием. Невежда начинает с поучения и кончает кровью.

Такая-то таблица умножения подъехала к нам на громыхающем «тигре» и самоходной пушке «фердинанд», и во мгновение ока она должна была показать, как все эти фразеры Рудины с их завиральным прекраснодушием провалятся во здравие трезвой немецкой практики и доброй кружки пива, и, о ужас, дважды два само провалилось, а широта одухотворения осталась и переживет и это страдание, и многие другие.

12

Мы входили в Людиново, освобожденное накануне. Еще издали, приближаясь к нему, мы наблюдали на горизонте густые столбы дыма, поднимавшиеся кверху. Отступая, немцы успели предать его разрушению. Теперь, в несколько налетов, они зажгли его с воздуха.

Когда мы к нему подъезжали, над нами плавными кругами заскользило несколько «юнкеров». Мы отвели машины с дороги и стали между деревьями. Так же поступили на военных грузовиках, прибывавших сзади. Несколько самолетов пошло в пике. Впереди и сзади на дороге грохнули взрывы.

Людиново пылало, когда мы в него въехали. Пожар только еще разгорался и полной силы достиг только к вечеру. Мы осмотрели развалины дизельного машиностроительного завода и офицерское кладбище у собора. Оно щетинилось лесом черных орденских крестов с белыми надписями, своей рябящей густотой напоминая иглы ежа или дикобраза. На другой день был назначен наш отъезд. На прощанье нам поручили написать обращение к армии. Мы написали:

«Бойцы третьей армии! В течение двух недель мы, несколько писателей, находились в ваших дивизиях и участвовали в ваших маршах. Мы проходили места, покрытые неувядаемой славой ваших подвигов, мы шли по следам жестокого и безжалостного врага. Нас встречало нечеловеческое зрелище разрушения, нескончаемые ряды взорванных и сожженных деревень. Население угонялось в неволю или, прячась в лесах, переживало бесчинства отступающего неприятеля и редкими кучками голяков и бездомных возвращалось на свои спаленные пепелища. Сердце сжималось при виде этого зрелища. Рождался вопрос: какие чудотворные силы поднимут на ноги эти области и вернут их к жизни?»

Товарищи бойцы третьей армии, силы эти в вас. Они в мужественности вашего сердца и меткости вашего оружия, в вашем заслуженном счастье и вашей верности долгу.

Как веками учил здравый смысл и повторял товарищ Сталин, дело правого должно рано или поздно взять верх. Это время пришло. Правда

восторжествовала. Еще рано говорить о бегстве врага, но ряды его дрогнули, и он уходит под ударами вашего победоносного оружия, под уяснившуюся очевидностью своего неотвратимого поражения, под давлением наших союзников, под непомерной тяжестью своей неслыханной исторической вины.

Тесните его без сожаления, и да пребудет с вами навеки ваша исконная удача и слава. Наши мысли и тревоги всегда с вами. Вы — наша гордость. Мы вами любимся».

1943.

Бессонница

Который час? Темно. Наверно, — третий.
 Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.
 Пастух в поселке шелкнет плетью на рассвете.
 Потянет холодом в окно,
 Которое во двор обращено.
 А я один.
 Неправда, ты
 Всей белизны своей сквозной волной
 Со мной.

1953.

Под открытым небом

Вытянись вся в длину,
 Во весь рост
 На полевом стану
 В обществе звезд.

Незыблем их порядок,
 Извечен ход времен,
 Да будет так же сладок
 И нерушим твой сон.

Мирами правит жалость,
 Любовью внушена
 Вселенной небывалость
 И жизни новизна.

У женщины в ладони,
 У девушки в горсти
 Рождений и агоний
 Начала и пути.

1953.

Нежность

Ослепляя блеском,
Вечерело в семь.
С улиц к занавескам
Подступала темь.

Люди — манекены,
Только страсть с тоской
Водит по вселенной
Шарящей рукой.

Сердце под ладонью
Дрожью выдает
Бегство и погоню,
Трепет и полет.

Чувству на свободе
Вольно налегке,
Точно рвет поводья
Лошадь в мундштуке.

1953.

* * *

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.

Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.

А на улице вьюга
Все смешала в олю,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.

В завыванье бурана
Потонули: тюрьма,
Экскаваторы, краны,
Новостройки, дома.

Ключья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.

И великой эпохи
След на каждом шагу:
В толчее. в суматохе.
В метках шин на снегу,

В ломке взглядов — симптомах
 Вековых перемен,
 В наших добрых знакомых,
 В кучах мачт и антенн,

На фасадах, в костюмах,
 В простоте без прикрас,
 В разговорах и думах,
 Умиляющих нас.

И в значенье двойком
 Жизни, бедной на взгляд,
 Но великой под знаком
 Понесенных утрат.

«Зимы», «зисы» и «татры»,
 Сдвинув полосы фар,
 Подъезжают к театру
 И спят тротуар.

Затерявшись в метели,
 Перекупщики мест
 Осаждают без цели
 Театральный подъезд.

Все идут вереницей,
 Как сквозь строй алебард,
 Торопясь протесниться
 На Марию Стюарт¹.

Молодежь по записке
 Добывает билет
 И великой артистке
 Шлет горячий привет.

За дверьми еще драка,
 А уж среди темноты
 Вырастают из мрака
 Декораций холсты.

Словно выбежав с танцев
 И покинув их круг,
 Королева шотландцев
 Появляется вдруг.

Все в ней жизнь, все свобода.
 И в груди колотье,
 И тюремные своды
 Не сломили ее.

Стрекозою такую
 Родила ее мать —
 Ранить сердце мужское,
 Женской лаской пленять.

¹ Стихотворение навеяно премьерой во МХАТе «Марии Стюарт» Шиллера в переводе Пастернака.

И за это, быть может,
Как огонь, горяча,
Дочка голову сложит
Под рукой палача.

В юбке пепельно-сизой
Села с краю за стол.
Рампа яркая снизу
Льет ей свет на подол.

Нипочем вертихвостке
Похождений угар,
И стихи, и подмости,
И Париж, и Ронсар.

К смерти приговоренной,
Что ей пища и кров,
Рвы, форты, бастионы,
Пламя рефлекторов?

Но конец героини
До скончанья времен
Будет славой отныне
И молвой окружен.

То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку
И артистку и роль.

Словно буйство премьерши
Через столько веков
Помогает умершей
Убежать из оков.

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,

Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено.

Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом.

И опять мы в метели,
А она все метет,
И в церковном приделе
Свет, и служба идет.

Где-то зимнее небо,
Проходные дворы
И окно ширпотреба
Под горой мишуры.

Где-то пир. Где-то пьянка.
Именинный кутеж.
Мехом вверх, наизнанку
Свален ворох одеж.

Двери с лестницы, в сени,
Смех и мнений обмен.
Три корзины сирени.
Ледяной цикламен.

По соседству в столовой
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры.

И хрустенье салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И всех водок сорта.

И под говор стоустый
Люстра топит в лучах
Плечи, спины, и бюсты.
И сережки в ушах.

И смертельной картечи
Эти линии рта,
Этих рук бессердечье,
Этих губ доброта.

.

И на эти-то дива
Глядя, как маниак,
Кто-то пьет молчаливо
До рассвета коньяк.

Уж над ним межеумки
Проливают слезу.
На шестнадцатой рюмке
Ни в одном он глазу.

За собою упрочив
Право зваться немым,
Он среди женщин находчив,
Среди мужчин — нелюдим.

В третий раз разведенец
И дожив до седин,
Жизнь своих современниц
Оправдал он один.

Дар подруг и товарок
Он пустил в оборот
И вернул им в подарок
Целый мир в свой черед.

Но для первой же юбки
Он порвет поводá,
И какие поступки
Совершит он тогда!

Средь гостей танцовщица
Помирает с тоски.
Он с ней рядом садится,
Это ведь двойники.

Эта тоже открыто
Может лечь на ура
Королевой без свиты
Под удар топора

И свою королеву
Он на лестничный ход
От печей перегрева
Освежиться ведет.

Хорошо хризантеме
Стыть на стуже в цвету.
Но назад уже время
В духоту, в тесноту.

С табаком в чайных чашках,
Весь в окурках буфет.
Стол в конфетных бумажках.
Наступает рассвет.

И своей балерине,
Перетянутой так,
Точно стан на пружине,
Он шнурует башмак.

Между ними особый
Распорядок с утра,
И теперь они оба
Точно брат и сестра.


Перед нею в гостиной
Не встает он с колен.
На дела их картины
Смотрят строго со стен.

Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?

Море им по колено,
И в безумье своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.

Цветы ночные утром спят,
Не прошибает их поливка,
Хоть выкати на них ушат.
В ушах у них два-три обрывка
Того, что тридцать раз подряд
Пел телефонный аппарат.
Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразья,
Творившего час назад.
Состав земли не знает грязи.
Все очищает аромат,
Который льет без всякой связи
Десяток роз в стеклянной вазе.
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

Август 1957 г.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

★

О РЕКАХ, ПОЧВАХ И ПРОЧЕМ

Октябрь 1964 года. Еду на лодке по Тихой Сосне. По той самой реке, которую в очерках «В камышах» назвал Тихой Ольхой. Такое изменение я сделал тогда только потому, что персонажи были или вымышлены полностью. или обобщены, отражали черты нескольких лиц. Не ведал я того, что вместо милых сердцу людей мне придется писать о губителях рек...

Итак, еду. Не радуется звук моторчика «чайка». Река уже не та. Прошло только два года, и уже она не та. В низовье уровень ее упал на два с лишним метра... Обнаженные корни деревьев и камыша... Как мертвые спруты, лежат корневища белых лилий... За селом Рыбное на обнаженных кручах налимьи норы зияют, как раны, а на отвесных берегах жуткие космы погибшей осоки и прибрежного камыша. Рыба ушла... Потом — так называемый прокоп для спрямления русла: глубокий фиорд с отвесными стенами, на верху которых гигантские брустверы. Здесь воды на полметра, а тины — больше. Рыбы — тоже никакой... В прокопе у Байдака гудит бурун — это уничтожена естественная вековая плотина, устроенная самой природой. Тут нанесена реке смертельная рана... Кто это сделал? Зачем?

Со мной два моих друга — Владимир Антонович Семенов и Василий Михайлович Цымбалист: первый — токарь, второй — рабочий консервного завода. Едем в Дальнее (мое «Далекое»!). Что-то теперь там?

И вот мы в Дальнем, у Кладовской протоки. В прошлом году мы въезжали в протоку из реки, как и много лет назад, теперь же здесь бьет ручей-водопадик с высоты двух с половиной метров... Мои друзья еще раньше устроили наверху вóрот, при помощи которого мы подняли челноки, поставили их в протоку и... поехали в Дальнее, в озера. Поехали так же, как и раньше. Реку спустили, а болота остались! «Небольшая» ошибка: не река, выходя из берегов, образовала болота — они питаются подземными водами... «Небольшая» ошибка, а река загублена!

Я сижу на берегу умирающей, израненной реки. Мне надо собраться с мыслями. Кажется, вот-вот разревусь. Но сдерживаюсь... Мне надо поймать какую-то все ускользающую мысль, что-то важное.

Слышу рядом Владимира Антоновича:

— Не надо, Гаврил Николаевич... Не надо... Ну же...

Разве я виноват, что не сдержался? И мне сейчас не стыдно той минутной слабости.

...Ночь. Белая луна над рекой, еще недавно такой красивой, чистой, прозрачной, как слеза. Ни рыбы, ни дичи — ничего! Не рябит месяц, не играет в реке. На весле вошел в прокоп: как в могиле — тихо, безжизненно черные отвесы стен... Луна теперь провалилась в этот жуткий проем, поэтому теряешь ощущение неба

вверху; весло глубоко вязнет в тине — дно постепенно заилется; кажется, вот сейчас въедет под землю, но это — обман зрения: обвалился вертикальный «берег» прокопа и образовал зияющую рваную «дыру». Ночью она представляется черным гротом... Я люблю ночь на реке. Люблю эту реку, как близкого человека. Она еще жива!.. Неподалеку слегка ухнуло, как будто послышался протяжный стон со вздохом: то обвалился где-то берег. В глубокой ночи слышу немой укор, просьбу о пощаде. Река стонет!

А вот здесь была трехметровая глубина, теперь тут на моторке не проехать. Кто виноват? В ответ ухнул еще обвал или оползень — тоже со стоном.

Прокричала где-то цапля — в октябре это редкость. Наступает утро. Рассвет осторожно крадется по брустверам прокопов... Камыши лежат, свесив метелки на кручу, измятые, растоптанные, истерзанные. А ведь они-то и охраняли берега от размыва, как бесменные часовые, в веках.

Так и не заметил, как прошла октябрьская ночь. То ли от бессонницы, то ли от горя, мне стало казаться, что я в какой-то фантастической местности.

В ту ночь и пришло убеждение в том, что я не имею права молчать, что я обязан рассказать, как все это произошло.

Казалось, я уже знал, как написать и что написать. И все же какая-то мысль, самая важная, ускользала, не давалась.

Ехал домой совсем больным и... злым. (Говорят, что это — тоже начало творчества.) Увидел на берегу колхозника — невысокого, одетого в новенький ватник. Он стоял и задумчиво смотрел вниз, на реку. Подъехал. Поздоровались. Он ткнул пальцем вниз, в прокоп:

— Ну? Как?

— Что — как?

— Речке-то — гроб? Аль еще можно поправить?

Отвечаю:

— Остановить надо сначала, а уж потом думать, как поправить.

— Не остановишь, — твердо сказал он. — Раз из области приказано — не остановишь. А ты — «останови-ить»! Вон из нашего колхоза, из Ильича, сам председатель писал в область: дескать, скотину поить нечем стало — воду возим в бочках на ферму... Это рядом-то с рекой! А! Накопали, туды их мать! Сперва дуга позабросили, а потом речку сничтожили. Одно слово — силос кругом идет какой-то. — Он зло вскинул взгляд, явно обвиняя и меня. Плюнул.

Читатель догадывается, что я опустил много слов, произнесенных собеседником в качестве вводных и пояснительных. Все же я спросил:

— И что же ответили председателю?

— Не знаю, — угрюмо ответил он. — Комиссия была вроде. Кто составлял проект загубления реки, тот и приезжал проверять... Сам себя... Да что же это оно делается?. А ведь мы выросли на этой реке. Без нее нам погибель. — Он опять ругнулся, еще раз плюнул и, не прощаясь, ушел.

Первый раз за все время работы агрономом я не знал, с кем разговаривал — ни имени, ни фамилии, разве что только кнутовище с коротким кнутом служит верным признаком: со мной разговаривал не пастух, а либо конюх, либо ездовой, то есть человек «отживающей» профессии. Очень уж он был сердит: ушел — и все.

Когда я рассказал все это моим спутникам Владимиру Антоновичу и Василию Михайловичу, поджидавшим меня невдалеке, то каждый из них резюмировал по-своему:

— Если бы тот колхозник знал, что у мелнораторов никто и ни за что не отвечает, да если бы автор проекта попался ему один на один, как с тобой, то, пожалуй, кнутовищем он не сам себя похлестал бы по заду, — сказал Владимир Антонович.

Василий Михайлович процедил угрюмо:

— Волнение в народе от всей этой мути...

Убеждать их в обратном бесполезно. Да и в чем убеждать? Я-то знаю, что проект осушения порочный, что от жалоб он защищен наглухо, что, в общем-то, результаты его исполнения вызвали небывалое недовольство жителей прибрежных сел и города Острогожска, что «жалобы» эти рассматривались канцелярско-бюрократическими методами. И теперь я вижу явное и массовое недовольство неразумными манипуляциями на реках... Наконец-то я поймал эту мысль! Надо раскрывать карты в с е х путаников и прожекторов в сельском хозяйстве, в том числе и губителей малых рек.

УМИРАЮЩИЕ РЕКИ

Сто сорок лет тому назад поэт-декабрист К. Ф. Рылеев написал:

Там, где волны Острогощи
В Сосну Тихую влились...

Нельзя этому не верить. Была, значит, быстрая река Острогоща. Но теперь ее уже нет. Совсем нет. Лет пятьдесят назад она еще упоминалась в некоторых трудах как «временно действующий приток Тихой Сосны». Сейчас там сухое дно, обыкновенный широкий овраг — мертвая река. А ведь в устье этой реки Петр Первый входил по Тихой Сосне на своих галерах, вмещавших до сотни человек каждая. Там-то, на Майдане, он и встретился с Мазепой.

Примерно за триста лет уровень реки Тихая Сосна упал не меньше, чем на метр (в противном случае галеры пройти не смогли бы). Он продолжает медленно и упорно падать и сейчас, это я установил по данным Воронежской гидрологической станции за последние двадцать лет. Кстати, эти обработанные данные, выраженные кривой меженного уровня по годам, доступны для обозрения любого желающего, даже неспециалиста.

С падением уровня самой реки притоки ее постепенно умирают.

Можно перечислить десятка полтора высохших маленьких рек только в одной Воронежской области. То же происходит и в других областях Центрально-Черноземной полосы России.

Профессор А. А. Дубянский, ученый с мировой известностью, непререкаемый авторитет в области гидрогеологии, утверждает, что режим питания наших степных рек подземными водами изменяется в отрицательную сторону.

Совершенно очевидно, что общая площадь водного зеркала степных рек уменьшается катастрофически даже и не в геологическом представлении. Это отчетливо заметно за время одной человеческой жизни, а в ряде случаев за полтора-два десятилетия.

Но мы знаем также случаи гибели рек в результате глупого вмешательства прожекторов или рабов инструкции. Так в 1938 году «отрегулировано» русло реки Тавровки. И всего за три года речка умерла: ее полностью, начисто и навеки, залило песком и выносами из балок, тоже сложенными песками (доклад инженера В. М. Лобачихина, Воронежского филиала «Росгипросельхозстроя», на научной конференции, 1962 год). Была река — нет реки. Ради чего ее уничтожили? Якобы для осушения трехсот — четырехсот гектаров поймы. Но пойма-то превратилась в пустыню! Кто утвердил такой проект? Спросили ли разрешения у народа?.. Впрочем, об этом речь будет ниже.

Второй случай. Река Осереда, приток Дона, до 1930 года была полноводной, а замечательные ее поймы давали по два укоса сена. Опять же в результате «мелнорации» и эта река выведена в разряд умирающих: резкое понижение уровня воды иссушило пойму настолько, что местами там уже ничего не растет; вследствие же увеличения расходов воды, а следовательно, увеличения быстроты течения, русло промыло так, что берега стали отвесными и глубокими — из реки сделали ров. И все сработано одним кинжальным ударом в сердце реки: прокоп

для спрямления русла в низовье. Для чего? Якобы для осушения... шестисот гектаров поймы.

Третий случай. Приток реки Икорец (впадающей тоже в Дон), именуемый Топка, окончательно погиб после мелиорации, проведенной на реке Икорец в 1960-х годах: там, где купали лошадей, воды стало по щиколотку, а чтобы напоить скот, теперь делают плотинки. А ведь само название — Топка — произошло оттого, что там когда-то тонули даже лошади.

В 1929—1930 годах начиналась такая же канитель и на реке Тихая Сосна (те же прокопы, то же спрямление), но жители спасли реку. Исполнение проекта было приостановлено. Уже тогда, после первого грандиозного прокопа, из урочища Дальнее на десяток километров распространялся запах тления — гнила рыба, гибли миллионы мальков сазана и леща. Однако через три года после прекращения работ прокоп все же заилился (вследствие малого уклона в низовье), уровень воды поднялся вновь, река почти стала на свое место. Государственные деньги выброшены на дно.

Научили ли эти примеры нынешних мелиораторов области чему-нибудь? Некоторых, не утруждающих свой мозг умственными упражнениями, для которых инструкция — предел разума, ничему не научили. Других же, умных людей с чистой совестью, — научили.

Так, В. М. Лобачихин в том же докладе в 1962 году совершенно точно и честно заявил: «Для проектирования осушения пойм в Центрально-Черноземной полосе нет разработанных норм и технических условий, совершенно не освещен этот вопрос в периодических изданиях и технической литературе... Осушение пойм и гарантия сохранности построенных каналов от заиливания возможны только при условии предварительного проведения комплекса противоэрозионных мероприятий... В ряде пойм склоны речных долин и частично водосборная площадь сложены неукрепленными песками, на которых без противоэрозионных мероприятий нельзя начинать осушительные работы».

Это — высказывание думающего специалиста. Но его предупреждение и призыв к осторожности в обращении с реками степей не возымели никакого действия ни на некоторых проектировщиков, ни на начальство, ведающее водным хозяйством, ни на управление мелиорации Госземводхоза РСФСР. Впрочем, и рекомендации межобластной научно-технической конференции по вопросу мелиорации в центрально-черноземных областях (1962) не приняты во внимание при дальнейшей разработке и исполнении проектов. Поразительное пренебрежение к мнению ученых и специалистов, заслуживающих всяческого поощрения!

Для доказательства приведу лишь один пункт постановления конференции: «При проектировании осушения обязательно проводить топографическую съемку масштаба 1 : 10000 — 1 : 5000 с сечением рельефа через 0,5 метра и полным комплексом гидрологических и почвенных обследований».

Ученые сказали: топографическая съемка обязательна. Ученые требовали полного гидрологического обследования. Они требовали это и раньше. Но... Опять это «но»!.. Но есть Госземводхоз РСФСР и есть Облводхоз при Воронежском облисполкоме. Облсполком не утверждает проектов, Госземводхоз дает лишь «консультативное утверждение» — ответственность снимается, никто не отвечает за то, какие последствия вызовет отсутствие надлежащих топографических съемок и гидрологических обследований.

Облводхозу «нужны»... кубометры, план кубометров, а отсюда и премии (довольно крупные!), отсюда — каждый экскаватор должно было превратить, тоже во что бы то ни стало, в деньгочерпалку. Госземводхозу нужны... площади осушенных земель, а за судьбу рек он не отвечает, так как только консультирует проекты, не больше. В этой круговой безответственности кто-то когда-то предложил для «удешевления и ускорения» использовать топографические планы Картогеофонда СССР с сечением рельефа в 2,5 метра, то есть в пять раз реже, чем рекомендовано учеными, мелиоративной наукой.

Но как же не понять, что при таком сечении рельефа в проектировании нельзя уловить детали микрорельефа, микропонижения, тальвеги! Даже конусы выноса оврагов при этом скрадываются, сглаживаются; поймы малых рек в таком случае представляются на плане ровной плоскостью, все проектирование идет вслепую да еще без учета действительных гидрологических условий самой реки и ее поймы.

Именно поэтому «удешевление и ускорение» проектов и массовое увеличение количества кубометров «вала» превратилось в орудие уничтожения рек, иссушения пойм и в конечном счете (самое главное!) в несчастье для жителей прибрежных селений, удивленных тупостью и несуразностью ударов по степным рекам. Так составлены и исполнены проекты на реках Черная Калитва, Игорец, Тихая Сосна и других.

Но читатель спросит: неужели же не было возражений со стороны населения и ученых против такого безрассудства? Неужели не было никаких протестов? Были. Решение научно-технической конференции есть хотя и в мягкой форме, но уже протест. Более того, был напечатан фельетон на эту тему в «Известиях» под названием «Липа на Тихой Сосне» еще в то время, когда река эта не была изрублена тупым мечом Облводхоза с «консультативного» благословения Госземводхоза РСФСР. Было много писем — индивидуальных и коллективных — в разные учреждения вплоть до высоких, в газеты вообще и главным редакторам в частности. Все было. Но все ограничивалось либо возвращением жалоб тому, кто виноват, после чего следовали бюрократические (иногда издевательские) отписки, либо глухой защитой от критики.

Слов нет, без покровительства какого-либо высокого лица такая канцелярско-бюрократическая защита не могла бы иметь успеха в этой «игре». Карты лежат лицевой стороной вниз, а туз не сразу приходит, если он... не крапленый. «Игра» шла на туза!

Немой укор умерших и умирающих рек не имел значения.

КРИК ДУШИ СНИЗУ И ОКРИК СВЕРХУ

Кажется, самый первый голос протеста подал всеми уважаемый страстный краевед, учитель из села Второе Никольское, Лискинского района. Валентин Васильевич Иванов. Он написал статью в газету: это был крик души честного, преданного человека, знающего, как отнесся народ к «мелиорации» по порочным проектам. Статья не была напечатана, а попала в Госземводхоз РСФСР, в управление мелиорации. Это управление поручило составить ответ... Кому бы вы думали?.. Воронежскому Облводхозу, то есть тому, кто виноват!

И вот Валентин Васильевич получил такие ответы.

Первый ответ за подписью начальника управления мелиорации товарища Киселева гласил: «Управление мелиорации Госводхоза РСФСР направляет при этом копию повторного объяснения Воронежского Облводхоза по вопросу осушения поймы р. Игорец.

Учитывая, что все проводимые Облводхозом работы санкционированы соответствующими райисполкомами и утверждаются облисполкомом (?! — Г. Т.), Управление мелиорации Госводхоза РСФСР при наличии у Вас возражений по последнему письму Облводхоза рекомендует Вам обратиться в первую очередь в Лискинский райисполком.

Приложение: упомянутое.

Начальник управления К. Киселев».

Второй ответ — это и есть «Приложение: упомянутое». В целях экономии времени у читателя мы ограничимся выдержками из этого весьма оригинального «упомянутого»:

«...Целесообразность проводимых работ не вызывает сомнения ни у одного заинтересованного хозяйства, учреждения или организации.

После проведенных работ по регулированию водоприемника (реки Икорец) расход в реке не уменьшился, а увеличился (утешил! — Г. Г.).

В результате углубления дна реки и спрямления русла понизился горизонт воды и уменьшилась глубина, а скорость в реке повысилась, так как увеличился уклон дна.

...Рыба, которая была в озерах, не представляла промышленной ценности. Облов рыбы из озер не проводился по причине незначительного количества рыбы и больших неудобств для облова, вызывающих большие затраты.

...Увеличить глубину воды в реке не представляется возможным и в этом нет никакой необходимости.

Если тов. Иванов хочет нас убедить в чем-то другом, то он должен поставить вопрос о рассмотрении его замечаний и предложений на совещании в производственном управлении или в Облводхозе, с участием представителей всех заинтересованных учреждений и организаций, а не писать в редакцию.

31 янв. 1963 г.

Гл. инженер отдела водного хозяйства Воронежского облисполкома
В. Черчинцев».

Трудно выдумать более игривый текст! «Обратитесь в первую очередь в райисполком» (никак не выше!). Или «поставить вопрос о рассмотрении... с участием представителей заинтересованных учреждений и организаций, а не писать в редакцию». Не смей! Вот смысл.

Нет, никто не выехал в село Второе Никольское, не «поставил вопрос о рассмотрении» на сельском сходе или хотя бы на сессии сельского Совета. К чему! Ведь есть великолепная бюрократическая формула «Приложение: упомянутое». Заинтересованы, оказывается, только «учреждения и организации» — а остальные ни при чем. Главный инженер не желает выехать, прочитать письмо В. В. Иванова на колхозном или совхозном собрании, выслушать все и хотя бы доложить по начальству, как положено, с приложением «упомянутого». Но не только это удивительно и обидно. Обратите внимание: «Рыба, которая была... не представляла промышленной ценности!» Облводхоз с благословения управления мелиорации признает, что рыбы уже нет, ссылается на «большие неудобства облова», а поспеу, следовательно, и дан ей гроб.

Итак, во всех малых реках рыба «не представляет промышленной ценности», во всех реках ее можно уничтожать начисто и даже должно уничтожать, так как «целесообразность проводимых работ не вызывает сомнений у заинтересованных учреждений и организаций». Вот ведь до какой сверхмелиоративной прыти можно дойти...

Напомню еще об одном ответе, теперь уже за подписью самого начальника Воронежского Облводхоза тов. В. С. Левина. Он писал «На жалобу от 21 марта 1963 года» в город Острогжск о Тихой Сосне так: «В результате регулирования река станет глубже, шире и многоводнее». Ой, как обманул! Река, наоборот, стала уже, мельче и воробью по колено. Теперь-то он уж обязательно поручит составлять ответы Черчинцеву, каковой сочинит так же, как для В. В. Иванова: «Увеличить глубину воды в реке не представляется возможным и в этом нет необходимости». А есть ли вообще необходимость существования рек в степи? Кажется, по Черчинцеву и по Левину, нет такой необходимости: под спецтерминологией они спрятали понятие о природе, о благополучии человека, о будущем края, если он останется без воды.

Но вернемся в село Второе Никольское к Валентину Васильевичу Иванову. Познакомился я с ним очень просто: получив от него письмо (через «Известия»), поехал прямо в село. Обаятельная личность: простой, прямой и смелый человек лет сорока двух — сорока трех. Ходит на протезе, с палочкой. Совсем недавно к

нему съезжались учителя со всего района, чтобы научиться, как организовать краеведческий музей при школе. Я имел удовольствие быть в этом музее. Любая, самая лучшая школа России позавидует музею, созданному трудами Валентина Васильевича. Если бы все экспонаты расположить как следует, то потребовалось бы три — пять больших комнат, но музей ютится в двух крохотных комнатках. К тому же никто ни одной копейки не дает на содержание и расширение, хотя значение этого музея уже вышло за рамки района. Диву даешься, как это директор школы ухитряется доставать «копейки» на музей. Из своего кармана, наверно, да из кармана Валентина Васильевича...

Так вот мы и сидим со страстным любителем природы своего края. Знает ли Валентин Васильевич, что порочные проекты защищают некоторые высокие лица? Да, знает по ответам на его письма. Знает ли он, что доказать порочность проектов очень трудно, если тебя не желают понять? Да, знает. Уверен ли в своей правоте и убежден ли, что говорит с голоса народа? Да, уверен и убежден.

И по сей час звучат в моих ушах его слова:

— Но что, что можно сделать, если даже выступление «Известий» не помогло.

И еще я слышу голос его матери, Марии Васильевны Ивановой. Лицо ее, изрезанное морщинами, впитало так много солнца, что и зимой загар не сходит. Она говорит:

— За что же это нам такое несчастье принесли? Кто? Скажите, кто это сделал?.. Почему не спросили у жителей?..

Что я мог тогда ответить! Только и сказал:

— Не знаю пока — кто, но верю, что правда победит.

Тяжко ей, вижу. Она понимает лучше нас всех, она ведь первой прочитала строки о «заинтересованных учреждениях и организациях».

Если вы вечерней июньской зарей пройдете по берегу реки Икорец, то увидите обязательно старую женщину, сидящую на берегу... Она любит природу, она внушила эту любовь своему сыну, она любила свою реку, она любила посидеть с удочкой...

На берегу плачет старая женщина-мать... Этого не забыть никогда!

Понимаю после этого и Валентина Васильевича, когда он с волнением говорит самые важные слова, видимо, самые трудные для него:

— А что я скажу своим ученикам? Они ведь спрашивают тоже: «Зачем? Кто?»... Ведь это же убивает в них самое главное — веру! Они тоже видят всю несуразность этой «мелиорации». Даже дети видят... Что им сказать?

Так безответственные люди, не ведая того по скудости разума, нанесли вред и воспитанию школьников. Это — тоже страшные следы на воде! Сто комиссий и сто их «справок» с приложением «упомянутого» не будут иметь никакого значения, если их выводы будут сделаны только из интересов «заинтересованных учреждений», а не с голоса народа.

...Ехал я к Валентину Васильевичу за тем, чтобы (не скрываю) проверить его письмо и побывать на Икорце. Мы читали письмо строка за строкой... Впрочем, вот оно почти все целиком:

«Дорогая редакция!

...Сам я на эту тему писал неоднократно, но безуспешно.

Как бы мне хотелось, чтобы... «Известия» не ограничились лишь напечатанием... подобных статей... А если сделанного исправить уже нельзя, то хотя бы предотвратить дальнейшее уничтожение рек.

...Нельзя же в самом деле ради осушения нескольких сот гектаров уничтожать целые реки! Ведь это же преступление!

Наша река Икорец до мелиоративных работ — это глубокая, полноводная и рыбообильная река. В настоящее время она представляет из себя жалкое зрелище... уровень воды в реке падает до двух метров, и ее во многих местах можно перейти по щиполотки. И обмеление реки, из-за обваливания обнаженных берегов, катастрофически увеличивается с каждым годом. Через несколько лет, если не

предпринять необходимых мер, река либо исчезнет, либо превратится в небольшой ручеек.

...река оказывает влияние и на микроклимат (недаром же грозовые тучи обычно ходят вдоль рек). А у нас и климат оставляет желать лучшего. Суховеи нас отнюдь не минуют.

...Облводхоз считает, что рыба в Икорце «не представляет промышленной ценности», но и тут деятели этого водного предприятия ошибаются. До проведения мелиоративных работ питались рыбой Икорца очень многие жители сел, расположенных вдоль реки (а ведь это играет не последнюю роль в деле повышения благосостояния трудящихся), кроме того, в Нижнем и Среднем Икорцах был организован и промышленный лов рыбы рыболовецкими артелями. А теперь в реке рыбы нет, и в этом виновата не река, а Облводхоз... Жаль, конечно, средств, которые были затрачены попусту на уничтожение реки, но еще более будет нам жаль тех потерь, которые мы понесем, если оставим «осушенные» реки в таком состоянии.

Р. С. К данному письму прилагаю письмо из управления мелиорации, которое было получено мной в ответ на мою статью. Прошу при ответе мне вернуть это письмо.

С уважением В. Иванов.

4 марта 1963 года».

Читатель теперь знает, каким образом мне удалось познакомиться с «вышеуказанными» документами Водхоза и каким образом пополнился мой запас добрых и честных людей еще несколькими.

Сухие люди опять же могут сказать: «Это все — эмоции. Дай факты». Что ж, можно и факты, можно и научные доказательства.

ПИСЬМО ДВУХСОТ, ФАКТЫ И ПОЧВЕННАЯ КАРТА

В начале этой главки предлагаю читателю познакомиться с потрясающим письмом в одну из газет. Письмо это написали жители... трех сел, и в нем только факты.

«Уважаемые товарищи!

Обращаются к Вам жители сел: Второго Никольского, Хреница и Раздольного, Лискинского района, Воронежской области, кому дорога родная природа.

Обращаемся к Вам с просьбой помочь нам в большой беде, которая внезапно-негаданно обрушилась на нас.

Дело наше заключается в следующем.

Рядом с нашими селами протекает река Икорец. Несколько лет тому назад эта река была глубокой, полноводной и богатой рыбой (слово «Икорец» произошло от слова «икра»). Высокий уровень реки поддерживался шестью мельничными плотинами, которые были расположены на реке на протяжении 18—20 км. В реке водились большие сомы и щуки, а также: сазан, жерех, окунь, линь, язь, налим, лещ и много другой, более мелкой рыбы. В зарослях же, по берегам реки, гнездились много уток, чирков, бекасов, куликов, чибисов, курочек и другой пернатой дичи. Размножалась выхухоль.

Возле реки буйно рос лиственный лес. Здесь были: дуб, ильм, вяз, береза, осина, ольха и другие породы деревьев и кустарников. Пойменные луга были покрыты густой травой. В лесу росли грибы и ягоды.

На реку всегда ходила масса народу: одни — ловить рыбу, другие — купаться, третьи — просто отдыхать на свежем воздухе. Наша местность походила на курортный уголок (недаром же на реке Икорец расположен известный санаторий имени Цюрупы). Но вот к нам пришла беда, и все резко изменилось.

Сперва на нашей реке были ликвидированы почти все мельничные плотины, в результате чего уровень реки значительно понизился. меньше стало мелководий, где развивалась рыба молодь, а в итоге — меньше стало рыбы.

Но это была еще не настоящая беда, настоящая беда пришла к нам несколько позже, а именно — в 1962 году. В этом злополучном году к нам вдруг нагрянули мелиораторы с самой современной техникой.

Сперва мы думали, что они собираются почистить нашу реку, и очень обрадовались этому: ведь река от этого стала бы глубже, полноводнее и чище. Но когда мы узнали истинные намерения мелиораторов, мы пришли в ужас. Оказывается, они приехали к нам «осушать заболоченные луга», которых у нас нет. Вскоре они взялись за дело, да так, что у нас волосы встали на голове дыбом. Они прорыли несколько глубоких каналов и спрямили реку, в результате чего вода в реке упала местами до двух метров.

Такой спад воды привел в ужас не только нас, но и рыбу, которая кинулась вниз по течению и полностью ушла в Дон. В реке у нас остались в основном ерши да раки. Образовались крутые берега, которые обваливаются и засыпают и без того уже обмелевшую реку.

Мелководья совершенно исчезли, и рыбой молодежи негде стало развиваться, а рискнувшей остаться «крупной» рыбе негде стало метать икру.

Таким образом, наша река оказалась обезрыбленной не только в настоящее время, но и на много лет вперед, если не навсегда.

А ведь наша партия сейчас остро ставит вопрос о том, что внутренние водоемы должны стать прочной базой обеспечения населения живой и свежей рыбой. А у нас вместо того, чтобы разводить рыбу, созданы ей такие условия, при которых она ни разводиться, ни жить не сможет.

Обеднела наша река и в другом отношении. Исчезли заросли камыша, чакана, рогоза и другой растительности на ее берегах. Улетела речная птица. Исчезла выхухоль. Лес, лишенный былой влаги, стал катастрофически высыхать и гибнуть. Купаться стало негде, так как невозможно из воды выйти чистым на крутой берег. Да и сама река потеряла былую привлекательность. Но это еще не все. Мелиораторы не только выпустили воду из нашей реки, они вдобавок к этому распахали все наши заливные луга.

И что же из всего этого вышло?

Действительно, незначительная часть распаханного луга дала нам в прошлом году неплохой урожай кукурузы в зеленой массе. но при этом другая, большая часть луга, где почва подверглась более сильному размыву со стороны внешних вод, эта часть луга ничего не дала. И поэтому несомненно, что когда весенние воды смывают полностью плодородный слой со всего распаханного луга, а он уже смывался два раза, тогда на лугу, кроме бурьянов, ничего расти не будет. Так произошло в селе, которое находится на противоположном берегу нашей реки. Там тоже три года тому назад распахали заливной луг. В первый год он дал хороший урожай, на второй год этот урожай был значительно меньшим, а на третий год здесь ничего не уродилось. И это неудивительно: полые воды смыли с распаханного луга верхний плодородный слой и обнажили пески и солонцы. Сейчас большая часть этой «целины» заброшена.

Да разве можно вспахать луг и лишать его травяного покрова там, где вода смывает в реку его верхний плодородный слой?!

Какой «мудрец» мог додуматься до этого? Ведь сейчас наша река катастрофически мелеет из-за того, что в нее весной сносится масса земли с распаханного луга.

Какое количество земли сносится в реку, можно судить по такому примеру: там, где наша река достигала девятиметровой глубины, там теперь можно веслом достать дно, а там, где была глубина до четырех метров, там сейчас илу нанесло почти в уровень с водой, а местами он целыми косами выходит из воды. Мало того, лишенный растительности луг не будет являться препятствием для надвигающихся на него и на реку песков. А пески эти уже вплотную подошли к реке.

Но это еще не все. Уровень подпочвенных вод у нас сейчас заметно снизился. Это заметно по колодцам, которые обмелели до метра. А ведь наша местность подвержена частым засухам. Нам нужна вода как воздух, а у нас отбирают и ту, которая у нас была.

И еще: мелиораторы поставили перед собой задачу осушить заболоченные луга, но, спрямляя реку, они наделали множество стариц, которые вскоре превратятся в новые болота.

Но и это еще не все. В настоящее время наши распаханые луга не имеют на себе ни клочка растительности, а поэтому совхозные коровы гоняются пастухами в лес, где они по мере сил своих и возможностей губят его, съедая, вытаптывая и ломая молодую поросль. Теперь в нашем лесу не найти ни ежевики, ни смородины, ни калины, ни грибов — все это вытаптывается скотом, который раньше все лето пасся на лугу. (С другой части луга скашивалась трава на сено и скирды его стояли в ожидании зимы.)

Вот к каким печальным последствиям привела ретивая деятельность мелиораторов. Вот какую медвежью услугу они нам оказали.

Взявшись за порученное им дело, они рубили с плеча, не думая ни о тех людях, которые сейчас живут на берегах реки Икорец, ни о тех людях, которые будут жить на ней после нас.

Прочитав по книгам о том, какой была река Икорец ранее, и увидев, какой она стала, наши потомки помянут нас недобрым словом. Они с укоризной бросят нам упрек: «Эх, отцы, отцы, где же вы были, когда бездушные люди губили реку? Как же вы могли допустить до этого?»

И этот их упрек в наш адрес будет вполне справедлив, если мы не сумеем сейчас восстановить изувеченную реку и не ликвидируем тех печальных последствий, которые явились результатом деятельности мелиораторов. А сделать все это можно.

Для этого, мы думаем, нужно закопать несколько главных каналов, вырытых мелиораторами, прекратить распашку лугов, закрепить почву лугов многолетними травами, а в дальнейшем произвести чистку реки, построить на ней несколько плотин и пустить в реку мальков ценных пород рыбы.

Вот за эту деятельность наши потомки скажут нам свое сердечное спасибо.

Мы совершенно уверены в том, что даже первое мероприятие — перекрытие каналов — в значительной мере восстановит реку и ликвидирует те печальные последствия, которые произошли в результате деятельности мелиораторов. Конечно, для этого потребуются новые средства, но эти расходы будут неизмеримо меньшей бедой, чем та, которая пришла к нам в результате обмеления реки и которая навалится на нас в скором времени, когда наша река окончательно высохнет. А ждать этого недолго, если мы не приложим должных усилий для спасения реки и природных богатств нашего края.

Вот по какому вопросу мы и решили обратиться к вам за помощью.

Помогите нам в этом деле!

27 мая 1964 г.

Жители села Никольское: 105 подписей.

Жители села Раздольное: 27 подписей.

Жители села Хренище: 71 подпись».

Двести три человека из трех сел!

Как-то один из руководящих товарищей (правда, не очень высокого ранга) с самым серьезным видом заметил по поводу коллективного письма двадцати человек: если жалоба подписана более, чем тремя лицами, она... «организована». Заметьте: жалоба!

Впрочем, мы уже знакомы с ответом Облводхоза «На жалобу от 21-го марта», о чем упоминалось выше.

Да разве же письмо двухсот — это жалоба? Это крик о помощи. Если SOS означает «Спасите наши души», то это письмо нельзя именовать иначе как «Спасите наши реки». Авторы его вовсе не скрываются за неразборчивыми подписями

без адреса, нет, они указывают фамилии и должности, среди них и коммунисты — учителя, лесники, председатель сельсовета, рабочие и колхозники. Если они «организовали» это письмо, то слава им и честь!

Но правда ли все то, что написано в письме двухсот? Тронет ли оно душу губителей рек? Все-таки надо попробовать доказать.

Начнем, пожалуй.

Передо мной почвенная карта Воронежской области. Документ неотразимый, в котором нет никаких эмоций, если не считать любовное переложение сюда трудов многих специалистов-почвоведов, тоже энтузиастов своего дела.

Пойма левого берега реки Икорец в тех местах, где проведено спрямление (уничтожение!) реки, состоит из слабо гумусированных песчаных почв (индекс 22) и песков бугристо-волнистых, развеваемых и слабо задернованных (индекс 23), кроме того, в части поймы среднего течения реки (на левом и правом берегах — почвы лугово-черноземные с уровнем грунтовых вод в два — пять метров (индекс 12). Я прошу прощения за столь специфическую терминологию, но без этого не обойтись, потому что есть еще люди среди губителей рек, которые всякое проявление любви к природе относят к презренным эмоциям и для которых «Закон об охране природы в РСФСР» не имеет значения. Впрочем, слова «песчаные почвы» понятны любому читателю. Каждому понятно: тронь песчаную почву в пойме — она окажется вся в реке; врежься при спрямлении в песок — реки не будет (вспомните мертвую Тавровку!); понизьте уровень воды в реке на два метра — на столько же понизится уровень грунтовой воды и на почвах лугово-черноземных, то есть он будет уже не на два — пять метров, а на четыре — семь метров! Это будет уже не пойменный уровень, а иссушенная пойма с повышенной концентрацией солей.

Однако же зачем я употребляю слова «тронь», «врежься», «понизьте»?.. Ведь уже тронули, врезались и понизили! Уже пойму в колхозе имени Кирова, Лискинского района, затягивает песком... Нет, раздумий над почвенной картой недостаточно для того, чтобы понять все. Я свертываю ее в рулон, откладываю в сторону и еду на реку Икорец взволнованный и потрясенный.

...Июнь 1964 года. Иду по берегу от села Хренище и выше. Грустно... Местами река почти перегорожена песчаными наносами. А вот песок наступает на реку слева, наступает неумолимо и безудержно. В голове вертится: «Тавровка. Тавровка... Развеваемые пески... Индекс двадцать три»... И вдруг врывается в мозг с болью, с неистовством: пре-сту-пле-ние!.. Вот обвалился берег, видимо, еще в прошлом году. Обхожу обвал, спускаюсь вниз, перехожу реку в коротких резиновых сапогах (не в охотничьих, а в обыкновенных) и возвращаюсь обратно. И это там, где несколько лет тому назад утонула лошадь.

Иду по пойме, вспаханной год тому назад. Дернина здесь уничтожена, за одно половодье почва пошла на смыв. Я агроном, знаю, что через три года здесь будет мертво, если вновь не залужить почву и не поднять уровень воды. Что же тут осушали? Иду, смотрю, шарю взглядом... Ага, вот оно! Болото есть, а из него ручеек: не река питала болото, а подземные воды... Так ради чего же изуродована в этих местах река? Здесь абсолютно нечего осушать. Ошибка? Не-ет! Напористость начальника «заинтересованного учреждения», заинтересованного в количестве кубометров. Где бы ни копать, лишь бы копать! В тот день я окончательно убедился в том, что Облводхоз «призван» не обводнять, а... копать, и что его начальник В. С. Левин превратил это учреждение в облкопалку, а экскаваторы, как мы уже намекали отчасти, в деньгочерпалки.

Раз, два, три... семь... Восемь новых болот! Это оставшиеся после «регулирования реки» старицы. Неподалеку засыхающий лес. Немного надо времени, чтобы он окончательно погиб, если опять же не поднять вновь уровень воды...

И все оттого, что реке нанесена глубокая рана страшным прокопом.

Ни одной строки неправды нет в письме двухсот!

...Идут из школы ребяташки. От них я узнал, что Валентин Васильевич уехал в Лиски. Жаль — не повидались. Но что смог бы я ему сказать, если бы встре-

тился? Ведь ничего утешительного. Ничего! Хотелось бы, конечно, чтобы он понял, что и мне тяжело «проверять» письмо своей болью. Вот добьюсь, чтобы это письмо оказало какое-либо действие и тогда скажу: «Здравствуйте, Валентин Васильевич! Вам есть что сказать своим ученикам».

Надежда и еще раз надежда.

ВОЛНЫ С ТИХОЙ СОСНЫ, ИЛИ ТУМАН НАД РЕКАМИ

А с Тихой Сосны жалобы шли непрерывно, волнами. Дело дошло до того, что сам начальник производственного управления тов. Зеленев подписал письмо с просьбой о том, чтобы кто-то приехал и разъяснил проект. Прибыл уже знакомый нам В. С. Левин. Очень занято было поведение этого товарища на заседании совета по осушению (есть даже и такая организация).

«Вы не тешьте себя надеждами, что вы будете нас контролировать!» Так он обратился к председателям колхозов, из которых и состоит такой совет. Председателя комитета партгосконтроля при парткоме производственного управления, выступившего с объективной речью, высокий начальник назвал коротким словом «критикан». Все это, конечно, вызвало бурю: председатели вежливо и довольно-таки строго «поговорили» с ним и решили «сначала очистить реку», а потом уж и так далее, о чем районная газета и поместила статью. Правда, протокол впоследствии оказался «несколько» сглаженным, в нем появилось даже «требование о форсировании», но... газета-то осталась.

В конце этого примечательного совещания секретарь парткома М. М. Мамонов тоже вежливо обратился к областному руководителю с просьбой, чтобы тот хотя бы извинился перед некоторыми товарищами за грубость. И что же вы думаете? Промолчал! Не извинился.

Не было бы смысла приводить этот прямо-таки позорный эпизод, если бы он не наводил на размышления. Ведь есть еще товарищи, которые, приезжая в район, забывают, что перед ними сидят люди совсем уже не такие, как пятнадцать — двадцать лет назад, что добрая половина руководителей района и колхозов имеет высшее образование, хотя и не разбирается в «тайнах» мелиоративных упражнений на сухих местах. Этот случай убеждает также и в том, насколько отдельные руководящие товарищи отстали во внутренней культуре от тех, кого они считают «массой», что крики и постуки кулаком по столу отжили свой срок как приемы руководства.

Но на том же самом совещании выяснилось, что в осушение включены и площади, не требующие никакого осушения.

В общем, я пришел к выводу: надо анализировать проект и писать, обязательно писать, иначе погибнет и Тихая Сосна.

С первых же шагов мне дали понять, что я не специалист и что проект достать трудно. Но научили друзья: проект есть... в отделении Госбанка, в городе Острогоске. Там и пришлось заниматься ознакомлением. Читатель уже отчасти знает, что получилось в результате исполнения проектов, и мне нет уже смысла утруждать его внимание воспоминаниями об изучении этого документа. Лишь замечу одно: после этого и появился фельетон «Липа на Тихой Сосне». Я не мог не написать, стыдно было не написать.

Итак, кроме писем жителей прибрежных селений, появился еще и фельетон. Но... если бы я знал, какой канцелярско-бюрократический оборот примет все это дело!

В одно прекрасное утро приехала комиссия из Москвы. Отлично! Меня пригласили «для беседы»... в гостиницу.

И вот передо мной стоит подвижной, со снисходительной улыбкой, невысокого роста человек. Он представился:

— Главный инженер управления мелиорации Госводхоза РСФСР Гореславский.

Затем он разъяснил, что он «представитель комиссии ЦК». Потом уж, после его отъезда, мне стало известно по материалам комиссии, что он «чуть ошибся», что он не был представителем ЦК, а прибыл «в соответствии с приказом Госводхоза». Милая шутка!

Правда, и я тогда пошутил:

— Трудновато мне будет беседовать.

— Почему? — ласково улыбаясь, спросил собеседник.

Опять шучу:

— Мелиоратор мелиоратору глаз не выключет... Вы понимаете шутку, надеюсь, и прошу вас не принимать это за чистую монету.

Лицо его преобразилось, оно стало строгим, он даже как-то вырос в моих глазах за одно мгновение и сказал с явной обидой:

— Прежде всего я — коммунист!.. А вы... член партии?.. Нет. Та-ак...

Мне стало немножко холодно, потом немножко жарко. Но немножко, потому что впервые в жизни услышал такое противопоставление и таким тоном. Потом вдруг стало интересно: ведь передо мной совершенно новый для меня человек! Ведь люди, они разные, и в каждом из них есть все — и плохое и хорошее; больше хорошего — мы говорим «хороший человек», несмотря на недостатки, а если больше плохого — «плохой человек», несмотря на некоторые достоинства. «Будем надеяться, что больше хорошего», — такой была моя мысль перед беседой, невзирая на резкое разграничение нас моим собеседником в самом начале.

Была беседа.

Михаил Степанович с удивительной настойчивостью внушал мне, что я «против целесообразности мелиорации». Дважды я повторил:

— Дело не в том, надо или не надо осушать, а в том, как надо осушать, чтобы сохранить степные реки.

И дважды он ставил вопрос:

— Итак, вы против целесообразности мелиорации?

Пытаюсь разъяснить ему, что мною внесено было предложение через печать о том, чтобы при осушении пойм степных рек использовать опыт старожилов, а не шаблонно переносить методы осушения, разработанные для районов избыточного увлажнения.

Тогда последовал обратный вопрос:

— Значит, вы согласны с целесообразностью проведения мелиоративных работ?

— Еще раз повторяю: я не против осушения, я против иссушения пойм и гибели рек.

— Та-ак... Я вас понимаю: вы согласны с необходимостью осушения. Так и запишем.

Хотя быть спокойным становится все труднее, я не схожу с «платформы» и тоже долблю:

— Я не согласен с порочным проектом.

— Формулируйте: вы не возражаете против осушения, — твердо, с прищуром уже утверждает Гореславский.

— Позвольте! — говорю. — Наша столь приятная беседа наталкивает меня на мысль, что вам нужен какой-то заранее намеченный вами ответ, без «но». А ведь в этом «но» и заключается порочность проекта.

Он постучал карандашиком по столу:

— Я вас понял. Та-ак...

Теперь уже мне становилось понятным тоже: товарищ будет только защищать проект и будет «отметать» любую критику. Потом пришел автор проекта Г. Т. Сухинов — человек средних лет, отменно скромный, удивительно мягкого характера и, в общем, симпатичный.

Беседа продолжалась.

Я попросил автора проекта рассчитать действительный уклон реки в низовье, где углубляется и расширяется главный прокоп.

Да, автор проекта согласен, что уклон технически недопустимо мал, но он постарается увеличить его... следующим прокопом.

Какой милый губитель рек!

Начинаю убеждать: река Тихая Сосна, образовав за века свои отдельные профили равновесия, завершает каждый из них либо перекатом, либо подобием естественной плотины, как, например, место Байдак; указываю эти отдельные профили; как мне казалось, доказательно говорю о том, что если уничтожить эти перекаты, перепады и естественные плотины, устроенные самой природой, то реки не будет... И вдруг обращаю внимание на лицо Михаила Степановича Гореславского: он весь — снисходительность к моему неразумению, к моей наивности, некомпетентности и мелиоративной малограмотности. Какое чувство превосходства! Какая ласковая улыбка! Внутренне, где-то в глубине, начал я понимать, что «беседа» бесполезна.

И все же, не теряя надежды, обращаюсь с вопросом вновь к автору проекта: — Вы не желаете меня понять или действительно не понимаете? Вы же отлично знаете, что такое профиль равновесия реки? Да?

Он отвечает:

— Не знаю. В инструкции об этом не сказано ничего.

Истинная непосредственность! Вот какому человеку вручили судьбу рек и сотен тысяч людей, живущих на этих реках.

Оставалось взять книгу «Геология» и прочитав выдержку, подтверждающую мое доказательство. Товарищ Сухинов молчит. Товарищ Гореславский, главный инженер управления мелиорации, спрашивает:

— Это еще откуда вы вычитали?

Я не верил своим ушам. Мне как-то стало даже стыдно ответить:

— «Общая геология»... профессор Чарыгин... большой авторитет...

Беседа уже не клеилась. Но мне пришла такая мысль: «Выскажу все возражения против проекта, когда соберется вся комиссия. В нее ведь включены и местные товарищи. Кроме того, думалось, поедут же они все вместе на реки, в колхозы, в совхозы — там-то им все и выложат начистоту». От такой мысли повеселел.

— А знаете, Михаил Степанович, — обратился я к Гореславскому, — на Тихой Сосне я прожил четверть века, мне знаком каждый куст на ее берегах. Кажется, смогу подробно все объяснить и по проекту на заседании комиссии. Как агроном, знаю хорошо и пойму. Вы меня поймете, надеюсь.

— Попробуйте... — многозначительно произнес он. — Мы — к вашим услугам. — Тон его был уже недовольным.

Представитель из Москвы сердился.

Хотя мы явно не понравились друг другу, однако за пределы вежливости не выходили. Нельзя же в самом деле в начале нашего знакомства сразу вот так.

Лишь поздно вечером, оставшись наедине с темнотой и собравшись с мыслями, затвердил: выслушают, запишут. Главное, чтобы записали, а в Москве разберутся. Разберутся. Сначала выступлю перед комиссией, потом ведь и облисполком будет рассматривать — там изложу. Разберутся... Но ночь была бессонной.

Иногда кладу под ухо карманные часы, если бессонница. Положил и в тот раз... Тик-так, тик-так, тик-так... «Время идет. Время и люди. Время и реки. Люди и реки».

И вот теперь прошел год с того вечера, а идея «время, люди и реки» не выходит из головы. Я уже ничего не смогу написать кроме как об этом. Ничего — пока не будет написано то, о чем пишу сейчас.

Но вернемся к тому времени, когда бурная деятельность Гореславского перевернула во мне представление о некоторых вещах, делах и «заинтересованных учреждениях».

...Комиссия выезжает в город Острогжск. Все организовано: будут собраны все председатели колхозов и директора совхозов, в которых проводится осушение.

Еду и я. Оказалось: из одиннадцати землепользователей были «на встрече» с комиссией... три председателя колхоза и один директор совхоза. Члены комиссии вместе с автором проекта и начальником Облводхоза Левиным составляли подавляющее большинство по отношению к землепользователям. Более чем странно! Единственно правомочный орган — совет по осушению — не был создан. Даже отсутствовал председатель этого совета. Гореславского все, оказывается, устраивало, и он назвал это «беседой». А вел записи той беседы... сам начальник Облводхоза! Все было понятно. Взаимопонимание начальника и представителя с верхней ступеньки ведомства было исключительно теплым. Глухой заслон!

Читатель должен знать, что в папке Гореславского лежало еще письмо от группы жителей из Острогужского района. Правда, письмо это составлено в грубоватых тонах, бездоказательно с точки зрения специалиста, но в нем была явная и четкая просьба — разобраться в порочности проводимых работ по конкретному проекту. Таким образом, предстояло проверить еще и письмо. И товарищ Гореславский «проверил».

— Товарищи! — спокойно и мягко начал Михаил Степанович. Он обвел взглядом присутствующих и еще раз повторил: — Товарищи! Поступила жалоба некоторых граждан и напечатан фельетон... Вопрос стоит о целесообразности осушения поймы... (обратите внимание: о целесообразности! — Г. Т.). Надо разобраться. У меня в руках протокол технического совета. Ученые подтвердили правильность проекта. (Читает протокол.) Имеются ли у вас, товарищи, возражения против этого авторитетного решения?

Отменно бюрократический ход! Оказывается, немедленно после выступления газеты создан технический совет (уже однажды «утвердивший консультативно» тот же проект), написано решение, подтверждающее предыдущее решение... Что скажет председатель колхоза, если представитель из Москвы так ставит вопрос? Где уж тут возражать руководителям района?! Надеюсь, теперь, после того как окончательно изуродована река, они поняли, какую огромную ошибку допустили в тот день. Впрочем, они (так же, пожалуй, как и я) не представляли пока, какую форму может принять бюрократизм.

Гореславский же двигался вперед в соответствии со своим планом. Недаром же потом (в вагоне, на обратном пути) он дважды самодовольно повторил со своейственной ему улыбкой:

— Важно — как поставить вопрос! В этом — все.

Он подчеркивал, видимо, большой опыт в таких делах. Очень опытный товарищ! А попробуйте сказать подобному человеку, что это и есть бюрократическая тенденциозность — обидится.

И все же, несмотря ни на что, председатель колхоза имени Энгельса Кошманов Николай Петрович осмелился:

— Зачем загубили речку Потудань в нашем колхозе? Речки-то нет!
Гореславский встrepенулcя.

— Говорите по существу вопроса! — строго предупредил он.

— А я — по существу. Тоже ведь был «правильный» проект и тоже утверждался, наверно, там же, а беду-то какую сделали! Ни воды, ни поймы.

— Товарищи! — Теперь голос Гореславского резкий, сухой. — Это бездоказательно! Есть у кого еще замечания по поставленному вопросу?

— А я еще не окончил, дорогой товарищ, — спокойно возражает смельчак. — А пойма...

— Все ясно. Хватит и этого, — перебивает Гореславский.

И тогда директор кожевенного завода Ф. Т. Сморгчов не стерпел:

— Дорогой товарищ! Слишком уж вы тенденциозно ведете беседу. Может быть, вы считаете, что здесь все вислоухие, простите за выражение?

Только после этого Николай Петрович договорил-таки:

— А пойма перестала родить: выступила соль! При обезвоживании почвы оказалась очень сильная концентрация солей. Непоправимое дело... А решение что ж? Решение осталось решением. И проект был «правильный». Только очень уж грустно от всего этого.— И он сел на свое место, махнув безнадежно рукой.

Вы думаете, это выступление услышал Гореславский? Ничуть. Он не желал слушать и не слышал.

Конечно, говорили два председателя и директор совхоза: да, осушать надо. Так поставлен вопрос, так на него и отвечали. Откуда они могли знать сущность проекта!

«Важно — как поставить вопрос»!

После такой беседы буквально поймали на дороге двух из той группы людей, которые писали «жалобу», усадили их за стол, а Гореславский лично беседовал путем постановки вопросов и примерно по тому же методу, как со мной в гостинице.

Почему не пригласили всех, почему их не позвали «на беседу» со всеми вместе? Э, не-ет! «Важно — как поставить вопрос», Талант!

Было уже совершенно отчетливо понятно: главный инженер управления мелиорации ответствен за порочность методов мелиорации на степных реках — ему во что бы то ни стало надо только то, что надо. Он ехал с заранее намеченной целью. Так и после совещания в Обществе охраны природы — где, кстати, он «поставил вопрос» в той же плоскости, но получил серьезный отпор, — он сказал:

— Здесь мы потерпели фиаско!

Глухая защита была намечена даже во всех деталях. Именно по этому плану в се письма трудящихся (кроме одного!) были запрятыны в Облводхозе и не рассматривались комиссией. Хотя говорили ученые, специалисты сельского хозяйства, старожилы и называли конкретные реки и испорченные поймы, хотя профессор Цыганов с убийственной точностью говорил о недопустимости увеличения расходов воды в степи. Но... в справке комиссии получается, что на всех реках все благополучно. «Важно — как поставить вопрос»!

Все же я готовился к выступлению перед комиссией. Это было моей обязанностью. Ведь комиссия не побывала ни на одной реке, ни в одном колхозе или совхозе. Но...

Вот вам и «но»... Комиссия срочно отбыла в Москву, оставив на утверждение облисполкома «Справку о целесообразности». Выбыл и деятель мелиорации Гореславский в полной уверенности исполненного долга.

Сколько их еще на нашей многотрудной земле, этих знатоков, как поставить вопрос!

Читатель поймет, для чего привожу все эти детали. Мы очень часто говорим о бюрократизме, произносим длинные речи, но далеко не всегда обнажаем и называем конкретных носителей этого зла, в особенности в сельском хозяйстве, где опека сверху стала величайшим тормозом развития. Период безответственности и прожектерства кончился. Чтобы поправить дело, нужны конкретные факты, детали, конкретные лица. Пора! Пора это делать.

Итак, на объединенном заседании комиссии мне не позволили быть. Тогда и вспомнил слова: «Попробуйте... Мы к вашим услугам». Не предоставили даже возможности «приобщить» письменное изложение. Оставалось одно: ознакомиться со «Справкой о целесообразности». Добыл. Ознакомился. Трудно мне вспоминать тот день, но еще труднее писать об этом...

Почитайте, пожалуйста, с нашими комментариями, наберитесь терпения.

«Справка о целесообразности проведения мелиоративных работ в пойме реки Тихая Сосна, Воронежской области (о других реках ни слова. — Г. Т.).

...В соответствии с приказом Госземводхоза РСФСР и поручением Воронежского облисполкома рассмотрены и проверены вопросы, поставленные...

...В результате бесед с автором указанного фельетона, двумя авторами письма (остальные, несмотря на приглашение, не явились), землепользователями

(председателями колхозов, директорами совхозов), участвующими в осушении поймы, в присутствии секретаря парткома производственного управления, председателя райисполкома и начальника производственного управления и участия в заседании секции областного научно-технического общества охраны природы,— пришли к следующему...»

Итак, проверка проведена не путем обследования и исследования на месте, а «в результате бесед». И будто бы авторы письма были приглашены, но не явились, будто бы не три председателя участвовали в «беседе», а все, будто бы не единственный директор был, а много. Какой обман! Какое бесчестье!

Дальше:

...«проектный институт «Росгипроводхоз» вторично произвел экспертизу этого проекта и решением технического совета от 11 марта сего года снова одобрил его... При составлении проектного задания осушения поймы реки Тихая Сосна для нижней части поймы были выполнены топографические изыскания в масштабе 1 : 10000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. Для верхней части в проекте были использованы имеющиеся топографические планы в масштабе 1 : 10000 с сечением рельефа горизонталями через 2,5 метра и полугоризонталями через 1,25 метра...»

Как видите, «снова одобрил» тот, кто уже одобрял! Приусловная съемка в двести метров шириной названа «нижней частью». Что же тогда понимать под «верхней частью»? И как быть с «поставленным вопросом» о недопустимости использования готовых карт с сечением в 2,5 метра? На это справка дает весьма оригинальный ответ:

«При двухстадийном проектировании на стадии разработки проектного задания выполненные и используемые планы соответствуют техническим условиям и нормам проектирования» (подчеркнуто мной.— Г. Т.).

Маленькое замечание: проект по Тихой Сосне составлен в 1961 году. Научно-техническая межобластная конференция состоялась в 1962 году, когда и было отмечено, что «для проектирования осушения пойм в Центрально-Черноземной полосе нет разработанных норм и технических условий». Каким же условиям соответствуют упомянутые планы? Нет, тут положительно рассчитано «на вислуухих», по слову товарища Сморчкова. Надо было затуманить, запутать, закрыть. А ведь именно здесь, в этом пункте, судьба рек, судьба людей!

Почитаем еще:

«Целесообразность осушения реки Тихая Сосна сомнений не вызывает. Это также подтвердили землепользователи, участвующие в проведении этих работ, и с этим согласились авторы письма и фельетона» (подчеркнуто мной.— Г. Т.).

Так вот что нужно было Гореславскому с первых минут беседы! Согласие без критики липового проекта. Не добился, так сам записал. А почему бы и не записать, если другие члены комиссии не слышали нашей милой беседы. Основа из основ бюрократического механизма — это знаменитая формула: «Докажи, что ты не верблюд». Оказывается, и землепользователи согласились (вспомните, сколько их было), оказывается, и авторы письма согласились, хотя и не явились, как сказано в выдающейся преамбуле...

Пункт пятый:

«Землепользователи не ставили вопроса о прекращении работ по осушению поймы. На заседании межколхозного совета от 6 февраля 1964 года они, подтверждая целесообразность осушения и согласившись на финансирование проводимых работ, предъявили претензии Облводхозу в медлительности и срыве обусловленных договорных сроков и требовали форсирования строительства (?!). Это было подтверждено на совещании с землепользователями и 18 марта 1964 года в присутствии комиссии» (подчеркнуто мной.— Г. Т.).

Читатель уже знает о весьма теплой встрече В. С. Левина с землепользователями, когда, тоже в присутствии секретаря парткома, его просили извиниться. Это и было 6 февраля. Тогда и записали: «Очистить реку». Понимаете? Очистить, а не загубить. На том совещании, конечно же, члены комиссии не могли быть и, следовательно, не знали, что там было, а Гореславский представил его как... «требование форсирования строительства». Обратите внимание: уничтожение реки называется «строительством»! Более того, «беседа» 18 марта 1964 года с тремя землепользователями здесь выступает уже как совещание. По странному стечению обстоятельств на этом «совещании» не присутствовали те председатели, которые были 6 февраля и которые противостояли агрессивному наступлению Левина (исключением является один лишь председатель колхоза «Красная звезда» — Иван Трофимович Партолин), а их подавляющее большинство. Вот такой прием и называется «подготовить» совещание. Его можно «подготовить» и после совещания через месяц-два, для чего надо вызвать секретаря того совещания с черновиками протокола. Так вот иногда и бывает: грязь, в которую втопчут правду, выдают за самую правду, лишь бы пуговицы мундира были чисты. Великое дело — честь мундира!

В заключение напомним, что на заседании 6 февраля был поставлен вопрос и о включении в проект земель, не требующих осушения. Справедливости ради и к чести Владимира Степановича Левина мы обязаны сказать, что он обещал это учесть, исправить и даже сообщил, что подобный случай был в Ольховатке, где тысяча пятьсот гектаров также были включены в осушение, но потом якобы по требованию района исключены. Как же этот вопрос освещен «в результате беседы»? А вот как:

«Данные же, использованные автором фельетона о наличии земель, требующих осушения, не учитывают участки почв временно избыточного увлажнения, что дало повод для неправильных толкований».

Так пустить мусть может только Михаил Степанович! Факир! Великий комбинатор из Водхоза! Ведь в с я пойма Тихой Сосны (кроме болот) и есть «участок» временно избыточного увлажнения, все заливные луга, осушение которых — смерть лугам, суть «участки» временно избыточного увлажнения, потому что в этой пойме бывает ежегодно два половодья: разлив Тихой Сосны и разлив Дона, когда течение до самого Острогожска становится обратным, то есть, вопреки половице, река течет вспять. Как мы убедились, оказывается, и честь специалиста тоже может плыть вспять.

...Мне трудно продолжать чтение этого документа. Трудно потому, что Тихая Сосна уже изранена и истерзана. Не помогли ни письма трудящихся, ни печать. Никто из высшего начальства области не мог помочь, не хотел помочь, никто не разглядел сущность губительного проекта, а в Москве тоже не смогли разглядеть это в тумане, напущенном над реками инженером от мелиорации. Тяжко вспоминать красивую реку!.. Но что поделаешь, надо докончить. Нельзя не упомянуть об одном весьма важном обстоятельстве, касающемся как существования рек, так и развития всего сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы России.

ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ И... ЭРОЗИЯ РАЗУМА

В Европейской части СССР водная эрозия (то есть поверхностные смывы и размывы почв) захватила пятьдесят миллионов гектаров, из них сильносмытых и среднесмытых — одиннадцать миллионов гектаров. В одной только Воронежской области смытых земель более пятисот сорока тысяч гектаров, или двенадцать процентов площади сельскохозяйственных угодий. Поразительная цифра!

Волга несет тридцать пять миллионов тонн взвешенных частиц, Дон — семь миллионов, Урал — три с половиной миллиона, Днепр — полтора миллиона.

Только в эти четыре реки поступает ежегодно сорок семь миллионов тонн почвы. Плодородие почв падает, реки (в особенности малые) заиляются.

Эрозия — бич сельского хозяйства. На борьбу с нею государство и колхозы тратят огромные средства. Процесс эрозии на смытых и среднесмытых почвах необратимый. Задача состоит в том, чтобы приостановить эту беду любыми средствами, а не углублять ее, не способствовать развитию процесса гибели почв.

В мою задачу не входит говорить здесь о мерах борьбы с эрозией — этим занимается весьма серьезно несколько организаций, в их числе самая важная — «Агролеспроект». Кстати. В этой системе нет ни единого проекта, который не принес бы великую пользу. Какая разница по сравнению с управлением мелиорации! Одна организация стремится предотвратить беду, другая углубляет беду, нависшую над самыми плодородными землями Черноземья. Но это — к слову. Я лишь ставлю этот вопрос в связи с состоянием рек, в связи с порочными проектами осушения и диким использованием пойм.

С этой точки зрения нас интересует роль техсовета «Росгипроводхоза» РСФСР. Ведь в решении этого совета, которым открывались «беседы», черным по белому написано: «Эрозия оврагов не влияет. . на русло реки Тихая Сосна» (?!). И даже «научное» объяснение тому дано: «...в весенний паводковый период... устья оврагов находятся в подтоплении водами» и эрозия «предотвращается наличием полосы поймы от 0,5 до 1,0 км и более между оврагами и руслом».

Какая цена таким утверждениям? Кто автор «внесенного предложения»? Неужели в техсовете нет ни малейшего представления о размерах эрозии и о пагубном влиянии ее на состояние рек? Трудно поверить в это. Тут что-то очень и очень неладно. Неужели же и в этом случае только честь мундира? Не верю.

К счастью, члены комиссии (не московские!) — главный специалист Воронежской экспедиции «Агролеспроект» Т. Н. Василевский и заместитель начальника Воронежского облуправления лесного хозяйства В. В. Трушевский — не поверили лепету упомянутого техсовета, а внесли в заключение совершенно обратное тому, что решил техсовет мелиораторов. Эти два больших специалиста своего дела занимались в комиссии только вопросами своей специальности и сделали это самым честнейшим образом. Не их вина, что вопрос о порочности проекта осушения рассмотрен тенденциозно, сугубо односторонне, канцелярско-бюрократически. И как приятно, что не каждому ученому, не каждому специалисту можно навязать «авторитетное» решение. Такие люди не похожи на всеисполнительного автора проектов Г. Т. Сухинова. Хороших специалистов больше, чем плохих, везде и всегда. Однако один плохой может наворочать столько, что сто хороших не исправят за сто лет. Вспомните, как некий медведь убивал огромным камнем муху на голове пустытника. То же получается и в мелиорации степных рек при избыточно увлажненной сверхслужливости по принципу «Рад стараться, ваше благородие!». Ведь товарищ Сухинов впервые повез проект с расчетами на использование пойм под травы. Там сказали: нельзя под травы. Что ж, можно под пропашные! Скажут — только под тыкву, будет составлять только под тыкву. «Не влияет эрозия» — значит, не влияет. Дуй до горы!

Дует до горы и Облводхоз, «усиливая» экономическую эффективность: на 1 января 1964 года из якобы осушенных двенадцати тысяч четырехсот гектаров распаханно четыре тысячи гектаров, а засеяно... тысяча четыреста сорок пять гектаров. Десять лет ведется осушение. несколько рек загублено ради этого, а в результате пшник. Освоение идет по принципу «Седьмая неделя — девятая верста». Впрочем, дело даже и не в этом.

Распахано под пропашные и овощные подавляющее большинство поймы Дона на территории области. Для этих же целей распахивались и осушаемые земли (к счастью, по вышеуказанному принципу). С берега Дона я наблюдал такую картину: земснаряд неустанно трудится над тем, чтобы как-то все же проходили баржи с хлебом из Задонска до Лисок, а рядом — буквально рядом! — в пойме два трактора пахут судесчаную почву, которая катастрофически, из года в год, смы-

вается в Дон. Назовем вещи своими именами: дикость при высокой технике! Эти-ми, с позволения сказать, мероприятиями мы способствуем развитию эрозии, уничтожаем плодороднейшие, прямо-таки золотые почвы, губим реки. Почвы пойм должны быть обязательно залужены и облесены в соответствующих местах, а не выброшены в воду. Берега должны быть сохранены, а не разрушены, как это делается по бездарным проектам комбинаторами планов в кубометрах.

Обо всем этом и о многом другом я и собирался сказать сначала перед комиссией. Не пришлось. Оставалось одно: изложить свои убеждения и предложения на заседании облисполкома. Думалось так: «Будут же рассматривать пресловутую справку и выносить решение, там все и изложу». Речь приготовил.

Шло заседание исполкома.

Председатель Николай Михайлович Мирошниченко задает вопрос председателю колхоза имени Ильича Роньшину Ивану Тихоновичу:

— Знакомы вы с проектом?

— Да.

Обернулся ко мне после этого кратчайшего из всех слов Иван Тихонович и посмотрел с какой-то грустью. Это ведь тот самый Иван Тихонович, который 6 февраля говорил перед Левиным так: «Мы — не специалисты, мы не знаем проекта, но мы сомневаемся в его качестве и боимся за судьбу реки». Это он внес предложение «сначала очистить реку от ила». Как уж там значится в протоколе, не знаю, но теперь он ответил «да». Я его понимал по одному взгляду: ясно — результат «беседы» с кем-то. Понимаю его и теперь, через год, когда он увидел, что в его колхозе скот поить негде (село Мутник) и что он, как говорят уважающие его колхозники, написал уже в область, что была еще комиссия, после которой река испорчена навеки. Все понятно. Иван Тихонович!

Аналогичный вопрос, из слова в слово, задан и начальнику Острогожского производственного управления товарищу Зеленеу:

— Знакомы вы с проектом?

— Да.

Тогда мне казалось, что он действительно поверхностно «знаком», просто не понимает сути проекта, всей порочности, мне же не верит ни на каплю. Казалось, я разгадал его «да». Но как ему теперь сказать «нет»? Иван Тихонович, например, начал говорить «нет» слишком поздно, а вот сказать товарищу Зеленеу так же — гораздо труднее: руководитель района.

Итак, шло заседание. Шел весьма короткий разговор. В частности, автор проекта, отвечая на вопрос об уклонах в отдельных профилях реки, опять же заявил, что «река потеряла русло (?) и растекается по всей пойме». Как все заучено и как у него все ложно! Это он сказал о той реке, о которой совсем недавно защищена диссертация в Воронежском госуниверситете и которой автор проекта абсолютно не знает, так как проект-то составил за столом без надлежащих исследований. Это — о той реке, где сотни моторных лодок бороздили русло от Острогожска и до Дона. Признаюсь, я очень боялся, что на том заседании будет принята «за основу» скудость мысли Суханова. Надо было — пришло наконец время! — выступить там, где меня выслушают. Попросил слова.

Тогда и сказал во всеуслышание председатель облисполкома Николай Михайлович Мирошниченко знаменательные слова:

— Мы пришли сюда, товарищ Троепольский, не полемизировать.

И слова не дал.

И все же я попробовал предложить хотя бы рассмотреть одну-единственную таблицу. Даже подошел к столу исполкома, но... после слов председателя о том, что обсуждать — это не значит полемизировать, на таблицу смотреть не захотели.

Может быть, все это и означает слова «подготовить исполком»? Не знаю. «Важно — как поставить вопрос!» Председателю облисполкома почему-то не было интереса выслушать критику проекта и критику работы Облводхоза как отдела исполкома. Цель была достигнута. Но зато Николай Михайлович не подозре-

вал, что была раскрыта еще одна карта. Игра шла на невидимого туза: а вдруг вот так и выяснится, что мы наворочали и накуролесили с реками! Нет, так нельзя.

Кто знает, всегда ли мы замечаем у себя эрозию мышления? Не захватила ли она площади гораздо большие, чем водная эрозия?

НЕПРОИЗНЕСЕННАЯ РЕЧЬ

Уважаемые члены исполкома Облсовета депутатов трудящихся!

Уважаемый председатель товарищ Мирошниченко!

Вопрос о воде и почвах чрезвычайно важный во всех смыслах для развития сельского хозяйства Черноземного края, а следовательно, и для благополучия его жителей в настоящее время и в будущее, близкое и далекое. Полагаю, что все члены исполкома полностью согласны с этим. Мне не хотелось бы сомневаться в том, что в своем решении исполком будет исходить именно из этой концепции. Ведь осушено тринадцать рек! Что случилось с ними? Загублены или не загублены они? Как такое «комплексное мероприятие» отразилось на благополучии населения? Надо или не надо так резко понижать уровень воды в реках степи и увеличивать расходы воды? Создается такое впечатление, будто бы эти вопросы не поднимались ни в печати, ни в письмах населения в разные организации. Таким образом, при рассмотрении этого вопроса комиссией оставлено в стороне, отброшено самое главное.

В мою задачу в данный час входит одно: доказать колоссальный вред, нанесенный сельскому хозяйству области неразумным, антинаучным вмешательством в природу края. Но поскольку комиссия касалась только проекта осушения на Тихой Сосне, и начну с этого, так как не теряю надежды на спасение реки и на ее защиту от бездумного и бездарного проекта.

В основу проекта положен следующий принцип: «Заблачивание поймы произошло потому, что вода вышла из берегов» и, как заявил вновь здесь автор проекта товарищ Сухинов, «река потеряла русло и растекается по всей пойме».

Такая, с позволения сказать, «теория» абсолютно неприложима ни к Тихой Сосне, ни к другим степным рекам нашего края, что и постараюсь объяснить.

В прошлом вся пойма использовалась под сенокос и отчасти под огородничество. То же самое, кстати, было и на других реках — Икорец, Черная Калитва, Потудань и других. Прошу обратить внимание на то, что так использовалась пойма и тогда, когда уровень воды был выше, а не ниже: например, на Тихой Сосне, только на территории Острогжского района, было пять плотин, на Икорце — шесть и т. д. На каждой степной реке были такие плотины.

Предлагаю вашему вниманию диаграмму анализа меженного уровня реки Тихая Сосна за последние двадцать лет. Как видите, уровень воды в реке не повысился, а понизился, несмотря на продолжающееся заиливание как следствие эрозионных процессов. Таким образом, совершенно очевидно, как аксиома, что причиной увеличения влажности лугов поймы и их частичного заболачивания послужило вовсе не повышение уровня в русле. Действительная причина заключается в следующем: заболоченные места в пойме Тихой Сосны (от Ольшана до урочища Дальнее) в подавляющем большинстве находятся выше уровня реки. Здесь река нигде не вышла из берегов.

Тогда возникает вопрос: каким образом значительная часть лугов области ушла из пользования? Ответ на это можно получить (конечно, при желании!) не только из того, что мы видим на практике, но и из самых элементарных основ гидрологии:

«В заболачивании лугов важную роль играет луговая растительность, которая на достаточно увлажненных участках создает плотную дернину, затрудняющую проникновение кислорода к почве. Это способствует накоплению перегной-

ных кислот, вызывающих гибель луговых растений. Замена луговой растительности осоками и мхами приводит к образованию болот» (В. Л. Булах, Н. А. Соломенцев, В. А. Чекмарев, «Основы гидрологии и сельскохозяйственных мелиораций»).

Так повышенная увлажненность поймы в большинстве случаев на большинстве степных рек и появилась местами только потому, что пойменные луга были заброшены, одичали и наконец вышли из землепользования. Так, сначала забросив луга, мы объявили, что, спустив реки, мы все распахнем под пропашные. А ведь любой колхозник знает: забрось пойменный луг, не коси его пять лет — и пойдет кочкарник, осока, то есть начнет образовываться болотистое место. Выдуманное повышение уровня воды в реке тут ни при чем. В большинстве мест наших пойм одно только окультуривание луга понизит влажность его до нормы (для трав). А если провести очистку русла (не зверские прокопы!), то не только можно полностью вернуть луга в их прежнее состояние, но и значительно увеличить их площади. Собственно, болот в Воронежской области немного. Чтобы убедиться в этом, просмотрите почвенную карту области — она перед вами. Посмотрите: ради какого кусочка болотной почвы зарезана река Икорец! Ради чего предполагается загубить Тихую Сосну! Где эти грандиозные болота? Ради чего вот уже много лет Облводхоз перестал делать пруды и водоемы, а спускает реки, обезвоживая край?

Как видите, я стараюсь довести доказательство до полной очевидности. И я не понимаю, как можно это не видеть и как можно не замечать всего, что творится на степных реках края. Тем не менее продолжу свои доказательства.

Выше я привел пример заболачивания вследствие одичания лугов. Второй характер заболачивания — это подземные воды. Примером можно взять пойму в районе урочища Дальнее. Здесь болота были с незапамятных времен. Теперь они захватили и часть поймы из-под заброшенных сенокосов (например, колхоз «Криниченский» из года в год не выкашивает своих пойм). Но когда-то землевладелец Кладов провел в Дальнем несколько каналов, после чего вся пойма использовалась полностью: даже близ острова Дальний росла капуста, не говоря уж о двух- и трехукосных лугах. Причем это было очень дешевое осушение даже при ручном труде. Потом каналы были заброшены, с годами заросли с краев, пойма вновь одичала, а луга колхоза «Криниченский» в большей части представляют теперь осоковый кочкарник.

В этих местах, о которых мы говорим, все озера и озерки (например, Головка и другие) связаны между собою протоками, чаще всего уже не проходимыми для челнока, и расположены по естественным понижениям, так называемым тальвегам. Вода из них течет в реку через Дальневский затон. Если бы вода выходила из берегов, то никакого постоянного течения здесь не могло бы быть. Но озера зарастают с краев камышами и резаком, постепенно заиляясь и расширяя заболачивание вокруг. Помещик положил в основу именно это обстоятельство: система озер и озерков с подземным питанием водой и есть причина заболачивания вокруг них. Он соединил часть их между собою каналами, часть воды (большую) отвел в реку (Кладовский канал), часть же соединил искусственной протокой-каналом с затоном реки (Крейда). При исследовании этой системы поражаешься точному знанию поймы и экономичности мелиоративных работ.

По проекту же теперь надо, оказывается, спустить реку, понизив уровень до катастрофического. Между тем в подобных местах степных рек единственно правильный и самый экономичный способ осушения — это отвод воды по естественным понижениям, связанным с питанием потоками подземных вод.

Я утверждаю, что в проекте (в проектах) решение вопросов осушения антинаучно и без надлежащих гидрологических исследований. В противном случае нельзя было не заметить того, что понятно и видно любому колхознику.

Как вы видите, оба характера заболачивания лугов не имеют никакого отношения к выдуманному повышению уровня в русле. Впрочем, это даже и не выдуманно (чтобы выдумать, надо ведь думать), а взято шаблонно и перенесено, как

«теория», с тех мест Советского Союза, где действительно большая часть площадей заболочена. Ни на одной реке Воронежской области уровень воды не повышается, а медленно понижается, колеблясь по годам, к чему есть причины, вытекающие из особых климато-метеорологических и других природных условий степи, о которых скажу несколько позже.

Итак, если в проекте положен в основу «выход реки из берегов» и если этого в действительности нет, то, следовательно, это явный брак, где все так же, как и в бракованной металлической детали: с одного бока все гладко, а с другого сквозная трещина. Поразительно, почему мы смотрим только с одного бока!

Если этот проект будет исполнен, то (прошу запомнить мои слова) после «регулирования» русла, то есть уничтожения великолепной реки, вы сможете поднять лодку на высоту двух метров, поставить ее в Кладовскую канаву и поехать в озера Дальнего так же, как если бы не было никакого «регулирования».

Перехожу к следующему, одному из главных — если не самому главному, — пороку проектов. Этот порок заключается в скудости мысли отдельных проектировщиков в области знаний геологического формирования степных рек и их долин. Считаю обязанностью говорить об этом, так как комиссия начисто опустила и этот вопрос и, как выяснилось, некомпетентна в нем, а консультаций с видными учеными области, известными всему Советскому Союзу, не желала.

Позволю себе начать эту часть моего выступления с выдержки из «Общей геологии»:

«Каждая река... стремится выработать продольный профиль равновесия. Особенность этого профиля речного ложа заключается в том, что уклон речного дна от верховьев постепенно и вполне закономерно уменьшается по направлению к устью...» (подчеркнуто мной. — Г. Т.). «Профиль равновесия формируется не только по всей длине реки, но и по отдельным участкам ее течения, например, от нижнего уровня одного уступа-водопада до нижнего уровня другого...» «В одной и той же реке может образоваться ряд продольных профилей равновесия» (проф. М. М. Чарыгин, «Общая геология»).

При рассмотрении профилей равновесия степных рек оказывается: каждая из них сформировала несколько таких профилей (от быстрого до быстрого, от переката до переката, от уступа до уступа). Так, например, Тихая Сосна имеет шесть профилей равновесия от Дона до границы Алексеевского района, Белгородской области. Река существует благодаря формированию их, она живет ими. Уничтожьте профили равновесия — и реки не станут.

Проект же именно это и предусматривает — уничтожить все продольные профили равновесия. Может ли быть что-либо страшнее этого, бездумнее и тулее? Не может!

Если будет исполнен этот проект, то большая часть прекрасных пойменных почв будет иссушена, в городе Острогожске негде будет искупаться; крупная железнодорожная станция Острогожск останется без воды; река станет непроходимой для моторной лодки, а местами и для челнока, то есть будет жалкий ручей; в колхозе имени Ильича трудно будет даже напоить скотину; а борта... останутся; останутся не только по причинам, уже указанным мной, но еще и потому, что каналы-то в пойме намечены так, будто уровень грунтовых вод есть плоскость, а не кривая.

Вспомните эти слова в том случае, если исполком не приостановит исполнение проекта!

Мне могут не простить того, что я называю вещи своими именами. Среди приглашенных я вижу тех, кто не приемлет доказательств от «наивных неспециалистов» и кто из мелиоративной посредственности старается делать тайну тайн, а ремесленнические поделки иной раз выдает за проекты. В целях доказательства безрассудства, творимого на степных реках, мне пришлось в течение двух лет заниматься гидрологией и мелиорацией не только по специальной литературе, но

и по консультациям с видными учеными и специалистами. Я прошел пешком или проехал несколько рек по страшным следам Облводхоза, поэтому и не имею права не говорить о том, о чем говорю. Однако мне кажется в некотором роде странным отсутствие среди приглашенных на это заседание крупных ученых, живущих рядом с нами (гидрогеологов, гидрологов, почвоведов). Это обстоятельство, несмотря ни на что, обязывает меня сделать еще одно замечание гидрогеологического порядка.

Из трех периодов всего цикла речной эрозии (юность, зрелость, старость) степные реки в своем большинстве находятся в третьем из них. Это период старости, для которого характерно образование меандр (извилин русла). Почти все долины степных рек эрозионного происхождения. Естественно-геологическое образование профилей равновесия в таких долинах абсолютно не допускает переноса русла в легко размываемое ложе. Это элементарно, как дважды два. Но что поделаешь, если приходится доказывать уже доказанное не раз. Ведь пытаются опровергнуть закон природы! Ради чего? Ради одного: больше кубометров вынудой земли!

Таким образом, не только уничтожение уступов, перекатов и естественных плотин, но и спрямление меандр в условиях таких рек, как Тихая Сосна. Икорец, Черная Калитва, Осереда, Тавровка и другие, уничтожит эти реки или в лучшем случае поставит их в разряд умирающих. Из элементарной же гидрологии известно, что «извилистая (меандрическая) форма является наиболее устойчивой для рек, протекающих в сравнительно легкоразмываемых грунтах» («Основы гидрологии»). Да разве же можно в долинах песчаного или илистого сложения спрямлять русло?! Надо простое: чистить ложе рек. А что делается? Десятки экскаваторов выполняют «лозунг»: больше кубометров — больше денег. Выполняют на прокопах при спрямлении. А начальник Облводхоза отвечает на протесты населения так: «Река будет... полноводной и глубокой». При всем желании это не может не показаться издевательством над законом об охране природы.

Теперь для меня остается непонятным не то, почему составители проекта пренебрегли основами гидрологии и наплевали на закон об охране природы в РСФСР, а то, каким образом утвердили проекты умерщвления рек и защищают его.

В самое последнее время мне стало известно, что облисполком якобы не утверждал проектов, Госводхоз РСФСР — тоже («консультативно»!). Следовательно, утверждает-то, оказывается. правление колхоза, то есть отвечает в конце концов якобы председатель колхоза и отчасти исполком райсовета (!). А кто же там может разобраться в тайнах тайн мелиорации!.. Так вся система управления мелиорации и методы работы Облводхоза рассчитаны на полную безответственность: кто бы и что бы ни накуролесил, сколько бы степных рек ни загубили — никто не отвечает! Никто — хотя деньги получают многие и премии получают крупные.

В этом смысле, имея в виду работу Облводхоза и порочные проекты, исполком не должен быть близоруким. Хочется верить, что наступит просветление и руководство области найдет мужество признать допущенные ошибки. Хочется верить, что вопрос будет поставлен в другой плоскости: как спасти испорченные реки?

Третья часть моего выступления касается одного лишь вопроса: можно ли так резко понижать уровень воды на наших реках, как это делается?

Везде, где прикоснулась напористая длань Облводхоза, уровень рек понижен на один-полтора метра. Так по крайней мере утверждают все, кто причастен к этому злу. на самом же деле уровень понижен значительно больше. Помимо всего прочего. «специалисты», уничтожающие реки, превозносят как положительное достижение увеличение расходов воды в этих реках в полтора-два раза. Эта цифра повторяется у них везде как заслуга. Более того, кандидат технических наук. он же директор Курской зональной опытно-мелиоративной станции, товарищ А. Н. Корягин, включившись в общий хор защитников губителей степных рек,

приводит в подтверждение данные этой станции фактически... за два года (!) и далее утверждает следующее:

«Каждый мелиоратор знает, что осушение улучшает внутригодичное распределение стока. увеличивая бытовые расходы отрегулированных рек-водоприемников в 1,5—2,0 раза (подчеркнуто мной.— Г. Т.). Так, например, бытовой расход реки Дубна, Московской области, увеличился в два раза по сравнению с тем, который был до регулирования. Для бассейна реки Припять коэффициент регулирования равен 1,5 и так далее» (подчеркнуто мной.— Г. Т.).

Под словами «и так далее», видимо, следует понимать степные реки Черноземья.

Итак, утверждая, что иссушения пойм не происходит и что «опасения не обоснованы», нам ставят в пример реки... Дубна и Припять. Очень жаль, что не приведен пример из Ленинградской области, где шестьдесят пять процентов площади сельскохозяйственных угодий заболочены. Но насколько надо быть далеким от практики, насколько надо «упростить» науку, сведя ее к шаблону, чтобы прибегать к такому доказательству. Диву даешься антинаучности довода ученого!

Попробуем доказать и это.

«Каждый мелиоратор» должен знать: если водные ресурсы края истощаются быстрее, чем пополняются за счет атмосферных осадков, то такое явление именуется отрицательным водным балансом; если же количество осадков больше, чем расход водных ресурсов края, то это определяется как положительный водный баланс. Мы согласны, что об этом «в инструкции ничего не сказано», но полагаем, однако, что для ученого недостойно подобное отношение к главному условию, без учета которого нельзя подвезжать близко с экскаваторами-деньгочерпалками ни к одной реке, и что любой проект, составленный без учета водного баланса края, вреднейшее «рукомесло».

Нет такой области деятельности человека на земле, нет ни одной отрасли науки, где бы закон многообразия не имел такого решающего значения, как в сельском хозяйстве. Здесь не может быть универсальных средств и приемов, к сожалению так часто внедряемых и «спускаемых». Всякое приведение к рецептам и однообразию методов и приемов подавляет инициативу умных и иногда выдвигает на первый план сильно неумных. Например, рецептурный подход в схемах агроправил, севооборотов, набора культур (в особенности обработки и использования почв) всегда был уделом агрономов без агрономической мысли. К сожалению, и отдельные из ученых (подчеркиваю: единицы!) склонны иногда шаблон выдавать за самую науку. Ярким примером тому может служить и «доказательство примерами» товарища А. Н. Корягина.

Ведь реки Дубна и Припять протекают в условиях положительного водного баланса в круговороте воды. Понизив уровень на Припяти (что далось весьма нелегко), никто не иссушил пойму, а вот понизив уровень на два метра на реке Икорец, Воронежской области (что далось очень легко!), пойму испортили, так как средняя и верхняя часть ее еще до так называемого «регулирования» имела глубину грунтовых вод в два — пять метров. И это — при наличии песчаных почв!

Увеличение расходов воды в степном крае — это иссушение края, это увеличение разрыва между поступлением и расходом воды, это — будем опять называть вещи своими именами — постепенное умерщвление природы края. Такой подход к мелиорации степных рек с благословения некоторых «ученых» нельзя называть иначе как недомыслием, санкционированным руководством области.

В. В. Докучаев неопровержимо доказал, что степи наши неумолимо иссушаются. Это ведь в Воронежской области он основал опытную станцию близ Таловой. Именно здесь он провел целый ряд оригинальных исследований в целях разработки мер борьбы с иссушением степей. Может быть, данные В. В. Докучаева и его заключения устарели? Ничуть! Землечерпатели просто не принимают их во внимание, у них есть установки и инструкции, они, наоборот, способствуют иссушению степей, увеличивая расход воды в два раза, уничтожая при этом рыбу начи-

сто, катастрофически сокращая количество дичи, жестоко обедняя всю фауну края.

Вопрос этот — проблема из проблем. От того, как мы сумеем сохранить и увеличить водное зеркало водоемов степи, какое влияние будем оказывать на малый кругооборот воды, зависит будущее края, будущее сельского хозяйства. В этом смысле резкое понижение уровня воды в реках ради осушения небольшого количества болотных почв — операция дикая и жестокая по отношению к потомкам. Не понижать уровень рек, а строить плотины на малых реках — вот единственно правильное мероприятие, если думать о будущем, о благополучии населения в настоящем и о высоком урожае всегда. Всю степь мы никогда не сможем полить путем орошения, но сохранить влажность воздуха в пределах теперешних колебаний отчасти в наших силах.

Еще и еще раз: нельзя понижать уровень воды в наших реках степей, как это делается. Для трав, например, нормы осушения вполне достаточны в сорок — пятьдесят сантиметров в среднем за вегетационный период. Это рекомендуется и мелиоративной наукой. Следовательно, для осушения наших пойм достаточно только прочистить реки малыми земснарядами без каких-либо прокопов. Исполком облсовета должен прекратить безрассудство.

На основании всего сказанного вношу следующее предложение:

1. Созвать в самое ближайшее время в Воронеже совещание специалистов и ученых — гидрогеологов, гидрологов, мелиораторов, агрономов, председателей колхозов и председателей сельских Советов из прибрежных колхозов и сел, где закончены мелиоративные работы, и поставить на обсуждение один вопрос: «Результаты работ по регулированию русел и мелиорации пойм на реках области, экономический эффект от этого и состояние этих рек».

2. Просить Главсельводстрой СССР включить в план исследования (по методике Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации) проверку результатов всех мелиоративных работ на реках Воронежской и Белгородской областей.

3. На Тихой Сосне, в соответствии с решением совета по осушению от 6 февраля 1964 года, прочистить русло без каких-либо прокопов и сохранить на реке все плесы, затоны и озера в пойме, имея в виду, что Тихая Сосна является одним из лучших мест для икромета и размножения рыбы во всем донском бассейне.

4. Признать, что Облводхоз (начальник В. С. Левин) за последние годы занимается не обводнением степей, а уменьшением воды в крае, катастрофически увеличивая расходы воды.

5. Просить ВНИИГиМ разработать вопрос о восстановлении рек области с расчетом сохранения естественных профилей равновесия, устройства плотин и ликвидации прокопов там, где они особо вредны.

6. Запретить распашку пойм Дона и его притоков, залужив эти поймы многолетними травами.

7. Впредь не допускать снижения уровня воды в реках более того, какое получится после прочистки русла той или другой реки.

Уважаемые члены исполкома! Уважаемые товарищи приглашенные на это важное обсуждение! Я сказал здесь почти все, что хотел сказать, но... не все, что хотел сказать. В частности, опустил вопрос о приписках площадей, которые не подлежат осушению, о тех приписках, которые вольно или невольно закрывают факт заброшенности и одичания многих лугов наших пойм. Кроме того, мы ведь распашиваем под пропашные не только поймы, но и эрозионные склоны. И все это делаем, окруженные богатейшим черноземом, еще не научившись как следует получать от него все, что он может дать. Так мы уподобляемся человеку, который из вороха золота выбирает только медяки.

Полагаю, что если даже часть пунктов моего предложения будет обсуждена здесь членами исполкома и присутствующими, то ответ на невысказанные вопросы придет сам собой, а я в данном случае смогу ограничиться представлением вот этой таблицы на ваше рассмотрение.

ВЕРЮ!

Читатель уже знает, что эта речь не произнесена и ничего этого сказать не было позволено: обсуждать — это значит не полемизировать. Такая установка. Оказалось, что формула М. С. Гореславского «Важно — как поставить вопрос» даже не полностью соответствует «надлежащему» стилю руководства. Лучше другое: «Важно не то, как поставить вопрос, а важно то, чтобы не допустить постановки вопроса».

Так, несмотря ни на что, практика не стала критерием оценки выполненных губительных проектов. Знаю, такой результат обиден и для настоящих ученых-мелиораторов. Среди них есть люди научного подвига, и этот подвиг свершается в преодолении мучительных раздумий и сомнений, а многие из них знают и то, что мелиоративные работы ведутся по единому шаблону в различных климатических условиях и без конкретного подхода к каждой отдельной реке. Есть такие люди! Они есть в Воронеже, в Ленинграде, в Москве. Везде! Но почему они молчат, почему не протестуют против профанации науки, против недомыслия, ремесленничества и той нечистоплотности, когда количество вынутых кубометров земли становится важнее самой реки, важнее интересов народа? Почему вы молчите, дорогие мои товарищи?!

И вдруг мне становится вновь больно... Я вспомнил, что Тихая Сосна умирает... Хотел спасти ее, но не сумел. Чувство какой-то тяжести, чувство вины не покидает меня... С этой тяжелой ношей в душе я несколько дней стоял на берегу этой реки. Трудно!

Да, негде уже искупаться жителям города Острогожска, а проектировщик, тот же Сухинов, «ставит вопрос» так: «Дайте еще сто тысяч рублей — выкопаю вам котлован для... купанья». Какое издевательство! Это на такой прелестной реке рыть теперь котлован!.. Да, главная приемная труба водопровода станции Острогожск уже на поверхности воды... Да, мы поднимали челноки на высоту в два метра из реки и ехали по Кладовской канаве в озера Дальнего... Впрочем, все мои предположения оправдались. Горько от этого.

В иные минуты мне кажется, что все это сон, что это невероятно, что ничего этого не было: не было ни заседания исполкома, не было ни Сухинова, ни Левина, ни Гореславского... Но бедная моя, израненная Тихая Сосна, с обезображенными, оголенными берегами, с ужасной черной наготой корневищ, пробуждает от сна... Она зовет. Все это было. Все это свершилось. И свершилось уже после... второй комиссии, после которой нанесен смертельный удар — прокоп у Байдака.

Нет, товарищи! Слишком серьезны и жутки следы на воде. чтобы их могли загладить только одни ведомственные комиссии. Сначала надо было спросить народ! С безответственностью перед ним надо покончить решительно. Еще иной раз находятся горе-руководители, считающие, что только они якобы знают, что людям хорошо, а что плохо, и что сами люди того не знают. От таких надо избавляться. Именно такого пошиба люди прибегают к термину «заинтересованные организации» и боятся как огня собрания колхозников, сельских и городских сходов. Так единственно правомочные коллективы часто остаются в стороне при решении важнейших вопросов их жизни, даже таких, как судьба рек, на берегах которых они живут. А ведь было бы совсем не то, если бы вдруг да и произошел бы такой казус: представьте себе, что товарищ Черчинцев, написавший «бумагу» В. В. Иванову (о которой мы упоминали), отчитался бы перед жителями сел Второе Никольское, Раздольное и Хренище о результатах «мелиорации», представьте, что товарищ Левин перед жителями Острогожска, села Мутник или перед собранием рабочих механического завода в Острогожске (куда он писал ответ на «жалобы», что река «будет полноводной») выступил бы с отчетом о проделанной «работе»; представьте себе, что на тех же собраниях товарищ Зеленев заявил бы: «Я был знаком с проектом, знал, что из этого получится, и поддерживал»... Что бы тогда вышло? Вне всякого сомнения, можно ручаться за усиленную бледность лица того, другого и третьего.

Но... такие случаи, оказывается, исключены (по крайней мере были исключены). Ведь можно послать ведомственную или какую-либо другую комиссию, включить в нее областных товарищей, и та комиссия решит, что для народа хорошо и что плохо.

Была комиссия! Была. Это вторая комиссия, после которой и Тихая Сосна может быть зачислена в разряд умирающих рек. Так туман, напущенный некоторыми, надолго повис над реками степи, а под его прикрытием экскаваторы продолжают свою работу.

И все-таки...

Нет, дорогой читатель! Ни на каплю не потеряна вера в торжество правды. Если бы это было не так, не было бы этих строк.

Все сильнее растет жажда поисков милых сердцу людей — они на каждом шагу, а все хочется знать их больше. Но что поделаешь, если сейчас приходится писать не роман и не повесть о них, а статью... о реках. Так надо. Срочно надо.

Пришла пора, когда пересматриваются многие непродуманные, субъективные решения. Верю, что будут пересмотрены и губительные для степных рек проекты, а исполнение их будет немедленно приостановлено.

Май—ноябрь 1964 года.



Б. КЕДРОВ

★

ПУТИ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ

Раздумья о судьбах естествознания

Вещи стали называться своими именами

На протяжении последних двух десятилетий вопросы биологии не сходят со страниц нашей печати, причем не только специальной, естественнонаучной, но и предназначенной для самых широких кругов читателей. После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года вопросы биологии были произвольно превращены в чисто политические, и борьба с инакомыслящими велась здесь с не меньшим ожесточением и теми же по сути дела способами и средствами, как и в области политики. Такое же наклеивание порочащих ярлыков на неугодные воззрения, такая же расправа с представителями неугодных направлений в науке, такое же преследование честных людей, единственная «вина» которых состояла в их несогласии со взглядами академика Лысенко и его последователей, которые именовали себя «мичуринцами». Достаточно было кого-либо из ученых, даже не биологов, окрестить морганистом-вейсманистом-менделистом, как отпадала автоматически необходимость подтверждать выдвигаемые против него обвинения научными аргументами, а у того, кого обвиняли в смертном грехе морганизма-вейсманизма-менделизма, немедленно и столь же автоматически исчезала возможность защищать свои взгляды, доказывать их, приводить в подтверждение их какие-либо факты и теоретические доводы. Совершенно таким же образом в те грустные времена достаточно было окрестить честного человека врагом народа, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Как в зеркале, борьба в биологии копировала то, что происходило тогда во всей стране и что получило впоследствии определение: культ личности Сталина.

С известными колебаниями такая ненормальная обстановка в биологии сохранилась до середины октября прошлого (1964) года. А начиная с этого времени в нашу печать хлынул целый поток материалов, приподнявших завесу, которая прикрывала собой вопиющее неблагополучие в области биологической науки. В одних критических статьях имя академика Лысенко, который более других ответствен за создавшееся положение в биологии, не называется, в других — называется открыто. Но во всех без исключения материалах во весь голос говорится о том торможении, которое чинили противники современной генетики научному прогрессу, о том ущербе, который они нанесли своими действиями практике сельского хозяйства. Показательна в этом отношении статья известного биолога Д. Беляева, опубликованная в «Правде» 22 ноября 1964 года. Вывод ее таков: «Не секрет, что отставание в области генетики в нашей стране в значительной мере связано с отрицательным влиянием культа личности Сталина, с фактами произвола и администрирования в науке. Произвол в отношении генетики особенно проявился в 1948 году. После известной августовской сессии ВАСХНИЛ генетика была объяв-

лена буржуазной лженаукой, идеализмом, метафизикой и т. д. Нет ничего ошибочнее этих утверждений. Наука, изучающая материальные структуры, явления и процессы, вскрывающая законы, ими управляющие, использующая эти законы для практики, не может быть ни идеалистической, ни метафизической».

Как видим, вещи стали называться теперь своими именами. В статье далее говорится: «Было бы очень полезно, если бы некоторые наши философы, опираясь на классический ленинский анализ философских вопросов естествознания, разобрались, наконец, в методологии современной генетики».

Задание философам дано, вопрос сформулирован точно и правильно, и я, по мере своих возможностей, попытаюсь дать на него свой посильный ответ. Разумеется, ответ самый предварительный и далеко не полный, тем более что я по специальности не биолог, находящийся в самой гуще событий, совершающихся в биологической науке, а химик и философ. Но все же, несмотря на это, я осмеливаюсь сделать попытку ответить на вопрос, поставленный Д. Беляевым перед философами.

Необходим исторический подход

Для того, чтобы разобраться в каком-либо сложном, спорном и запутанном вопросе, обязательно нужен исторический подход. В. И. Ленин учил, что марксизм, то есть диалектическая логика, требует безусловно того, чтобы самостоятельно, со своей точки зрения была проанализирована как вся история данного спора, так и весь подход к вопросу, вся постановка вопроса в данное время, при данных конкретных обстоятельствах.

Подходя к анализу философской стороны разногласий и споров в биологической науке, я буду стремиться к тому, чтобы следовать ленинскому совету — придерживаться прежде всего исторического взгляда на предмет спора. Такой подход позволит выявить чрезвычайно важную особенность развития отдельных отраслей научного знания.

На первый взгляд может показаться, что пути познания жизни отличаются существенным образом от путей познания неживой природы, образованной различными видами вещества и энергии. Жизнь — это настолько качественно особая форма движения материи, что уже заранее можно предположить, что сущность ее должна раскрываться совершенно иначе, чем сущность явлений, связанных с веществом и энергией, совершающихся в неорганическом мире.

Между тем законы всякого познания носят общий характер и не зависят от того, что именно познается, каков в качественном отношении сам предмет исследования. И это касается познания не только природных явлений, но и явлений, связанных с человеком, с общественной жизнью.

Общие пути познания их в конечном счете едины, несмотря на все их качественное своеобразие. По этому поводу мы находим у В. И. Ленина в «Философских тетрадах» исключительно важные положения. Ленин отмечал следующий ход всякого научного познания: познание в непосредственных явлениях открывает сущность, следовательно, оно движется, углубляется от явлений к сущности и от сущности менее глубокой к более глубокой сущности. Таков действительно общий ход всего человеческого познания, всей науки вообще, констатирует Ленин. Таков ход и естествознания, и политической экономии, и истории.

И далее В. И. Ленин ставит, как он выразился, чрезвычайно благодарную задачу — проследить сие конкретнее, подробнее на истории отдельных наук.

В число таких отдельных наук входит, конечно, и биология. Но если ее историю за последнее столетие рассматривать не изолированно, а в тесном взаимодействии с историей всего естествознания и других его отраслей, особенно физики и химии, то могут раскрыться чрезвычайно важные и любопытные исторические связи и параллели, которые исчезают из поля зрения исследователя, если история биологии берется как нечто самодовлеющее.

Говоря об историческом подходе, мы имеем в виду подлинно научный подход, основанный на объективном анализе развития научных идей и теорий, а не субъективистскую трактовку исторических событий, приуроченную к текущей ситуации и к вкусам отдельных лиц. Такова, например, книжка одного историка естествознания, написанная сразу же после августовской сессии ВАСХНИЛ и озаглавленная «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку». На страницах 213—214 этой книжки говорится: «Мичуринская биология и, в частности, теория стадийного развития растений разрабатывались в непримиримой борьбе против вейсманистских лжеучений, проповедуемых группой советских биологов, потерявших связь с народом. Эти биологи представляли антинаучное, антинародное течение, вредное для родины. Мичуринская биология — прогрессивное научное течение, вытекающее из патриотического служения интересам родины. Победа мичуринской биологии на августовской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина в 1948 году была исторической победой патриотической науки».

Это образец того, как подлинно историческое исследование может быть подменено писанием, весьма смахивающим на политический донос. Не о таком подходе должна идти речь...

Сто лет назад

Не уходя далеко в прошлое, остановимся коротко на последних этапах развития биологии и всего естествознания.

Оглянемся на сто лет назад. Наступил 1865 год. Прошло только пять лет с небольшим после выхода в свет знаменитой книги Чарлза Дарвина «Происхождение видов», которая вызвала глубокий переворот во взглядах на живую природу и на многие десятилетия вперед предопределила магистральную линию развития всей биологической науки и даже всего естествознания. Вместе с другим великим открытием естествознания XIX века — законом сохранения и превращения энергии — дарвиновская теория эволюции наложила отпечаток на умонастроение всех передовых людей того времени. И не случайно XIX век получил название «век пара и Дарвина».

Работа Дарвина дала гигантский толчок всей биологической науке. Она была не просто итогом и обобщением пройденного пути, но и программой дальнейших биологических исследований. Непосредственно вслед за ее опубликованием, в шестидесятых годах и позднее, появились работы Э. Геккеля, К. А. Тимирязева, братьев А. О. и В. О. Ковалевских, И. М. Сеченова и целой армии биологов-дарвинистов, которые смело двинулись вперед по пути, указанному Дарвином. Реакционные идеи, которые противопоставлялись дарвинистическому движению, чтобы преградить ему дорогу, сметались ходом событий.

Надо перенестись мысленно на сто лет назад, чтобы почувствовать тот дух смелых исканий и дерзаний, который охватил, воодушевил и вооружил передовых ученых в их борьбе за истину против реакции, мракобесия и поповщины, — а уже во второй половине прошлого века, особенно после Парижской коммуны, реакция стала поднимать голову.

Дарвинизм был непобедим потому, что он раскрывал всеобщую закономерную связь явлений природы и утверждал в естествознании идею развития. А это было требованием времени и отвечало самым острым, насущным потребностям всей науки, всего научного познания. Вместе с дарвинизмом в естествознание вступала и диалектика, причем вступала неизмеримо быстрее и полнее, нежели в результате какого-либо другого естественнонаучного открытия. Это сказалось в первую очередь на биологии, а через нее и на других отраслях естествознания того времени.

Когда спустя десять лет после опубликования книги Дарвина Д. И. Менделеев открыл периодический закон химических элементов, многие ученые увидели в его периодической системе элементов как бы застывшее отражение процесса

развития вещества во Вселенной. Не случайно английский химик Уильям Крукс назвал трактровку менделеевской системы в духе эволюционизма «неорганическим дарвинизмом».

Идея всеобщей связи и развития — а это составляло методологическую основу всего дарвиновского учения — быстро проникла тогда во все отрасли естествознания. В органической химии в начале шестидесятых годов XIX века А. М. Бутлеров создал «теорию химического строения», и примерно с того же времени начались работы Карла Шорлеммера (друга Маркса и Энгельса) по изучению парафинов («клеточки» органической химии) и созданию системы органических соединений, в которой воплощалась диалектика данной науки. В 1865 году Фридрих Август Кекуле решил очень трудную задачу, касавшуюся строения целого класса так называемых ароматических соединений (производных бензола): он предложил циклическую формулу бензола. Вскоре после этого были синтезированы многие сложные органические вещества, в том числе ализарин.

В физике быстро развивались молекулярно-кинетическая теория газов и термодинамика на базе углубления ученых в закон сохранения и превращения энергии. Подготавливалось дальнейшее распространение этого закона на область химических явлений, на область взаимного перехода химической энергии в физические формы энергии и обратно. К семидесятым годам относятся работы Гиббса по химической термодинамике и создание Максвеллом электромагнитной теории света.

Если не прямо и непосредственно, то путем постановки общих проблем, касающихся взаимосвязи и развития вещей и явлений природы, дарвинизм оказывал мощное воздействие на весь прогресс естественнонаучных знаний во второй половине XIX века. Физика и химия, испытывавшие на себе его могучее влияние, в свою очередь подготавливали свое, как бы обратное воздействие на биологические учения, причем это их обратное воздействие должно было обнаружиться тогда, когда биология подойдет к проникновению в более глубокую сущность явлений и процессов жизни. Хотя до этого тогда было еще далеко, но не следует упускать из виду такую перспективу.

Открытие Менделя

В такой обстановке открытие, сделанное ровно сто лет назад, в 1865 году, австрийским монахом Грегором Иоганном Менделем, не могло не прозвучать одиноким диссонансом. В чешском городе Брно этот монах ставил опыты по гибридизации гороха и проследил наследование родительских признаков в потомстве первого и второго поколений. Открытие Менделя носило чисто экспериментальный характер: оно показало, что родительские признаки как бы расщепляются у потомков таким образом, что получается соотношение 1 : 2 : 1 (на одного потомка с признаками одного родителя приходится два потомка со смешанными признаками и один потомок с признаками другого родителя).

Таким образом Мендель на фактах установил, что в наблюдаемых им случаях наследственность определяется постоянством, независимостью и как бы свободным сочетанием (комбинированием) признаков. Это открытие настолько шло вразрез с господствующим духом времени и важнейшей тенденцией развития биологии, представлявшей дарвинизмом, что прошло незамеченным; еще много лет спустя оно оставалось по сути дела неизвестным. Только в 1900 году оно не совсем обычным образом вступило в науку, о чем я скажу ниже.

Что же означало открытие, сделанное Менделем? Чтобы пояснить это, воспользуюсь грубой моделью. Допустим, что в урне лежит по одинаковому количеству белых и черных шаров. Пусть белые шары (А) представляют собой наследственные признаки одного родителя, черные (В) — другого. Вынимая случайным образом один шар из урны, мы получим либо А, либо В. Кладя его обратно и повторяя эту операцию, мы вторично вынем тоже либо А, либо В. Так как число шаров того и другого цвета одинаково, то в результате у нас получится в среднем согласно теории вероятности расщепление признаков на четыре группы (при пов-

торном вынимании шаров): АА, АВ, ВА и ВВ. Иначе говоря, на одного потомка с признаками первого родителя (АА) приходится два потомка со смешанными признаками (АВ) и один потомок с признаками второго родителя (ВВ). В итоге получается найденное Менделем соотношение 1:2:1, характеризующее с количественной стороны процесс расщепления родительских признаков у потомков.

В открытии Менделя мне хочется подчеркнуть четыре момента, которые помогут нам понять, почему в своей основе, как в «клеточке», оно заключало возможность дальнейшего прогресса учения о наследственности и вместе с тем возможность осуществления обратного влияния физики и химии на биологию, о чем я уже говорил выше.

Во-первых, в открытии Менделя ясно выступала количественная сторона биологических явлений, которая здесь раскрывалась с трудом. Вообще говоря, чем сложнее объект, тем труднее обнаруживается эта его сторона. Ведь еще Энгельс указывал, что в те времена область применения математики к биологии была практически равна нулю. Между тем физика развивалась как точная наука именно потому, что количественные методы исследования получили в ней уже тогда широкое распространение. Поэтому можно было надеяться, что через такие открытия, как открытие Менделя, количественные исследования, а с ними математика и физика смогут проникнуть в область биологии.

Во-вторых, в открытии Менделя ясно выступает момент случайности (в смысле случайного сочетания родительских признаков у потомков). Этот момент имел исключительно важное значение для физики, в которой все больше и больше выдвигались на первый план статистические закономерности. Изучавшиеся тогда статистической механикой. Огромную роль сыграло статистическое истолкование энтропии и второго закона термодинамики, данное в семидесятых годах Людвигом Больцманом, великим австрийским физиком-материалистом. В этом отношении открытие Менделя указывало на возможность того, что и биология в какой-то степени сможет двигаться по тому же пути, по какому столь успешно двигалась уже давно физика.

В-третьих, из этого открытия логически вытекало, что свойства наследственности должно носить дискретный, как бы атомистический (корпускулярный) характер: ведь если закон Менделя объясняется с помощью модели, образованной посредством вынимания отдельных шаров из урны в соответствии с законами теории вероятности, то в процессе передачи наследственных признаков должны обязательно участвовать какие-то дискретные образования, выполняющие функцию шаров в нашей модели. А это прямо сближало в этом пункте биологию с физикой и в особенности с химией, которая в течение всего XIX века, начиная с Дальтона, развивалась на основе атомистической гипотезы.

Наконец, в-четвертых, открытие Менделя прямо указывало на то, что у наследственности, как свойства живых существ, должен быть специфический материальный субстрат, или носитель, дискретные частицы которого и дают те комбинации и сочетания (1:2:1), которые обнаружил Мендель. Этот вывод, логически вытекавший из открытия Менделя, еще больше сближал биологию с физикой и химией, которые с самого своего возникновения искали и находили материальных носителей различных физических и химических свойств, различных состояний вещества и его движений (реакций).

Но сам Мендель таких выводов не сделал. Он констатировал лишь эмпирически наблюдаемый факт (соотношение 1:2:1), но не дал ему теоретического истолкования. Может быть, по этой причине так долго этот факт и не был замечен и оценен учеными. Ведь и радиоактивность, как эмпирическое вначале открытие, тоже еще не делало революции в физике, пока Э. Резерфорд и Ф. Содди не дали ему теоретического объяснения как распада атомов.

Мендель умер в 1884 году, не дожив до того времени, когда его открытие привлекло наконец внимание ученого мира. В комнате-келье, где он жил и работал, был устроен мемориальный музей, а во дворе монастыря поставлен скромный памятник. Несколько лет назад мне пришлось побывать в Брно и посетить менде-

левские места. Как мне рассказали местные работники, музей Менделя после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года был уничтожен, а в помещении музея теперь устроено общежитие для учениц соседнего фармацевтического техникума. Я видел только стены той комнаты, где жил и творил Мендель. Во дворе монастыря одиноко стоит заброшенный памятник, и только буйно разросшийся горох, тот самый горох, изучением которого занимался Мендель, молчаливо отдает дань ученому монаху и его замечательному открытию. Это — одна из уродливых гримас, которые в изобилии распространял культ личности Сталина не только в нашей стране, но и за ее пределами.

«Новейшая революция в естествознании»

Прежде чем говорить о дальнейшей судьбе менделеевского открытия, скажу сначала о глубочайшей, коренной ломке всех фундаментальных понятий, теорий и концепций физики, которая началась в самом конце XIX века и которую В. И. Ленин назвал «новой революцией в естествознании». С философской точки зрения, суть этой революции состояла в том, что диалектика стала проникать в область изучения самых общих и элементарных из известных до тех пор дискретных видов материи (атомы, химические элементы) и ее физических свойств (масса), самых общих форм бытия материи (пространство и время) и способов ее существования (движение, энергия), а также типов причинной и вообще закономерной связи явлений.

Таким образом, если в XIX веке диалектика проникла во все науки, изучающие более сложные объекты природы, то на рубеже XIX и XX веков она проникла туда, где метафизика и механицизм долгое время сохраняли еще свои позиции.

«Новейшая революция», как известно, началась тремя великими открытиями в физике: лучей Рентгена (1895), радиоактивности (1896) и электрона (1897). В 1899—1900 годах произошли два крупных открытия в оптике: П. Н. Лебедев измерил экспериментально давление света, а Макс Планк создал теорию квантов, согласно которой излучение и поглощение света совершаются не непрерывной струей, как считалось раньше, а отдельными порциями. Тем самым идея дискретности (атомистичности) вошла и в область учения о свете и о движении вообще. В 1905 году Альберт Эйнштейн создал теорию относительности (ее специальный принцип), из которой вывел свой закон взаимосвязи («эквивалентности») массы и энергии. Тогда же он ввел понятие фотона (кванта света).

Говоря конкретнее, существо революции в физике состояло в том, что рушилось старое представление об атомах как последних частицах материи, вечных, неделимых и абсолютно неизменных. Соответственно этому рушились и старые взгляды на химические элементы как не превращаемые друг в друга и неразлагаемые виды материи. «Неорганический дарвинизм» XIX века не мог подорвать — из-за отсутствия экспериментальных данных — метафизического представления об атомах и элементах. Поэтому периодический закон у Менделеева в конце концов стал опираться на признание их неизменности и вечности.

Только «великий революционер радий» и электрон нанесли сокрушительный и окончательный удар по старым метафизическим взглядам на атомы и элементы. Было доказано, что атомы делимы, что они обладают электронным строением и что химические элементы способны превращаться друг в друга.

Но метафизические представления о материи, ее свойствах и частицах не сразу и не так легко были изгнаны из физики. Как только выяснилось, что атомы сложны и состоят из более мелких частиц материи — электронов (атомное ядро было открыто позднее), так сейчас же у физиков возникла мысль: а нельзя ли считать электроны за последние, вечные, абсолютно простые частицы материи? Другими словами, нельзя ли электронам приписать те самые метафизические свойства, которые до тех пор приписывались атомам?

Как бы предвидя такую возможность, В. И. Ленин предостерегал: нельзя электроны превращать в абсолютно простые, абсолютно первичные и в этом смысле исчерпаемые частицы материи, знанием которых будто бы может быть исчерпано знание всей материи вообще. Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, подчеркивал В. И. Ленин. Только в середине XX века, когда физики экспериментально проникли в глубь элементарных частиц и показали, что эти частицы обладают сложной, пока еще не выясненной внутренней структурой, стало понятно во всей глубине значение замечательного ленинского предвидения.

К этому же времени относятся работы Эмиля Фишера, который начиная с 1899 года стал изучать строение белковых веществ, стремясь химическим путем осуществить синтез белка. Уже в самом начале XX века он доказал, каким способом составные части белка (аминокислоты) связываются между собою, образуя более сложные органические соединения (полипептиды). Один из таких полипептидов, состоящий из восемнадцати аминокислот, Фишер вскоре синтезировал. Это закладывало основы биохимии как науки, все больше сближавшей химию и биологию между собой.

«Классика» и «современность»

«Новейшая революция в естествознании» со всей резкостью выдвинула проблему соотношения прежних («классических») и современных представлений. Когда эта революция начиналась, то казалось на первый взгляд, что она разрушает все прежние представления классической физики, классической механики. В самом деле, «классика» учила, что масса тел неизменна и постоянна и не зависит от скорости движения тел. Теория относительности разрушила это представление, показав, что масса тел зависит от скорости их движения и что она растет с увеличением скорости. Точно так же были, казалось бы, отброшены старые классические представления о пространстве и времени как абсолютно ни от чего не зависящих вместилищах тел, о механической причинности и другие. Перед нами «руины» старых принципов физики, «всеобщий разгром принципов», — говорил Анри Пуанкаре.

Но естественно, что открытие электрона с его изменчивой массой, создание теории относительности и теории квантов не уничтожили классической физики, как не отменяло химии открытие радиоактивности и радия: химики по-прежнему строили из атомов сложные молекулярные постройки, синтезировали новые вещества так же, как они это делали раньше, когда атомы считались последними, неделимыми частицами материи.

Так образовались как бы два параллельных потока в развитии науки, в развитии физики и химии: один — новый, его истоком служили великие физические открытия конца XIX века — прежде всего электрон и радиоактивность. Другой поток — продолжавший традиционную линию классической физики и химии, его истоком, в частности, служило представление об атомах и элементах, сложившееся в химии и нашедшее свое выражение в периодической системе Менделеева.

В результате того, что между обоими потоками, или направлениями, научного развития — классическим и современным — не было установлено контакта, казалось, что одно полностью отменяет и разрушает другое: физика и химия подверглись как бы расщеплению на два более или менее самостоятельных течения. Так продолжалось до 1913 года, когда была раскрыта связь между периодическим законом, с одной стороны, и линией развития новой физики, бравшей свое начало от электрона, рентгеновых лучей и радиоактивности, с другой. Благодаря открытию порядкового номера путем исследования рентгеновских спектров элементов открытие Рентгена было приведено в связь с периодическим законом: закон сдвига и понятие изотопии позволили сделать то же самое в отношении радиоактивных превращений. Модель атома Нильса Бора завершила этот грандиозный

теоретический синтез, охватив собою данные оптической спектроскопии, теории квантов и электронной теории, с одной стороны, и периодическую систему элементов, с другой.

Так «классика» и «современность» слились воедино в новую физическую картину объектов природы, причем «классика» не была отменена и ликвидирована, а заняла определенное и вполне почетное место в этой картине. То же относится и к другим разделам старой и новой физики, между которыми были раскрыты логическая зависимость и историческая преемственная связь.

Обобщая вопрос о соотношении между «классикой» и «современностью» (в частности, классической и квантовой физикой), Бор выдвинул общий «принцип соответствия» между старыми и новыми физическими теориями. Этот принцип раскрывал и указывал то место, какое в новых, более широких теоретических представлениях занимают старые, более ограниченные представления, ныне превзойденные прогрессом науки. С философской точки зрения, здесь речь шла о «механизме» того, как складываются между собой последовательно возникающие относительные истины. Та менее полная относительная истина, которая была достигнута в период классической физики, входит как зерно абсолютной истины в более полную относительную истину, которая представлена современной физикой.

Так разрешается противоречие между «классикой» и «современностью», которое на первых порах приобретает характер острого конфликта, когда кажется, что новые научные течения несовместимы со старыми, давно уже сложившимися течениями. Когда оно разрешается согласно принципу соответствия, то «классика» продолжает свое дальнейшее развитие, но уже в рамках «современности». О том, какие громадные, не исчерпанные еще возможности таит в себе «классика», можно судить по космонавтике: в век кибернетики, теории относительности и квантовой механики классическая механика своими способами позволяет точно рассчитывать траектории движения макротела и тем самым осуществлять прорыв в космос.

Кризис естествознания

Характеристика естествознания на рубеже XIX и XX веков, когда возникли течения так называемых вейсманизма (или неodarвинизма) и менделизма, будет неполной, если не учесть характера борьбы материализма и идеализма внутри самого естествознания того времени. В XIX веке, как правило, идеализм и агностицизм паразитировали на слабостях и белых пятнах естественнонаучных знаний, на том, чего еще не знали сами ученые. Типичным в этом отношении было крылатое выражение Дюбуа-Реймона: «*Ignoramus et ignorabimus!*» (Не знаем и не узнаем!) Это было своеобразным кредо агностиков в естествознании.

На рубеже XIX и XX веков обстановка в этом отношении круто изменилась. Идеалисты и агностики в борьбе против материализма изменили свои стратегические планы и тактические приемы. Они сделали ставку на то, чтобы вообще изгнать материализм из естествознания, заменив его здесь реакционной философией — идеализмом и агностицизмом. С этой целью они предприняли следующий шаг: всеми силами они старались показать, будто бы материализм органически связан только с «классикой» и несовместим с новыми физическими открытиями. Поэтому он рухнет до основания вместе с крушением старой физической картины мира. Так, по их утверждению, материализм будто бы нераздельно связан с признанием неизменности массы и атомов как последних кирпичей мироздания. С этой точки зрения изменчивость массы и разрушимость атомов, их электронное строение доказывает, будто бы материя «исчезает» или же «сводится» к электричеству.

Так проблема соотношения «классики» и «современности» повертывается к нам новой стороной, обнаруживая то, как она используется в борьбе между идеализмом и материализмом.

В. И. Ленин показал полнейшую несостоятельность попыток идеалистов и агностиков, в том числе махистов, энергетиков и представителей «физического» идеализма вообще. уцепиться за новые физические открытия и выдать свою реакционную философию за «философию современного естествознания» и даже за «философию естествознания XX века». На самом же деле единственно верной философией для естествознания был и остался материализм, обогащенный диалектикой, то есть диалектический материализм.

Однако этот вывод далеко не всем был ясен так, как он был ясен Ленину. Людям, философски близоруким, казалось все же, что новые открытия действительно «ниспровергают» научный материализм и атомистическое учение, как это утверждал, например, Вильгельм Оствальд, и доказывают правоту идеализма.

И так же по существу думали и многие видные представители классической физики и химии, стоявшие на позициях материализма. Менделеев, например, защищая атомизм XIX века, писал, что против атомизма выступают, с одной стороны, те, кто полагает, что, кроме «я», ничего вообще не существует, а с другой — поклонники «электронных» представлений. Тут у Менделеева прогрессивные, революционные взгляды (открытие электронов, создание электронной теории) прямо сопоставляются с реакционными философскими толкованиями новейших физических открытий (субъективным идеализмом).

Анализируя то противоречивое состояние, в какое попало естествознание начала XX века, В. И. Ленин показал, что здесь имеет место переплетение двух прямо противоположных тенденций: революционной, связанной с новейшей революцией в естествознании, и реакционной, связанной с философскими выводами в пользу идеализма и агностицизма, которые извлекаются из новых естественнонаучных открытий. «Реакционные поползновения порождаются самим прогрессом науки. Крупный успех естествознания, приближение к таким однородным и простым элементам материи, законы движения которых допускают математическую обработку, порождает забвение материи...» Так В. И. Ленин характеризовал в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» вскрытое им противоречие в развитии современного ему естествознания.

Отмеченное противоречие Ленин назвал кризисом. Это был не признак упадка или разрушения науки, а болезнь ее роста, кризис, связанный непосредственно с коренной ломкой старых, установившихся понятий. Говоря специально о кризисе физики того времени, В. И. Ленин определил суть ее кризиса как противоречивое сочетание двух моментов: во-первых, ломки старых законов и основных принципов, во-вторых, отбрасывания объективной реальности вне сознания (материи), то есть замены материализма идеализмом и агностицизмом.

Различие между понятиями «делать» и «думать»

Различать слово и дело важно при всех обстоятельствах, так как разрыв между ними — нередкое явление, и он часто приводит к неприятным недоразумениям и более серьезным последствиям. Это касается и естествознания. Поэтому, в частности, никогда нельзя упускать из виду живое противоречие, действующее в современном естествознании в условиях империалистической реакции, противоречие между объективным содержанием, объективным значением новых открытий, теорий, принципов, составляющих «новейшую революцию в естествознании», с одной стороны, и субъективным их толкованием в духе реакционной философии, с другой. Очевидно, что тут происходит антагонистическое столкновение между тем, что есть, что существует на самом деле, на что указывают новые открытия, и тем, что хотелось бы видеть идеалистически настроенным людям. Очевидно также, что само открытие не может отвечать за то, как оно будет философски истолковано людьми, падкими на реакционную моду. Его объективное содержание не зависит ни от его людской оценки, ни от чьего-

либо мнения, ни от тех нелепых выводов, которые кое-кто не прочь из него высосать. Понятие «объективное» и означает: вне и независимо от субъекта, то есть от человека и человечества, от его сознания.

Противоречие между тем, что люди думают, и тем, что они делают, для естествознания не ново. Оно возникло задолго до кризиса современного естествознания, а во время кризиса лишь обострилось. Еще в XIX веке произошел конфликт между объективным содержанием научных открытий, в которых раскрывалась и подтверждалась диалектика природы, и способом мышления самих естествоиспытателей (субъективной стороной дела), который оставался в своей основе метафизическим. Энгельс, критикуя метафизические взгляды ученых на случайность и необходимость, ставил в «Диалектике природы» вопрос именно так: «В то время как естествознание продолжало так думать, что сделало оно в лице Дарвина?» И он отвечал: оно раскрыло диалектику соотношения случайности и необходимости в самой природе.

Как я уже говорил выше, весь кризис естествознания, вся его суть, по определению В. И. Ленина, состояла именно в столкновении двух противоречивых сторон развития естествознания в начале XX века: объективной и субъективной. Поэтому ни к одному вопросу современного естествознания нельзя подходить только с одной из этих двух противоречивых сторон, а потому задачу критики нельзя сводить к вылавливанию отдельных идеалистически звучащих фраз и отдельных ошибок, а иногда просто неудачных выражений.

Критик-диалектик, а В. И. Ленин дал образец диалектической критики, обязан вскрыть и освободить от идеалистических наслоений здоровое, рациональное ядро новых естественнонаучных воззрений, теорий, понятий и вместе с тем отсечь любые реакционные поползновения, направленные на то, чтобы использовать это ядро в целях оправдания идеализма и религии. Такую двуединую задачу перед марксистами В. И. Ленин поставил в своем «Материализме и эмпириокритицизме». Называя буржуазных профессоров-экономистов «учеными приказчиками класса капиталистов», а профессоров философии — «учеными приказчиками теологов», Ленин писал: «Задача марксистов и тут и там суметь усвоить себе и переработать те завоевания, которые делаются этими «приказчиками» (вы не сделаете, например, ни шагу в области изучения новых экономических явлений, не пользуясь трудами этих приказчиков), — и уметь отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей линией враждебных нам сил и классов».

Если так В. И. Ленин писал по поводу политической экономии и философии, которые бывают либо буржуазными, либо марксистскими, то в еще большей степени его слова относятся к естествознанию, которое по своей сути не является классовым, а потому не может быть буржуазным или пролетарским. Ибо оно отражает природу, существующую вне и независимо от субъекта (от человечества) и от каких-либо социальных групп и классов. Поэтому в естествознании особенно важно учитывать в первую очередь завоевания науки, а не выплескивать их вместе с грязной водой идеалистических высказываний.

Тут мы вплотную подходим к ленинскому пониманию принципа партийности философии и его проведения в области естествознания.

Умное и неумное понимание принципа партийности

Некоторые вульгаризаторы марксизма изображают принцип партийности в естествознании крайне упрощенно, крайне односторонне. По их мнению, этот принцип сводится к тому, что в новых естественнонаучных теориях надо находить идеализм и ругать его какими угодно крепкими словами. Но так как в положительном содержании и самого научного знания идеализма нет — поскольку идеализм в корне враждебен подлинно научному познанию и несовместим с ним, —

то принцип партийности в таком понимании заставляет критика ограничиваться лишь высказываниями некоторых ученых по поводу научных открытий, лишь их личными мнениями о новых научных теориях и сводить к этим высказываниям и мнениям существо новых теорий. Представим себе на минуту, что было бы с наукой, если бы ученые последовали тогда за Менделеевым, который фактически с позиций старого материализма отбрасывал учение об электронах и представление о радиоактивности как о распаде атомов, поскольку и то и другое идеалисты стали толковать в духе «исчезновения» материи и «замены» ее электричеством? В результате этого была бы перечеркнута вся «новейшая революция в естествознании» и был бы сделан шаг назад — от современности к устаревшей уже «классике». Этим был бы нанесен непоправимый удар самой науке.

Хорошо известно, к каким печальным последствиям привело такое упрощенческое, недialeктическое понимание принципа партийности и его неумное, грубое прямолинейное проведение в области естествознания некоторыми людьми. Напомним, что многолетняя борьба физика А. К. Тимирязева против теории относительности была основана именно на попытке отождествить физическое содержание этой теории с теми идеалистическими ее толкованиями, которые в изобилии насаивались на нее всякого рода «популяризаторами»-идеалистами. Между тем В. И. Ленин, причислив Эйнштейна к «великим преобразователям естествознания», отделил самого Эйнштейна как ученого и его теорию от «громадной массы представителей буржуазной интеллигенции всех стран», которая «ухватилась» за теорию Эйнштейна. Этому вопросу В. И. Ленин уделил специально большое внимание в статье «О значении воинствующего материализма», которая стала своеобразным «философским завещанием» Ленина. (Кстати сказать, несмотря на такое прямое разъяснение, данное Лениным, борьбу против теории относительности продолжали позднее вести некоторые физики и философы с тех же по сути дела вульгаризаторских позиций, с каких боролся против нее А. К. Тимирязев. В сороковых и пятидесятых годах особенно отличился в этом отношении А. А. Максимов.)

Немало обвинений было выдвинуто против квантовой механики, тем более что некоторые ее принципы (принцип дополнительности Н. Бора, соотношение неопределенностей В. Гейзенберга) кое-кем на Западе толковались философски неправильно, в агностическом и субъективистском смысле. Но ведь от этого сами эти принципы не теряли своего объективного значения, не становились идеалистическими! Как учил В. И. Ленин, задача состояла здесь в том, чтобы завоевания науки очистить, освободить от философски неправильных их толкований и й. Между тем вульгаризаторы типа А. А. Максимова рассуждали иначе: зачем нам возиться с очищением современных физических теорий от идеалистических высказываний, сделанных по их поводу, когда гораздо проще отбросить самые теории как якобы идеалистический вымысел? Ведь тогда вместе с отброшенными теориями будут выброшены и связанные так или иначе с ними ложные философские высказывания, причем самым радикальным образом: попробуйте философствовать всерьез по поводу теории, которая объявлена ложной!

На деле такая позиция не имела ничего общего с ленинским, умным пониманием принципа партийности. Употребляя образ, которым пользовался В. И. Ленин, можно охарактеризовать такую позицию как сознательное выплескивание ребенка из ванны вместе с водой.

У всех в памяти и более свежие события, когда в пятидесятых годах буржуазной, лженаучной была объявлена кибернетика. В этом были повинны и некоторые философы, и некоторые естествоиспытатели и математики. Они не разглядели здесь сразу громадного завоевания науки, которое было прикрито для поверхностного наблюдателя целым ворохом антинаучных, антимарксистских высказываний буржуазных социологов и философов, «ухватившихся» теперь за кибернетику совершенно таким же образом, как их предшественники «ухватывались» за теорию относительности. Принцип партийности и в данном случае требовал уметь различить, распознать за идеалистическим мусором истинное, здоровое ядро новой

науки, уловить глазом диалектика таящиеся в ней перспективы ее дальнейшего развития.

Как видим, корень ошибок везде один и тот же: неправильное, неумное, недиалектическое понимание и проведение принципа партийности — безудержное желание бороться против идеализма при неумении и неспособности бережно держать в руках живого ребенка, когда выплескиваешь из ванны воду...

Все это имеет самое прямое, самое непосредственное отношение к биологической науке, тем более что пути познания жизни в конечном счете совпадают с общими путями всякого научного познания.

В преддверии новой революции в биологии

Итак, на рубеже XIX и XX веков в биологии, как и в физике и во всем естествознании, возникли одновременно такие же противоречивые процессы, которые мы вслед за Лениным определяем как революцию и кризис в естествознании. Начнем с революции в биологии. В биологии суть этого процесса в общем совпала с тем, что совершалось в физике, но только с той поправкой, что биология имеет дело с более сложными объектами природы по сравнению с теми, которые изучает физика. Поэтому достижение соответственных ступеней углубления в их сущность совершается в биологии не только качественно отличными от физики и химии способами и приемами, но и значительно позднее: в то время, как физика в начале XX века перешла уже на внутриатомный уровень структурной организации материи, биология не достигла еще даже субклеточного уровня, не говоря уже о молекулярном уровне биологической организации материи, а продолжала оставаться на организменном и клеточном ее уровнях.

Тем не менее и на этих еще достаточно высоких уровнях биологической организации материи были сделаны первые шаги в сторону проникновения в сущность таких явлений, как наследственность, хотя, повторяю, из-за того, что исследование велось все еще на слишком высоких микро- и макрокопических уровнях организации материи, достаточной точности и конкретности раскрываемая картина внутреннего «механизма» наследственности приобрести еще не могла.

Лишь по достижении более глубоких уровней биологической организации материи — субклеточного и молекулярного — стали постепенно уточняться смутные на первых порах, неопределенные, а порою просто хаотические представления о внутреннем «механизме» наследственности. Тем не менее здоровое, революционное ядро в новых представлениях о «механизме» наследственности, несомненно, было налицо. В ходе дальнейшего научного развития оно крепло, очищалось от неправильных моментов, а главное — уточнялось и приобретало форму конкретных биологических, а затем и физических и химических структур и моделей.

Я имею в виду положительное содержание научных открытий и гипотез Августа Вейсмана, Гуго Де Фриза и других биологов, синтезированных затем теоретически Томасом Морганом. Эти открытия, гипотезы и теории последовали за открытиями Менделя и опирались так или иначе на его открытие после того, как биологи обратили наконец на него свое внимание. В 1900 году К. Корренс (Германия), Г. Де Фриз (Голландия) и Э. Чермак (Австрия) объявили соотношение 1:2:1, наблюдаемое Менделем, всеобщим биологическим законом. Это было, разумеется, большим преувеличением, против чего выступил К. А. Тимирязев.

Занимаясь проблемой органического развития, а в связи с нею проблемой наследственности и изменчивости, Вейсман создал гипотезу о существовании некоего наследственного вещества («зародышевой плазмы»), которое в отличие от смертного тела (сомы) обладает свойством бессмертности, способностью непрерывно переходить из поколения в поколения живых существ наподобие непрерывной нити, соединяющей собою последовательный ряд поколений. Это наследственное вещество, по Вейсману, заключено в половых клетках и будто бы никак не зависит от внешних воздействий и условий среды.

Рациональным здесь было только одно: признание того, что у свойства наследственности имеется свой специфический материальный носитель, переходящий от родителей к потомкам. Больше этого в то время ничего определенного сказать было нельзя: не было никаких экспериментальных средств выяснить структуру или хотя бы состав гипотетического наследственного вещества, а тем более «механизм» его функционирования в живом организме, в процессах наследственности.

Естественно поэтому, что отсутствующие звенья сторицей возмещались предположительными допущениями о том, будто наследственное вещество вечно и непрерывно, что оно сосредоточено только в половых клетках и абсолютно автономно, независимо от внешних явлений. Все такого рода допущения не были органически связаны с основной идеей о существовании вещественного носителя свойства наследственности. Это были привнесенные извне предположения и домыслы, которые были следствием не только ложных философских позиций самого автора, но и общей слабости биологической науки того времени. В ходе дальнейшего развития науки они были отвергнуты как ложные самой практикой. Например, факты вегетативной гибридизации растений противоречили идее о том, будто все наследственное вещество сосредоточено в половых клетках; факты искусственного внешнего воздействия на сами половые клетки (например, с помощью жесткого излучения) и на весь живой организм отвергали идею о независимости наследственного вещества от сомы и от внешних воздействий.

Но никакие факты не опровергали и не могли опровергнуть главной идеи о том, что свойство наследственности имеет своего материального носителя. Напротив, эта главная идея постепенно подтверждалась все больше и больше по мере проникновения науки на субклеточный и молекулярный уровни биологической организации материи. В результате этого на место смутных и неопределенных гипотетических представлений о каком-то наследственном веществе или какой-то «зародышевой плазме» ставятся вполне конкретные представления о физических и химических структурах сложных высокомолекулярных соединений. Таким образом, идеи Вейсмана, так же как и открытия Менделя, можно рассматривать как подготовку революции в биологии, как предвосхищение того великого переворота во всей биологической науке, которое связано с позднейшим переходом научного исследования на субклеточный и молекулярный уровни биологической и биохимической организации материи.

Начало революции в биологической науке XX века

Как я уже говорил, к той же главной идее о материальном носителе жизни и даже о его дискретной структуре логически подводило открытие Менделя. Несколькими с другой стороны к этой же идее подошел Де Фриз. В 1889 году он выдвинул «теорию внутриклеточного пангенезиса», согласно которой существуют особые частицы — носители свойства наследственности — «пангены». Спустя одиннадцать лет (в 1900—1901 годах) Де Фриз предложил свою «мутационную теорию», трактующую процесс видообразования (возникновения новых видов) не как результат воздействия внешних условий и естественного отбора, а как результат внезапных имманентных изменений, выражающихся в особых «мутациях». Мутации, по Де Фризу, не подготовлены предыдущим развитием организма, а носят характер неожиданных, беспричинных взрывов наследственности.

Тут мы снова встречаемся с верной основной идеей о возможности мутационных изменений наследственности и с неверными добавлениями к ней таких утверждений, что будто только так и происходит вообще процесс видообразования, что мутации протекают беспричинно, как ничем не подготовленные взрывы, что их поэтому нельзя вызывать искусственным путем и, влияя на них, управлять ими, направлять их в ту или иную сторону.

Как и в случае понятия «наследственное вещество» у Вейсмана, так и в случае понятия «мутация» у Де Фриза судьба оказалась одинаковой: дальнейший прогресс науки привел к уточнению первоначально незрелых еще представлений и понятий, к очищению их здорового ядра от ложных, привнесенных в науку мнений, гипотез и толкований. Но при этом основная идея не только не была отброшена, несмотря на все старания людей типа академика Лысенко и его последователей, но прочно укрепилась в науке, пройдя испытание в горниле эксперимента, практики.

Разумеется, я не могу в этой статье останавливаться на всех подробностях возникновения и развития корпускулярной генетики, на всех деталях истории вопроса. Скажу только, что, после первых экспериментальных открытий (Мендель) и первых теоретических предположений, попыток обобщения и выдвижения новых понятий (Вейсман, Де Фриз и другие), в 1910—1911 годах была создана хромосомная теория наследственности, синтетически охватившая собою и развившая учение Вейсмана о наследственном веществе, теорию мутаций Де Фриза и законы Менделя. Основоположником новой теории был Морган. Согласно Моргану дискретные носители свойства наследственности локализируются в хромосомах.

Для построения своей теории Морган использовал в качестве экспериментальной модели наследственный аппарат мушки-дрозофилы, обладающей способностью быстрого размножения. Теория Моргана касалась только вещественного аппарата наследственности, ее внутреннего «механизма», но не всего данного явления в целом.

Так в общих чертах в рамках все еще высокого (микроскопического) уровня биологической организации материи возникла концепция, которая всем своим существом была обращена вперед, к более глубоким уровням этой организации — субклеточному и молекулярному — и была блестящим предвосхищением грядущего перехода исследования биологических явлений на эти более глубокие уровни структурной организации материи.

Именно эта направленность вперед по ходу поступательного движения научного познания дает, как мне кажется, основание рассматривать идеи и открытия Менделя, Вейсмана, Де Фриза, Моргана и других биологов конца XIX — начала XX веков как преддверие и начало «новой революции» в биологии, происходящей на наших глазах ныне.

Историческая параллель — идея дискретности в химии и физике и в биологии

Когда сегодня указывают на существенные недостатки старой корпускулярной концепции наследственности, то это, конечно, вполне справедливо: спустя более полувека ее недостатки не только выявились в полной мере, но и были преодолены, исправлены, поскольку само исследование за последние десятилетия достигло того уровня структурной организации материи, которому и соответствует упомянутая выше концепция наследственности.

Достоин удивления не то, что в ней обнаружили ошибки и недостатки, а то, что еще более полувека назад, задолго до того, как эксперимент позволил исследовать явления жизни на субклеточном и молекулярном уровнях, некоторые ученые-биологи смогли уже тогда выдвинуть концепцию вещественного носителя наследственности и предвидели многое из того, что в настоящее время подтвердилось на опыте. Но в те времена, разумеется, можно было строить только предположения о дискретных носителях наследственности, о роли хромосом и других материальных образований в ее процессах. Никто тогда этих носителей наследственности не видел и не изучал, а потому первоначальные представления в этой области не были свободны от весьма существенных недостатков.

Да было бы странно, если бы таких недостатков не существовало. Вспомним, что даже атомы, пока уже в нашем веке не была раскрыта их электронно-ядерная структура, тоже наделялись всякими вымышленными свойствами, например, крючочками, которыми они будто бы сцепляются между собой, или гладкой, круглой поверхностью, каковой будто бы обладают «атомы души», по Демокриту. Я уже не говорю о том, что до конца XIX века атомы ошибочно считались вообще абсолютно неделимыми и неизменными. Но было бы совершенно неверным, если бы на этом основании отрицалась или умалялась роль атомистической гипотезы в развитии химии и физики. Несмотря на свои весьма существенные недостатки — а они, повторяю, были неизбежны из-за неполноты наших знаний, — атомистическая гипотеза уже в прошлом веке стала формой развития сначала химии, а затем физики. Было бы еще нелепее объявление этой гипотезы идеализмом и метафизикой на том основании, что атомов никто не видел и что атомы наделялись такими свойствами, как абсолютная неделимость и неизменность. Нет, эта гипотеза, несмотря на все свое несовершенство, в своей основе была прогрессивной и глубоко материалистической!

На рубеже прошлого и нашего веков идея дискретности стала проникать, как мы видели, и в область биологии и вскоре облеклась в форму «корпускулярной генетики». Эта последняя пыталась связать биологические свойства организмов с атомистическими по своему строению, но пока еще неизвестными материальными носителями этих свойств. Здесь важно в первую очередь объективное значение новой концепции, то главное, что в ней содержится, а не то, что в ней было случайного, неверного, преходящего и что со временем было устранено из нее в ходе самого прогресса науки.

Ведь так бывает со всякими прогрессивными взглядами, более того, со всякой гипотезой: она не рождается сразу в готовом виде, а содержит в себе такие стороны, которые в ходе ее проверки отпадают, оказываются неточными, и гипотеза от них очищается, становясь теорией и принимая вид закона. По такому поводу Энгельс писал в «Диалектике природы», что если бы мы захотели ждать, пока материал будет готов в чистом виде для закона, то это значило бы приостановить до тех пор мыслящее исследование и уже по одному этому мы никогда не получили бы закона.

Из этих слов Энгельса ясно следует, что марксистская философия не только не ставит в упрек научным концепциям их первоначальную незрелость и несовершенство, но считает это неизбежным, без чего не было бы прогресса науки. Важно только одно — чтобы основное зерно вновь возникающих научных концепций было здоровым, жизнеспособным и чтобы оно развивалось в сторону все более точного и полного отражения реальной действительности.

Параллель между развитием химии и физики, с одной стороны, и биологии, с другой, получается следующая: идея дискретной структуры вещества возникла в глубокой древности, причем частицы вещества наделялись тогда и позднее многими фантастическими, придуманными свойствами, и среди них такими, как их абсолютной вечностью и способностью лишь к внешнему соположению (комбинированию). Придумывание всех этих реально не существующих свойств было следствием невозможности подойти к атомам ближе и представить их себе более конкретно. Только в XX веке благодаря проникновению на более глубокий уровень структурной организации материи (ядерно-электронный) свойства атомов получили более точное физическое выражение в соответствующих моделях (модель атома Бора, а затем квантово-механическая модель).

Так шло развитие идей атомистики в физике и химии. Для нас важно сейчас подчеркнуть, что, пока идея дискретности вещества разрабатывалась на атомно-молекулярном уровне физических и химических процессов, ее недостатки нельзя было устранить. Это стало возможным лишь при переходе на более глубокий (ядерно-электронный) уровень структурной организации материи.

Нечто сходное случилось и в истории биологии, но опять-таки с той поправ-

кой, что в силу сложности своего объекта эта наука позднее достигла того уровня своего развития, какой физика и химия достигли уже раньше.

Поэтому первоначальная концепция корпускулярной генетики соответствует тем представлениям об атомах в физике и химии, когда атомы наделялись крючочками, зазубринками, гладкими или шероховатыми поверхностями, а также абсолютной неизменностью и неделимостью и вытекающей отсюда способностью лишь к внешнему сочетанию между собой. Именно таково понятие вечности и непрерывности наследственного вещества у Вейсмана.

И это в биологии происходило тогда, когда физика и химия шагнули вперед и в своих исследованиях перешли с атомно-молекулярного на ядерно-электронный уровень структурной организации материи. До этого же вообще идея дискретности в ее применении к проблемам наследственности в биологии не возникла.

Но подобно тому, как освобождение атомной концепции в физике и химии от ее первоначальных недостатков совершилось в результате перехода этих наук на более глубокий уровень организации материи, так это случилось и с корпускулярной концепцией в генетике: в результате перехода науки с прежнего уровня на новый — субклеточный и молекулярный — эта концепция освободилась от своих первоначальных недостатков. И опять-таки вследствие большей сложности объекта изучения биология осуществила такой переход значительно позднее, чем физика и химия, а главное — при активной поддержке физики и химии; в результате этого освобожденная от своих первоначальных недостатков корпускулярная генетика приобрела вид современной физико-химической и биохимической генетики, или, как иногда говорят, молекулярной генетики.

Конфликт между «классикой» и «современностью» на фоне кризиса биологии

До сих пор я разбираю новые течения в биологии с естественнонаучной стороны как проявление зачинавшейся революции в биологии. Но на рубеже XIX и XX веков все такого рода процессы в естествознании, а значит, и в биологии приходили в теснейший контакт с разгоревшейся борьбой между идеализмом и материализмом. События в биологии не могли проходить в стороне от этой борьбы. Подобно тому, как в физике открытие электрона и радиоактивности было немедленно использовано идеалистами с целью доказать «исчезновение» материи и «крушение» материализма, так новые биологические концепции были использованы идеалистами для того, чтобы нанести удар по материалистическим позициям в биологии и во всем естествознании, и прежде всего по позициям дарвинизма. При этом было широко использовано то обстоятельство, что наследственного вещества никто не изучал и не видал, что ему приписывались такие свойства, как вечность и непрерывность, что мутации объявлялись абсолютно случайными, беспричинными явлениями и т. д. и т. п. Более того, сам дискретный носитель наследственности (так называемый «ген») был объявлен некоторыми биологами непознаваемой «вещью в себе», недоступной будто бы нашему сознанию. Делались и прямые фидеистические выводы из новых биологических концепций, расчитанные на то, чтобы ссылками на современную биологию укрепить религиозное мировоззрение в противоположность дарвинизму, который нанес, как известно, весьма существенный удар не только по телеологии в области естественных наук, но и по религиозным мифам.

Это использование в пределах биологии «новейшей революции в естествознании» с целью извлечения из нее выводов в пользу реакционной философии было наглядным проявлением кризиса естествознания. Кризис биологии был сходен в своей основе, по своей сути (в ее ленинском понимании) с кризисом физики. Идеализм ухватился и здесь не за упадок или застой, не за тупиковые течения в науке, а за прогресс науки. За ее успехи и достижения, на которых он и начал усердно паразитировать. Как и в физике, так и в биологии это была болезнь роста науки, но не крушение и не распад науки, как это казалось некоторым даже про-

грессивным ученым того времени, например, К. А. Тимирязеву (не смешивать с его сыном А. К. Тимирязевым).

Причина того, почему К. А. Тимирязев не разглядел по существу ничего положительного и ценного в новых концепциях в биологии, как мне кажется, коренилась в их антидарвиновской направленности. К. А. Тимирязев был убежденным, последовательным и страстным дарвинистом. Борьбу против Дарвина, сопровождающуюся философской идеалистической и религиозной аргументацией, да еще к тому же высказываниями в духе реакционной идеологии, вообще далекой от науки, он считал доказательством полной антинаучности самих новых биологических концепций, по-видимому носивших в себе антидарвиновское начало.

Конкретно это начало проявлялось в неправильной абсолютизации новых представлений, в попытках объяснять только с их помощью все относящиеся к данной области биологические явления при полном игнорировании дарвинизма и даже при противопоставлении в принципе новых течений в биологии дарвинизму. На новый лад здесь также возник конфликт между «классикой» и «современностью», причем даже в еще более острой антагонистической форме, чем это было в физике.

Между тем ситуация в биологии сложилась примерно такая же, как и в физике того времени: ведь за восемнадцать лет (1895—1913) никто из физиков и химиков (до Бора) не знал и не мог предвидеть, как и когда сольются воедино (и сольются ли!) классическое направление атомизма, опиравшееся на периодический закон, и новая физика с ее открытиями, разрушавшая старые, хотя и материалистические представления об атомах и не согласующаяся, казалось бы, с периодическим законом. Этим фундаментом «неорганического дарвинизма».

Когда в 1913 году конфликт между «классикой» и «современностью» был в физике разрешен, в биологии он только еще разгорался. Здесь было еще абсолютно не ясно, каким образом можно соединить, синтезировать дарвинизм («классику») с менделизмом и корпускулярной генетикой («современностью» того периода) и можно ли вообще в принципе ставить такую задачу. Обе стороны, казалось бы, были твердо убеждены в невозможности такого синтеза дарвинизма с хромосомной теорией, поскольку последняя явно отвергала эволюционный принцип в биологии.

Со своей стороны, К. А. Тимирязев, видя у современных ему генетиков антиэволюционистскую реакцию на дарвинизм, считал, что эта реакция и есть самая суть новой генетической концепции. А если так, то как можно «синтезировать» революционное по своему духу, материалистическое учение Дарвина с реакционным идеалистическим поветрием в биологии?

Да, трудно было тогда за грудой реакционных высказываний и антидарвиновской направленностью увидеть здоровое зерно в менделизме. Уж очень много реакционно настроенных людей «ухватилось» за Менделя, подобно тому как спустя несколько лет громадная масса таких же людей пыталась «ухватиться» за Эйнштейна и его теорию, на что указывал В. И. Ленин. Но Ленин прозорливо разглядел за этим наносным явлением то, что на самом деле представлял собой Эйнштейн (один из «великих преобразователей природы»). Напротив, К. А. Тимирязев этого не смог сделать в отношении менделизма. Реакционный мусор, в изобилии нагроможденный на новые течения в биологии, полностью заслонил для К. А. Тимирязева рациональное ядро этих течений и отдаленные перспективы его развития, подобно тому как в глазах Менделеева шелуха махизма заслонила собой положительное значение новых физических теорий — электронной теории и теории радиоактивности.

Здесь имела место историческая aberrация, такое смещение наблюдаемого предмета, в результате которой его подлинная суть исчезала из поля зрения.

Итак, мы показали полную историческую параллель между общими путями развития научного познания — физики и химии, с одной стороны, биологии — с другой. В разной степени, в разных формах и в разное время и в тех и в других науках проявилась одна и та же суть новейшей революции в естествознании и кризиса естествознания, та суть, которую раскрыл В. И. Ленин.

Еще раз об исторических параллелях между физикой и биологией

Общность путей познания истины физиками и биологами состоит, в частности, в том, что многие вопросы и задачи, поставленные, но не решенные на предыдущей ступени познания, решаются успешно только на следующей его ступени, когда раскрывается более глубокая сущность изучаемого круга явлений. Так, понятие валентности, возникшее первоначально как чисто эмпирическое на атомно-молекулярном уровне изучения вещества, раскрылось в физическом смысле лишь на следующем, более глубоком ядерно-электронном уровне (как связанное с представлением о взаимодействии валентных электронов) и полнее — на еще более глубоком — квантово-механическом уровне.

Переход от познания сущности одного порядка к сущности другого, более глубокого порядка связан не только со снятием вопросов, оставшихся от предыдущей ступени познания, но и с постановкой новых вопросов, ответ на которые можно будет дать лишь на следующей ступени познания. Так последовательная постановка и снятие научных вопросов выражает собой последовательность всего научного развития, преемственную связь между его основными ступенями.

В развитии биологии, в частности генетики, такая закономерность движения научного познания выступает с полной очевидностью. Как только достигается более глубокий уровень исследования биологических явлений, многие вопросы, оставшиеся дотоле без ответа, получают решение, но зато возникают новые вопросы, еще более сложные и трудные, которые толкают научно-исследовательскую мысль вперед, на поиски новых ответов.

Сопоставляя с этой точки зрения концепцию современной генетики с генетическими концепциями конца XIX и начала XX веков, мы отмечаем неуклонное движение вперед ко все более полному и точному раскрытию истины.

Интересно в связи с этим поставить вопрос: как проникала в физику и биологию идея внешнего физического воздействия на изучаемый объект с целью искусственного вызывания в нем соответствующих изменений. Для этого сопоставим ядерные реакции с мутациями. Те и другие в природе были открыты почти одновременно: ядерные реакции в виде естественного радиоактивного распада в 1896 году (а их первая теория — в 1902—1903 годах), теория же мутаций была создана в 1900—1901 годах. В обоих случаях речь шла о том, что естественный процесс протекает как будто абсолютно спонтанно, самопроизвольно и не зависит ни от каких внешних воздействий.

Однако вслед за этим встала задача — отыскать все же пути и способы искусственного вызывания ядерных реакций (трансмутаций химических элементов) в физике и мутаций у живых существ — в биологии. В 1919 году Резерфорд, решая такую задачу, искусственно превратил впервые в мире азот в другие легкие элементы. Это был прямой подход к постановке задачи управления ядерными процессами.

В биологии нечто сходное произошло в 1927 году, когда Г. Дж. Меллер направил на половые клетки той же мушки-дрозофилы рентгеновские лучи и вызвал у нее искусственную мутацию. Другие исследователи нашли, что мутации можно вызвать искусственно посредством облучения ультрафиолетовыми лучами, лучами радия и другими способами. Мутации утратили свой прежний, казалось бы, абсолютно автономный характер и перестали быть примером непознаваемой «вещи в себе». Более того, встала задача — практически овладеть закономерностью мутационных процессов с целью сознательного управления ими.

Как видим, в познавательном отношении имеется определенный параллелизм в развитии физики и биологии: с одинаковой последовательностью они проходят аналогичные ступени, причем с примерным совпадением во времени.

Касаясь ступеней познания, соответствующих достижению различных по глубине уровней структурной организации материи, следует отметить, что идущая впереди физика подгоняла и подтягивала к своему уровню идущую за ней в своем развитии биологию. Показательно в этом отношении создание электронного ми-

микроскопа. Когда в двадцатых годах нашего века родилась квантовая механика, то она принесла с собой диалектическую идею неразрывности волновых и корпускулярных свойств материи. Отсюда следовало, что пучок электронов должен обнаруживать не только корпускулярные, но и волновые свойства с присущей им способностью давать явления дифракции и интерференции. Это значит, что должен получаться своеобразный «электронный свет», длина волны которого окажется значительно меньшей, чем у обычного (видимого) света. В таком случае с помощью «электронной оптики» удалось бы увидеть тела во много раз меньшие, чем те, которые еще могут быть замечены в обычном микроскопе.

Действительно, в 1927 году было экспериментально установлено, что пучок электронов обнаруживает не только корпускулярные, но и волновые свойства. Вскоре на этой основе был построен электронный микроскоп, сыгравший в области изучения биологических явлений исключительно большую роль. Именно этот физический прибор дал возможность перевести изучение жизненных процессов на субклеточный и даже молекулярный уровни биологической и биохимической организации материи. На развитие современной биологии этот микроскоп оказал не меньшее влияние, чем обычный микроскоп на развитие биологии XVII—XIX веков.

На этом примере весьма интересно проследить взаимодействие между развитием физики и биологии: физика достигла в середине двадцатых годов новой, более глубокой ступени познания микропроцессов на квантово-механическом уровне структурной организации материи. Вслед затем, под прямым воздействием этого перехода, через создание электронного микроскопа, физика вызвала переход биологического исследования с прежнего клеточного и организменного уровней на субклеточный и молекулярный.

Но это вовсе не означает, что исследования на прежнем уровне биологической организации материи исчерпали себя и прекратились. Нет, они продолжались (в частности, сюда относятся работы И. В. Мичурина), а потому вновь и вновь вставала извечная для науки проблема о соотношении между «классикой» и «современностью».

Разрешен ли конфликт между «классикой» и «современностью» в биологии?

Возникший в физике в конце XIX века конфликт между «классикой» и «современностью» был успешно преодолен в 1913 году благодаря боровскому «принципу соответствия». Впоследствии такой конфликт возникал еще не раз, например, в связи с созданием квантовой механики (двадцатые годы нашего века), и столь же успешно разрешался.

В биологии такой конфликт, возникший более шестидесяти лет назад, за истекшее с тех пор время не только не был разрешен, но, казалось бы, обострился еще более.

Огромный вред, который принесла с собою для науки августовская сессия ВАСХНИЛ, состоял, в частности, в том, что эта сессия на пятнадцать лет вперед дала советским биологам глубоко ошибочную ориентацию на голую «классику», подправленную в изобилии личными соображениями академика Лысенко и его сторонников. К числу таких соображений относится, например, объявление Дарвина плоским эволюционистом, объявление неоламаркизма диалектикой, а наука — врагом случайностей.

Названная сессия ВАСХНИЛ и последовавшие за нею статьи Лысенко сняли всю проблему соотношения между «классикой» и «современностью», во-первых, тем, что вся современная научная генетика была «отлучена» от науки и объявлена идеализмом и метафизикой, а во-вторых, тем, что классический дарвинизм был извращен и подменен «советским творческим дарвинизмом», под каковым понималась сумбурная смесь, составленная из обрывков неоламаркистских и антиэво-

люционистических (внезапные «порождения» одних видов другими!) воззрений, перемешанных с изрядной долей натурфилософских домыслов.

Между тем реальный конфликт между «классикой» и «современностью», независимо ни от каких сессий и оракульских заклинаний, продолжался в биологической науке и настойчиво требовал своего разрешения. От тех лет, про которые писал К. А. Тимирязев, прослеживая антиэволюционистскую реакцию в странах Запада, до сегодняшнего дня пройдена дистанция огромного размера. Если в начале нашего века менделизм использовался против дарвинизма и эволюционного учения, то современная физико-химическая или молекулярная генетика все ближе подходит к тому, чтобы стать тем конкретным инструментом познания жизненных процессов, с помощью которого удастся проникнуть во внутренний, физико-химический или биохимический «механизм» всего эволюционного процесса органической природы, понять в деталях вещественный аппарат процессов наследственности.

Зарождающаяся эволюционная биохимия намечает перспективы возможного сближения «классики» (дарвинизма) и «современности» (научной генетики). Если сопоставить вновь биологию с физикой в историческом плане, то нынешнее состояние биологии во многом напоминает ту фазу развития физики, которая непосредственно предшествовала теоретическому синтезу различных направлений, совершившемуся позднее и получившему свое выражение в «принципе соответствия» Н. Бора. Биология наших дней еще ждет своего Бора и вместе с тем своего нового Дарвина, который сумел бы преодолеть конфликт между «классикой» и «современностью», обогатив одновременно эволюционное учение (дарвинизм) всеми достижениями физико-химической и биохимической (молекулярной) генетики, с одной стороны, и пронизав научную генетику широкой эволюционной идеей, с другой. Подобно тому, как в физике и химии благодаря проникновению в микромир конкретнее и детальнее раскрылся внутренний «механизм» макроскопических (суммарных) физических и химических процессов, так и в биологии достижение субклеточного и молекулярного уровня позволяет, как мне кажется, достичь такой же конкретизации и детализации в отношении суммарных, макроскопически протекающих биологических процессов.

Итак, конфликт между «классикой» и «современностью» в биологии еще не разрешен. Стремление к его разрешению может стать мощным стимулом дальнейшего прогресса всей теоретической мысли в биологии, что приведет, как мне думается, в недалеком будущем к теоретическому синтезу «классики» и «современности», дарвинизма и научной генетики. Если бы такое ожидание оправдалось, то это послужило бы еще одним важным доказательством того, что общие пути познания истины едины для разных наук, и мы имели бы еще один интересный пример исторических параллелей в естествознании.

Идеализм ли это? Нет!

После того как Т. Д. Лысенко на августовской сессии ВАСХНИЛ в 1948 году объявил менделизм-морганизм идеалистическим течением в биологии, естественно встал вопрос: а в чем тут идеализм? Еще более законен этот вопрос, когда в идеализме обвиняют, следуя за Лысенко, современную научную генетику.

Хорошо известно, что идеализм означает признание первичности духовного и вторичности материального. Если материя признается чем-то вторичным, производным от духа, значит — это идеализм. А если материя признается первичным по отношению к духу, к сознанию, к психике, значит — это материализм. Ведь еще Энгельс, устанавливая такое различие между материализмом и идеализмом, подчеркивал, что ничего другого первоначально и не означают выражения: идеализм и материализм, и только в этом смысле марксист должен их употреблять. В тех же случаях, когда им придают какое-либо другое значение, получается изрядная путаница.

Несмотря на это общеизвестное предупреждение, Т. Д. Лысенко и его последователи из всех сил старались доказать, что само признание существования особого вещественного носителя свойства наследственности есть уже идеализм, независимо от того, имеется ли здесь в виду «зародышевая плазма» Вейсмана или ДНК. Академик Лысенко при этом вопреки истине утверждал, будто кто-то считает наследственность веществом. Но никто из здравомыслящих людей, не говоря уже об ученых, так не считал и не считает, и никто не отождествляет биологического свойства (наследственности) с его материальным (вещественным) носителем.

Но все же как быть с обвинением морганизма-вейсманизма, а тем более современной биохимической генетики в идеализме? Как можно подвести принятие дискретной материальной основы наследственности под первичность духа, вторичность материи? Ведь это сделать очень трудно даже такому изворотливому философу от биологии и биологу от философии, как И. И. Презент. И тем не менее раз обвинение выдвинуто, его надо каким-то образом, хотя бы для виду обосновать. Во время защиты одной диссертации, посвященной философским вопросам биологии, у меня с диссертантом и с опекающим его философом разгорелся жаркий спор. Суть аргументации моих оппонентов сводилась к следующему.

1. Наследственное вещество, равно как и материальные носители наследственности вообще выдуманы, их не существует в действительности.

2. Это аналогично тому, как были в свое время выдуманы теплород и флогистон в качестве материальных носителей тепловых и химических свойств и явлений.

3. В старом предисловии к «Анти-Дюрингу» Энгельс писал: «Гегелевская диалектика так относится к рациональной диалектике, как теория теплорода — к механической теории теплоты, как теория флогистона — к теории Лавуазье».

4. Но гегелевская диалектика была идеалистической, а рациональной является материалистическая диалектика. Значит, по Энгельсу, теории теплорода и флогистона относятся к истинным теориям, как идеалистическая концепция к материалистической. Значит, теории флогистона и теплорода идеалистичны.

5. Но раз они идеалистичны — значит, и современная физико-химическая концепция наследственности («современный менделизм-морганизм») тоже идеалистична.

Таков ход рассуждений тех, кто во что бы то ни стало пытается объявить современную, подлинно научную, глубоко материалистическую теорию наследственности идеализмом.

Но легко показать, что все приведенное выше рассуждение построено на песке, что оно лишено элементарной логичности и не выдерживает никакой критики. Во-первых, из того даже, если бы теории флогистона и теплорода оказались бы идеалистическими, вовсе еще не следует, что теория о материальных носителях наследственности тоже должна быть идеалистической. Откуда это следует? Ведь ни теплорода, ни флогистона никто и никогда не видел и не увидит, так как доказано, что их не существует в природе. Материальные же носители биологического свойства наследственности были предвидены теоретически и открыты экспериментально, они изучаются в настоящее время всеми доступными средствами, выясняется их химическая структура, строятся модели их молекул и т. д. Как же можно ставить на одну доску одно из величайших достижений современного естествознания с давно выброшенными из науки заблуждениями незрелой человеческой мысли? Как не вспомнить в связи с этим гневные ленинские слова из «Материализма и эмпириокритицизма»: «Ведь это все — сплошной обскурантизм, самая отъявленная реакционность. Считать атомы, молекулы, электроны и т. д. приблизительно верным отражением в нашей голове объективно реального движения материи, это все равно, что верить в слона, который держит на себе мир!»

Перефразируя эти ленинские слова, можно назвать сплошным обскурантизмом, сплошной реакционностью утверждение, что считать ДНК материальным

субстратом свойства последственности — это все равно что верить в теплород и флогистон!

Но, во-вторых, теории теплорода и флогистона вообще никогда не были идеалистическими. Они — плод метафизического материализма и сами материалистичны и вместе с тем метафизичны как по своему происхождению, так и по содержанию. В этом отношении они близки мировому (или световому) эфиру. Приписываемый им мнимый идеализм есть вымысел того, кто выдвинул подобную аргументацию. Если же Энгельс сопоставлял эти теории с гегелевской диалектикой, то вовсе не с той целью, чтобы доказать: как гегелевская диалектика была идеалистической, так должны быть идеалистическими и эти теории. Всякий, кто внимательно прочитает соответствующие места из «Диалектики природы», легко убедится в том, что тут идет речь вовсе не об идеализме и материализме, а только о том, что как в философии, так и в естествознании нередко возникают такие ситуации, когда действительные отношения ставятся вверх ногами, а потому нуждаются в переворачивании.

Таким образом, попытка обвинить в идеализме современную физико-химическую генетику оказывается покушением с негодными средствами. Поэтому она и окончилась полным провалом.

Кстати, тут мы видим хорошее подтверждение того, «какая путаница получается в тех случаях, когда им (то есть выражениям «идеализм» и «материализм». — Б. К.) придают какое-либо другое значение», чем то их гносеологическое значение, которое было раскрыто Энгельсом. Тот, кто взялся обвинять в идеализме целое научное направление в современной биологии, во всяком случае должен делать это серьезнее и обоснованнее, а не ограничиваться легкомысленными вещаниями и ссылками на высказывания Энгельса по другому поводу, которые к тому же на поверку оказались понятыми совершенно превратно.

Категорически отвергая тезис моих оппонентов, я со всей ответственностью утверждал и утверждаю: нет, современная научная генетика — это не идеализм, а подлинный материализм!

Заклинаниями нельзя остановить прогресса науки!

Я старался проследить с некоторой более широкой и общей точки зрения линии развития различных отраслей естествознания и показать общность путей познания истины, в какой бы области действительного мира она ни открывалась. Философские раздумья по поводу судеб биологической науки приводят меня к оптимистическому выводу: как бы ни были тяжелы допущенные в прошлом ошибки, все же чувствуется приближение в недалеком будущем решающих открытий в части теоретического синтеза всех биологических знаний и выработки единой теории жизненных процессов, которая в последней трети XX века будет призвана выполнить такую же историческую роль, какую в биологии последней трети XIX века выполнил дарвинизм.

Для того, чтобы приблизить прямую постановку такой задачи и сделать возможным ее решение, помимо достижений самих естественных наук, сближающих «классику» с «современностью», необходимо выполнение, на мой взгляд, трех важных методологических условий.

Во-первых, держать перед мысленным взором историческую перспективу научного развития за достаточно длительный период времени, дабы видеть, в какую сторону и какими темпами изменяются первоначальные концепции корпускулярной генетики, как они освобождаются от наносных и ошибочных положений, как они все больше опираются на прочный фундамент научных фактов.

Во-вторых, во всех теориях, понятиях, открытиях видеть прежде всего их основное содержание, живого ребенка, которого нельзя выплескивать из ванны вместе с грязной водой; и вместе с тем подходить ко всем явлениям и процессам в биологической науке диалектически, то есть вскрывать на-

лично в ней противоречивых тенденций как в соотношении «классики» и «современности» (что составляет стержень новейшей революции в биологии), так и в соотношении прогрессивного развития самой науки и реакционных философских выводов, которые делаются из ее развития.

В-третьих, категорически отказаться раз и навсегда от метода наклеивания порочащих ярлыков, как-то вейсманнизм-морганизм-менделизм и т. п., которым придается смысл, близкий к тому, какой вкладывается в выражение «вредитель», «враг науки». Как я старался показать, с именами Вейсмана, Моргана, Де Фриза и Менделя связаны в первую очередь не только антидарвинистические тенденции в биологической науке конца XIX — начала XX веков, но и провидение величайших достижений современной научной генетики, опирающейся на прочную материалистическую основу.

Академик Лысенко пустил в оборот наукообразные клички вейсманнист-менделист-морганист как своеобразное заклинание против неугодных ему научных направлений. Они заменяют ему и его сторонникам более обыденное выражение «Чур меня!», адресованное новым направлениям современной биологической науки. Но давно известно, что никакими заклинаниями нельзя остановить прогресса науки.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ, Н. ДИКУШИНА

★

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

(К 40-летию журнала «Новый мир»)

1
В июне 1926 года А. М. Горький писал В. П. Полонскому: «Вы совершенно правы: «хныканье и пессимизм надобно оставить». Удивляюсь г. г. критикам — о чем плачут? Плакать не о чем. Такого подъема в литературе, какой ныне наблюдается — никогда еще не было. Это — факт. Плохо пишут? Правильно, очень многие пишут плохо. Но, когда нам было по шести, восьми лет от роду, мы тоже плохо говорили. Потом — научились говорить лучше. Не правда ли?»

Действительно, после окончания гражданской войны в советской литературе обозначился необычайный подъем. Отовсюду — с фронтов, из городов и деревень — в литературу широким потоком вливались новые силы. В ряды прозаиков вместе с Горьким, Серафимовичем, Вересаевым, Треневым, Пришвиным и другими «стариками» стали Вс. Иванов, Сейфуллина, Либединский, Фурманов, Бабель, Артем Веселый, Фадеев, Лавренев, Леонов, Федин и многие другие молодые писатели. К Бедному, Маяковскому, Есенину, Асееву и пролетарским поэтам первых лет революции присоединились Тихонов, Сельвинский, Багрицкий и целая плеяда «комсомольских» поэтов. Уже в 1923 году в решениях XII съезда партии отмечалось, что «за последние два года художественная литература в Советской России выросла в крупную общественную силу, распространяющую свое влияние прежде всего на массы рабоче-крестьянской молодежи».

В скором времени серьезные успехи советской литературы стали еще более явст-

венными. 1924 год Н. Осинский назвал тогда «годом кризиса литературы», а на самом деле это был год, когда появились воспоминания о Ленине и некоторые рассказы Горького, поэма «Владимир Ильич Ленин» и многие стихотворения Маяковского, «Железный поток» Серафимовича, новые стихотворения и поэма «Песнь о великом походе» Есенина, «В тупике» Вересаева, «Барсуки» Леонова, «Мятеж» Фурманова, «Конармия» Бабеля, «Гуси-лебеди» Неворова, «Виринея» Сейфуллиной, поэма «Комсомолия» Безыменского, «Двадцать шесть» и другие стихотворения Асеева, несколько рассказов и очерков Пришвина, «Тринадцать трубок» Эренбурга, «Одеты камнем» Форш, сборники статей Луначарского и Воронского.

Чтобы объединить писателей, помочь дальнейшему росту литературы и удовлетворить запросы читателей, нужны были литературно-художественные журналы. И они, по словам Воронского (в одном из писем того времени к Горькому), «росли, как грибы после дождя». В 1924 году к уже существующим журналам («Красная новь», «Печать и революция», «Сибирские огни», «Молодая гвардия», «Лэф», «На посту» и другим) прибавились «Звезда», «Октябрь» и «Рабочий журнал». Но и этого было недостаточно. К тому же почти все издававшиеся журналы страдали большей или меньшей односторонностью и вели между собой ожесточенную полемику, затрачивая на нее, пожалуй, слишком много сил и энергии. Партия в решениях XIII съезда (май 1924 года) выступила против «узкой кружковщины» в литературе, а через год в известной резолюции ЦК РКП(б) «О поли-

тике партии, в области художественной литературы» осудила «капитулянтство», с одной, и «комчанство», с другой стороны, сильно отражавшиеся на работе и облике журналов. Партия в двадцатые годы поддерживала организации пролетарских писателей, но была озабочена развитием всего фронта литературы.

Ощущалась потребность в журнале, который был бы свободен от односторонних пристрастий и «узкой кружковщины», способствовал бы выдвигению и росту писателей из рабочих и крестьян и воспитанию «попутчиков», смог бы хорошо поставить литературную критику.

В связи с этим тогдашний редактор газеты «Известия» Ю. М. Стеклов предложил создать на базе издательства «Известий» ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал.

В конце 1924 года в газете «Известия» появилось объявление:

«В 1925 г. с января месяца «Красная нива» помимо других приложений даст своим подписчикам ежемесячный литературный, научно-популярный и политический журнал «Новый мир».

В журнале принимают участие: А. Арошев, В. Александровский, М. Артамонов, Н. Асеев, И. Бабель, И. Вольнов...» (Следовал длинный список писателей различных направлений и групп.)

«Новое издание, — сообщалось далее в объявлении, — преследует задачу дать ежемесячный журнал широким массам. При технических условиях «Известий» и «Красной нивы» представляется возможным довести подписную цену журнала до минимума».

В январе 1925 года первый номер нового журнала вышел в свет.

Его редакторами являлись Ю. М. Стеклов и А. В. Луначарский, а ответственным секретарем (который вел журнал практически) был в 1925 году Ф. В. Гладков. Но вскоре Стеклова и в «Известиях», и в «Новом мире» сменил И. И. Скворцов-Степанов. Он предложил ввести в редколлегия «Нового мира» В. П. Полонского, который с начала 1926 года стал фактическим редактором журнала.

С деятельностью Полонского, Луначарского, Скворцова-Степанова связаны первые годы существования «Нового мира». Их взгляды, понимание литературы, вкусы наложили сильнейший отпечаток на жур-

нал и надолго определили его характер и облик.

В. П. Полонский был широко образованным партийным литератором и ученым. Его перу принадлежали серьезные научные работы о Бакунине, уникальный труд «Русский революционный плакат» и большое количество публицистических и литературно-критических выступлений. В «Новый мир» он пришел, имея за плечами большой опыт издательской и редакторской работы. Созданный и поставленный им критико-библиографический журнал «Печать и революция» был тому самым наглядным свидетельством.

Весьма значительны заслуги Полонского и как редактора «Нового мира». Он был энергичным собирателем литературных сил, хорошо чувствовал запросы читателей и знал «секрет», как сделать книжку журнала интересной.

«Вячеслав Павлович Полонский, — вспоминает один из его помощников по «Новому миру» Н. П. Смирнов, — как бы родился редактором — редактирование было его призванием, его неизменной любовью, его насущным делом, которому он отдавал все способности и силы».

Конечно, лучшим показателем результатов работы Полонского является семьдесят отредактированных им номеров «Нового мира», но известное значение имеют и отзывы писателей, знающих толк в этом деле. Горький говорил, что питает определенную симпатию к «Новому миру» и лично к Полонскому — «организатору двух таких превосходных изданий, как «Печать и революция», «Новый мир»; Пришвин писал Полонскому: «Вы помогли мне заняться делом, к которому я призван. Вы мне помогли больше всех, кого я встречал на своем литературном пути в последние десять лет»; Малышкин телеграфировал редакции «Нового мира» в декабре 1934 года в связи с десятилетием журнала: «В этот день со скорбью вспоминаю основоположника журнала — покойного Вячеслава Павловича Полонского, отдавшего «Новому миру» огромную любовь и весь блеск своего редакторского таланта».

О том, как понимал Полонский цели и задачи «Нового мира», он писал и говорил неоднократно, но наиболее продуманно и полно — в «Заметках журналиста», написанных в связи с пятилетием журнала и напечатанных в первом номере за 1930 год.

Здесь он сделал попытку определить некоторые программные для «Нового мира» положения, дать необходимые разъяснения читателям, ответить на упреки критиков.

Прежде всего Полонский указывает, что перед «Новым миром» при его возникновении была поставлена задача стать органом, показывающим рост в се й советской литературы, а не только пролетарской, изданием, способствующим сближению разных отрядов советских писателей. «Органом какого же отряда, или течения, или группировки был «Новый мир»? — ставит вопрос Полонский и отвечает: — Трудность его позиции заключается в том, что он призван был показать на своих страницах рост главнейших отрядов советской литературы с преимущественной установкой на отряде попутчиков. Такова была задача, поставленная журналу. Потому-то упрек, что мы одновременно печатали А. Толстого и Гладкова, Бабеля, Караваеву и Маяковского — бьет мимо цели. Так оно и должно было быть».

Самым энергичным образом Полонский подчеркивает необходимость бескомпромиссной борьбы за высокий художественный уровень советской литературы. «Новый мир», — заявляет он, — журнал квалифицированной, высококачественной прозы», и решительно отводит обвинения в «эстетизме», «барстве», «высокомерии» и т. п. Роль журнала заключается в том, чтобы «подымать качество нашего литературного искусства, поощрять талантливых и искусных, толкать к мастерству неумелых и неопытных, устанавливая высокий уровень литературы, по которому должна равняться молодежь, повышать этот уровень, чтобы рост литературы не остановился или, что еще хуже, не пошел вспять». Упреки в «барстве», в «эстетизме», пишет Полонский, рождаются «в среде озлобленных и отвергнутых. Их подхватывают демагоги и болтуны».

Особо останавливается Полонский на отношении журнала к «молодым» и «начинающим». Как раз в то время, когда он писал свою статью, редакцией журнала было получено из Хабаровска от одного «начинающего» следующее характерное письмо: «Говорят, трудно, ох как трудно провинциальному литератору попасть в московские журналы, да еще в такой, как «Новый мир». Говорят, Москва гонится за именами, а не материалом. «Дескать, известное дело, провинция! Куда, мсл, ей до

Москвы! Что вообще может дать провинция?» и т. д. и т. п. А это, между прочим, здорово обидно».

Прочитывая письмо, Полонский ответил на него так: «Эго еще, между прочим, здорово ошибочно, дорогой товарищ. Вы ошибаетесь вдвойне: во-первых, полагая, что все «имена» советской литературы столичного происхождения. И, во-вторых, что редакция равнодушна к «провинции», т. е., очевидно, к «молодым», «безвестным», «начинающим».

Напротив... Мы ждем этих молодых, мы «ищем» их в тех грудях иногда трудно разборчивых, написанных на обрывках и клочках бумаги, иногда каракулями, рукописях, которые исчисляются тысячами... Когда нам удается напечатать первое произведение начинающего автора, — говорю без преувеличения, — это радостный день для редакции... Новый писатель, выдвинутый в литературу, — да поймите же, — это гордость журнала, это лучшая журналу похвала, — а вы говорите: мы пренебрегаем молодежью!»

И дальше Полонский пояснял, что «молодые», «начинающие» писатели из «провинции» и т. д. (да и не только они) нередко получают отказ из редакции вовсе не потому, что их «затирают», а потому, что художественное творчество — дело трудное, требующее и таланта, и культуры, и обширных общих знаний. «Всякое специальное ремесло требует общих знаний и специальной выучки — это все превосходно понимают, — пишет в связи с этим Полонский. — И только касательно одной литературы, да еще критики продолжает существовать заблуждение, будто никаких знаний, никакой выучки, никакого большого длительного труда не нужно, чтобы стать писателем! Стоит лишь захотеть!»

Но это — ошибка. Она губила, губит и будет губить тех молодых, которые не осознают огромных трудностей, предъявляемых литературой всякому желающему принимать участие в ее движении».

Так разъяснял редактор «Нового мира» некоторые «установки» журнала.

2

Как уже говорилось, Полонский не был единовластным хозяином «Нового мира». В этом отношении его положение в журнале сильно отличалось от положения Ворон-

ского в «Красной нови». Большую роль в «Новом мире» играли Луначарский и Скворцов-Степанов.

Известны огромные заслуги Луначарского в развитии советской культуры, просвещения и литературы. Известна и его неизменная перегруженность многообразными трудами и обязанностями. Но, несмотря на всю свою занятость, он вовсе не был «почетным членом» редколлегии «Нового мира», а принимал в жизни и работе журнала непосредственное деловое участие. Луначарский ценил и любил «Новый мир»¹ и был в курсе его забот, удач и огорчений. Он читал в рукописях некоторые материалы, которые шли в журнале, участвовал в их обсуждении, рекомендовал редакции обратить внимание на те или иные произведения, выступал на страницах «Нового мира» со статьями и рецензиями. Так, в 1926 году в журнале были напечатаны его статьи о книге немецкого художника Георга Гросса «Искусство в опасности» (№ 3), о пьесе Романа Роллана «Игра Любви и Смерти» (№ 5), предисловие к рассказу Ж. Жироду «Святая Эстелла» (№ 7), рецензия на книгу И. Маца «Искусство современной Европы» (№ 8-9). Деятельным сотрудником «Нового мира» Луначарский оставался и в последующие годы. В 1927 году он поместил в журнале статью «Ревизор» Гоголя — Мейерхольда, в 1928 году — «Тезисы о задачах марксистской критики», в 1929 году — «О «многоголосности» Достоевского» (по поводу книги М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского»). Как правило, выступления Луначарского имели принципиальное значение. Это безусловно относится, например, к «Тезисам о задачах марксистской критики».

«Марксистская критика отличается от всякой другой прежде всего тем, что она не может не иметь в первую голову социологического характера, и притом, само собою разумеется, в духе научной социологии Маркса и Ленина» — таково исходное положение тезисов Луначарского. Оно противостоит у него как идеализму и формализму, отрывающим литературу от социального бытия и классовых отношений, так и вульгарному социологизму, пытающемуся свести всю литературу, ее содержание и фор-

му к выражению материальных, экономических интересов и поставить ее в прямую и непосредственную связь с формами производства.

Отсюда вытекает и решение Луначарским вопроса — о критериях оценки литературных произведений. Прежде всего, по его мнению, «критик-марксист должен постараться найти основную социальную тенденцию данного произведения, то, куда она произвольно или непроизвольно метит или бьет».

Луначарский знал, что такое понимание задач критики вызывает в некоторых кругах протест: дело ли критика заниматься выяснением общественно-политической направленности художественных произведений? Он отвечал на это: «Вообще мы находимся в сфере идейной борьбы. Отказаться от характера именно борьбы в деле нынешней литературы и ее оценки ни один последовательный и честный коммунист не может».

Вместе с тем Луначарский более чем энергично предупреждал против злоупотреблений «социальным анализом». Анализ и оценку общественного содержания и направления того или иного произведения Луначарский считал делом необычайно сложным и трудным, требующим от критика осторожности, вдумчивости и большого чутья: слишком много различных сторон приходится принимать во внимание, если дело идет о подлинно художественном произведении. Так, например, по его мнению, критик-марксист не может считать существенными лишь те произведения, которые ставят остролюбодневные проблемы. Большое значение могут иметь и произведения, решающие вопросы, которые на первый взгляд кажутся и общими и отдаленными, а при внимательном рассмотрении оказываются важными и актуальными. «Плох художник, — замечал в связи с этим Луначарский, — который своими произведениями иллюстрирует уже разработанные положения нашей программы. Художник ценен именно тем, что он поднимает новину, что он со своей интуицией проникает в область, в которую обычно трудно проникнуть статистике и логике».

Горячо выступил Луначарский за новизну, оригинальность произведений литературы, против трафаретных и шаблонных художественных решений («Художник должен выражать то, что до него не выраже-

¹ «В общем и целом мне чрезвычайно нравится «Новый мир», какой он стал под Вашим руководством», — писал Луначарский Полонскому 13 мая 1926 года.

но»), но предостерегал от оригинальничанья: «В этих случаях за внешними выдумками и орнаментами стараются скрыть пустоту содержания».

С большой осторожностью, по словам Луначарского, надо относиться к критерию общедоступности произведения. Для него ясно, что «всякие формы замкнутости, герметизма, всякие формы, рассчитанные на небольшие круги специфических эстетов, всякие художественные условности и рафинированность должны быть преследуемы марксистской критикой». Он воздает славу тому писателю, «который может сложное и ценное общественное содержание выразить с такой художественно мощной простотой, что оно волнует миллионы и десятки миллионов». И в то же время он отмечает, что «нельзя отрицать значения и таких произведений, которые не удалось сделать достаточно понятными для каждого грамотного, которые относятся к верхнему слою пролетариата, вполне сознательным партийцам, к читателю, уже обладающему изрядным культурным уровнем».

Луначарский придавал критике очень важное значение и утверждал, что революция предъявляет к ней исключительные требования. Критик-марксист способен многому научить и читателя и писателя, но только в том случае, если сам будет упорно и твердо учиться и у писателей и у читателей. Заканчивал же Луначарский свои тезисы следующими словами: «В общем и целом критик-марксист, отнюдь не впадая в добродушие и попустительство, что было бы величайшим грехом с его стороны, должен быть априори доброжелательным. Его великой радостью должно быть найти положительное и показать его читателю во всей ценности. Другую для него целью должна быть его помощь, направить, предостеречь и только в редких случаях может явиться надобность постараться убить негодное разящей стрелой смеха или презрения или раздавливающей критикой, могущей действительно просто уничтожить какую-нибудь раздувшуюся мнимую величину».

Таковы «тезисы» Луначарского — одно из наиболее серьезных и глубоких его выступлений, во многом не утратившее своего значения и по сей день.

Активнейшим деятелем «Нового мира» был И. И. Скворцов-Степанов. По статуту того времени на него возлагалась ответственность за выходившие в издательстве

«Известий» журналы. Скворцов-Степанов возглавлял редакционную коллегию «Нового мира» и уделял ему очень много внимания. Его участие в работе журнала приоткрывает перед нами новую сторону деятельности этого выдающегося, высокообразованного и многосторонне одаренного деятеля партии. Недавно в «Новом мире» было опубликовано тринадцать писем Скворцова-Степанова Полонскому — отзывы о различных произведениях, предполагавшихся к напечатанию в «Новом мире». Это, несомненно, далеко не все материалы, характеризующие деятельность Скворцова-Степанова в области советской литературы, но и они дают довольно яркое представление о нем как о литераторе и редакторе.

Все эти небольшие «внутренние рецензии» написаны ясно, энергично, убедительно. Приведем в качестве примера отзыв о романе некоей Наталии Шатхан «Чужаяда», отвергнутом по предложению Скворцова-Степанова редакцией журнала:

«По изобразительным приемам, по общей манере местами — типично «дамский» роман, который, в особенности в первых главах, положительно напрашивается на шарж. По содержанию нередко сбивается на адольтерно-«аристократический» роман в советском гарнитуре...

По «великосветским», «аристократическим» претензиям и кривляниям автора роман живо напоминает мне беллетристику «Рус[ского] вестника» Каткова и даже романы Мещерского из «Гражданина». Какое высокомерие, какое презрение к «плебсу» с их ненастоящим валансьеном, плохим маникюром и г. д. В этом для нее — вся культура и культурность.

Я не отрицаю, что для первого произведения автор обнаруживает некоторую литературность. Но при всем том это такая «полковая дама» по своему умственному складу, что ее не пустили бы ни в «Русское богатство», ни в «Современный мир».

Потребовались бы очень небольшие переделки, потребовалось бы отсечь немногие механически приделанные мелочи, чтобы получить форменно белогвардейский роман. А наши литераторы могли бы написать ядовитейший — и совершенно заслуженный — шарж на этот роман.

Говоря коротко: препротивная штука!»

Главное в подходе Скворцова-Степанова к литературе — партийность, оценка общественной направленности произведения. Это

видно и в приведенной рецензии на «Чужаду», и в других отзывах. Так, решительно отклонил Сковрцов-Степанов известную повесть С. Малашкина «Луна с правой стороны», справедливо полагая, что, «при малой художественной ценности, приходится с особой строгостью учитывать политическую сторону... Независимо от намерений автора, получился пасквиль на комсомол».

Характерна и оценка Сковрцовым-Степановым деревенских очерков Родиона Акульшина «Солнце на завалинке». Сковрцов-Степанов убедительно доказывал в письме к Полонскому, что Акульшин поддерживает и «оформляет» настроения тех отсталых слоев деревни, по представлениям которых город «паразитирует на деревне», а весь аппарат советского управления — «вредный нарост на деревне» и высасывает из нее соки. «Я полагаю,— заканчивал Сковрцов-Степанов свое письмо Полонскому,— что у меня с Вами в этой области не будет разногласий: недаром Вы прислали мне Акульшина». Очерки «Солнце на завалинке» в «Новом мире» не появились.

Но подход Сковрцова-Степанова к произведениям литературы с «политической стороны» был далек от какого-либо упрощения, вульгаризации и нисколько не мешал ему смотреть на вещи широко, с глубоким пониманием особенностей литературного дела.

В истории «Нового мира» известен такой эпизод. В начале 1927 года в редакцию журнала поступила рукопись большого романа А. Н. Толстого. Это была вторая часть трилогии «Хождение по мукам» — «Восемнадцатый год». Известно, что в те годы репутация А. Толстого (недавно вернувшегося из эмиграции) была еще неопределившейся. Рапповская критика обычно относила его даже не к правым попутчикам, а просто к буржуазным писателям. У Полонского роман Толстого вызвал сомнения, которые он и высказал автору. Он сомневался в правильности отбора событий и опасался, что в изображении неверно распределены свет и тени. Толстой ответил Полонскому пространственным и весьма интересным письмом, в котором горячо и убедительно отстаивал художественную концепцию романа. Известно, чем бы кончилась эта дискуссия, если бы не вмешательство Сковрцова-Степанова. Ему роман Толстого решительно понравился. Он склонил на свою сторону Полонского («Это будет для «Нового мира»

большим приобретением») и написал письмо Толстому. «Если и дальше Вы не спуститесь с достигнутого уровня, получится своего рода «гвоздь» художественной литературы за 1927 г.,— писал он.— И как кстати к десятилетию! Большой мастер виден в каждой строке и в каждом штрихе». Письмо это решило спор между Полонским и Толстым и произвело на писателя большое впечатление.

«Глубокоуважаемый и дорогой Иван Иванович,— писал он Сковрцову-Степанову,— только что приехал с дачи и прочел Ваше письмо. Оно меня очень обрадовало и укрепило — стало быть, тот тон, который я с таким трудом искал, художественная концепция романа — производит нужное мне впечатление... Еще раз спасибо Вам за прекрасное письмо».

Роман Толстого печатался в «Новом мире» с июля по декабрь 1927 года и в номерах 1, 2, 5—7 за 1928 год и явился, бесспорно, «большим приобретением» всей советской литературы.

У Сковрцова-Степанова было постоянное желание поддержать все подлинно талантливое и правдивое. В своих отзывах он уделял художественному качеству произведения столь же большое внимание, как и его «политической стороне». По сути дела идейность, правдивость и художественность произведения были в его представлении неразрывны. «Я впервые знакомлюсь с ним,— писал Сковрцов-Степанов по поводу той же повести С. Малашкина «Луна с правой стороны»,— как слаб он в художественном отношении! Какие детские описания наружности героев! И какие невыносимые длинноты! Рассказ все время ведется с «трагической нотой в голосе». Это в конце концов производит смешное впечатление, в особенности когда оказывается, что Таня жива, обретает благополучие и т. д.»

И еще одну черту Сковрцова-Степанова нельзя не отметить, когда знакомишься с ним как с одним из редакторов «Нового мира»,— его постоянную готовность взять на себя всю полноту ответственности за напечатание того или иного произведения — будь то «Восемнадцатый год» А. Толстого, «Чертухинский балакирь» С. Клычкова, «За живой и мертвой водой» А. Воронского или записки С. Федорченко «Народ на войне». По тем или иным причинам публикация каждого из этих произведений представляла известные трудности, и Сковрцов-Степа-

нов ни разу не только не уклонился от прямого и недвусмысленного решения вопроса, не проявил бязни и стремления «перестраховаться», но, напротив, во всех случаях готов был отвечать перед партией за принятое решение. «Я опять повторю Вам,— писал он Полонскому по поводу публикации «Чертухинского балакиря»,— охотно возьму на себя полную ответственность перед партией за такую «религиозную пропаганду», прямо заявлю всем и каждому, что я настаивал, что я давил на Вас в таком направлении». «За «размышления» литпостовцы опять будут всячески придирааться к автору, но с этим не стоит считаться. Непременнo нaдо пyстить»,— писал он о воспоминаниях Воронского, которого критиковали тогда не только «литпостовцы».

Совершенно очевидно, что роль Скворцова-Степанова в становлении «Нового мира» была весьма важной и не может быть забыта.

3

Кто же из писателей печатался в «Новом мире» в годы 1925—1931-й и что было в нем тогда опубликовано?

Перечислим сотрудничавших в журнале прозаиков и поэтов, извинившись заранее за те или иные невольные упущения:

Александровский, Алтаузен, Антокольский, Асеев, Бабель, Багрицкий, Бахметьев, Безыменский, Буданцев, Веселый, Воронский, Герасимов М., Гладков, Голодный, Горький, Грин А., Гусев, Деметьев Н., Доронин, Есенин, Жаров, Зарудин, Зингер, Зошенко, Иванов Вс., Инбер, Исаковский, Казин, Каменский В., Караваева, Катаев В., Кириллов, Кирсанов, Клычков, Лавренев, Леонов, Лидин, Луговской, Малашкин, Малышкин, Маяковский, Мстиславский, Низовой, Никандров, Никифоров, Никулин Л., Новиков-Прибой, Огнев, Орешин, Павленко, Пастернак, Петровский Д., Пильняк, Полегаев, Пришвин, Платонов А., Прокофьев, Радимов, Романов П., Садофьев, Саянов, Светлов, Сейфуллина, Сельвинский, Семеновский, Серафимович, Сергеев-Ценский, Слетов, Соболев А., Соколов-Микитов, Тихонов Н., Толстой А., Уткин, Ушаков Н., Федин, Фурманов, Шагинян, Шишков.

Таким образом, в «Новом мире» участвовали писатели и старые и молодые, и пролетарские и крестьянские, и попутчики, и

рапповцы, и лефовцы, и перевальцы, и конструктивисты, и не состоящие ни в каких группах. Среди этих писателей иные печатались постоянно или часто, другие редко, некоторые стали сотрудниками журнала в конце своего творческого пути, многие здесь начинали, но так или иначе очевидно, что художественный отдел «Нового мира» показывал широкую картину роста советской литературы и таким образом выполнял поставленную перед ним задачу.

Полонский, говоря о том, что «Новый мир» печатал разных писателей, вынужден был как бы извиняться перед налитпостовцами — дескать, я понимаю, что это зло, беда, но все же это не «эклетицизм», а «синкретизм», да и поделаться я ничего не могу, таковы обстоятельства: литература еще не достигла необходимой степени дифференциации и «толстому» журналу пока еще невозможно существовать, опираясь на какую-либо одну группу. Однако уже в те годы ощущалась необходимость ликвидации групповых границ в литературе и журналистике. Принятое в двадцатые годы разделение писателей на «пролетарских», «крестьянских» и «попутчиков» явно теряло свой смысл. Различия между ними стирались, и сами эти понятия утратили свое содержание и устарели. «...Я считаю себя пролетарским поэтом, а пролетарских поэтов ВАППа — себе попутчиками»,— говорил не раз Маяковский.

Из произведений, напечатанных в «Новом мире» в первые шесть-семь лет его существования, назовем лишь малую часть: «Жизнь Клима Самгина» (вторая часть) Горького, «Восемнадцатый год» и «Петр I» (первая часть) А. Толстого, «Кашеева цепь», рассказы («Ленин на охоте», «Нерль» и другие) Пришвина, воспоминания Вересаева, «Унтиловск» и «Соть» Леонова, «Севастополь» Малышкина, «Россия, кровью умытая» Артема Веселого, «Ухабы» и начало «Цусимы» Новикова-Прибоя, «Дневник Кости Рябцева» Огнева, «Пьяное солнце», «Старая секретная» Гладкова, отрывок из романа «Борьба» Серафимовича, «Золотая цепь» А. Грина, пьеса «Закат» и рассказы Бабеля, отрывки из «Преображения» Сергеева-Ценского, «Место под солнцем» Инбер, «Каин-кабак» Сейфуллиной, повесть «Пастух» К. Федина, «Гидроцентральный» Шагинян, «Двор» А. Караваевой, «Отступник» Лидина, «Бурса» и «За живой и мертвой водой» Воронского, рассказы и очерки Соколова-

Микитова, «Сергею Есенину», «Разговор с фининспектором о поэзии» Маяковского, «Черный человек» Есенина, главы из поэм «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт», «Спекторский» Пастернака, главы из «Улялаевшины» и «Пушторга» Сельвинского. Если к этим произведениям прибавить «Поднятую целину» Шолохова, которая хотя и была напечатана в журнале в 1932 году, но была обещана автором, по свидетельству Н. Смирнова, еще Полонскому, то станет очевидным, что в «Новом мире» при Скворцове-Степанове, Полонском и Луначарском была напечатана значительная доля того лучшего, что было создано тогда советскими писателями.

«За эти десять лет своего яркого пути «Новый мир» запечатлел на своих страницах лучшие художественные произведения современности, которые вошли в историю литературы», — писал Гладков, поздравляя журнал с десятилетием и называя его «мой родной журнал».

Приведем еще некоторые приветствия тех же дней:

«За эти последние годы почти все наиболее заметные произведения стихотворных, драматических и прозаических жанров прошли через страницы «Нового мира» (Леонов). «Широкий охват тем современности, борьба за высокое художественное мастерство, постоянная связь со своим авторским коллективом — вот те качества «Нового мира», которые делают его одним из наиболее популярных журналов в нашей стране» (Федин, Тихонов, Лавренев, Слонимский, Чапыгин и другие ленинградские писатели). «Нужно ли говорить о том, что «Новый мир» является самым талантливым, содержательным, самым ярким из наших толстых журналов. Это прекрасно знаем и мы, писатели, знает это и наш читатель. Вокруг «Нового мира» собрано все творческое, деятельное, умное советской литературы» (Толстой).

Конечно, юбилейный стиль и характер этих отзывов очевиден, но и при этом они остаются одним из немаловажных подтверждений значительности той роли, которую «Новый мир» сыграл в те годы в истории советской литературы и журналистики.

При всей важности художественного отдела, редакция «Нового мира» с самого начала его существования обращала очень большое внимание и на все другие разделы журнала. Уже в 1926—1927 годах была най-

дена та структура журнала, которая сохранялась в нем долгие годы и в известной мере существует до сих пор. За художественным разделом, как правило, следовали разделы: «Люди и факты», где сосредоточивались статьи и очерки на внутренние темы, «За рубежом», «Наука и жизнь», «Из прошлого», «Литература и искусство», «Книжное обозрение».

В первом номере журнала были помещены неопубликованные рукописи В. И. Ленина о диктатуре пролетариата. Часто печатались в «Новом мире» публицистические статьи М. И. Калинина. Первая из таких статей Калинина «Что делает советская власть для осуществления демократии» (№ 10, 1926) сопровождалась примечанием редакции: «Предлагаемая статья написана тов. М. И. Калининым для иностранной печати. По просьбе редакции он предоставил ее «Новому миру».

С воспоминаниями на страницах «Нового мира» выступали Антонов-Овсеенко, В. Бонч-Бруевич, Ф. Кон, Майский и другие. Очерки для журнала писали Соколов-Микитов, Шишков, В. Каменский, Буданцев, Пильняк. В отделе «Наука и жизнь» регулярно публиковались статьи ученых по важнейшим современным проблемам физики, химии, биологии, медицины, общественных наук.

Интересным и квалифицированным был в журнале отдел литературной критики. Кроме Полонского и Луначарского, в нем печатались А. Лежнев, Якубовский, В. Полянский, П. Коган, Фриче, Воронский, Л. Гроссман, К. Чуковский, Войтовский и другие критики и литературоведы старшего поколения. Нередко выступали со статьями по вопросам литературы писатели: Вересаев («Заметки о Пушкине»), Маяковский («В мастерской стиха»), Федин («Об искусстве и критике»), Асеев («Работа Маяковского»), Леонов, Павленко, Сейфуллина (речи на дискуссии в ВССП о положении в литературе) и другие. Большой заслугой «Нового мира» являлось привлечение к активному сотрудничеству в журнале молодых критиков: Замошкина, Н. Смирнова, Горбова, Гоффеншефера, Красильникова, Фрида, Арк. Глаголева, Пакентрейгера, Сергиевского, Богословского, Тимофеева.

Активность редактора журнала В. Полонского в качестве критика была поразительной. В течение шести лет на страницах жур-

нала регулярно, через один-два номера, появлялись статьи Полонского на литературные темы: теоретические, полемические, обзорные, монографические, а также выступления на дискуссиях, «заметки журналиста», «листки из блокнота» и т. п.

Некоторые его статьи сохранили свое значение до наших дней и должны быть переизданы. В первую очередь это относится к литературным портретам советских писателей Фурманова, Фадеева, Артема Веселого, Бабеля, Пильняка, Олеси и других. В этих статьях Полонского анализ социально-философских тенденций того или иного произведения литературы органически сочетается с характеристикой художественного своеобразия писателя, его мастерства.

Заслуживают внимания и некоторые теоретические статьи Полонского. Они касались преимущественно проблем специфики искусства и художественного образа, психологии и социальных основ творчества, соотношения сознательного и бессознательного в литературе.

Выступления Полонского против «Лефа» и критиков журнала «На литературном посту» были одобрены Горьким. «Разрешите сказать, что Ваша полемика с «Лефом» и «напостовцами» большая Ваша заслуга», — писал Горький Полонскому в 1928 году. Напечатанная в «Новом мире» (№ 9, 1927) статья Полонского «Художник и классы (О теории «социального заказа»)» была высоко оценена Скворцовым-Степановым. «Горячо приветствую принципиальную и в общем правильную постановку большого вопроса! — писал он в отзыве о статье. — «Социальный заказ»: творчество — нечто внешнее для художника, как производство болванок — для литейщика. Точка зрения автора: творчество органически должно быть слито с художником. В одном случае художнику приказывают подделываться. Во втором случае говорят: большим художником ты сделаешься, если будешь петь, как птица — по внутренней потребности.

Правильно! Жму Вашу руку».

Для нас совершенно очевидно, что те ярлыки, которые рапповская критика навешивала на Полонского («правый уклонист в литературе» и т. п.), были несправедливы и незаслуженны. Подобные обвинения были результатом «перегибов», которые в те годы допускались в литературном движении. Однако это вовсе не значит, что в критической

деятельности Полонского не было ошибок и недостатков.

В общем, Полонский как критик шел на протяжении почти всего десятилетия рядом с Воронским, во многом разделяя не только сильные, но и слабые стороны воззрений этого талантливой и влиятельного литературного деятеля двадцатых годов. Попытки Полонского создать самостоятельную концепцию развития советской литературы успеха не имели. Его построения страдали серьезными противоречиями, как и отношения к различным течениям, группировкам и отдельным деятелям литературы тех лет. Он объявлял Ключева советским крестьянским поэтом и выступал с недопустимо грубыми нападками на Маяковского, одобрял «Луну с правой стороны» С. Малашкина и опасался романа А. Толстого «Восемнадцатый год». Полемические выступления Полонского нередко были по своему содержанию слишком мелкими. Журнал должен и обязан вести полемику, не превращая ее в перебранку. Между тем именно такой характер имели многие «Листки из блокнота» Полонского.

В «Тезисах о задачах марксистской критики» Луначарский писал о такого рода полемических выступлениях: «...когда аргументов не очень-то много, а разных язвительных стишков, сравнений, насмешливых восклицаний, лукавых вопросов видимо-невидимо, то впечатление получается, пожалуй, веселое, но и в высшей степени несерьезное».

Однако не будем чрезмерно строги к критике, который внес немалый вклад в советскую литературу и журналистику и которому многим обязан «Новый мир». Тем более что он и сам сознавал свои недостатки, как понимал и недочеты журнала в целом и такие его промахи, как публикация некоторых натуралистических повестей и рассказов Пильняка, Пант. Романова, Никандрова и других. «Можно было сделать больше и лучше, талантливей, последовательней, выдержанней...» — писал Полонский в уже цитировавшихся «Заметках журналиста». — Но что ж делать — мы работали в меру наших сил и в меру наших средств».

Так или иначе, при всех своих недостатках «Новый мир» завоевал себе признание у советских читателей. В 1927 году тираж журнала был самым большим по сравнению с другими «толстыми» журналами — двадцать восемь тысяч.

Второго ноября 1927 года редакторы «Красной нови» Вл. Васильевский, Ф. Раскольников, В. Фриче направили в Секретариат ЦК ВКП(б) письмо, в котором жаловались на конкуренцию со стороны «Нового мира», на то, что «Новый мир» существует за счет «Известий», что он переманивает, закабальет писателей и т. п. Письмо предлагало ввести «типизацию» журналов и распределить писателей по журналам. В Архиве имени А. М. Горького сохранилось и это письмо, и направленный в Секретариат ЦК ВКП(б) ответ на него Скворцова-Степанова:

«Для меня совершенно непонятно, что они имеют в виду, когда говорят о «типизации» журналов. Непонятно также, почему они издают вопли отчаяния. Неужели они думают, что возможно было бы прикрепление определенных литераторов к одному журналу, других к другому и т. д., — т. е. ввести своего рода крепостное право для литераторов...

Ввиду прибыльности «Нового мира» «Известия» здесь абсолютно ни при чем...

Совершенно нелепо, прямо по-идиотски звучит указание на то, будто бы в отдельных случаях редакция «Нового мира», пользуясь затрудненным материальным положением писателя, закабальет его... Позорно писать такие вещи, которые изображают меня каким-то кулаком-издателем, наподобие, скажем, блаженной памяти Краевского...

Я могу назвать несколько случаев, когда повести и рассказы, отвергнутые «Новым миром» по идеологическим и художественным соображениям, печатались в «Молодой гвардии» и в «Красной нови». Так было с повестями и рассказами С. Малашкина («Луна с правой стороны»), Пантелеймона Романова («Право на жизнь»), Глеба Алексеева и Сергеева-Ценского. Вот действительно самая нездоровая конкуренция.

4

С 1932 года в истории «Нового мира» начинается новый период. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года, ликвидировавшее ассоциацию пролетарских писателей и положившее начало Союзу советских писателей, покончило с групповой замкнутостью различных писательских организаций, с администрированием РАППа и критической «дубинкой» налитпостовцев.

Теперь Полонскому уже не пришлось бы из последних сил отбиваться от нападений рапповцев и вникаться в том, что придумается печатать наряду с Гладковым Толстого и рядом с Караваевой Бабея. К сожалению, Полонский за несколько месяцев до постановления ЦК «О перестройке литературно-художественных организаций» был отстранен от работы в «Новом мире», а в феврале 1932 года неожиданно умер, заразившись во время поездки на Магнитострой сыпным тифом. - Перед этим — летом 1931 года — ушел из «Нового мира» Луначарский, а еще раньше — в 1928 году — умер Скворцов-Степанов.

В 1932 году редактором «Нового мира» стал крупный партийный работник, редактор «Известий» И. М. Гронский. Была сформирована и новая редколлегия журнала, в которую вошли столь разные писатели, как Безыменский, Гладков, Леонов, Малышкин, Ставский и заведовавший тогда отделом литературы и искусства «Известий» В. Григоренко. Работать новому редактору и редколлегии пришлось в очень сложных условиях. Об этом свидетельствует первое же выступление Гронского на страницах «Нового мира» — речь и заключительное слово на втором пленуме Оргкомитета. По характеру своему это выступление имело программный характер.

«Улюлюканьем и оглушением руководить писателем нельзя, — заявил Гронский. — Художественная литература — дело исключительно тонкое и исключительно сложное, и тут требуются соответствующие методы руководства».

«Что мы требуем от писателя? — говорил Гронский далее. — Пиши правду о нашем развитии. Обычно спрашивают: какую правду? Самую обычную правду. Вот Шолохов, он правду написал. Так и вы пишите всю правду. Только это, и больше ничего другого от писателя мы не требуем... Если мы будем говорить неправду, кому мы будем говорить эту неправду? Самим себе. Ну, знаете, если мы сами будем себя обманывать, то это ни к чему хорошему не приведет... Мы сказали писателям: пишите правду. Это — перевод на простой язык лозунга — «социалистический реализм».

Заслуживает внимания и еще одно положение речи Гронского: «Мы будем судить о работе писателя только по его произведениям и не по чему-либо другому... Мы не требуем от вас, чтобы вы писали агитки,

которые сегодня написаны, а завтра еще в процессе печатания теряют свое значение... Мы требуем от вас большого искусства».

Как видим, в выступлении нового ответственного редактора «Нового мира» зазвучали мотивы, которые усилились в критике и литературе в связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года. Раньше они не были выражены в «Новом мире» с такой определенностью и резкостью, как не получили тогда должного развития и вопросы об объективном содержании произведений литературы, о ценности воплощенной в них правды жизни, о значении для нашей эстетики ленинской теории отражения.

Но, перечитывая речи Гронского, нельзя не обратить внимания и на прямо противоположные тенденции.

Так, напечатанная в «Литературной газете» статья Шкловского «Юго-Запад» неожиданно квалифицирована Гронским как выступление «классового врага в литературе», а неодобрительные высказывания о «Скутаревском» Леонова истолкованы как попытка, прикрываясь «левыми» фразами, «перетянуть его в правый лагерь».

Ставится и почти обязательный для того времени вопрос: «Можно ли сейчас писать о чем-либо, не зная Сталина?» И дается ответ: «Абсолютно нельзя, ничего не поймешь без Сталина и ничего путного не напишешь».

Не будем осуждать за это Гронского. Он, несомненно, любил и ценил литературу и искусство и доброжелательно относился к советским писателям. Как председатель Оргкомитета Союза советских писателей и редактор «Нового мира» он немало сделал для того, чтобы провести в жизнь постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» и обеспечить нормальное развитие литературы. Но в его деятельности и выступлениях нашли отражение объективные противоречия времени. С одной стороны, в них сказались положительные творческие тенденции той поры, носителями которых были народ, партия, литература, а с другой стороны — тенденции, связанные с зарождением культа личности Сталина и той атмосферой, которую он нес с собой — атмосферой восхвалений Сталина, всеобщей подозрительности, оговоров. В последующие годы эти противоречия отразятся на страницах

«Нового мира» еще более явственно и сильно. Журналу вместе со всей советской литературой придется преодолевать серьезные трудности.

И здесь необходимо сказать о той помощи, которую в течение многих лет оказывал «Новому миру» М. И. Калинин, о его роли в развитии журнала.

«М. И. Калинин постоянно проявлял большой интерес и внимание к «Новому миру» и «Красной ниве», как к «своим» («известинским») изданиям, оказывая редакциям обоих журналов всяческую помощь», — вспоминает Н. Смирнов. Действительно, Калинин с сочувствием следил за «Новым миром», читал напечатанные в нем произведения, не раз встречался с его редколлегией, передавал для публикации в нем многие свои работы. Начиная с 1926 и по 1941 год в «Новом мире» было напечатано более десяти статей Калинина и среди них такие известные, как «Десять лет СССР» (1927), «Об овладении марксизмом-ленинизмом работниками искусств» (1939), «О коммунистическом воспитании» (1940) и другие.

О внимании и поддержке, какую оказывал Калинин «Новому миру», вспоминают многие писатели. «Я помню, — писал Леонов, — как много помогал нам, писателям редколлегии, Михаил Иванович, которого мы считали своим шефом. И когда мы четверо, вся редколлегия в полном составе — Ставский, Малышкин, Гладков и я — приходили к нему в Кремль, он живо интересовался журналом, внимательно расспрашивал о том новом, что скопилось в портфеле редакции. Он не только знал по имени писателей, но читал их произведения и давал им удивительно точные и меткие характеристики. Эти встречи по поводу журнала превращались обычно в живые дискуссии о литературе. В высказываниях Михаила Ивановича чувствовалась горячая любовь к русской литературе XIX века и живая заинтересованность в литературе современной...»

Бывал Калинин и в гостях у «Нового мира». Известно, что в журнале время от времени проводились литературные вечера. Иногда на них присутствовал и Калинин. Так, Н. Смирнов рассказывает о посещении Калининным одного из таких новомирских вечеров в 1931 году. Калинин принял тогда, по свидетельству Смирнова, участие в обсуждении стихов Багрицкого, Луговско-

го, Павла Васильева (выступавших на вечере), подчеркнул в своем выступлении значение пушкинских традиций, помянул добрым словом Есенина, ответил на наивный вопрос, можно ли писать в годы индустриализации стихи о природе. Он оставил у присутствовавших писателей «впечатлительные простоты, демократичности и человечности».

О присутствии и выступлении Калинина на юбилейном вечере «Нового мира» 26 декабря 1934 года писалось в «Литературной газете» (28 декабря 1934 года). К сожалению, стенограмма этого выступления не разыскана, так что мы можем судить о нем лишь по краткой газетной информации да по воспоминаниям Ф. Gladкова и Вл. Лидина («Литературная газета», 6 июня 1946 года). «Сколько тонкого понимания, осторожности к этому виду труда, бережливости к писательской судьбе было в каждом, даже критическом слове Калинина...— писал Лидин.— Это был тот читатель, который на далекой заре, еще в 90-е годы, привык искать в литературе высокую художественную правду Льва Толстого и Чехова и который со всей страстью хотел, чтобы в годы нового устройства жизни народ имел бы достойную его дел литературу».

Калинину нравились некоторые из произведений литературы, опубликованные в «Новом мире». В разных своих выступлениях он хорошо отзывался о романах Шолохова, «Энергии» Gladкова, «Людах из захолустья» Малышкина. О последнем романе он сказал: «Здесь удивительно конкретно, в соответствии с жизненной правдой, показан рост людей из маленьких городов захолустья на больших стройках. У нас этот рост идет повсюду и во всех сферах человеческой деятельности».

Отзыв Калинина о «Людах из захолустья» занимает в истории «Нового мира» особое место. Дело не только в том, что этот роман был напечатан на его страницах, но и в том, что автор романа А. Г. Малышкин был в течение десяти лет — с середины 1929 года до своей смерти в августе 1938 года — весьма деятельным членом редколлегии журнала.

«А. Г. Малышкин с исключительной добросовестностью читал рукописи, с полнейшим беспристрастием оценивал их,— пишет Н. Смирнов.— Прочитав однажды рассказ одного из своих самых близких друзей, он решительно забраковал его:

— Ничего нельзя поделывать. Кроме дружбы, есть еще ответственность перед читателем, а сырую рукопись давать читателю нельзя, как нельзя продавать сырой хлеб».

Безвременная смерть Малышкина была для «Нового мира» большой, невосполнимой утратой. В некрологе, напечатанном в восьмом номере журнала за 1938 год, редакция говорила о Малышкине как о литераторе, в котором сочетались вдумчивый и требовательный к себе художник и человек большой душевной искренности, которого отличали «горячее ощущение товарищества, скромность, радость за любой успех настоящего писателя».

5

В отделе прозы и поэзии «Нового мира» и в тридцатые годы (1932—1940) печаталось многое из того лучшего, что было создано тогда советскими писателями: «Поднятая целина» и четвертая книга «Тихого Дона», вторая книга «Петра I» и «Хмурое утро», «Люди из захолустья», «Цусима», «Скутаревский» и «Дорога на океан», «Похождение факира», «Испанский дневник», «Оптимистическая трагедия», стихи Багрицкого, Луговского, Пастернака, Асеева, Сельвинского, Исаковского, Прокофьева и других.

К уже встречавшимся на страницах журнала именам русских советских писателей прибавились новые: Вишневский, Бруно Ясенский, М. Кольцов, Сурков, Щипачев, П. Васильев, Диковский, Симонов, Лапин, Алигер, С. Голубов, Долматовский, Недогонов и другие.

Редакция «Нового мира» проводила большую работу с авторами журнала. Так, часто печатали в «Новом мире» талантливого поэта П. Васильева, но и серьезно критиковали его. В 1933 году в журнале был устроен вечер Васильева, и присутствовавшие на нем писатели и критики высказали немало горьких, но справедливых слов в его адрес. Так же доброжелательно и требовательно относились в «Новом мире» к Пильняку — постоянному автору журнала.

В тридцатые годы остро встала проблема, как тогда говорили, «качества литературной продукции». Разгорелась дискуссия о языке литературы. «Прошу понять,— подчеркивал Горький во время этой дискус-

сии,— что здесь идет речь не об одном Панферове, а о явном стремлении к снижению качества литературы, ибо оправдание словесного шукачества есть оправдание брака». Строгий и требовательный критик, Горький в своих статьях часто порицал авторов и редакторов за их безграмотность и небрежность. К чести «Нового мира» надо сказать, журнал почти не давал Горькому повода для таких выступлений. Более того, о многих напечатанных в журнале произведениях Горький отзывался с большой похвалой.

Но, разумеется, было бы неправильно представлять, что в художественном отделе журнала помещались только выдающиеся произведения. Было напечатано немало произведений и среднего уровня, и просто заурядных, и слабых вещей. Но, как правило, напечатанные в «Новом мире» произведения не нарушали «общего тона» издания. М. Шагинян отмечала в те годы невидимую читателем «тыловую сторону» работы журнала: «редкостное внимание к автору и умение пойти ему навстречу в самом важном для него вопросе: в его борьбе за качество печатаемой вещи».

Требовательность редакции «Нового мира» шла от общей — главной — цели журнала: печатать произведения, воплощающие правду жизни, правду революции.

В прозе журнала развивается наметившееся еще в двадцатые годы тяготение к созданию эпических полотен, воссоздающих жизнь в наибольшей полноте, драматизме, многообразии. Это относится прежде всего к произведениям о далеком или близком прошлом, как «Петр I», «Хождение по мукам» или «Тихий Дон». Но не только о прошлом.

Эпическое начало входило и в произведения о современности. Оно характерно и для многих романов, созданных, как «Поднятая целина» или «Люди из захолустья», «по горячим следам» событий. И если в двадцатые годы современность отражалась в журнале чаще всего в бытовом аспекте, то в тридцатые годы писатели раскрывали ее облик в широком социально-историческом плане. В «Новом мире» были напечатаны художественные произведения, которые знаменовали поворот советской литературы к проблемам и темам социалистического строительства, обраще-

ние писателей к образу нового героя — строителя социализма. Еще в 1930 году были опубликованы в журнале «Соть» Леонова и «Гидроцентральный» Шагинян.

В других журналах, и прежде всего в «Наших достижениях» Горького, в эти годы «на передний край» вышел очерк.

Перед читателем «Нового мира» «материал текущей действительности» представлялся преимущественно в форме романа и повести. Именно тогда в журнале были напечатаны «Скутаревский», «Дорога на океан», «Энергия», «Человек меняет кожу».

Однако журнал вовсе не прошел мимо такого жанра, как очерк. Еще в двадцатых годах в нем появилась рубрика «Люди и факты». Горький ценил политическое и культурное значение очерков о новой действительности, которые печатались в «Новом мире» и «Красной нови». «...Если их (очерки.— *Ред.*) собрать в сборник и издать — мы получим весьма ценную библиотеку по вопросу о «познании» С[оюза] Советов», — писал он Крючкову в январе 1929 года. Еще с того времени с журналом был связан круг талантливых писателей, выступавших в нем с очерками и документально-очерковыми повестями. Журнал обращался и к ученым, участникам тех или иных экспедиций: В. Ю. Визе рассказывал о походе «Литке», С. В. Обручев — о полете на остров Врангеля, К. Бадигин — о походе «Седова».

Были сделаны попытки собрать очерковый материал и о прошлом. Ряд очерков о гражданской войне напечатал в «Новом мире» Ф. Раскольников, Э. Рахья вспомнил о встречах с Лениным, И. Кутяков — о Василии Ивановиче Чапаеве. Со своеобразными мемуарами «Записки современника» выступил в журнале И. Лежнев.

Журнал служил «познанию новой действительности» — это была, по мысли Горького, одна из важнейших задач советской журналистики — и публикацией материалов о достижениях науки и техники. Систематические «научные обзоры», которые вели на протяжении всего десятилетия В. Е. Львов, дополнялись выступлениями крупнейших советских ученых. Читатель мог найти в журнале статьи Н. И. Вавилова, Н. К. Кольцова, П. М. Жукковского, А. А. Багдасарова, Ю. П. Фролова, Н. М. Федоровского и других.

До сих пор мы говорили о «Новом мире» как о журнале русской советской ли-

тературы, но в тридцатые годы «Новый мир» расширил свои границы и стал довольно широко освещать развитие литературы народов СССР. Правда, это не было особенностью только «Нового мира», а являлось характерной чертой всей журналистики тридцатых годов.

В «Новом мире» печатались: Купала, Муканов, Исаакян, Тычина, Бажан, Зарьян, Ерикеев, Джамбул Леонидзе, Рыльский, Чиковани, Малышко, Танк и другие. В журнале появились: пьеса Корнейчука «Богдан Хмельницкий», рассказы В. Василевской, роман белорусского писателя Самуйленка «Будущность», «Витязь в тигровой шкуре».

Следует отметить, что в тридцатые годы в «Новом мире» стали гораздо чаще печататься и произведения зарубежных писателей. Так, в журнале были опубликованы роман венгерского писателя Б. Иллеша «Тисса горит», пьесы Бернарда Шоу, Ирвина Шоу, статья Р. Роллана, стихи И. Бехера, Э. Вайнерта, Р. Альберти, Эми Сяо, Петефи.

6

Как уже говорилось, работа «Нового мира» в тридцатые годы проходила в сложных условиях. Заметный отпечаток на всю деятельность журнала наложил культ личности Сталина. Портреты Сталина, его речи, «сказы» и «народные песни» о Сталине, приветствия Сталину — этим открывался каждый номер журнала. Тяжелое чувство оставляет напечатанный в сентябре 1936 года в журнале отчет П. Саратовского о вечере в «Новом мире». На этот раз состоялся «вечер», на котором сотрудники редакции каялись в том, что не были достаточно бдительными и просмотрели «вражеские действия» Г. Серебряковой, А. Селивановского, Б. Пильняка и других сотрудничавших в журнале литераторов. А через некоторое время были арестованы И. Гронский и многие сотрудники журнала: Бруно Ясенский, Н. Зарудин, А. Воронский, А. Аросев, В. Зазубрин, А. Гарри — талантливый очеркист, соратник Котовского, И. Кутяков, герой гражданской войны, вторая часть рукописи которого о Чапаеве готовилась к печати в «Новом мире», поэты Б. Корнилов и П. Васильев. Двенадцатый номер «Нового мира» за 1937 год вышел без обычного указателя содержания за год: слишком многие фамилии стали неупоминаемыми.

О влиянии идеологии культа личности на художественное творчество можно судить по напечатанной в журнале повести А. Толстого «Хлеб». Это не более чем рядовое в художественном отношении произведение было разрекламировано в печати (в частности, в самом «Новом мире») как выдающееся достижение, потому что в нем изображался Сталин. Изображался — вопреки истине — спасителем страны в годы гражданской войны.

Распространение идеологии культа личности особенно тяжело сказалось на критике. В двадцатые годы любой «толстый» журнал был немислим без отдела критики и библиографии, без программных, определяющих лицо издания статей. В тридцатые годы такой тип «толстого» журнала без критики стал обычным. Случайно подобранные рецензии на случайные книги и отсутствие выступлений по острым и спорным вопросам литературного развития — характерные черты критико-библиографических отделов многих журналов тридцатых годов. Не был в этом смысле исключением и «Новый мир».

В 1932 году критика вообще исчезла со страниц «Нового мира». Достаточно сказать, что за весь год в журнале было помещено всего шесть рецензий. Все они были напечатаны в первом номере, а затем в течение года журнал выходил совсем без книжного обозрения. Критических статей в «Новом мире» тоже не стало. Небольшие статейки о «Пустыне» Павленко и «Цусиме» Новикова-Прибоя, юбилейная (к тридцатилетию литературной деятельности) статья о Сергееве-Ценском, несколько статей в связи с сорокалетием литературной деятельности Горького — вот и все, что было напечатано тогда в отделе критики. Журнал не откликнулся даже на постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Создается впечатление, что после ликвидации РАППа (до этого «разгромившей» всех своих противников) критика находилась некоторое время в состоянии растерянности. Для «Нового мира» не прошло даром, конечно, и отсутствие Луначарского и Полонского.

Отделом критики «Нового мира» руководил до 1937 года П. Рожков, он же был и автором ряда критических статей преимущественно теоретического характера, печатавшихся в журнале. Несмотря на воинственный пыл П. Рожкова, стремившегося ни-

спровергнуть всех современных ему критиков и уличить их в «рапповщине», его собственные схоластические рассуждения были близки рапповским. «Социалистический реализм,— писал, например, П. Рожков в 1933 году,— есть конкретное выражение диалектического материализма в искусстве, подобно тому, как исторический материализм есть конкретное выражение диалектического материализма в истории. А вот пример «конкретной критики» из статьи о «Цусиме»: «Наиболее важный вывод из «Цусимы» для пролетариата СССР — это вывод о необходимости овладения техникой и наукой.

Начиная с 1934 года критика в журнале несколько оживилась. Начали появляться обзоры современной литературы, был напечатан ряд статей о литературах и писателях братских народов СССР, более частыми стали выступления писателей: Гладкова («Из дневника писателя»), А. Толстого (об учебнике истории литературы СССР, о молодых писателях), Шагинян (об азербайджанской литературе, о Шевченко). Но преобладали в отделе критики статьи о классической литературе (русской и народов СССР), выступления, приуроченные к различным юбилеям и памятным датам, сочинения типа «Образ Сталина в народном творчестве». Печатались еще статьи о живописи, но, к сожалению, вопросы реализма и формализма трактовались в них довольно вульгарно. В общем, критика журнала не могла порадовать читателей.

В 1937 году вместо И. Гронского ответственным редактором «Нового мира» был назначен В. П. Ставский. В редколлегии остались Ф. Гладков, Л. Леонов, А. Малышкин, несколько позже вошел в нее М. Шолохов.

В эти предвоенные годы в «Новом мире» печатались «сказы» о Сталине и «Поэма о наркоте Ежове». Но одновременно были опубликованы и «Люди из захолустья», и четвертая часть «Тихого Дона». Советская литература в своем главном направлении и тогда сохраняла верность принципам реализма и народности. Кем бы и какие бы ни давались Шолохову советы относительно конца романа «Тихий Дон», он следовал только правде жизни и правде характеров. Правдивость и гуманизм романа Малышкина, трагизм эпопеи Шолохова противостояли идеологии культа личности. В про-

тивовес ложной идеализации и возвеличению «вождя» советская литература утверждала роль народа и партии в революции и строительстве социализма, несла в массы идеи социалистического гуманизма.

И еще об одной книге следует лишней раз напомнить в этой связи — об «Испанском дневнике» М. Кольцова, третья часть которого печаталась в 1938 году в «Новом мире». «Сила этой книги — сила правды», — писали об «Испанском дневнике» А. Толстой и А. Фадеев. Эта книга рассказывала о героической борьбе испанского народа, о первой схватке с фашизмом, угрожавшем человечеству.

«Фронт растянулся очень далеко. Он выходит из окопов Мадрида, он проходит через всю Европу, через весь мир. Он пересекает страны, деревни и города, он проходит через шумные митинговые залы, он тихо извивается по полкам книжных магазинов. Главная особенность этого невиданного боевого фронта в борьбе человечества за мир и культуру — в том, что нигде вы не найдете теперь зоны, в которой мог бы укрыться кто-нибудь жаждущий тишины, спокойствия и нейтральности», — так говорил М. Кольцов на конгрессе писателей в Мадриде.

Появление «Испанского дневника» в «Новом мире» было не только еще одним подтверждением творческих сил советской литературы. С «Испанским дневником» в журнал вошла большая тема борьбы с фашизмом.

7

Отечественная война обозначила особую главу в истории «Нового мира». Она предъявила литературе новые и безусловные требования. Но сразу же выяснилось, что в военной обстановке, когда необходима была оперативная «сиюминутная» реакция на события, «толстые» журналы не могли, как прежде, остаться главным звеном, соединяющим литературу с читателем.

Литература переместилась из «толстых» журналов в газеты. «Правда», «Красная звезда», «Известия», «Комсомольская правда», многочисленные фронтовые, армейские, дивизионные газеты могли с полным основанием называться тогда и «литературными», так как стихи, очерки, рассказы, публицистические выступления писателей заняли

здесь очень важное место. И даже пьесы, повести, романы нередко впервые публиковались в те дни в газете. Достаточно вспомнить, что в «Правде» печатались «Русские люди», «Фронт», главы «Василия Теркина», главы из романа «Они сражались за Родину», «Взятие Великошумска», «Непокоренные», в «Красной звезде» — «Рассказы Ивана Сударева», «Народ бессмертен» и другие.

И. Эренбург писал тогда в одной из своих статей, опубликованных в «Новом мире»: «Редакции газет во время войны все чаще стали обращаться к писателю. Казалось бы, нет недостатка в газетном материале. Одними телеграммами можно заполнить не четыре полосы, а сорок. Но вот газеты отводят место не только статьям, памфлетам, призывам писателей, не только их очеркам, но даже стихам, рассказам, повестям, драмам. Это значит, что писатель может сказать то, чего не могут сказать другие. Это значит, что писатель умеет говорить так, как не умеют говорить другие».

Война поставила «толстые» журналы лицом к лицу с многими трудностями — они уже не могли опираться на устоявшийся, сложившийся круг авторов: одни писатели ушли в армию, другие оказались в эвакуации. Были и материальные затруднения — не хватало бумаги, электроэнергии. Один за другим в Москве закрылись журналы «Красная новь», «Молодая гвардия», «Интернациональная литература». Оставшиеся «Знамя», «Октябрь», «Новый мир» выходили не так регулярно, как раньше, часто номера сдаивались. Журналы печатались на желтой бумаге, тексты художественных произведений нередко набирались петитом.

Новой редколлегии «Нового мира», которая с 1941 года изменилась (в нее теперь входили М. Розенталь, А. Сурков, В. Ставский, А. Толстой, К. Федин, М. Шолохов и в качестве ответственного секретаря В. Щербина), пришлось перестраивать работу журнала на военный лад.

«Нужно сознаться,— писал в «Новом мире» Н. Тихонов,— что в первые дни этой великой войны писатели не знали, с чего начать». «С чего начать» — этого не знали и редакции журналов. Следовать ли газетам или сохранить особенности журнальной подачи материала, в частности ставшие постоянными отделы? Первые военные номера «Нового мира» отразили эту растерянность.

1941 год — один из самых трудных в работе журнала. Сдвоенный № 7-8 был, в сущности, единственным, вышедшим с июля по декабрь 1941 года, № 9-10 был подписан к печати 11 января, № 11-12 — в марте 1942 года. Очерково-публицистический материал о событиях на фронте, конечно же, старел, но ничего иного, кроме того, о чем читатель намного раньше узнавал из газет, журнал еще предложить не мог. Правда, в № 9-10 «Нового мира» появились интересные и необычные для журнала материалы — фотоочерки М. Грачева, С. Гурарий, Р. Кармена, Т. Бушимовича «Москва, ноябрь — декабрь, 1941», но остальные материалы — стихи (хотя среди поэтов «Нового мира» в 1941 году были Н. Тихонов, К. Симонов), рассказы (В. Каверина, Вс. Иванова, Л. Соболева и других), очерки, статьи — еще носили неопределившийся характер.

Однако сразу стало ясно, что с окончанием трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» (последние главы ее печатались в № 7-8 журнала — первом военном номере) на какое-то время прекратилась публикация в журнале больших романов — жанра, столь характерного до сих пор для прозы «Нового мира». Жизнь выдвинула на первый план другие, более оперативные жанры: рассказ, очерк, публицистическую статью и, конечно, стихи.

Вместе с тем уже первый год войны показал неосновательность опасений тех, кто повторял известную сентенцию: «Когда грохочут пушки, музы молчат». «Мы присутствуем при удивительном явлении,— говорил А. Толстой в своем докладе «Четверть века советской литературы». — Казалось бы, грохот войны должен заглушить голос поэта, должен огрублять, упрощать литературу, укладывать ее в узкую щель окопа. Но воюющий народ, находя в себе все больше и больше нравственных сил в кровавой и беспощадной борьбе, где только победа или смерть,— все настоятельнее требует от своей литературы больших слов. И советская литература в дни войны становится истинно народным искусством, голосом героической души народа» («Новый мир», № 11-12, 1942).

1942 год был первым годом, когда «Новый мир» отказывается от копирования газеты и освобождается от случайных материалов. Он шел по пути развития лучших традиций, сложившихся за долгие

годы работы. В 1942 году в «Новом мире» были опубликованы такие произведения, как «Нашествие» Леонова, «Рассказы Ивана Сударева» А. Толстого, «Морская душа» Соболева, «Март-апрель» В. Кожевникова, «Брусиловский прорыв» Сергеева-Ценского, «Батый» Яна, стихотворения Симонова из цикла «С тобой и без тебя», главы из поэмы Инбер «Пулковский меридиан», статья Эренбурга «Зрелость».

Народ на войне — основное содержание произведений, печатавшихся в «Новом мире» в последующие годы. Писатели стремились осмыслить подвиг советского человека, раскрыть истоки его героизма.

В решении военной темы журнал не всегда «дотягивал» до необходимого уровня, и некоторые печатавшиеся в «Новом мире» произведения подвергались заслуженной критике. Присущий литературе военных лет стиль высокой и строгой простоты нарушался порою ложной патетикой, мужественная сдержанность в проявлении чувств подменялась сентиментальным многословием.

«Испытание» А. Первенцева, «Жена» В. Катаева, «Огни» А. Караваевой, «Рука отяжелела» Ф. Панферова, «Мать» Ф. Гладкова, уральские сказы П. Бажова, очерки М. Шагинян об Урале — этот круг произведений, напечатанных в «Новом мире», знакомил читателя с нелегкой жизнью и трудом людей тыла. Надо сказать, однако, что в журнале не появилось такого произведения о мужестве героев тыла, которое по силе своего воздействия было бы равным повести В. Гроссмана «Народ бессмертен», публицистическим статьям А. Толстого или очеркам Симонова. «Тылу явно не повезло. Многие писатели долгое время жили в далеком тылу. И все же они ничего или почти ничего не написали о людях тыла, о тех, кто день и ночь работает, не жалея сил, ничего не написали о героях социалистического труда», — констатировал Н. Тихонов в статье, печатавшейся в «Новом мире» в 1944 году.

Война вызвала у читателей живой интерес к литературе на исторические темы. Прошлое, соотнесенное с настоящим, переосмысливалось заново. Писатели обращались к тем страницам истории, которые рассказывали о войнах, о подвигах и победах русского народа. Появление романов «Батый» Яна, «Брусиловский прорыв» и «Пушки выдвигают» Сергеева-Ценского,

новых глав «Петра I» было явлением закономерным.

«Советский Союз — это огромный мир. Различны истоки национальных культур русских и грузин, украинцев и таджиков. Былина и газелла очень далеки друг от друга; обе эти формы обогатили нашу поэзию. Вспомним юмор Украины, строгость Севера, цветистость узбеков, жар Армении. Все это — наше», — писал Эренбург в «Новом мире». И как бы подтверждая справедливость этих слов, журнал продолжал широко печатать поэтов и прозаиков из братских республик Советского Союза. Особенно часто печатались здесь те из них, чья родина оказалась временно захваченной фашистами: белорусы П. Бровка, П. Глебка, П. Панченко, А. Кулешов, украинцы М. Рильский, А. Корнейчук, латыш А. Упит.

Постепенно все сильнее начинает звучать в журнале тема победы. И хотя по-прежнему войной определялось содержание журнала, в нем появились новые тенденции, новые настроения. «Германия близка к разгрому», — писал И. Эренбург в журнале в начале 1944 года. И в том же 1944 году в журнале была напечатана маленькая поэма Н. Рыленкова «Новая весна», в которой зазвучали мотивы обновления, возрождения страны:

Чтоб трижды жизнь сладка была,
Захватывала дух,—
Руби топор, пили пила,
Врезайся в землю плуг!

Все чаще печатались в журнале произведения о мирном труде, о счастье мирной жизни. И уже не могла показаться необычной, «не ко времени» сказка Маршака «Двенадцать месяцев», или совсем «мирный» роман Ив. Новикова «Пушкин на юге», или роман К. Федина «Первые радости», начало которого появилось в журнале накануне победы.

Война была более чем серьезным испытанием для советской литературы. В статье «Отечественная война и советская литература», напечатанной в «Новом мире», Н. Тихонов писал: «Мы не хотим скрывать ни дней тягостного отступления, ни дней жестоких битв, ни огромного напряжения сил страны на пути к победе... Правда о войне — это рассказ, который должен потрясти души и сердца...»

Советские писатели с честью прошли через горнило войны. Но при этом они понесли

и большие потери. Не обошли утраты и «Новый мир». В 1943 году погиб на фронте один из редакторов журнала В. П. Ставский. 23 февраля 1945 года умер А. Толстой — писатель, на протяжении почти всей своей творческой деятельности связанный с «Новым миром», «верный долголетний друг» журнала. В последние годы жизни А. Толстой, как уже говорилось, был членом редколлегии журнала. «Тяжело переживаем мы уход из жизни Толстого. Редакционный коллектив «Нового мира» часто опирался на него в своей работе, как на опытного, взыскательного и авторитетного деятеля советской литературы, всегда находя в нем поддержку и помощь», — писала редакция «Нового мира».

Совсем немного не дожил А. Толстой до полного торжества того правого дела, которому он отдал так много сил, — до дня победы, до окончания Великой Отечественной войны советского народа с гитлеровской Германией.

-8

После войны журнал «Новый мир» не сразу выходит на новую дорогу. В первом послевоенном году — 1946-м — ничего особо значительного на его страницах напечатано не было. Можно отметить лишь повесть Медынского «Марья», очерк Б. Галина «В Донбассе» да рассказ А. Платонова «Семья Ивановых». Значительным событием была публикация перевода бессмертного «Репортажа с петлей на шее» Ю. Фучика.

И все-таки «Новый мир» 1946 года явно проигрывал по сравнению с таким журналом, как «Знамя», куда прежде всего устремились писатели, вернувшиеся с полей Отечественной войны. В «Знамени» в 1946 году были напечатаны «Спутники», «В окопах Сталинграда», «Люди с чистой совестью», «Дом у дороги».

Но уже в следующем году новый редактор (К. Симонов) и редколлегия «Нового мира» (Б. Агапов, А. Борщаговский, В. Катаев, А. Кривицкий, К. Федин, М. Шолохов) значительно подняли уровень журнала. В нем были напечатаны: «Необыкновенное лето» Федина, «Знаменосцы», «Буря», «Подпольный обком действует», «Дым отечества», «Флаг над сельсоветом», стихи Луговского, Заболоцкого, Суркова, Смелякова, Алигер. Журнал снова набирал силу. Это позволило ему в последующие пять-шесть

лет дать советским читателям еще целый ряд интересных произведений.

«Советологи» США, ФРГ и других капиталистических стран много пишут о якобы полном исчезновении советской литературы в 1946—1953 годах. Но достаточно перелистать страницы хотя бы «Нового мира» тех лет, чтобы несерьезность подобных «концепций» стала очевидной.

В эти годы в журнале были напечатаны новые значительные произведения Федина, Гладкова, Катаева, В. Гроссмана, Б. Горбатова, Эренбурга, Каверина, Гончара, Кулешова. Именно в это время на страницах журнала появился целый ряд произведений писателей, чья деятельность развернулась в послевоенные годы: Недогонова, Гудзенко, Луконина, Наровчатова, Ажаева, Ю. Трифонова, С. Антонова, Дубова, Любви Кабо, Г. Гулиа, Казакевича и других.

Некоторое время главной темой произведений, печатавшихся в «Новом мире», естественно, была война, грандиозная буря эпохи, потрясшая все человечество, определившая основное содержание всего мирового искусства. Кроме названных выше произведений, следует указать на опубликованные в журнале романы и повести «За власть Советов» В. Катаева, «Злата Прага», «Товарищи по оружию», «За правое дело».

Но постепенно все сильнее начинает звучать в журнале тема «возвращения» и труда, восстановления нарушенной войной мирной жизни советского народа. Собственно, уже роман В. Ажаева «Далеко от Москвы», хотя действие и содержание его и относились к годам войны, был воспринят как произведение, возвращающее литературу к проблемам социалистического строительства. А чуть позже в «Новом мире» были напечатаны поэмы А. Кулешова «Новое русло» и В. Инбер «Путь воды», повесть А. Саксе «В гору», романы Б. Горбатова «Донбасс» и Е. Воробьева «Высота» и так или иначе примыкающие к ним «Открытая книга» В. Каверина, «Инженеры» М. Слонимского, «Трое в серых шинелях» В. Добровольского, «Студенты» Ю. Трифонова.

С каждым годом горизонты «новомирской» прозы и поэзии расширяются и в тематическом, и в жанровом, и в чисто художественном отношении. Наряду с эпического склада романами «Необыкновенное лето» К. Федина, «Повесть о детстве» и «Вольница» Ф. Гладкова в журнале печатаются такие разные произведения, как ки-

ноповесть А. Довженко «Жизнь в цвету», «Весна в Сакене» Г. Гулиа, «Тетрадь, найденная в Сунчоне» Р. Кима, «За Днестром» Л. Кабо, «Заполярный мед» М. Пришвина, «Воронежское лето» К. Паустовского, «Огни на реке» Н. Дубова, «Старые знакомые» Э. Казакевича, «Витя Малеев в школе и дома» Н. Носова, «Красивая Меча» М. Алигер, статьи И. Эренбурга, цикл стихотворений К. Симонова «Друзья и враги», рассказ С. Антонова «Дожди», переводы из Бернса Маршака, стихи Исаковского, Суркова, Смелякова, Твардовского, Щипачева, Луконина и других.

Еще в тридцатые годы «Новый мир» начал определяться как журнал не только русской, но и многонациональной литературы Советского Союза. В послевоенное время эти традиции получили дальнейшее развитие. За время с 1946 по 1952 год в журнале выступили со своими произведениями: С. Муқанов, М. Рыльский, О. Гончар, М. Турсун-заде, С. Вургун, Айбек, Е. Буков, П. Бровка, А. Ерикеев, Я. Колас, М. Миршакар, П. Панченко, М. Танк, А. Корнейчук, И. Абашидзе, Р. Гамзатов, Д. Гулиа, А. Григулис и многие другие писатели братских республик.

Как видно, и в послевоенное время «Новый мир» вместе со всей советской литературой старался в меру своих сил и возможностей выполнять свой долг перед народом. К сожалению, и в эту пору возможности литературы заметно ограничивались воздействием культа личности. Дело не только в том, что в «Новом мире» появились «Незабываемый 1919-й» и другие вещи, написанные в духе апологии Сталина. Дело в том, что такие напечатанные в журнале произведения, как «За правое дело», «За власть Советов», «Открытая книга», «Дым отечества» и другие, были подвергнуты критике, в которой верные замечания и суждения тонули в море ничем не оправданной нетерпимости и несправедливых обвинений. Но критика носила директивный характер. Редакции приходилось каяться в своих «прегрешениях» и поневоле открывать иногда

дорогу произведениям поверхностным, опистательным и неправдивым.

В затруднительном положении находилась критика. В 1948 году журнал провел довольно интересное обсуждение злободневных проблем литературной критики. В обсуждении приняли участие не только критики, но и читатели журнала. Статья Н. Леонтьева «Затылком к будущему» (№ 9, 1948) послужила толчком к пересмотру отживших догм советской фольклористики. Но в заключающейся обсуждение статье редакции бросается в глаза несоответствие общих положений — продуманных и в большей части правильных и некоторых «странных» конкретных оценок и замечаний. Так, статья Б. Брайниной, в которой она одобряла книгу В. Некрасова «В окопах Сталинграда», именовалась «объективистской», а статья Б. Костелянца, положительно оценивающая «Кружильху» Пановой, «порочной». Д. Данину делался выговор за то, что он отнес поэму Н. Грибачева «Колхоз «Большевик» к разряду «описательно-риторических» произведений, повесть Э. Казакевича «Двое в степи» оценивалась как явная неудача автора, утверждалось, что доклад А. Толстого «Четверть века советской литературы» принадлежит к числу «наименее удачных» выступлений писателя. Но все эти суждения могут показаться странными только в том случае, если забыть, что в ту пору журналы вынуждены были довольно сурово отзываться даже о «Молодой гвардии» Фадеева, а в ближайшее время им пришлось принять участие в пропаганде «сталинского учения о языке».

Так протекала жизнь журнала «Новый мир» в первые послевоенные годы.

В 1952 году редколлегия журнала (редактором с 1950 года стал А. Твардовский) напечатала очерки В. Овечкина «Районные будни» и «В одном колхозе», явившиеся предвестием добрых перемен в литературе. В истории журнала начинается новый период, когда история уступает свое место современности.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Кондратович. «Командир мой единственный — совесть». — **Ю. Буртин.** О пользе серьезности. — **Инна Соловьева.** Дневники истории. — **А. Берзер.** Снова война. — **М. Злобина.** Искания и открытия Гойтисоло.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Акад. **Д. И. Щербанов.** Горький с науке. — **Г. Герасимов.** Будущее. Какое оно? — **С. Иванов.** Человек среди автоматов. — **А. Каждан.** Рассказы о тиражах и народолюбцах.

Литература и искусство

«КОМАНДИР МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ — СОВЕСТЬ»

Аркадий Кулешов. Новая книга. Стихи. Авторизованный перевод с белорусского Янова Хелемского. «Советский писатель». М. 1964. 148 стр.

Аркадий Кулешов пишет ровно. Кажется, что он просто не умеет писать плохо. Конечно, неудачи постигают и его, но когда у него что-то не получается, он не спешит опубликовать такие стихи, упорно работает над каждой строчкой. Эта взыскательность заслуживает самого глубокого уважения.

Но, кроме трудолюбия, взыскательности, существует талант. Его печать всегда — при всех возможных срывах — отмечает стихи подлинных поэтов. И именно в этом смысле Аркадий Кулешов пишет ровно.

Его последняя, «Новая книга» собиралась не один год. За это время поэт много путешествовал, побывал в Америке, Англии и других странах, оставаясь всегда верен сердцем далеким родным местам. И тогда он писал:

Для книги последней, привычный к труду,
Осеннюю землю вздымаю.
Весенних чудес от нее я не жду,
По пашне за плугом шагая.

Июнь мой в броне громычал по полям,
Мой август покончил с бедою.
Навстречу октябрьским торжественным
дням

Сентябрь мой идет бороздою.

Сентябрь еще не зима, не декабрь. И поэт не согласен поддаться временной слабости. Он спрашивает себя:

Неужто изведаль ты все на веку
И только покоя желаешь,
И в книгу, как гвоздь в гробовую доску,
Глухую строку забиваешь?

Друзья мои, как вы смириться могли
С такими наветами злыми?..
Последними были все книги мои,
Когда я трудился над ними.

Поэт говорит о мастере и мастерстве. Что бы ни делал человек, он каждый раз должен отдавать все, на что он способен. С этого и начинается мастерство, где бы ни трудился человек по роду своего призвания — в поле, у станка или за письменным столом. Только предельная самоотдача га-

Своеобразие поэтической речи Кулешова таково, что оно не теряется и в переводе. Голос Кулешова мы отчетливо различаем и в ином звуковом облике, и тут, конечно, заслуга переводчика Я. Хелемского.

«Новая книга» Аркадия Кулешова вы-

двинута на соискание Ленинской премии. Думается, что в соревновании лучших произведений минувшего литературного года она явится серьезным претендентом на получение высокой награды.

А. КОНДРАТОВИЧ.

★

О ПОЛЬЗЕ СЕРЬЕЗНОСТИ

Михаил Алексеев. Хлеб — имя существительное. Повесть в новеллах. «Роман-газета», № 17, 1964.

В повести Михаила Алексеева, рассказывающей о людях большого приволжского села Выселки, бросается в глаза соединение двух очень различных, на первый взгляд даже взаимно противоположных художественных особенностей. Одна из них состоит в суммарности многих характеристик и описаний, в силу которой, например, разные люди нередко поступают и мыслят совершенно одинаково. Для определения другой лучше всего подойдет известное слово «чудинка». Чтобы читатель мог составить представление о том, как выглядит все это на практике, процитируем хотя бы то место повести, где речь идет о сельском почтальоне Зуле.

«Зуля наперед знал, какую — добрую, худую ля — новость несет он в своей старенькой брезентовой сумке, знал, поскольку все (!) письма предварительно прочитывал самолично...»

Такого рода особенность героя есть явная «чудинка», да еще какая! Редкостная сама по себе, она вдвойне удивительна тем, что выступает в повести как проявление лучших человеческих качеств: «Зуля полагал себя как бы связным между человеческими сердцами, и какой из тебя связной, ежели ты плохо осведомлен, что именно несешь в тот или иной дом? Ведь худая весть может застать человека врасплох и, чего доброго, убить его. Зуля же, зная о ней заранее, мог смягчить ее удары».

Примеров спасения адресатов от смерти писатель не приводит, однако он рассказывает, какую благую роль сыграл Зуля в отношениях молодой вдовы Журавушки с неким Самонькой, помешав несчастному, с его точки зрения, браку и одновременно сохранив для колхоза «лучшую доярку». Прочитывая их переписку, он при каждом послании Самоньки «добавлял по адресу послед-

него хулы и таким образом добился, чего хотел: поссорил их вдрызг».

Отношения инициативного почтальона с законом урегулированы еще проще, нежели его отношения с нравственностью: «Правда, Зуле могли бы сказать, что его действия противозаконны, но он не понял бы сказавшего эти слова, потому, как всегда, считал противозаконным лишь то, что приносит людям вред. Его же образ действий приносит только пользу, и потому он самый что ни на есть законный». И так, законно то, что полезно для людей, а право определять, что именно для них полезно, Зуля предоставляет самому себе, и дело с концом. Его забота о благе своих односельчан выражается, как видим, весьма странным образом.

Всего любопытнее, однако, отношение к ней самих подопечных: «В Выселках все знали об этом грешке Зули — вскрывать чужую корреспонденцию, но не гневались на него: решили, что беды тут большой нету, а мастер на то и мастер, чтобы в каждое дело вносить всяческие усовершенствования».

При всей безапелляционности авторской интонации, не так-то просто представить себе человека, который, зная, что письмо, полученное им от сына, от друга или от любимой, предварительно «для его же пользы» прочитано кем-то посторонним, одобрил бы подобное «усовершенствование» почтового дела. Едва ли поступил бы так и сам М. Алексеев, осведомленный тем более о том, что Зуля не делает абсолютной тайны из прочитанного им в письмах (в содержании переписки Журавушки с Самонькой он, например, счел своим долгом посвятить председателя колхоза). И если жители Выселков с такой готовностью согласились на предварительную цензуру получаемых ими

писем, объяснение тому может быть только одно — «чудинка».

Обратим внимание и на другую сторону дела. Она заключена в слове «все»: «все знали», и все «не гневались». Поразительная одинаковость реакции! И люди в селе разные, и содержание писем, которые к ним приходят, различно, а отношение к Зуллиному «усовершенствованию» у всех абсолютно одно и то же — характерный пример той суммарности в описании людей и событий, о которой говорилось выше.

Но допустим, что Зуля действительно не испытывал ни затруднения от необходимости ежедневно единственной рукой распечатывать и запечатывать большую пачку писем, ни смущения от прикосновения к тому, что доверяют лишь близкому человеку. Допустим даже (хотя нам и очень трудно это допустить), будто все люди в Выселках и на самом деле готовы счесть нормальным и законным то, что возмущало бы всякого уважающего себя человека. Тогда по крайней мере и оценить это надо было соответственно — прямо противоположно той благосклонности, с которой говорит обо всем этом наш автор...

Вслед за новеллой о Зуле (жанр своего произведения М. Алексеев определил как «повесть в новеллах»): идет новелла, посвященная старой учительнице-пенсиирке Анне Петровне. Те же особенности письма наблюдаем мы и здесь. «То эта Анна Петровна, — повествует М. Алексеев, — выступит на общем колхозном собрании и выведет на чистую воду жуликов да лентяев, а заодно и тех, кто их прикрывает; то напишет сердитую статью в районную газету о неполадках в школе; то вдруг, в разгар танцев, объявится в клубе, приостановит эти танцы и примется чуть ли не до самого утра читать парням и девчатам новую книгу; а то, совершенно неожиданно, вырвет из школьной тетрадки по листку бумаги для каждого и заставит писать диктанта.

Вероятно, Анну Петровну на селе считали чудачкой, иль более того, потому что все (!) потихоньку, снисходительно посмеивались над нею: что возьмешь с пенсионерки...»

Опять «чудинка» и опять абсолютно одинаковое отношение к ней окружающих, в которое нужно верить не задумываясь, не пытаясь вообразить, как же могло выглядеть в действительности то, о чем рассказал нам автор. Ведь попробуй представить себе эти

самые танцы, куда Анна Петровна является со своим предложением относительно книги или диктанта, — и увидишь, что одни рассмеются, другие рассердятся на неожиданную помеху, третьи просто воспользуются удобным случаем, чтобы разбрестись парочками по завалинкам и скамейкам, а те, кто окажется рад новой забаве, обнаружат, что не захватили с собой карандашей и что на коленях писать неудобно, а книгу эту некоторые из них уже читали... Не легче представить себе и другие предприятия Анны Петровны. Почему, например, «жуликов да лентяев» не вывели на чистую воду сами колхозники и как удалось это сделать «чудачке, иль более того» Анне Петровне? Подобные вопросы во множестве возникают при чтении повести: то тут, то там разнообразные «чудинки» и суммарность, скороговорка, нехватка художественной конкретности.

В кратком предисловии к своей повести М. Алексеев пишет: «В каждом — малом, большом ли — селении есть некий «набор» лиц, без которых трудно, а может, даже и вовсе невозможно представить себе само существование селения. Без них оно утратило бы свою физиономию, свой характер.

Мне захотелось рассказать о таких людях одного села...»

Этот замысел показался нам интересным. Как свидетельство серьезности намерений автора, готовности пренебречь занимательностью в пользу глубокого художественного исследования характеров восприняли мы поначалу и его заявление об отказе от единого сюжета.

В действительности все выглядит иначе. Занимательность оказалась как раз доминирующим началом в произведении. Так, почти в каждой «новелле» появляется дед Капля (очень похожий, между прочим, на шолоховского деда Шукаря), комический неудачник и балагур, то и дело поражающий читателя сочностью своего языка. («Что к бригадиру, что к тебе обращусь — один черт! — говорит он, к примеру, «вечному депутату» Акимушке. — Вы бы рады помочь, да правов, возможностей у вас председательских нету. Вместо печати задницу, что ли, свою к бумаге-то приложишь?») То же и с сюжетом: «сквозного действия» нет, но есть сюжетный мотив, который многократно возобновляется в повести. Мы имеем в виду отношение мужской части населения Выселков к уже упоминавшейся Журавушке. Гор-

дую и целомудренную Журавушку любит Аполлон Стышной; к ней сватается друг покойного мужа Василий; неудачную попытку нанести ей визит в неурочное время делают Пашка Антипов, Василий Куприянович Маркелов и Самонька; недвусмысленные намерения обнаруживают печник Антипка и лесник Никодимыч; «ревниво» прочитывает ее письма к Самоньке почтальон Зуля; председатель колхоза Виктор Сидорович, боясь пересудов, черным ходом бежит из своего кабинета, чтобы не встречаться с нею; даже супруга восьмидесятилетнего деда Капли, не говоря уж о других женщинах в Выселках, ревнует к ней своего мужа. Подобно забавным речам Капли, мотив Журавушки переходит из «новеллы» в «новеллу», чтобы не давать читателю соскучиться над произведением М. Алексеева.

Той же цели, надо полагать, служат и многие другие «чудинки». Иначе зачем было, например, наделять Аполлона Стышного, секретаря колхозной парторганизации, таким сверхъестественным ростом? «Добрый этот молодец вымахал в длину на два метра двадцать три и три десятых сантиметра... Промеж его ног, когда Стышной чуть-чуть раздвинет их, не пригибаясь, свободно проходил Капля. Такой аттракцион Стышной и Капля демонстрировали частенько (!) на клубной танцевальной площадке».

Точно так же едва ли чем-нибудь другим, кроме заботы о занимательности, руководствовался автор, следующим образом рассказывая о жизни двух колхозных энтузиастов — Ивана Михайлова и Егора Грушина: «Женились друзья в сорок пятом, сразу же после войны, и дали друг другу клятву обзавестись не менее чем семью детьми каждый. ...Женились, и ровно через девять месяцев после свадьбы у того и у другого в зыбках завершалось по дитяти. А еще через год — по другому, потом по третьему, четвертому. Егор в намеченные сроки выполнил свой план... У Егорова приятеля после четвертого случилась осечка... Говорит, что это застой временный, перед новым скачком».

Думается, однако, что подобные «чудинки», заставляющие усомниться в художественном вкусе писателя, не так уж много дают произведению и по части самой занимательности. Страницы, им посвященные, прочитывались нами не без некоторого усилия над собой.

Беда, впрочем, не столько в самих «чу-

динках» (хотя, как видел читатель, иные из них весьма странного свойства) и не в том, что люди с «чудинкой» решительно преобладают в повести М. Алексеева над обыкновенными, так сказать, людьми: главная беда в том, что «чудинками»-то нередко и исчерпывается все наше знание об этих людях и об их жизни.

«Колхоз в Выселках отсталый по всем, что называется, показателям...» — сообщает автор. Этому сообщению приходится, однако, верить на слово, потому что, читая о Капле, Егоре Грушине, Меркидоне Люшне и других жителях села, совершенно не ощущаешь, как сказывается положение дел в колхозе на сегодняшнем их существовании, на их мыслях, раздумьях, настроениях.

Нельзя сказать, чтобы автор не интересовали социальные проблемы современной деревни; подчас он заводит разговор на весьма острые темы. Вот как объясняет дед Капля хроническое «отставание» Выселков:

«...Он поведет вас в Поливановку — самую благолепную, утопающую в садах, часть Выселок, укажет на полтора десятка добротных изб, выглядывающих из-под вишеня, и молвит:

— ...Знаете, как эту улицу народ прозвал? Председателевка! Их, председателей то есть, меняют через каждые два-три года, бывает, что и через год меняют. Этого времени, конечно, маловато, чтоб колхозные дела поправить, но зато вполне хватает, чтоб собственным хозяйством обзавестись — домишко покрасивше наших спроворить, сад заложить, гусей-утей расплодить, коровку-симменталовку, овечек, пару кабанчиков... Сымут с должности, а ему, председателю то есть, и горюшка мало...

...Дед Капля тронет пальцами козырек старенького кожаного картуза и распространяется. А вы еще долго будете стоять на пригорке и смотреть на ровный ряд аккуратных домиков, всем своим видом так и кричащих о благополучии, об уюте, о благоустройстве, о том еще, что избы эти не сродни тем, что горятся под соломенными крышами там, наверху, и глядят на мир мутноватыми окнами в оправе старых, покосившихся рам».

Зрелище, действительно наводящее на размышления. Да и как тут не задуматься о разнице между теми, кто обитает на улице, прозванной «Председателевка», и теми, кто живет в избах под соломенными крышами, о том, почему все председатели в Высел-

как оказывались стяжателями и жуликами. о фактической бесконтрольности такого «руководителя». Как не задуматься о нетерпимости того положения, при котором колхозник остается подчас лишь работником там, где по закону и по справедливости он должен быть полноправным хозяином, а свое отношение к этому положению может выразить лишь частушкой, сложенной девчатами, да едким словечком вроде «Председателевки»!

Вначале кажется, что автор и в самом деле намерен углубить объяснение Капли: вслед за процитированным отрывком всю остальную, большую, часть «новеллы», которая так и называется «Председателевка», заполняет рассказ о Василии Куприяновиче Маркелове, одном из новоселов упомянутой улицы. Однако речь здесь идет главным образом о том, как отсиживался Василий Куприянович во время войны на спокойной интендантской должности, а потом, по возвращении в Выселки, поглядывал на молодую вдову Журавушку, одновременно исподволь подбираясь к председательскому месту. О председательствовании же его рассказано более чем кратко: единственное хозяйственное мероприятие Василия Куприяновича — председателя, о котором сообщается в повести, явилось и последним шагом его карьеры. «В середине зимы обнаружилось(!), что кормить колхозный скот нечем...», и тогда Василий Куприянович решил «отобрать корма — сено и солому — у колхозников», а «месяцем позже... на открытом выездном суде в сельском клубе... держал ответ за содеянное беззаконие».

Дальнейшая его судьба излагается так: «Через два года Василий Куприянович вернулся из тюрьмы и, не сломленный духом, всю силу упрямой природы отдался одной всеобъемлющей страсти — наживе... Двор его в непостижимо малый срок наполнился скотиной — корова и телка, десятка полтора овец, коз, куры, гуси, утки. Сенов накашивал на две зимы... Вскоре он переселился в Поливановку... и стал как бы правофланговым на знаменитой Председателевой улице».

Кажется странным, как Василий Куприянович, по авторской рекомендации человек «умный от природы», «всеми(!) уважаемый» и весьма дороживший собственной репутацией, решился на такой опрометчивый поступок с кормами. С другой стороны, действительно «непостижимо» стремительное обогащение Василия Куприяновича по вы-

ходе из тюрьмы, когда уже лишился он председательских «возможностей».

Главное, однако, не в этой знакомой нам скороговорке. Самое примечательное здесь состоит в том, каким образом разрешился разговор о «Председателевке». Все свелось в конце концов к осуждению сластолюбия и жадности Василия Куприяновича — предмет не настолько значительный, чтобы слишком из-за него волноваться.

Затрагивается в повести и другая серьезная тема — отлив людей из деревни в город. Факт этот — сам по себе общеизвестный, много раз отмеченный нашей литературой, а по отношению к первым послевоенным годам даже как будто и объясненный вполне: копейный трудодень, отсутствие материальной заинтересованности. Самое важное тут, пожалуй, — выяснить: почему и до последнего времени молодежь продолжала уходить из колхоза¹ при нехватке в нем рабочих рук?

Старик Иннокентий Данилович, «летописец» Выселков, которому автор поручил ответить на этот вопрос, рассуждает так: «Тебе отец Леонид про городскую культуру говорил, про еду духовную. Это верно, в городе ее поболее будет. А культура для молодежи — дело первее. Многие из молодых-то уходят из села. Работать в колхозе — это, видишь ли, не для них. Им городскую романтику подавай, героические дела. А вырастить для людей хлеб на своей земле — это что же, не геройство?.. Долгие годы подрывалась вера в землю, ту самую землю, какую народ испокон звал матерью, кормилицей и прочими ласковыми словами. А ведь при Сталине-то она мачехой для многих обернулась... Сейчас — иное дело. Люшня гонит вот своего сына в город, а сам живет лучше любого горожанина: у него и хлеб, и молоко, и мясо. И одевается не хуже городских. А почему гонит? Инерция. Вот они и есть последствия (культы личности. — Ю. Б.)».

Это объяснение, как видно, вполне удовлетворяет автора. Он не пытается уточ-

¹ Как свидетельствует наша статистика, среднегодовая численность колхозников, занятых в общественном хозяйстве колхозов, с 1959 по 1962 год сократилась на 4,5 млн. человек, а численность работников сельского хозяйства в целом — на 2,3 млн. («Народное хозяйство СССР в 1962 году Статистический ежегодник». Госстатиздат. М. 1963, стр. 368).

нить, все ли колхозники в Выселках (колхозе, как мы помним, «отсталом по всем показателям») живут в таком достатке, как Люшня, да и откуда у самого Люшни взялся этот достаток при столь бедственном положении артели. И насколько типичен тот случай, когда старикам родителям приходится «гнать» своего сына в город? И нет ли в самой сегодняшней жизни деревни чего-то такого, что препятствовало бы изживанию упомянутой Иннокентием Даниловичем «инерции»?

Ни о чем подобном автор не спрашивает, и нам остается принять, что разрешение проблемы — в сфере чисто моральной («еда духовная», «романтика» — и любовь к «земле-магушке»). Да и сам автор, когда ему приходится говорить о каких-либо конкретных случаях ухода или, напротив, неухода из деревни, предпочитает обходиться нравственными категориями. Показательно в этом смысле следующее место повести: «За Волгой есть поселок, наполовину состоящий из граждан села Выселки...

Кто почестнее да посовестливее, устроился в ближайших конторах, на предприятиях, на стройках. Кто порасчетливей, с коммерческой жилкой, прилачился выращивать ранние овощи и сбывать их на городские рынки — эти живут в собственных добротных домах. Кто понахальнее — тот откровенно ворует.

В осеннюю пору эти доблестные рыцари наживы целыми отрядами врываются на грузовых автомобилях в Выселки, в соседние села и деревни, скупают за бесценок картошку, капусту, лук, поздние помидоры — и отсюда прямо в город. От непрерывного пьянства давно не бритые их физиономии распухли, сивушный дух несется далеко окрест».

Сказано сильно. Но именно сказано: с художественной точки зрения этот отрывок не показался нам особенно убедительным. Он риторичен; может быть, поэтому и содержание его составляет ряд недоумений.

Неясны прежде всего границы предложенной автором классификации жителей поселка по моральным качествам и соответствующему им роду занятий. Следует ли, в частности, понимать сказанное в том смысле, что те, «кто почестнее да посовестливее», не имеют приусадебных участков и не выращивают на них овощей? Или выращивают,

но по причине своей совестливости стесняются продавать излишки оных на рынке? Не очень ясно и отношение к выращиванию овощей со стороны тех, «кто понахальнее»: только ли они и делают, что «откровенно воруют», или в свободное время также занимаются овощами?

С другой стороны, неужели из тех, «кто порасчетливее», так-таки никто и не работает «в конторах, на предприятиях, на стройках»? Если это так, то в их расчетливости то как раз и приходится усомниться: на одних «ранних овощах», без постоянного заработка, целый год не прокормишься, а уж «собственного добротного дома» и подавно не построишь.

Особенно поражает воображение заключительный пассаж: «рыцари наживы», которые «целыми отрядами»(!) врываются(!) на грузовых автомобилях в Выселки, — образ столь смелый, что читатель, разумеется, не решится понять его буквально. Но, и отбросив явные поэтические преувеличения, мы затруднились бы сказать, где удается «рыцарям наживы» найти — тем более в страдную пору уборки — столько свободных грузовых автомобилей. И почему так непрактичны жители Выселков, отдающие свои овощи «за бесценок»? Почему бы им самим не продать их в городе за хорошую цену, минуя «этих бывших» с «давно не бритыми физиономиями»?

Неясностей много. Однако все они заключены лишь в сфере изображения, а никак не в сфере оценки. Оценка же, которые дает писатель, отличаются предельной четкостью. Ко всем, кто покинул село, он без колебаний так и припечатывает: «эти бывшие», «непрерывное пьянство»... Вполне честных людей среди них быть не может, есть лишь те, «кто почестнее», эта-то крупица честности и повелевает им «устроиться в ближайших конторах». В целом же Выселки и поселок (в журнальном варианте повести он именуется Воруй-городом) находятся не только на разных берегах Волги, но и на диаметрально противоположных полюсах нравственности.

Мы, разумеется, не против ясности авторской позиции, определенности оценок, в том числе и нравственных. Но мы за то, чтобы оценка вытекала из объективного анализа писателем жизненных явлений, а не замесала собой такого анализа, не становилась формой ухода от существа вопроса.

И если многие из высельчан перебрались в поселок, где в большей или меньшей степени они существуют своим огородом, то рассматривать это следует прежде всего как экономический факт. Факт, который обязан своим происхождением достаточно серьезным причинам и требует, чтобы от него не отговаривались поверхностным «одобрением» или «осуждением», а глубоко и всесторонне поняв его, из него самого вывели, как его изменить.

Эти соображения вызваны «публицистическими» страницами повести, но, по-видимому, имеют отношение и к другим ее сторонам. Отсутствие у автора стремления к серьезному и самостоятельному осмыслению жизненных проблем современного села обрачивается какой-то невсамделишностью создаваемых им характеров, преувеличенным вниманием ко всякого рода странностям и «чудинкам» и обилием общих мест.

Странно, что всего этого не заметили многие наши критики, давшие безоговорочно положительную оценку как повести «Хлеб — имя существительное» в целом, так, в частности, и тем ее сторонам, на которые мы обратили здесь внимание читателя. «Сильно написан Алексеевым, — утверждает, например, А. Софронов в журнале «Москва», — образ первого председателя — фронтови-

ка(?) Маркелова, воспользовавшегося доверием односельчан, использовавшего свое положение в личных интересах, в которых не было места интересам колхозников, и понесшего за все(?) свои деяния достойное наказание». Как ни трудно узнать по такой рекомендации Василия Куприяновича из «новеллы» «Председателька», однако сказать, что его образ написан «сильно», — по нашему мнению, еще труднее.

Подобные похвалы повести «Хлеб — имя существительное» произносятся совершенно всерьез, так уверенно и просто, будто никогда не жила в литературе подлинная правда и подлинная художественность. О высоте применяемых при этом критериев может судить читатель.

Под стать своеобразию своего подхода к изображению действительности М. Алексеев и название для повести придумал как бы лишённое прямого смысла и в то же время намекающее на существенность избранной им темы.

Да, современная деревня, ее люди и их жизнь (как и вообще жизнь человеческая) — предметы действительно существующие...

И писать о них надо всерьез.

Ю. БУРТИН.



ДНЕВНИКИ ИСТОРИИ

Дневник Нины Костериной. «Детская литература», М. 1964. 126 стр.
Всеволод Багрицкий. Дневники, письма, стихи. «Советский писатель», М. 1964. 126 стр.

Может быть, самое удивительное чувство, которое бывает дано пережить в музее, это то чувство, когда под отделяющим прозрачным стеклом видишь — как экспонат и как реликвию — какие-то вещи собственного твоего обихода, вещи из твоей жизни, какой она была, скажем, двадцать пять лет тому назад. Зажим от пионерского галстука, пять поленьев пионерского костра, три язычка пламени (все это расшифровывалось: пять частей света, объятые революционным пожаром, Третий Интернационал). Значки — белое эмалевое колесико на цепочке с красным крестом и полумесяцем «Будь готов к санитарной обороне», фигурка со вскинутой винтовкой на фоне мишени — «Ворошиловский стрелок», бегун в

длинных трусах — на крошечном поле значка он рвал грудью финишную ленточку, знаменующая готовность спортсмена к труду и обороне. Фарфоровая чернильница-непроливайка — мы такую носили в портфеле, она стоит в псковском музее в разделе «Партизанское движение на Псковщине», она принадлежала кому-то из посмертно награжденных участников молодежной подпольной организации.

На Мосфильме неслучайно виселось объявление: «Съемочная группа «До свидания, мальчики!» срочно приобретет значки тридцатых годов». Съемочным группам всегда что-нибудь надо — пистолеты Лепажа, страусовые перья, императорский фарфор для салона Анны Павловны Шерер. Оказа-

лось, что вот эти самые значки, которые носили перед войной буквально все, достать нисколько не легче. Этого нет. Это куда-то делось. Это лежит в музейной витрине, если принадлежало Зое Космодемьянской или кому-то из молодогвардейцев. Это лежит в памяти.

Многие знают, вероятно, особый, резкий, почти мучительный эффект, когда что-то бытовое и житейское неожиданно освещается косым лучом истории, падающим сверху и издалека. Это бывает и просто в быту, и не обязательно, чтобы вещи волновали нас своей причастностью к жизни великого человека.

Так освещены страницы дневников и писем Нины Костериной и Всеволода Багрицкого.

Эти юношеские тетрадки, превратившиеся в книги-документы, удержали в себе реалии времени. Тут «конспект» тридцатых годов, их событий, их чувств, их быта — слитности этих событий, чувств и быта, когда все переживалось и обтолковывалось в домашнем кругу, когда пятнадцатилетняя девчонка в сугубо личном дневнике рассуждает о проекте новой конституции, горюет о смерти Горького, радуется советской заботе о материнстве — закону о запрещении абортов, плачет над газетным рассказом о польских работницах, рожаящих прямо у станка, с органической серьезностью пользуется в разговоре о своих школьных делах общественной терминологией дня: «Центром класса стала новая ученица, замечательная комсомольская работница Катя», «Он заподозрил меня в том, что я люблю Колю Щеглова. Ну, это уж черт знает что!... Щеглов из тех — «рожденный ползать — летать не может»; «Антонов и Бутенко разлагают весь класс. Они из резинок расстреляли стенгазету»... Здесь возникает быт комнаты, не запершейся от быта улицы и быта собраний. Не случайно здесь так часты описания демонстраций, пульсирующего движения колонн, то собственной массой тормозящих ход по узкой, не расширенной еще Москве, то почти бегом, совсем бегом несущихся к Красной площади, к трубам, переплавляющим солнце, к грохоту «ура», летящему с грибун и к трибунам — к этой линии фуражек, поднятых приветственно рук, — голько завтра на фотографии в газете разгадаешь, где кто стоял. А потом вечера тех же праздничных дней, когда с пяти часов улицы открыты гу-

ляням — Манежная площадь со знаменитыми «микояновскими» павильонами, с нашим наивно радостным первым изобильем после отмены карточек, Арбат, посвященный детям, с макетами веселья Артека в магазинных окнах, Театральная площадь с портретом вождя в полную высоту Мосторга, инсценировки «Как закалялась сталь» в клубах и школьные походы в еще не закрытый театр Мейерхольда. Афиши фильмов Александра, светлая скишенная челка Любви Орловой, спортивный шаг колонны в финале «Цирка» — это любимый фильм Нины Костериной, она с уверенностью предпочтет его тогда же просмотренным «Новым временам» Чаплина, и будет понятно такое предпочтение, потому что именно сияющая победоносность Любви Орловой была знаменем года.

В записках есть то, что может быть только в них — безусловность фактуры, ритм, плоть, вкус, запах времени, не символический вкус и запах, а тот, физически памятный, вплоть до неизгладимо детского вкуса первых творожных сырков из тех же «микояновских» павильонов на Манежной — в лубяных квадратных коробочках и с привкусом луба, и до резковатых, праздничных покаяваний первого «советского шампанского», выпущенного как раз к совершеннолетию Нины Костериной. Здесь есть цвет времени — опять же не символический, есть это особое сочетание часто употребляемого кумача и пурпура знамен с «практичными» гонами московшевеевского платья; есть этот запах времени, когда к зимнему воздуху Москвы примешался запах дыма — не печного и домашнего, а отзвывающего химией и металлом, запах земли, выброшенной при строительстве метро, запах взрывчатки, разбитого кирпича, еще теплого бетона, а потом — лесной и праздничный в городе дух хвои: как раз тогда для детей воскресли чудо новогодней елки.

Здесь есть все время — с его звенящей приподнятостью и с влюбленностью в символические победные факты; с его восторженностью и настороженностью; с его недоверчивостью к личному чувству и возбужденностью чувств общественных; с его рационализмом, который продиктует, например, такие строчки в дневнике Костериной: «Что-то происходит. Долго думала и пришла к выводу: если и мой отец окажется троцкистом и врагом своей родины, мне не будет его жаль!» Запись эта сделана до

того, как отец арестован, и сама возможность ареста поверяется не личным опытом шестнадцатилетней девушки, всю жизнь прожившей с отцом рядом, не ее размышлением над услышанным от него, а жесткой умозрительностью.

Нина Костерина может рассказывать перипетии своих влюбленностей, рисовать и раскрашивать на полях своих детских писем новое платье с белым воротничком, Всеволод Багрицкий может юмористически изображать себя в своем новом пиджаке с плечами, преувеличенными по моде предвоенных лет, рисовать в письме к матери план своей комнаты — где-то стоит. В дневниках могут мелькать описания вечеров молодых поэтов в «Огоньке» и костюмированного пушкинского бала в школе, и в этом будет такая же безусловность тридцать седьмого года, юбилейного года Пушкина, как и в адресе, куда пойдут письма Всеволода Багрицкого, а они будут написаны в лагерь, к матери, репрессированной в том же пушкинском году.

Перед нами бытовые записи истории, ее дневники, не рассчитанные на публикацию, — вопросы жизни к самой себе в той же мере, в какой и вопросы личности к самой себе.

Дневники и письма Всеволода Багрицкого говорят о том, что в нем нам был обещан большой талант, — стихи мальчика и юноши не подражательно, а кровно связаны с поэзией отца, с ее трагедийным и жадным ощущением времени, с этим свистом летящего воздуха истории — свистом жаворонка Уленшпигеля, свистом дудки птицелова, свистом ветра, тоскующего в ржавых листьях и возрождающегося в трубах полковых трубачей. Здесь есть уже поэт, «вещество» поэта, посыл его. И все-таки книга, талантливо и точно составленная матерью Всеволода Л. Г. Багрицкой и его другом Е. Г. Боннэр, важна прежде всего не как свидание с поэтом, который мог бы быть, а как возможность побыть с собственным прошлым с глазу на глаз.

Это довольно трудное свиданье. Кажется, что прожить те годы было даже в чем-то легче, чем думать о них десятилетия спустя.

Подчас совершенно невозможным, объяснимым разве что детскостью автора дневника выглядит стык записей Нины Костериной: «На каток хожу часто и в театр тоже. За январь просмотрела: «Горе уму», «Чу-

десный сплав», «Принцесса Турандот» и «Флоридсдорф»... Сейчас идет второй процесс троцкистов. Вскрываются жуткие вещи. Всех, наверное, расстреляют...¹.

Умерла наша бедная кошечка, не дали ей пожить: отравили. И не знаем, кто сделал такую гадость...»

«Я купила себе дешевенькую, но прелестную шляпку. Она подойдет к моему красненькому платью. Скорее бы Первое мая!..

Произошло что-то страшное и непонятное: арестован дядя Миша, брат отца, его жена тетя Аня, а Ирму, нашу двоюродную сестренку, отдали в детский дом. Говорят, что он, дядя Миша, был замешан в какой-то контрреволюционной организации. Что такое происходит: дядя Миша, член партии с первых дней революции, — и вдруг враг народа?!»

«Не выходят из памяти мои две сестренки, которые осиротели. Стелла-то еще при матери живет, а бедную Ирму спрятали в детский дом...

Ура, завтра Первое мая!»

И все-таки это саднящее соседство психологически несовместимых записей нельзя объяснить характером подростка — приходится думать о характере исторического момента.

Будь это художественная проза, автору ее можно было бы адресовать сотни тревог: для чего вы так написали? Хотите ли вы противопоставить наивность вашей героини жестокости непонятных ей событий? Хотите ли вы сказать о том, что быт всегда смежен истории и отделен от нее, и вот — такие страшные события тридцать седьмого года, такой неслыханный масштаб несправедливости, а для людей, даже и задетых ею, продолжается обычное: радуются новой шляпке, огорчаются смертью киски, отголоском же времени в быту становится разве что трагикомическая подозрительность — кошка, надо думать, поддыхает от чумки, владелице же ее мерещатся чьи-то злоумышления и яд... С автором художественной прозы можно бы вступать в спор, опровергать или требовать философского углубления, требовать исторического осмысления. Но, читая записки Костериной или Всеволо-

¹ Здесь приходится цитировать по журнальному варианту текста: в Детгизовском издании — из «педагогических» соображений, видимо, — «отрублен» последний абзац. И таких случаев немало.

да Багрицкого, мы вправе только себя самих спрашивать: как это могло быть, что это значило и почему это случилось?..

Связь с историей, только что такая ясная и радостная, разом обострялась трагедийно. Быт вдруг истекал кровью, когда приходили ночью, забирали хозяина дома или вдруг замолкал какой-то далекий адрес, которым всегда гордились, и о каком-то дяде Васе уже запрещалось говорить по телефону, и на комсомольском собрании плакала девочка: «Ей очень не хотелось уходить из комсомола, но в то же время говорила, что любит отца и мать и ни за что от них не откажется».

Вопросы времени возникают здесь из плоти времени, тут запечатленной. Костерина меньше всего хочет рассуждать в одиночестве, в том одиночестве, которого не побоятся ее сверстник Всеволод Багрицкий. Нина Костерина будет продираться сквозь заросли вопросительных знаков, в кровь обдираясь об них. Будет искать не столько своего собственного понимания дел и своей правоты, сколько веры в то понимание и в ту правоту, которую она читает над собою, над судьбою отца, над всем ее личным, что она первая согласна третиговать как случайное и частное. Она будет терзаться своим хотя бы временным, хотя бы минутным несогласьем: в Нине Костериной есть то самоотвержение личности, воспитанное тридцатыми годами, когда себя всегда считаешь неправым, а коллектив, общество, просто других в столкновении с собой всегда считаешь правыми — и, обвиненный, всегда ищешь за собой вину, не предполагая возможности несправедливого (в крайнем случае предполагаешь ошибку).

В записках Всеволода Багрицкого нет ни костеринских восторгов, ни ее полных смятения вопросов. Разница, конечно, и просто в «стилистике личности» писавшего: Багрицкий весь взрослее, он с пятнадцати лет предоставлен сам себе, отсюда его замкнутость, его обостренная независимость. Михаил Молочко, один из погибших на фронте юношей-поэтов, чьи дневники школьных лет недавно тоже были переданы читателю, писал о «высокой незрелости» своего поколения, был прав в этом определении: Всеволод Багрицкий как раз выделен среди всех своих поэтических одногродков взрослостью. Думать он начал рано и сам. В его дневниках после ареста матери не найдешь строк, подобных жестко рациональным постро-

ениям Нины: «...если и мой отец... мне не будет его жаль»... Всеволод пишет о другом, о том, что нужно мужество, что нужно ждать, что все не может не измениться, что будет хорошая жизнь. Это юноша, который живет со стиснутыми зубами и открытыми глазами. Видит все, как есть, и видит все, как поэт. Он знает восхищенье героическими делами народа и пишет о покорении полюса. Но он пишет также: «Арест матери я принял как должное. В то время ночное исчезновение какого-нибудь человека не вызывало удивления. Люди ко всему привыкают — холоду, голоду, безденежью, смерти. Так привыкли и к арестам. Все казалось закономерным. Маму увезли под утро. Встретился я с ней через два года посреди выжженной солнцем казахстанской степи. Об этом я напишу когда-нибудь». Это запись тридцать девятого года, запись семнадцатилетнего человека, мужеству глаз и мысли его можно завидовать. Обещание написать здесь равно обещанию до конца понять.

Шестнадцатилетнему, ему доверили быть литконсультантом в газете, это не было редакционной благотворительностью, он там работал. В письмах об участии в школьном журнале или в студии, ставившей «Город на заре», есть не только обаяние извечных юношеских проектов и проб себя, это письма о работе. И сами письма эти — тоже работа, работа юношеской мысли, которая не боится.

В войну он пишет: «Чертовски хочется взглянуть на все происходящие события сверху, увидеть дальнейшее, послевоенное развитие личности и государства. У меня, правда, нет своего мнения на этот счет. Если бы нашелся человек, могущий объяснить вполне обоснованно и ясно то, что меня так волнует и составляет стимул к дальнейшему существованию, я бы пошел за ним в огонь и воду. Увы, все, как и я, способны только предполагать и догадываться. Мне хочется очень немногого — права писать, думать и говорить свободно и громко. Во всяком случае, жить до конца своих дней так, как я жил до сих пор, у меня просто нет никакого азарта».

Опять же, будь это художественная проза, авторам не упастись бы от укоров: вы перенесли в обстоятельства тридцатых годов сегодняшние наши размышления о том времени, заставили вашего героя Севу задаваться теми вопросами, какими юноши

тогда не задавались, приписали ему «критическое направление ума», которым брали персонажи литературы конца пятидесятых; нет, не такие, как ваш герой, защищали родину в Отечественной войне! Но нет никакого «вашего героя Севы», были Всеволод Эдуардович Багрицкий и Нина Алексеевна Костерина, люди двадцать второго и двадцать первого года рождения, получавшие паспорта в тридцать восьмом и тридцать седьмом году; Всеволод Багрицкий, белобилетник, думающий не так, как положено, проходит сто сорок пять километров по снегу от Чистополя до Казани, чтобы добиться отправки на фронт, где он будет работать в красноармейской газете и где будет убит; невоеннообязанная Нина Костерина тоже добьется фронта и тоже будет убита.

Всеволод Багрицкий обещал: «Об этом я напишу когда-нибудь». Об искусстве он думал много, жил в окружении юношей, думавших о том же: в дневниках и письмах

есть это ощущение тесноты компании — дружбы, в которой действительно тесно, пора начинать делать что-то, слишком много переговорено. «Хочется продолжать то, что начал,— пишет он.— Хочется победить в этой войне немцев и еще Комитет по делам искусств для того, чтобы никакой чиновник не мешал нам работать». Это, конечно, с усмешкой, но и серьезно.

Всегда кажется, что умерший сделал бы больше и откровенней, чем оставшиеся в живых. Но умершие и так сделали много. Жизнь обеднела оттого, что не вернулись многие из этого прекрасного поколения — поколения ровесников революции, с их естественным интернационализмом, естественным коллективизмом, естественным презрением к стяжателям. Им еще предстояло думать, решать и действовать, но действовать им пришлось в войну, в которой они гибли и победили.

Инна СОЛОВЬЕВА.



СНОВА ВОЙНА

Ф. Горенштейн. Дом с башенкой. Рассказ. «Юность», № 6, 1964.

«Инженер Фридрих Горенштейн работал на шахте в Кривом Роге, а затем прорабом на одной из строек Киева. В центральной печати выступает первый раз», — вот что сообщает журнал «Юность», печатая первый рассказ молодого писателя «Дом с башенкой».

Это предисловие. будь оно и во много раз подробнее, — еще не знакомство с новым писателем, знакомство должно начаться дальше — с первых строчек рассказа. Состоится ли оно?

Можно как будто все узнать о человеке, но так и не узнать его самого — это бывает очень часто и в жизни и в литературе.

Об этом часто думаешь, вглядываясь в новое имя — имя, еще не тронутое литературой, неизвестное, не вызывающее никаких ассоциаций, — оно для тебя еще за семью печатями. И если при чтении незаметно отлетает прочь каждая из семи печатей и новое имя приобретает лицо и душу — значит, знакомство состоялось.

Эти слова — знакомство состоялось —

можно с удовлетворением сказать, прочитав рассказ «Дом с башенкой».

Но это не простое, не легкое знакомство. Рассказ Ф. Горенштейна — тяжелый, суровый рассказ.

Он написан так, как будто сегодня, сейчас идет война. Первые же его строки буквально опрокидывают нас на двадцать лет назад, мы как бы оказываемся в гуще товарных теплушек, эшелонов, железнодорожных путей, среди массы мечущихся по перрону, страдающих людей.

Тут нет никаких вступлений, предысторий, биографий, развернутых характеристик. Дочитав рассказ, мы не узнаем ни одного имени, даже главный персонаж так и зовется до конца «мальчик», — слишком затерян он в толпе людей.

На случайной глухой станции, в незнакомой больнице умирает снятая с эшелона мать мальчика, и мальчик отправляется дальше один — таково в двух словах содержание рассказа.

Станция, больница, вагон, люди, населяющие этот вагон, их разговоры, споры,

ссоры — все это написано жестко, напряженно и исключительно достоверно. Пирог, тоненько намазанный сливовым повидлом, портсигар, плотно набитый кислѳой капустой, узлы, чемоданы, выкрики инвалидов — во всем этом очень точно запечатлены подробности эшелонного быта военных лет.

Писатель отлично передает не чувство голода, а ощущение еды, столь характерное для голода и недоедания. «Мальчик съел картошку вместе с кожей, под кожей она была мягкая и желтая, как масло. Огурец он сначала обкусал со всех сторон, а серединку оставил на закуску. Потом осторожно глянул вниз, не смотрит ли кто, и обрывком жирной газеты, на которой дядя подал ему еду, натер горбушку и мякоть. Получился хлеб с селедкой, и мальчик ел его медленно, маленькими кусочками».

Наверно, многое может постигнуть писатель силой воображения, но вот этого голодного вкуса сухой картошки, не пережив, не передашь никогда.

Это чувство «пережитого» вообще не оставляет нас при чтении рассказа. Особенно в главном — в нежности к умирающей матери, выраженной почти без слов, в непоправимости сиротства. Трудно забыть маленькую грустную фигурку в чужом холодном степном городе, бредущую от станции к больнице. Мальчик шел так долго, что «за это время успел привыкнуть к тому, что мать его в больнице». А потом, когда он добрал до больницы, то подумал, что «все в порядке, теперь лучше, чем полчаса назад, когда я шел и ничего не знал». Наивное, детское (да и не только детское) цепляние за проблеск надежды и жестокое, безжалостное, немислимое для детской души уничтожение этой надежды — вот что по существу составляет содержание рассказа «Дом с башенкой». Даже само название это, взятое как будто из веселой детской сказки, в самом рассказе, много раз повторяясь, становится символом горя и потери. Когда мальчик уезжал из города, «он увидел заснеженный перрон, забор и за забором площадь и очередь и увидел старуху, торгующую рыбой; она шла через площадь в валенках и с плетеной кошелкой. В конце площади был дом с башенкой, где была

лестница винтом. А если пойти влево, то можно дойти до трубы, а оттуда до больницы».

И вдруг что-то повернулось и защемило в груди, и мальчик удивился, потому что еще никогда так не щемило».

Дальше в поезде мальчик еще столкнется и с жестокостью, и с равнодушием, и с щедростью, и с добротой. Он не всегда умеет распознать их и отличить одно от другого. И все-таки он начнет оттаивать не тогда, когда испытает внимание и заботу, а только тогда, когда ночью в темноте сам почувствует сострадание и отломит голодному старику половину своего пирога.

Молодой писатель Ф. Горенштейн написал свой первый рассказ не о молодости, не о первой любви, не о шахтах Кривого Рога, где он работал. Он снова написал о войне. Сколько же десятилетий, сколько поколений людей несут на себе ее рубцы... Опыт молодых писателей, которые вступают теперь в литературу с этой темой, совсем не похож на опыт старших писателей — это, если можно его так назвать, опыт сиротства и бездомности. Тоской об отце проникнуты, например, и рассказы ленинградского писателя Р. Грачева о детском доме во время войны, напечатанные в первом номере «Молодой гвардии» за 1963 год.

Не потому ли и рассказы Р. Грачева, как и рассказ Ф. Горенштейна, не несут в себе ничего от обычного колорита первых произведений. Потери, которые пережили их герои в детстве в результате войны, трагичны и невосполнимы, они не могут написать о них ни со спокойствием, ни с юмором. Это накладывает свой резкий отпечаток на эти рассказы, так же как и на фильм А. Тарковского «Иваново детство» по одноименному рассказу В. Богомолова, тоже по существу созданный на близкую тему.

Облегченные повествования о приключениях детей во время войны — а их появилось не так уж мало в свое время — лопаются, как мыльные пузыри, особенно теперь, когда эти дети вступают в литературу и пишут о том, что случилось с ними в детстве в годы войны.

А. БЕРЗЕР.



ИСКАНИЯ И ОТКРЫТИЯ ГОЙТИСОЛО

Хуан Гойтисоло. *Ловкость рук. Прибой. Цирк. Остров. Романы. Перевод с испанского. М. «Прогресс». 1964. 621 стр.*

Хуан Гойтисоло принадлежит к тому поколению испанских писателей, для которых, говоря его словами, «реализм — это необходимость». «Восстановить правду» — в этом прежде всего видели они цель и смысл литературы. В нормальных условиях писать правду — это еще не цель, а лишь обязательное условие творчества. Но в стране, где газеты, книги, радио, кино служат утверждению фальшивых идеалов, где ложь демагогически выдается за истину, а истина преследуется как государственное преступление, писать правду — высокая общественная миссия, требующая не только честности — мужества.

Советские читатели знакомы с Хуаном Гойтисоло по его романам «Прибой» и «Печаль в Раю», очеркам «Земли Нихара», «Чанка» и «Народ в походе». Теперь издательство «Прогресс» выпустило книгу Хуана Гойтисоло, куда вошли, кроме уже известного нам «Прибоя», еще три романа — «Ловкость рук», «Цирк» и «Остров», и мы получили, таким образом, возможность более полно знакомиться с творчеством этого интересного, глубоко современного писателя.

В «Ловкости рук», первом романе Гойтисоло, опубликованном в Испании в 1954 году, рассказывается о неудачном политическом покушении, организованном группой студентов. В этой книге, еще незрелой и неровной, симпатии писателя ощущаются лишь подспудно, и трудно сказать определенно, что он любит, но нельзя не почувствовать, что он ненавидит. Это книга ненависти, провозглашенной с безоглядной откровенностью, ненависти ко всему буржуазному прежде всего — к буржуазному порядку и идеалам, к буржуазной семье, построенной на лжи, к буржуазной порядочности, сытости и оптимизму.

С брезгливой усмешкой подмечает писатель «отъевшиеся жирные» лица святых, которым «надо было молиться», и толстого господина в очках, поучающего с обложки журнала: «Улыбайтесь. Это увеличит ваши доходы»... Герои романа, блудные сыновья буржуазии, разучились молиться, не хотят улыбаться, им противно счастье, приготовленное для них заботливыми отцами. Чего они хотят? Они сами толком не знают. Во

всяком случае — порвать с ненавистным обществом, взрастившим их. Любой ценой. «Сжечь корабли», — как говорит художник Агустин, аргументируя необходимость убийства депутата Гаурнера.

Гойтисоло слишком хорошо знает цену своим героям, чтобы возлагать серьезные надежды на их бунт. Задолго до того, как эта затея провалится, он остановит нас перед рисунками Агустина — хрупкие, изломанные танцовщицы, тщетно пытающиеся взлететь. Им тоже не дано взлететь, освободиться, этим мальчикам с изломанными душами, этим рыцарям на час, играющим своей и чужой жизнью с бездумной жестокостью.

Безобразный, тоскливый разгул, нелепый маскарад «чумного дня», который служит фоном заговору, — совсем не случайная декорация этой кровавой и нечистой игры, где подтасованная карта решает исход дела. Так жребий убийцы выпадает Давиду, единственному из всех, не способному на убийство. Не потому, что он трус, как считает Луис, расчетливостью провокатора подстроивший эту ловушку, а потому, что он в отличие от прочих добрый человек с еще живой душой.

Давид погибает от руки своего лучшего друга Агустина, безропотно подчиняясь его приговору. С такой же покорной, почти мистической готовностью пойдет навстречу своим убийцам Авель, герой следующего романа Гойтисоло, носящего откровенно символическое название «Печаль в Раю». Судьба этого необычного мальчика, которому писатель дал имя библейского праведника, многое проясняет в судьбе Давида. Оба они повторяют судьбу библейского Авеля, убитого братом своим Каином. Но Гойтисоло смещает традиционные и ясные отношения героев мифа: Авель, как и Давид, нежное существо с ранимой душой, остро осознающий свою незащитность и отверженность, мечтает о жестокой силе Каина и тщетно пытается приспособиться к тем волчьим законам, по которым живут его братья — люди...

В конечном счете «Ловкость рук» — книга о несостоятельности силы, отвергающей нравственные законы, но также о бессилии доброты. Ни убийце Агустину, ни Давиду,

убитому им, в одинаковой мере не дано спастись. В атмосфере романа — в холодном кипении жестоких страстей, в тяжелом угаре пьяных ночей, в самом воздухе, которым дышат герои, — отравный горький привкус поражения. Жизнь разворачивается, как трагический и шутовской хоровод, она кажется неподвижной, несмотря на судорожное мелькание фигур, тщетно пытающихся вырваться из круга безнадежности.

В «Цирке» эта безысходность простирается с особой пронзительностью и непреложностью. Тесное кольцо существования ограничено рамками провинциального городка Лас Кальдас. Роман открывается появлением глашатая, объявляющего программу праздника, и завершается торжественным банкетом, который грубо обрывается сообщением об убийстве дона Хулио. Два дня, в течение которых разворачивается действие романа, вбирают в себя самые различные события и судьбы, создающие в своей совокупности пеструю и вместе с тем законченную картину жизни испанской провинции.

...Отгородившись от своих домашних газетой, господин Олано привычно и равнодушно разыгрывает комедию семейного счастья. Красавица Хуана, его старшая дочь, ненавидит свой богатый дом, словно «темницу», и тайком бежит на свидания к любовнику, нищему бездельнику Атиле. Беспутный художник Ута, отправившийся в Барселону, чтобы выпросить у родных денег, пропивает в кабаке последнее, что у него есть. Самодовольная обывательница Матильде привычно и нудно поучает сестру, молоденькую учительницу Селию, что ей пора «изменить образ жизни» и выйти замуж за дона Хулио. Томимая тоской и любовью, Селия бродит среди нищих хибар в надежде встретить Атилу. Члены дамской хунты, собравшись у доньи Кармен, дружно славят хозяйку, так много сделавшую для бедняков Лас Кальдаса, объедаются сладостями и упоенно промывают косточки своим ближним. Заканчивается отделка дома для престарелых: открытие приюта и вручение медалей ветеранам — гвоздь программы праздника.

Сцена награждения стариков — одна из центральных в романе — написана с обычной для Гойтисоло «объективностью», за которой угадывается гнев писателя. Под палящим солнцем, в полном параде, в ровном строю, жалкие и торжественные, в окружении толпы зевак, удивляющейся их

выносливости, стоят ветераны. Гротескный парад марионеток, сладкая речь уполномоченного, бравурная музыка, вручение медалей, объятия, аплодисменты и так далее — какой цирк!

Но еще раньше, прежде чем этот балаган достигнет своей трагической кульминации, мы различим в хаотическом потоке происшествий, встреч, разговоров два контрастных мотива, звучащих резким и тревожным диссонансом: парадная, крикливая подготовка праздника и тайная подготовка преступления, осуществляемая Атилой под этим шумным прикрытием. Эти две самостоятельные сюжетные линии увязаны Гойтисоло в тугой узел неизбежности.

В «Цирке», как и вообще в творчестве Гойтисоло, образ карнавала приобретает значение зловещего символа. Чисто национальная приверженность к карнавалу становится поводом для далеко идущих социальных обобщений. Бодрые марши, извергаемые громкоговорителями, реяние знамен, гуманные речи, лозунги, обещания — все это не более как маскарадные ухищрения, судорожные попытки прикрыть нарядной маской убогое, неприглядное лицо действительности. Даже дома здесь ряжены: «заплесневелые стены убогих хижин скрылись под коврами и полотнищами».

Среди многочисленных персонажей «Цирка» центральное место занимает Атила, стоящий, так сказать, на пересечении самых различных судеб. Атилу любят Хуана и Селия, его боготворит Пабло, преданно выполняющий все его желания и прихоти. (Как и в «Ловкости рук», это странная, неравная дружба, основанная на абсолютном подчинении слабого воле сильного — ситуация вообще типичная для гойтисоловского мира.) Почему все они тянутся к Атиле? Для Хуаны, Селии и Пабло, принадлежащих к «приличному» буржуазному кругу, Атила притягателен именно тем, что он вне общества, демонстративно антибуржуазен. Их связывает с ним не просто любовь или дружба — надежда на спасение, на бегство из «темницы», как говорит Хуана.

Но Атила не может никого спасти прежде всего потому, что ему нет дела до других. Его жестокая, хищная сила разрушительна. Для достижения своей цели он пойдет на любое преступление. Его превосходство над пленниками буржуазного мира мнимое: Атила не выше, а ниже тех нравственных

норм, которые он так хладнокровно и уверенно попирает. Этот провинциальный сверхчеловек из подонков общества имеет очевидное фамильное сходство с Метральей, главарем воровской шайки в «Прибое», и с изысканным художником Агустином, играющим в бунт. Разрабатывая современный испанский вариант «сильной личности», Гойтисоло разрушает сопутствующий этому образу романтический ореол. Человеческая неполноценность этих героев обнаруживается и в том, что они совершенно не способны на сильное чувство (любовь, страсть, дружба, верность, как и страдания, — удел женщин и слабых мужчин). Характерно, что тема предательства, проходящая через все творчество Гойтисоло как один из самых горестных уроков жизненной школы, связана именно с сильными героями. В таком повороте темы, несомненно, сказался злобный опыт фашизма.

Атила не убивает друга, как Агустин, не предаёт его, как Метралья, однако в его характере, написанном жестко и точно, потенциально присутствуют эти «возможности». Атила убивает дону Хулио, который в силу несчастного стечения обстоятельств так не ко времени вернулся домой.

Роль злого рока в романе играет художник, имеющий первостепенное значение для понимания авторской концепции. Пока Лас Кальдас готовится к празднику, а Атила — к ограблению, пьяный Ута, возвращаясь из Барселоны, вспоминает о капиталах ласкальдасского богача и посылает ему с дороги загадочную телеграмму, которая и заставила дону Хулио покинуть банкет. У Уты нет никаких оснований предполагать, что дон Хулио даст ему денег, он просто тешит себя этой надеждой за неимением лучшей и с пьяным фанфаронством фантазирует, как он расправится с доном Хулио, если тот откажет ему. С удовольствием представляя себя бесстрашным героем гангстерского фильма, он в конце концов так увлекается игрой, что в его одурманенном сознании совершенно смещаются контуры реальности и выдумки.

Иллюзионизм — испытанный, опирающийся на национальные традиции способ бегства от действительности — доведен здесь до гротесковой крайности. Ута — фанфарон, шут и мистификатор, совершенно сознательно и, так сказать, принципиально живущий иллюзиями. Способность «творить легенду» из грубой прозы жизни как будто выгодно

отличает Уту от серой толпы ласкальдасских обывателей. Но, увлекая нас в прихотливый мир вымыслов и чудачеств Уты, забавных, поэтических, странных и, казалось бы, всегда безобидных, Гойтисоло показывает, сколь труслива подобная попытка «приукрасить» жизнь. А в конечном счёте — преступна.

Первой — невольной — жертвой Уты оказывается дон Хулио, а второй — он сам, запутавшийся в сетях собственной лжи. Потрясенный, стоит Ута в кабинете дона Хулио перед трупом человека, которого он в мыслях столько раз убивал. Все улики против Уты, все туже затягивается вокруг него мертвая петля судьбы. Так наступает расплата, так постигает Уту действительность, от которой он пытался отгородиться призрачной завесой снов...

Жена Уты сравнивает свою жизнь с хождением по слабо натянутому канату. Но не только Элиса — большинство героев Гойтисоло живут, словно ходят над пропастью, вот-вот готовые сорваться.

Всех героев Гойтисоло подстерегает катастрофа и чаще всего тогда, когда они меньше всего ждут ее, когда, кажется, уже стоят на пороге счастья. С необычной уверенностью спешит Селия на ночное свидание с Атилой, которое должно изменить всю ее жизнь, она полна острым предчувствием счастья, а Атила послал на свидание приятеля, равнодушно «уступив» ему девушку... С волнением и надеждой стоит на краю дороги Авель, ожидая своего друга Пабло: скоро они умчатся в большой мир, где им предстоят военные подвиги и слава, настоящая жизнь. Но Пабло обманул, уехал один... В «Прибое» другой мальчишка так же взволнованно и мучительно ждет на пристани друга, но только издали, из-за ограды увидит он, как Метралья поднимается по трапу сияющего огнями океанского парохода.

Крушение надежд — постоянная тема Гойтисоло. В «Прибое», где изображается жизнь барселонской бедноты, она звучит особенно напряженно и трагично. В свое время у нас достаточно говорилось о «Прибое» (и в «Новом мире», в рецензии Л. Зонинной, и в послесловии Л. Осповата, где дается убедительный и исчерпывающий анализ творчества Гойтисоло). Поэтому вряд ли стоит подробно останавливаться на этом романе. Ограничимся лишь самыми необходимыми замечаниями.

В «Прибое» гойтисоловская вселенная за-

метно расширяется — здесь бедняцкий люд представлен уже не толпой статистов, а выступает полноправным персонажем книги. здесь впервые появляется положительный герой современной Испании — антифашист Хинер, здесь судьба человеческая решается в тесной связи с судьбой народной, однако основные мотивы остаются неизменными. «Прибой» открывается шествием святых отцов и кончается торжественной встречей депутата. Пышный финал, венчающий трагическую повесть о нищете, горе, несправедливости и следующий непосредственно за арестом Хинера и самоубийством Эваристо, которого жандармы выбросили из его лачуги, с кинематографической наглядностью обнажает то несоответствие идеологии и практики, являющееся одним из кардинальных противоречий испанской действительности. Зрелища вместо хлеба — вот политический смысл столь шумно отмечаемой «Недели предместья» и прочих правительственных мероприятий для народа. И чем хуже обстоит с хлебом, тем пышнее обставляются зрелища — эта истина хорошо известна Гойтисоло.

На этот раз в программе народного ликования произошла коротенькая заминка. Вместо заранее заготовленной патриотической речи Карлитос растерянно пробормотал: «Депутат... Мы бедны...» И «тотчас же, прерывая тяжелое молчание, вновь зарокотали громкоговорители» и представители власти двинулись дальше «между двумя рядами безмолвных людей, безразличных и к пышному реянию знамен и к веселому навязчивому ритму маршей».

Концовка «Прибоя» укладывается в горестную формулу «народ безмолвствует», но в это тяжелое молчание внезапно врываются яростные, полные великой надежды стихи об иной Испании, «неумолимой, простонародной», рвущейся в бой. Это стихи Антонио Мачадо, и в них, несомненно, слышится голос самого Гойтисоло. Все писавшие о «Прибое» говорили о надежде Гойтисоло, ссылаясь, однако, на стихи Мачадо. Не потому ли, что в романе эта надежда никак не подкрепляется?

Контраст между «Прибоем» и стихами, завершающими его, приоткрывает нам трагедию Гойтисоло, человека, уставшего от безнадежности, страстно желающего верить в лучшее будущее своей родины и утверждающего эту веру — даже вопреки тому, что он сам, художник, видит и пишет...

Последний роман Гойтисоло «Остров», запрещенный цензурой «за аморальность», переносит нас в совсем иную среду, хочется сказать — на другую планету, хотя действие и происходит в Испании в наши дни. В этом романе, как уже отмечалось в нашей критике, ощутимо влияние «Фиесты» Хемингуэя и «Сладкой жизни» Феллини — вплоть до почти цитатных совпадений. Однако сходство объясняется не столько подражанием, сколько общностью «проклятых вопросов» и заведомым однообразием «сладкой жизни» с ее устоявшейся безнадежностью. Изображая этот стандартный космополитический мирок, Гойтисоло решает, однако, свои, испанские проблемы в их конкретном политическом аспекте.

«Остров» — роман о судьбе испанской интеллигенции, о той ее части, которая, говоря словами журналиста Рафаэля, работает и живет по заказу. В центре книги — Клаудия Эстрада, от лица которой ведется повествование, ее муж Рафаэль и ее возлюбленный Энрике, тоже преуспевающий журналист. Речь идет не об обычных продажных писаках, готовых служить любому хозяину, любому политическому строю, лишь бы хорошо платили. Речь идет о людях идейных, во всяком случае в прошлом, когда они сделали свой выбор. (Впрочем, трудно говорить о выборе, если родителей Клаудии расстреляли республиканцы, а Рафаэль родился в знатной, богатой семье.) С привычной тоской вспоминает Клаудия об «идеализме военных лет» — тогда они верили, что борются за правое дело. Постепенно победа Франко раскрыла им глаза. Почему же в это время они не сделали, как говорится, соответствующих выводов? Из корысти? Из трусости? Пожалуй, ни то, ни другое. Очень скупо, но точно раскрывает Гойтисоло ту диалектику самообмана, которая привела героев к краху. Инерция былых убеждений особенно сильна, если эти убеждения подкреплены собственными жертвами. Клаудия стремится жить по-прежнему, «словно чудо все еще было возможно», но «эти усилия во имя того, чему я уже перестала верить, опустошили меня». «Я гибну. Клаудия... гибну окончательно», — говорит Рафаэль. Сама прошедшая весь этот путь, Клаудия давно отказалась помогать Рафаэлю, так как хорошо знает, что это бесполезно. Что из того, что он сознает свое падение, что

он, как и Энрике, все понимает и трезво оценивает положение («в тот день, когда все это взлетит на воздух, мы захлебнемся в дерьме»)? Тем хуже, тем позорнее их роль. Неспособные ни на что, кроме болтовни, они еще тешат себя дешевым фрондерством, которое сводится к вполне безопасному показыванию кукиша в кармане. Все они люди конченные, погибшие, пораженные проклятием бессилия.

При всем том, презирая себя и свою жизнь, они не только не могут — не хотят ее изменить. Недаром же, когда возникла угроза увольнения, Рафаэль пустил в ход все свои связи, лишь бы остаться в газете. Словом, поскольку уж они все равно погибают, они предпочитают погибать с комфортом.

При других обстоятельствах история заблуждений и запоздалого прозрения могла бы стать предметом трагедии, но неожиданный практицизм Рафаэля придает всему этому почти фарсовый оттенок. Гойтисоло относится к героям «Острова» без жалости и без снисхождения, для него очевидно, что они заслужили свою участь. Не потому, что он не может простить им слепой веры молодости и прошлых ошибок, а потому, что, расставшись с былыми заблуждениями,

они продолжают — теперь уже сознательно — обманывать народ.

Непримиримость Гойтисоло объясняется, кроме всего прочего, и личными мотивами. Ведь и сам он, взявшийся за перо, чтобы «восстановить правду», долгое время был ослеплен ложью. Как и герои «Острова», Гойтисоло по рождению принадлежит к избранному меньшинству. Поражение революции, ставшее трагедией для миллионов его соотечественников, Гойтисоло — ему было тогда семь лет — воспринял как естественное торжество порядка и справедливости. Позднее писатель вспомнит о «веселой музыке детства», оборвавшейся «какофонией войны», о трудных и горьких годах юности, когда он «целиком посвятил себя кропотливой задаче ниспровержения прежних идеалов», о своем пути к народу: «Я знал, что ценности моего класса фальшивы, хотя мне еще нечем было их заменить. Постепенно я стал прислушиваться к доводам враждебного класса и был вынужден признать правоту его дела... Тогда я понял истинное значение нашей войны, понял, что наперекор всему, что мне внушалось, я теперь всегда буду на стороне неимущих...».

М. ЗЛОБИНА.

★

Политика и наука

ГОРЬКИЙ О НАУКЕ

Горький и наука. Статьи, речи, письма, воспоминания. «Наука». М. 1964. 282 стр.

Каждый раз, когда перед нами встает образ А. М. Горького, не перестаешь поражаться самобытности, яркости и многогранности его гения. Я помню, с каким восхищением и любовью рассказывал о своих встречах с великим писателем мой учитель А. Е. Ферсман, которого Алексей Максимович называл прекрасным популяризатором, артистом своего дела. Их сотрудничество, начавшееся еще в 1917 году, продолжалось в трудное для нашей страны время, когда Горький возглавлял громадную работу по улучшению быта ученых. Позднее Ферсман принимал активное участие в любимом горьковском детище — журнале «Наши достижения». К этому периоду относится письмо Горького к Ферсману, в котором он просил ученого в статьях о науке не затушевывать сложности и трудности исследований. «Не-

обходимо, — писал он, — чтоб масса, а особенно — молодежь наша, — понимала эти трудности и чтоб этим повышалось ее уважение к науке». Таким уважением к знаниям была проникнута вся жизнь, вся неуемная творческая деятельность великого пролегарского художника.

«Науке — исследующей «материю» — верю и люблю ее как поэзию», — подчеркивает он в письме к детскому писателю С. Т. Григорьеву. И когда знакомишься с недавно вышедшим сборником «Горький и наука», убеждаешься, что любовь эта не была пассивной, созерцательной. Как много, гигантски много сделал для нашей науки и нашей культуры этот человек — плоть от плоти народной. Известно, что Горькому так и не пришлось учиться ни в гимназии, ни в университетах, но его энциклопедические по-

знания поистине изумляли мировых ученых. Не раз мне приходилось слышать об этом из уст не только Ферсмана, но и других выдающихся деятелей науки.

У нас, его современников, еще живы в памяти настойчивость и целеустремленность, с которой Горький в первые годы строительства Советского государства стремился привлечь к созидательной работе в стране старую интеллигенцию, все лучшие силы русской науки. Близко принимал к сердцу писатель все важнейшие научные искания, их успехи и неудачи. Читая ныне собранные в сборнике письма А. М. Горького к К. А. Тимирязеву, А. Н. Баху, А. Д. Сперанскому, А. П. Карпинскому, К. Э. Циолковскому и многим другим видным ученым, ощущаешь особенную широту и глубину его знаний, умение вовремя увидеть и оценить в трудах исследователей то, чего многие не видели. В смелых биогеохимических идеях В. И. Вернадского, новизна и чрезвычайная оригинальность которых не была воспринята даже некоторыми нашими учеными мужами, писатель сумел разглядеть поистине далеко идущие открытия, сыгравшие огромную роль в прогрессе знаний и народного хозяйства.

Он неустанно пропагандирует идеи Вернадского. Еще в 1921 году в записях В. И. Ленина во время беседы с Горьким появляется пометка: «Вернадский, строение земной коры». Гораздо позже в письме к Корнею Чуковскому Горький советует: «А по вопросу о нашей атмосфере вы найдете, пожалуй, интереснейшие намеки в «Геохимии» Вернадского».

В статье «О М. М. Пришвине» Алексей Максимович предельно сжато и образно — в пятнадцати строках — излагает сложные идеи Вернадского о связи нашей планеты с космосом, о едином большом геологическом процессе, охватывающем и косную и живую природу, о происхождении биосферы. «Очень рекомендую «для вдохновения» «Геохимию» Вернадского», — читаем мы в письме Горького к одному из его корреспондентов А. Н. Бахареву.

В наши дни мы все убеждаемся в огромной результативной силе взаимопроникновения одних областей науки в другие. Теперь уже даже заядлым догматикам трудно отрицать революционизирующую роль методов физики, химии, математики в развитии биологии и других наук о живой природе, значение тесного единения исследователей

различных областей знания. А. М. Горький хорошо осознал это еще несколько десятков лет тому назад. В письме И. М. Гронскому он писал: «Деятели науки — вот кто нуждается в тесном единении, и если б это единение организовалось — наука Союза Советов пошла бы вперед гигантскими шагами». Горький указывал далее на плохой обмен опытом и методами исследований, на недостаточное тогда ясное представление об общей цели всех исследований. В цитированном нами письме С. Т. Григорьеву уже тогда отмечается замечательное явление в прогрессе знаний — взаимопроникновение одних наук в другие «Для меня, — пишет Алексей Максимович, — современная наука — цепь блестящих, изумительных по дерзости гипотез. Все великолепно перепутано: биология с геохимией и т. д.».

В огромной и разнообразной по характеру переписке с учеными, литераторами, бывальными людьми писатель уделяет много внимания современной науке, становящейся «нервной системой нашей эпохи», делится своими впечатлениями о новых научных исканиях и открытиях, требующих широкой популяризации.

Раз мы уже коснулись горьковских идей научной популяризации, то стоит об этом сказать несколько подробнее, ибо многие из его весьма ценных мыслей в этой области до сих пор еще не осуществлены. Прежде всего важно отметить, что Горький всегда подчеркивал: наука призвана не только обогащать знаниями человека, но и воспитывать его

«Я не знаю, — писал Алексей Максимович, — сил более плодотворных, более способных воспитать в человеке социальные инстинкты, чем силы искусства и науки». Последовательно проводя эту идею, писатель со всей страстью своей большой души стремится содействовать широкой популяризации знаний, вовлекая в это благородное дело не только ученых, но и литераторов. Он справедливо считает, что «между наукой и художественной литературой есть много общего: и там, и тут основную роль играют наблюдение, сравнение, изучение; художнику, так же как ученому, необходимо обладать воображением и догадкой — «интуицией».

В статьях и письмах М. Горького мы находим обширные планы и темы научно-популярной литературы, при этом он убеждает ученых и писателей, что книга о науке

должна говорить языком образов, должна быть художественной. В этом свете мне представляются искусственными и неоправданными попытки некоторых критиков проводить границу между научно-популярной и научно-художественной литературой. Подлинная популяризация знаний — это интересное, увлекательное изложение, это обращение не только к уму, но и к сердцу читателя, это неуклонное стремление популяризатора развить фантазию, умение размышлять по поводу прочитанного. «В нашей литературе,— подчеркивал Горький в своей статье «О темах»,— не должно быть резкого различия между художественной и научно-популярной книгой». Только при непосредственном участии подлинных работников науки и высококвалифицированных литераторов можно осуществить настоящую, художественную, а не вульгаризаторскую популяризацию научных знаний.

Неизменно подчеркивая, что в природе нет ничего чудеснее человеческого мозга, нет ничего более изумительного, чем процесс мышления, А. М. Горький мечтал о создании широких полотен, рисующих победу человеческой мысли. И, в сущности, эта его заветная мечта успешно претворена в жизнь. Я имею в виду созданную по инициативе Алексея Максимовича серию книг «Жизнь замечательных людей», в которых сквозь многие сотни художественных биографий выдающихся ученых, мыслителей, художников вырисовывается поистине потрясающая картина победного шествия человеческого гения. Жизнь этих героев науки и искусства вот уже много лет учит, воспитывает наше подрастающее поколение, вдохновляет его на все новые и новые поиски и подвиги в труде и творчестве. Но только ли одно это замечательное начинание Горького обогатило нашу культуру? Вспомним «Ис-

торию гражданской войны», «Историю фабрик и заводов», «Всемирную литературу», «За рубежом», «Науку и жизнь» и многие другие фундаментальные издания и труды, в которых с разных сторон освещаются достижения советского человека в борьбе против стихийных и злых сил природы и общества. Эти важные начинания — только небольшая часть огромной научно-организаторской деятельности, развитой великим писателем как раз в те годы, когда им создавались великая эпопея предреволюционной эпохи «Клим Самгин», роман «Дело Артамоновых», яркие рассказы о выдающихся людях нашего времени, в том числе и проникновенный очерк «В. И. Ленин», отрывок из которого опубликован в сборнике.

Горький всегда изумлялся могуществу человеческого мозга, но он сам и его деяния — прекраснейший пример этого чудесного явления природы. В этом мы убеждаемся, когда знакомимся со сборником. Некоторые из писем Горького опубликованы здесь впервые. И все же это лишь незначительная часть той огромной переписки Алексея Максимовича с учеными, которая до сих пор не включалась ни в собрание сочинений, ни в один из тематических сборников.

Мне кажется, давно пора издать том переписки Горького с учеными. Вопрос о подготовке такого издания почти десять лет тому назад был поставлен перед Архивом Горького Институтом истории естествознания и техники АН СССР. Однако, по имеющимся у нас сведениям, к этой работе до сих пор еще и не приступали.

Издательство «Наука» сделало первый шаг в этом направлении. Уже сейчас нужно думать о подготовке более полного издания с широким привлечением архивных материалов.

Академик Д. И. ЩЕРБАКОВ.

★

БУДУЩЕЕ. КАКОЕ ОНО?

Какое будущее ожидает человечество? Материалы международного обмена мнениями, организованного редакцией журнала «Проблемы мира и социализма» и Центром марксистских исследований (СЕРМ) в Руайомоне в мае 1961 года. Под общей редакцией члена-корреспондента АН СССР А. И. Румянцева. Издательство «Мир и социализм». Прага. 1964. 502 стр.

В Руайомоне, близ Парижа, встретились свыше пятидесяти философов, социологов, естествоиспытателей, экономистов, писателей из Франции, Англии, Италии, Канады, Советского Союза, Чехословакии, Румы-

нии и других стран — как марксисты, так и немарксисты, которые горячо спорили, отстаивая свои взгляды.

Прежде чем рассматривать эти споры, зададим вопрос, который у юристов называется

ся «предварительным» и ставится до начала разбора дела по существу: а будет ли будущее?

«Имеет ли человек будущее?» — так называл английский философ Бертран Рассел одну из своих книг, опубликованную в 1961 году.

Участники встречи в Руайомоне оказались единодушны в мнении, что ядерная война снимет тему их дискуссии, по крайней мере в ее нынешней форме, поскольку вопрос о том, как жить дальше, уступит место вопросу о том, как выжить. Все согласились, что мирное сосуществование двух различных общественно-экономических систем является предварительным условием человеческого прогресса.

«Уцелеет ли человечество?» — так назвал американский философ Эрик Фромм одну из своих книг, опубликованную также в 1961 году.

Человечество уцелеет и у человека будет будущее, если будет сохранен мир.

На шахматной доске человеческой истории близок эндшпиль. Марксисты считают, что через какое-то конечное число ходов социализм победит капитализм в мирном соревновании, которое и приравнено в нашем сравнении к шахматной игре. Противники марксистов вправе считать, что они еще сохраняют шансы на победу, и разрабатывать многообещающие варианты. Однако игра возможна до тех пор, пока стороны соблюдают ее правила. Если одна из них в порыве отчаяния опрокинет доску с фигурами, игры не получится.

Возможно, это сравнение хромает. В конце концов можно ведь и помешать оппоненту хулиганить. Участники дискуссии отмечали, что опасность войны уменьшается по мере роста сил мира. Все же в наши дни эти силы еще не настолько могущественны, чтобы полностью гарантировать, что они успеют схватить безумца за руку, когда он вздумает опрокинуть доску.

Борьба за прогресс человечества, за его светлое будущее начинается с борьбы за мир.

«Мне кажется, — говорил в заключительном слове почетный профессор Сорбонны Анри Дюжье, — что даже в самый разгар дискуссии, при самом остром столкновении мнений у нас было заключено молчаливое соглашение затаенных мыслей. Все мы упорно стремимся найти средства, методы и структуры... при которых огромный научный

прогресс, достигнутый в нашем веке, не привел бы к полному уничтожению всякой цивилизации, к отвратительному преступлению, каким была бы новая война».

Таковы «предварительный» вопрос и ответ на него. Теперь вопрос по сути: существует ли прогресс?

До сих пор встречаются буржуазные ученые, защищающие тезис: «Ничто не ново под Луной». Но это занятие трудное, поскольку приходится отрицать очевидное. Человечество явно куда-то движется, причем в последнее время темпами, захватывающими дух. Двадцать одна цивилизация Арнольда Тойнби или восемь всеобщих культур Освальда Шпенглера принадлежат, пожалуй, уже к архиву идей, а не к действующему арсеналу. Нынешние противники прогресса предпочитают принимать сам термин, но искажать его содержание или указывать неверное направление. Действует, к примеру, «Союз ради прогресса», но не ради прогресса, а ради сохранения Латинской Америки под американским контролем.

Итак, прогресс существует. Его содержание можно было бы определить как возрастание власти человека над природой. В качестве его критерия можно взять уровень развития производительных сил. В этом случае мерой прогресса выступает производительность труда. Можно указать и цель прогресса, хотя не все согласны, что она существует. По мнению академика Н. Н. Семенова, цель общественного прогресса — «максимальное счастье для максимального количества людей — практически для всех». Необходимо также уточнить, что производство материальных благ — не самоцель, а необходимая база духовного развития.

Буржуазные ученые не против прогресса, если его удается истолковать так, чтобы можно было проташить в человеческое будущее капитализм. Вся загвоздка в том, что человечеству с капитализмом не по пути. Мало чем могут тут помочь хитрые теории, придуманные в целях упомянутого выше протаскивания.

Один вариант, подробно раскритикованный участниками встречи в Руайомоне, — теория стадий экономического роста профессора Уолта Ростоу, возглавляющего сейчас совет планирования политики при государственном департаменте Соединенных Штатов. Его теория нова, в моде и подкупает проста: всякое общество проходит пять стадий роста — от «традиционного об-

щества до зрелого общества «массового потребления». Соединенные Штаты находятся в последней стадии, Советский Союз скоро в нее вступит, причем никакой заслуги Октября в этом нет, поскольку, по Росту, коммунисты лишь продолжили работу, начатую Витте. Слаборазвитые в экономическом отношении страны находятся на других, ранних стадиях, но со временем повторяют американский и советский путь... Своим теоретическим упрощением Росту подводит мину под марксистское учение об общественно-экономических формациях, которое, собственно, и есть научная теория социального прогресса. Он даже снабдил свою книгу «Стадии экономического роста» претенциозным подзаголовком «Некоммунистический манифест». Выступая на конференции по panaфриканизму в Филадельфии, он назвал спор об экономических системах «старым» и «неуместным». Спор, конечно, этим заявлением снят не был, и он особенно волнует африканские страны, оказавшиеся на исторической развилке и решающие, какой избрать путь. Могут ли эти народы, спрашивал на обмене мнениями французский экономист Раймон Барбе, «остаться безучастными к новой возможности надеть семимильные сапоги, которые предлагает им социализм?»

Марксисты — участники встречи в Руайомоне дружными усилиями показали полную научную несостоятельность схемы Росту.

Столь же незавидной оказалась участь теории, с которой в ходе обмена мнениями выступил руководитель исследований при Высшей школе (Франция) Жан Фурастье.

Из двух взаимосвязанных сторон прогресса — технической и социальной — Фурастье выпятил первую и придал ей самодовлеющее значение. Техника, заявил он, сама по себе приведет человечество к изобилию, безотносительно к общественному строю в конкретных странах, поскольку, по его мнению, «страны Востока и западные страны строят один и тот же дом».

Теория Фурастье совпадает во многом с теорией французского социолога Раймона Арона об «индустриальном обществе». Капитализм и социализм представляют ему меридианами, временно разошедшимися у экватора, но когда-нибудь сойдущимися у полюса.

Оппоненты Фурастье соглашались с тем, что роль науки и техники в истории челове-

чества огромна. Уатт был человечеству важнее Наполеона. Но сейчас техническому и научному прогрессу тесно в капиталистических рамках. Злой волшебник, капитализм, блага оборачивает горестями: автоматизация несет безработицу, реакция ядерного синтеза грозит уничтожением, развитие средств связи открывает возможности для массового обольщивания. Кроме того, при капиталистических порядках большинство жителей Земли просто не хватает еды. Бразильский ученый Жозуе де Кастро, выступая в Руайомоне, назвал мир бедных стран «царством голода и нищеты, где люди рождаются лишь для того, чтобы переселиться на небо, как ангелы. В этих странах свыше половины людей умирает еще в детстве. Такой процент смертности создает новую географию, где не земля кормит человека, а человек кормит землю органическими веществами своего тела».

Кастро назвал основной причиной голода колониализм, то есть в конечном счете тот же капитализм, породивший наряду с другими и этот позор. При нынешнем развитии науки и техники земля может прокормить гораздо больше людей, чем то число, которое сейчас ее населяет. Мешает капитализм.

«Мир в состоянии покончить с нищетой, — говорил на конференции английский ученый Джон Бернал. — Но мы останемся бедными, пока мир будет организован по-старому. Дело не в знаниях: знаний достаточно. Дело в организации».

Один из участников процитировал «Кибернетику» Н. Винера: «Необходимо иметь общество, основывающееся на человеческих ценностях, других, чем купля и продажа...»

Альтернативой выступает социализм.

Есть ученые, сетующие на отрицательные стороны прогресса и сожалеющие о добром старом времени, когда не было ядерных бомб и межконтинентальных ракет.

Они шлют обвинения по неверному адресу. Сама по себе техника не несет ни положительного, ни отрицательного заряда. Всякое изобретение можно употребить во вред, как можно вместо гвоздя ударить молотком по пальцу. Вспомним снова Винера. Он писал: «Новое развитие техники имеет неограниченные возможности как для добра, так и для зла...» Дело не в технике, а в социальном строе. Капитализм использует достижения технического прогресса во зло. Снова альтернативой выступает социализм.

«Социализм необходим,— говорил в Руайомоне французский экономист Андре Баржонэ,— чтобы избежать неправильного пути, по которому может пойти применение завоеваний науки».

На конференции обсуждались многие другие стороны широкой темы прогресса. Академик Николай Семенов в сообщении «Наука и общественный прогресс» обрисовал дали, с полным правом требующие себе эпитета «захватывающие». Одновременно немало говорилось и о том, что светлое будущее отнюдь не будет безоблачным. Нет добра без худа, нет прогресса без компенсации в виде новых проблем.

Такова, например, проблема свободного времени. Куда его девать? Предполагается, что человек будущего использует его для самоусовершенствования в науках и искусствах. Но не исключено, что кое-кто удовлетворится утробными процессами или будет, к примеру, гонять в домино, поскольку, как заметил Василий Теркин, побывав на том свете, «думать незачем совсем». Участвовавший в обмене мнениями французский писатель Веркор призвал «с детства приучать молодые умы понимать истинные цели человеческого прогресса, научить их понимать, что эти цели не ограничиваются личным успехом, экономическим благосостоянием и дорогим автомобилем».

Академик Эрнест Кольман из Чехослова-

ки обеспокоен другой опасностью. Он считает, что современная техника «рождает одностороннее направление духа — в особенности у известной части молодого поколения — узкий техницизм, отсутствие интереса к природе, музыке, поэзии, живописи, к истории и философии, а прежде всего к личности человека».

Были высказаны и другие опасения.

Всех поднятых в Руайомоне тем в рецензии не упомянешь. Состоявшийся там диалог между марксистами и немарксистами был полезен обеим сторонам. Побольше бы таких встреч-споров. В спорах рождается истина. И читать о них интереснее, чем иные малокровно-бесспорные книги, похожие на формуляры. В конце концов марксизм родился и развивался в полемике. Он достаточно здоров, чтобы не бояться сквозняков.

Марксистская теория прогресса от сопоставления с соперницами только выиграла. Оказалось, что у соперниц в приданом одни пустые сундуки. Разнообразные немарксистские теории или излишне выпячивают отдельные стороны прогресса, или уводят в сторону. Марксистская теория прогресса не только дает убедительное объяснение того, какое будущее ожидает человечество, но и содержит практические указания по переломке настоящего к лучшему.

Г. ГЕРАСИМОВ.



ЧЕЛОВЕК СРЕДИ АВТОМАТОВ

Инженерная психология. Сборник статей. Перевод с английского под редакцией Д. Ю. Панова и В. П. Зинченко. «Прогресс». М. 1964. 694 стр.

Инженерная психология. Сборник статей. Под редакцией А. Н. Леонтьева (ответственный редактор), В. П. Зинченко и Д. Ю. Панова. Издательство Московского университета. М. 1964. 396 стр.

Мышление кибернетика по природе своей ассоциативно. Обнаруживая общие закономерности в явлениях отдаленных, кибернетик нередко оказывается во власти и литературных ассоциаций. Работы Винера полны ссылок и на «Ученика дьявола», и на «Обезьяню лапу» Джекобса, и на сказку о рыбаке, выпустившем джина из кувшина. Инженерная психология — ровесница и родственница кибернетики. Обе они ведут родословную от нейрофизиологии и математики; обе становились на ноги, прислушиваясь к гулу первых скоростных самолетов (когда Винер начинал работу над зе-

нитным устройством, приведшую к представлению об обратной связи, психологи уже присматривались к авиационным приборам); обе заняты сегодня одними проблемами. Инженерная психология тоже обращается к литературе. Ссылки ее, адресованные прежде всего непосвященным, менее философичны и спорны, но не менее серьезны, чем у кибернетики. И те и другие вызваны желанием предостеречь от безответственности. Разница лишь в том, что кибернетик ощущает тревогу, подводя итоги размышлениям, и с его гипотезами можно не соглашаться; инженерный же психо-

лог начинается с того, что бьет во все колокола, и с его фактами не согласиться нельзя.

В предисловии к сборнику, изданному «Прогрессом», Д. Ю. Панов и В. П. Зинченко вспоминают «Подпоручика Кижж»: «Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ и теперь делал другой список... Он знал, что, если к шести часам приказ не доспеет, адъютант крикнет: «взять», и его возьмут. Поэтому рука не шла, он писал медленнее и медленнее и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ. Оставалось всего десять минут... Но так, уже в отчаянии... он вторично остолбенел. Другая и не менее важная бумага была написана тоже неправильно... И уже более не сознавая, что делает, писарь сел исправлять эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно позабыл о приказе, хотя тот был много спешнее». Авторы, специалисты по инженерной психологии, полагают, что ситуацию, которая занимает эту новую науку, лучше и не опишешь.

Кто же этот «писарь», чья участь внушает такую тревогу, что люди, вчера еще не имевшие ничего общего с машинами, сегодня решительно вмешиваются в дела тех, для кого, кроме машин, ничего на свете не существовало, и основывают ради облегчения этой участи целую науку, на которую уже почтительно поглядывают и кибернетика, и общая психология, и медицина?

Это человек, работающий среди автоматов.

В книгах по кибернетике много говорилось о машинах, моделирующих человеческие функции; с ними связано наше представление об автоматизации. Инженерная психология указывает на оборотную сторону медали: автоматизация будет успешной лишь тогда, когда человек перестанет в своем труде моделировать функции машины — приравнивать к ней свой организм и свою психику. А этого пока нет.

Быстрый, точный, сверхчувствительный автомат регулирует химическую реакцию, управляет станком, контролирует работу турбины. Где ж тут зависимость человека от машины? Увы, производство не состоит из одной реакции или из одной операции; сотни операций складываются в технологический процесс, процессы — в цикл, а автоматы, ведающие отдельными операция-

ми, образуют сложнейшие системы управления, для проектирования которых создается особая наука — системотехника. Автоматы, расположенные на переднем крае, шлют донесения автоматам, регулирующим работу блоков, те передают информацию электронной вычислительной машине, машина отбирает важные сообщения и преподносит их человеку. Человек принципиально неустраим из систем управления, полностью заменить его машиной нельзя. Человек остается в системе, и система получает официальное наименование — «человек и автомат». Об эффективности системы судят прежде всего по ее надежности. Надежность автомата рассчитать легко — надо знать его технические данные и теорию вероятностей, но кто рассчитает надежность человека, который, как известно, не машина? Только инженерный психолог. Ему одному, как замечает в своей статье американский психолог А. Чапанис, автоматизация не угрожает безработицей, ему и его подопечному — оператору, центральному звену любой автоматизированной системы.

Психолог наблюдает оператора на посту, управления энергосистемой, аэропортом, железнодорожным узлом. Вспыхивают сигнальные лампочки, мечутся стрелки приборов, скачут на экранах светящиеся пятна — все это информация, которую надо успеть разглядеть, опознать, расшифровать (сигнал — это закодированное сообщение), осмыслить, а затем принять решение и передать автоматам команду. Поток информации все больше захлестывает оператора: увеличивается количество контролируемых точек, процессы протекают уже при экстремальных, критических режимах, когда каждая оплошность равносильна аварии. Оператор знает это («Он знал, что, если к шести часам приказ не доспеет...»), нервничает и в конце концов ошибается («и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу...»). Неужели нельзя поставить между ним и автоматами не одну, а десяток кибернетических машин, которые бы процеживали информацию так тщательно, чтобы на его долю оставалась только самая ответственная? Пробовали: отупев от вынужденного бездействия, человек в критический момент никак не мог сообразить, что от него требуется.

Нет, если уж ему нельзя уйти, он должен работать. Все дело в оптимальной

организации его труда. Психологи начинают с анализа всех достоинств и недостатков человека и машины и четко выделяют те операции, которые человеку не под силу и которые автоматизировать все равно придется. Для системотехники известный метод «проб и ошибок», в котором количество ошибок почти не уступает количеству проб, непригоден. Так кончается эмпиризм и начинается наука — инженерная психология.

Оператор имеет дело не с объектами непосредственно, а с их моделью — панелью информации. Конструктор убежден, что модель адекватна объекту, что оператору не составит никакого труда разобраться в мешанине приборов и лампочек. Психологи утверждают обратное, им известно, что три четверти авиационных катастроф вызваны неправильным прочтением прибора. Эксперименты показывают, как важна каждая мелочь — толщина стрелки, диаметр шкалы, высота цифр, цвет панели. Умелой компоновкой можно сократить панель вдвое, можно сделать так, что наиболее важные приборы попадут в оперативное поле зрения (это поле тщательно исследует один из наших авторов Ю. Б. Гиппенрейтер), можно наконец сделать панель не плоской, а сферической — так будет вдвое удобнее, и заменить мнемосхему, на которой нарисованы все объекты, но которая избытует ненужной оператору информацией, схемой логической — так будет удобнее во сто крат. Обо всем этом конструкторы и не подозревали. Но они не ропщут, глядя, как психологи вмешиваются в их святая святых и освобождают человека от слепого повиновения всем капризам машины: эффективность вмешательства более чем очевидна.

Как бы ни была совершенна панель, об оптимизации операторского труда говорить еще рано. Надо выяснить пропускную способность человека, установить, сколько информации он в состоянии переработать за определенное время, со всеми поправками на утомление, на рассеянность, но вместе с тем и на сообразительность, на умение предвосхищать сигналы, воспринимая их, как говорит автор исследования сенсорных реакций А. И. Назаров, «за пределами сознания». Выяснение пропускной способности окажет неоценимую услугу создателям систем, а главное, операторам.

чей труд будет нормирован с полным психофизиологическим обоснованием.

Когда-то физик Макс Лауэ заметил, что понимание того, как сложнейшие явления математики сводятся к простым и гармонически прекрасным уравнениям Максвелла, является одним из сильнейших переживаний, доступных человеку. Эти слова вспоминаешь, читая любую из статей о пропускной способности человека. Испещренные формулами и уравнениями, эти статьи захватывают даже того, кто не знаком с математикой; авторы по-юношески увлечены одним из самых замечательных творений века — теорией информации, позволяющей им устанавливать первые закономерности восприятия. Кибернетический метод помогает Дж. А. Миллеру, автору великоленного эссе о «магическом числе семь, плюс или минус два», построить убедительную гипотезу о структуре оперативной памяти и высказать простую и глубокую мысль, которую с удовольствием повторяют психологи, кибернетики и философы: «Гораздо лучше иметь небольшое количество информации о многих вещах, чем обладать огромной информацией относительно малой части окружающей среды». Этот же метод ложится в основу изящной и стройной статьи А. Н. Леонтьева и Е. П. Кринчик, которые подвергают всесторонней проверке один из первых законов инженерной психологии — закон Хика, устанавливающий зависимость времени реакции от количества информации. Отдавая должное математике, авторы дополняют ее открытия чисто психологическим анализом и обращают внимание тех, кто пользуется понятием «количество информации» (а им пользуются все), на двойственный характер этой популярной единицы измерения.

Психологи становятся увереннее, они уже могут предложить инженерам немало радикальных средств. Упомянув о полетах Гагарина и других космонавтов, А. Чапанис пишет: «Для нас наиболее важным является то, что эти полеты — триумф инженерной психологии». Да, космические полеты — триумф новой науки. Сначала она привела в порядок информационные модели в самолетах, затем занялась оборудованием космических кораблей, а главное — отбором и тренировкой космонавтов (с тренировками подобного рода нас знакомит Ф. Д. Горбов). Теперь она разрабаты-

вает методику отбора и обучения операторов, чей труд и по характеру, и по нервной нагрузке очень похож на труд космонавта.

Кому не известно, как благотворно отразились космические задачи на развитии всех наук, причастных к их решению! Открытия, сделанные в ситуациях экстраординарных, долговечнее и значительнее прочих: они опережают время. Инженерная психология устремлена в грядущее — она разрабатывает оптимальные способы общения человека с автоматами и принципы благоприятной обстановки для напряженной умственной работы. Она является ядром новой психологии труда (возрождающейся у нас после двадцатилетнего анабиоза), она становится центральным направлением общей психологии, все глубже проникая в тайны нервной и психической деятельности. Эксперименты убеждают ее в том, что информационная модель лишь преддверие загадки, что гораздо важнее

разобраться в той внутренней модели объектов, которая возникает в мозгу оператора. Генетический анализ уровня восприятия приводит В. П. Зинченко к открытию оперативных единиц восприятия — элементарных, неразложимых образов; этими единицами будет оперировать и конструктор, разрабатывающий систему эффективного кодирования сигналов, и психолог, исследующий восприятие и память, и педагог, и биофизик.

Перечень тех, кому инженерная психология нужна для практических целей, может быть дополнен инженерами всех профессий, специалистами по технической эстетике (они уже пользуются ее плодами, создавая интерьеры цехов и лабораторий), архитекторами. Что же до чисто познавательного интереса, то, как и всякая новая наука, пронизанная духом и идеями века, она найдет отклик во всех умах.

С. ИВАНОВ.

★

РАССКАЗЫ О ТИРАНАХ И НАРОДОЛЮБЦАХ

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В трех томах. Перевод с древнегреческого. «Наука». М. Том 1. 1961. 503 стр. Том 2. 1963. 548 стр. Том 3. 1964. 546 стр.

Человечество не теряет способности удивляться. И не только вещам полезным, украшающим наш быт, продлевающим жизнь или сокращающим расстояния — самолетам сверхзвуковой скорости, антибиотикам, холодильникам, — но и предметам, из которых никакой практической выгоды извлечь невозможно. Всегда, к примеру, вызывают душевное трепетание глиняный горшок, пролежавший в земле две тысячи лет, бронзовые позеленевшие монеты, обломок меча, брошенного в кои-то веки римским легионером. Дыхание древности, веющее от этих вещей, уже навсегда переставших быть полезными, удивляет.

И куда более должен удивлять писатель, почти две тысячи лет тому назад родившийся, писатель, которого читали в средние века и в эпоху Возрождения и продолжают читать и переводить поныне, — Плутарх. Многие поколения зачитывались его «Сравнительными жизнеописаниями». Короли искали в них секрет, как управлять подданными, Шекспир — сюжеты для трагедий, Бабелф — образцы гражданственности.

Не в земле — на книжной полке, на рабочем столе провела его книга два неполных тысячелетия, отделяющие автора от

нас, только что получивших в подарок от издательства «Наука» полный перевод «Сравнительных жизнеописаний».

Этот стойкий интерес потомков к творчеству Плутарха кажется тем более удивительным, что наш автор — отнюдь не гениальный художник. Он не пролагал новых путей, не создавал величественных образов. Он был посредственным философом-эклектиком, историком-компилятором, неторопливым пересказчиком книг, которые прочитал за долгую свою жизнь и которые цепко удержала его натренированная память. Он написал много — но когда слава отменяет свой путь количеством написанного?

Почему же в таком случае человечество избрало именно его и вознесло рядом с великим Гомером, выше многих гениев, которых так щедро вызвала к жизни эллинская земля?

Секрет Плутархова обаяния! Чтобы разгадать его, попробуем мысленно обратиться к той стране и к тому времени, которые породили писателя.

Плутарх был грек из плодородной Беотии, жители которой в древности представлялись образцом тугодумов, медлительных, как их волю, тащившие плуг по

жирной земле. Он думал, говорил и писал по-гречески, но он был подданным римских императоров, ибо еще задолго до его рождения римские солдаты, купцы и юристы утвердились на его родине.

Римская держава простиралась в ту пору от Британских островов, где туземцы расписывали красками тело перед сражением, до приевфратских степей, хранивших память о самых древних цивилизациях. Римская держава не знала себе равных. На границах ее давно уже царил мир, и все-таки времена были беспокойными. Еще не выветрились из памяти междоусобные войны, получившие название гражданских. На смену гражданским войнам пришла диктатура — единоличная власть потомков Августа, подозрительных, мелочных, тщеславных. При императорах из дома Августа всего опаснее было прослыть одаренным, проявить самостоятельность суждений, всего отаснее было оказаться красноречивее государя, дальновиднее его, лучшим, чем он, полководцем, дипломатом, писателем. Императоры были объявлены богами, а боги (особенно посредственные) не прощают людям таланта.

И когда потомки Августа сделали свое дело — уничтожили свободомыслие и свободомыслящих, создали культ императорской власти и воспитали поколение, безразличное к судьбам отечества, но полное забот о собственном кошельке, — тогда их сменила другая династия, более снисходительная к подданным, более либеральная. Императоры одним мановением пальца приводили в движение легионы, послушные судьи старательно следили за сохранением порядка и повиновения (вернее сказать, порядка, который и был повиновением), но сами государи избегали омыwać руки в крови и даже охотно обсуждали проблемы морального самоусовершенствования. Они могли себе позволить либерализм, сострадание к рабам, заботу о сиротах — бунтарские времена прошли, стали достоянием истории, и лишь очень редко вспыхивали (преимущественно на окраинах) волнения, обычно недолгие и всегда безнадежные.

В человеческом мироощущении произошел сдвиг.

Эпоха гражданских войн была временем сомнений и надежд, скепсиса и ожиданий. Старые ценности подверглись критическому пересмотру, даже самая консервативная форма идеологии — религия — оказа-

лась предметом насмешек. Храмы стояли запущенными, по ночам совы, тяжело двигая крыльями, перелетали в них от колонны к колонне. Лукреций именно в эту пору писал большую поэму о том, что богов создал страх, и призывал избавить человечество от рабского трепета перед ударом грома и перед несуществующим загробным царством. Люди мечтали о счастливых переменах: рабы — о свободе, бедняки — о жилье и хлебе, труженики — о земном рае, где земля сама принесет стопудовые урожаи.

Все они были обмануты. Находились ловкие демагоги, которые, используя демократические лозунги или же клянясь верностью традициям отцов, поставили себе на службу стихийное стремление народа к счастью; они натравливали одни группировки на другие, «популяр» на «оптиматов» — и люди умирали за чужую корысть, думая, что умирают за свободу. Во имя демократии и во имя отеческих традиций тысячи и тысячи уходили в изгнание, лишались имущества, погибали от суда и без суда.

Старые моральные устои были расшатаны — новые еще не утвердились. Свобода обернулась свободой от совести.

Террор потомков Августа довершил то, что было начато в эпоху гражданских войн. Ложь стала нормой поведения, высокие слова потеряли свой смысл: бесправие называли свободой, раболепие — благородством, трусость — доблестью. Император обнимал свою мать, а за стеной ее уже ждал убийца, царственным сыном подосланный и оплаченный. Прелюбодеи торжественно клялись святостью семейных устоев, поэты обменивали оды на серебряные монеты — столь же потерянные, как и поэтические опыты, служившие им эквивалентом.

И вот полоса террора кончилась. Измученная Италия заживляла раны. Потомки «оптиматов» и «популяр» отворачивались от сенатских кресел, от трибун на форуме, запятнанных кровью и предательством. Они становились рачительными хозяевами, страна вступила в полосу экономического подъема.

Плутарх родился в эпоху террора, но дождался либеральной эры и даже пользовался благорасположением либеральных императоров — Траяна и Адриана. Писатель — всегда писатель своего времени, даже если он идет против своего времени, и было бы смешным трюизмом сказать, что

Плутарх выразил свое время. Все дело в том, что современники его устали от скепсиса и сомнений, от ломки устоев, от моральной разнузданности; ломка старого порядка в условиях императорского террора превратилась в ломку порядка вообще, освобождение от старых условностей — в освобождение от моральной дисциплины.

Простые люди — ремесленники, земледельцы, торговцы — резко повернули от сомнений и искания к бесхитростным и соблазнительно твердым истинам. От скомпрометированного релятивизма — к бесспорности вечных истин.

В первый момент эти простые, чуть-чуть неуклюжие, медлительные истины — грубоватые, словно беотийские землепашцы, — показались великим открытием! Надо быть добрым к людям, верным своим обязательствам, честным, щедрым, отзывчивым — и, наоборот, не надо быть жестоким, честолюбивым, воинственным. Поэтом этих моральных принципов выступил Плутарх.

Сюжеты его биографий чаще всего трагичны. Трагичность, правда, свойство не одного только Плутарха, в трагичном конфликте яснее, обнаженнее проступает противоречие времени, главная его проблема. Но и писатели и читатели нового времени, как правило, на стороне трагического героя, вступающего в конфликт с обществом, тогда как Плутарх хотел бы, чтобы его герои жили в согласии с человечеством и служили обществу. Когда же они нарушают эту внутреннюю заповедь Плутарха, они не могут рассчитывать на его сочувствие: нет в этом случае оправдания самому способному, самому храброму, самому умному.

Для Плутарха не важны военные таланты и дипломатическое искусство Суллы, спасшие Рим от величайшей опасности. Для Плутарха Сулла — кровожадный тиран, изобретатель проскрипций — первой в истории Италии планомерной расправы с политическими противниками. «Сулла занялся убийствами, кровавым делам в городе не было ни числа, ни предела, и многие, у кого и дел-то с Суллой никаких не было, были уничтожены личными врагами, потому что, угрожая своим приверженцам, он охотно разрешал им эти бесчинства». Самый облик этого счастливица, любимца судьбы, страшен: тяжелый взгляд его стальных глаз нельзя вынести, а кожа, покрытая багровой сыпью, придает лицу пугающий вид. Образ

жизни Суллы позорен — целые дни он пьянствует с продажными женщинами, нарушая собственные же законы против роскоши...

Один за другим проходят по страницам «Сравнительных жизнеописаний» тираны и честолюбцы, предатели отечества и распущенные негодяи — люди большого дарования, но свободные от моральных устоев.

Честолюбцам и тиранам противопоставляет Плутарх людей совсем иных — скромных и честных, верных друзьям, образцовых граждан.

Античное общество в классическую пору расцвета создало свой идеал гармонически развитой личности: физические достоинства должны были сочетаться в человеке с доблестью и мудростью. Античное общество, пережив гражданские войны и террор преемников Августа, пришло к другому идеалу — человеколюбию, и подчинило ему все.

Не надо преувеличивать значение рожденных этим временем простых и ясных Плутарховых истин. Они столь же иллюзорны, как и релятивизм. Они расплываются в собственной всеобщности. Прекрасен призыв: «Возлюби ближнего» — но сколько гысяч раз он оборачивался оправданием аутодафе, крестовых походов, казней и расправ. Рабы, восставшие под знаменем Спартака, не звали «возлюбите ближнего» — у них была конкретная цель. Вечные истины выходят на передний план, когда конкретные цели оказываются неосуществимыми. Они утешают, они создают видимость ясности. «Здесь добро — здесь зло». Все кажется разложенным по полочкам, все решенным; человеку почти что открыт смысл жизни.

Но ясность эта обманчива; она достигается тем, что человек (и человечество) закрывает глаза на противоречивое многообразие действительности. Истинная ясность состоит в постижении противоречий движущегося мира, Плутархова ясность — в конструкции идеальной модели мира, каким он должен быть. Ясность такого рода всдет к отказу от сомнений, к догме, в конечном счете — к религии. Ибо кто же может создать неизбежно идеальную модель мироздания, как не высшее существо?

У «Сравнительных жизнеописаний» есть брат-близнец, сочинение, возникшее в то же столетие, но славою своею далеко превзошедшее Плутарха. Это евангелия, по-

вести о сыне божьем, явившемся на землю и пострадавшем за человечество. Сходство обеих книг давно бросилось в глаза исследователям, давно уже были отмечены сюжетные совпадения, лексическая близость. Но дело не в этих отдельных параллелях — весь тон обеих книг родствен: та и другая наставляет, поучает, формулирует жизненные принципы в виде простых истин, иллюстрируемых наглядными примерами — притчами (конечно, немало и различий: Плутарх значительно более рационалистичен, и вещие сны, чудеса и случаи непорочного зачатия, о которых он упоминает, иной раз вызывают у него недоверие — в евангелиях же, наоборот, чудо становится реальностью и герой их запросто ходит по воде, возносится на небо и общается с демонами).

Плутарх ничего не знал о христианах. По-видимому, и составители евангелий не читали Плутарха. Обе книги были рождены одним временем, одними идейными сдвигами: отчаянным желанием освободиться от разрушительного, все разъедающего скепсиса. Обе книги — попытки преодолеть индивидуализм, самодовление личности, выросшее в условиях террора в пренебрежение чужой личностью.

И евангелия и «Сравнительные жизнеописания» — не героические страницы в истории мировой культуры. Это скорее плоды отступления, поиски твердой почвы. Но человечество не развивается по прямой, его путь не усыпан одними розами парадов. Бывают периоды сокрушения старых ценностей, бурного движения вперед — и периоды остановок, формирования моральных устоев. Впрочем, едва только эти моральные устои сложатся, как общество уходит вперед, а вечные истины становятся окостеневшими догмами, мешающими прогрессивному развитию. И снова — но уже на новой, более высокой ступени — человечество обращается к сомнениям, к скепсису, подрывая то, что сделалось непререкаемым авторитетом.

Плутарх — писатель по задаче своей консервативный. «Сравнительные жизнеописания» нередко наивны, полны скучной морализации. Но они созданы как антитеза террору и рожденной им беспринципности —

и ласковая доброта к человеку пронизывает их. Именно в этом секрет их славы.

Да, Плутарх — консервативный писатель, прославивший простые и твердые моральные устои. Но парадокс заключается в том, что в героические эпохи он привлекал не меньше внимания, нежели в эпоху отступления. Еще бы, ведь он учит жить не для себя, а для человечества, учит жертвовать собой для людей, учит любви к людям.

Вечные истины плоски, они не блещут оригинальностью формулировок, в них не бьют нервный пульс противоречивого и сложного видения мира. Но они емки, их легко наполнить новым содержанием, их можно сделать знаменем поступательного движения. Гракхи Плутарха — вопреки их истинному социальному лицу — на столетия стали символом свободолюбия.

Культурное наследие человечества многообразно. Мы умеем понимать титаническую человечность Рубенса и прелесть иконописных ликов, где духовное победило плоть, где сущность заслонила изменчивую форму. Античность оставила нам не только сомнения и поиски Еврипида, не только воинствующий атеизм Лукреция, но и добрую уверенность Плутарха, неторопливого рассказчика о прошлом.

Большая группа советских античников принимала участие в переводе «Сравнительных жизнеописаний». На первом томе еще стоит имя ныне покойного С. И. Соболевского, в редактировании второго тома участвовала М. Е. Грабарь-Пассек, самую активную роль — и как переводчик, и как редактор, и как составитель комментария — сыграл в подготовке книги С. П. Маркиш. Новое издание, без сомнения, будет способствовать дальнейшей жизни в веках «Сравнительных жизнеописаний». Пусть наш читатель прочтет эту книгу, где найдет он немало подробностей из истории древней Греции и древнего Рима, — но пусть он смотрит на нее не только как на сводку (очень ценную) фактов (очень ценных), но и как на памятник своего времени — времени, пожалуй, более привлекающего для тех, кто изучает его, нежели для тех, кто вынес его на своих плечах.

А. КАЖДАН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В. ТОМИН, С. ГРАБОВСКИЙ. По следам героев берлинского подполья. Политиздат. М. 1964. 102 стр.

«Весной 1942 года на улицах Берлина, на витринах, рекламных тумбах и стенах домов, были расклеены сотни антифашистских листовок с текстом: «Постоянная выставка рая нацистов — война, голод, ложь, гестапо. Сколько это еще будет продолжаться?» Полиция бесновалась, разыскивая листовки, их замазывали краской, сдирали со стен. Прохожие, спешившие рано утром на работу, с жадностью пробегали глазами еще не уничтоженные полицией листовки. Берлинское подполье не прекращало свою деятельность ни на один день».

«Подполье в самом логове фашистского зверя? — удивится иной читатель. — Невероятно!» А тем не менее это так. Несмотря на гестаповские казематы, нечеловеческие пытки и лагеря смерти, гитлеровцам не удалось сломить волю и сопротивление передовой части немецкого народа. В страшные годы фашистского разгула сотни немецких патриотов боролись в подполье против нацистов.

Обер-лейтенант авиации Шульце-Бойзен, его помощник по подпольной группе доктор юридических и философских наук, работавший в имперском министерстве экономики, Арвид Харнак, видный деятель КПГ Зефков, работавший под видом шофера у директора одного из крупнейших германских концернов, и гамбургский коммунист Франц Якоб возглавляли вместе одну из крупнейших подпольных организаций. Семья рабочего-коммуниста Крюгера и многие другие подпольщики в трудных условиях не прекращали борьбу с коричневой чумой: вели пропаганду, устраивали диверсии.

А бок о бок с германскими борцами были русские — плененные, но не покоренные. Судьба заключенного № 69893 Алексея Писова удивительна. Нечеловеческие испытания выпали на долю молодого советского воина. Израненный, неоднократно приговоренный к смерти, избиваемый нацистами, истощенный от постоянного голода, он боролся с фашизмом. Его смелость безгранична, как и ненависть к фашистским захватчикам. Конечно, боролся он не в одиночку. Ему помогала отважная комсомолка Лида Розова (или Розанова), немецкие и французские друзья.

В книге прослежены также судьбы подпольщиков В. А. Истомина, А. Н. Кочеткова, М. А. Куницкого, Андрея Черняева.

Молодые историки и литераторы В. Томин и С. Грабовский проделали большую поисковую работу. И сама книга поможет им продолжить ее, ибо, несомненно, будут получены сведения о других героях подполья, разыскать которых пока не удалось.

«Еще предстоит узнать многие обстоятельства этой борьбы, выяснить дела и судьбы многих героев-подпольщиков, — пишет в предисловии к книге писатель С. С. Смирнов. — Но уже этот первый очерк, несомненно, вызовет интерес читателей, и они с нетерпением будут ждать дальнейших изысканий авторов, которым стоит пожелать полного успеха в их нелегком и кропотливом исследовании».

Остается лишь присоединиться к этому пожеланию.

М. Изотов.

★

Е. КУДРЯШОВА. Жизнь, отданная революции. Белгородское книжное издательство. 1964. 91 стр.

Со страниц этой книги встает образ пламенного революционера-ленинца Михаила Степановича Ольминского. Аресты и тюрьмы, ссылки и эмиграция, годы суровой подпольной борьбы... Были на этом пути ошибки и заблуждения, и очень хорошо, что Е. Кудряшова, избегая графаретной схемы, говорит о тех идейных противоречиях, которыми был отмечен путь Ольминского к марксизму. Главное же — и это тоже хорошо показано автором, — что, преодолевая эти противоречия (вспомни хотя бы нелегкий процесс изживания народнических иллюзий в мировоззрении Ольминского), буквально «выстрадав марксизм», Ольминский стал на позиции большевизма. Он был верным помощником Ленина в осуществлении грандиозной программы социалистической революции.

Один из соредкторов Ленина в первых большевистских газетах «Вперед», «Пролетарий», «Новая жизнь», один из самых активных сотрудников «Звезды» и «Правды», Ольминский был талантливым партийным публицистом и литератором. Именно поэтому публицистической деятельности Ольминского автор уделил особое внимание. Нельзя представить себе борьбы партии с меньше-

визмом без острых, темпераментных статей Галерки (один из наиболее известных псевдонимов Ольминского). Нельзя представить борьбы большевистской критики за реализм без статей, которые публиковал Ольминский на страницах «Звезды» и «Правды». Обо всем этом в книге говорится со знанием дела. И все же, думается, представление о литературно-критической деятельности Ольминского у читателя было бы более четким и полным, если бы вопросы, связанные с публицистикой и литературной критикой, Е. Кудряшова выделила в самостоятельный раздел. Пришлось бы, очевидно, нарушить хронологический принцип, положенный в основу книги, зато это помогло бы глубже осветить некоторые существенные стороны литературной работы Ольминского.

Его называли рыцарем большевизма. И действительно, в этом человеке исключительное благородство духа, подлинный гуманизм и рыцарская преданность идеалам революции сочетались с непоколебимым мужеством и целеустремленностью политического борца.

Не случайно книга об Ольминском издана в Белгороде. Неподалеку от этого города, в селе Подсереднем, Ольминский провел детские годы. Сюда он часто приезжал уже на склоне лет. Выпустив книгу об Ольминском, Белгородское издательство сделало доброе дело.

О. Семеновский.

★

АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ. Судьба. Книга стихов. «Советский писатель». М. 1964. 60 стр.

Анатолий Передреев, судя по его первой книжке стихов, пишет просто и о простых вещах — о детстве, о старших братьях, павших на войне, о тяжком и ответственном труде. Слова в его стихах не пленяют неожиданностью далеких и метких соответствий. Есть внутренняя связь между суровой школой юности, которую прошел поэт, и простотой его стихов. Он набирался впечатлений так же естественно, как жил, дышал, крутил баранку «газика», подставлял «кузов, словно спину», работал, работал...

...в 6 часов играют гимн
Мне,
Сонному и голому,
Играют гимн,
Играют гимн,
Всему играют дому.

Зарыться в теплую кровать,
В глубокий сон вернуться,
Зарыться в теплую кровать,
Калачиком свернуться,

Зарыться в теплую кровать —
Свести с рабочей счеты...
А мысли скачут:
«Не проспать»
И щелкают, как счеты...

(«6 часов утра»)

А. Передреев только начинает свой путь. Но бесспорное достоинство его стихов в том, что они рождаются из соответствия.

соразмерности душевного «золотого запаса», каким обладает поэт, — избранной теме. Пусть запас этот невелик, но в пределах полученного нравственного опыта он способен обеспечить ценность слова.

Стихи Передреева простые, но не простоватые. Лучшие из них обращают на себя внимание напевностью, чистотой настроения, острой мыслью. Передреев в то же время далек от самодовольного провинциализма. Рядом с милыми его сердцу деревенскими пейзажами («Возвращение», «А что творится на земле...», «Земля и небо», «Когда устанешь от земли...») возникают кварталы блочных домов, строятся электростанции, гудят самосвалы, создается большая химия.

Мир раскрывается в стихах Передреева через встречи с не похожими друг на друга людьми — добрым шофером и с исправным кондуктором, с безучастной старухой в мужской тужурке и со случайным прохожим в поздний час:

Что ж ты шаг ускоряешь, прохожий,
В переулке сугробном, глухом.
На меня озираясь, проходишь,
И стучишь, и стучишь каблучком?..

Я не прячусь за темные стены,
Я не жду в переулках кривых
Ни наручных твоих — драгоценных,
Ни карманных твоих — трудовых.

Просто дело мое молодое,
Просто кружится, падает снег...
Протяни огонек мне в ладонях,
Разреши прикурить, человек!
(«В переулке»)

Негромко, но настойчиво звучит призыв к доверию. Исподволь, неназойливо утверждает поэт ценности, столь же простые, сколь и высокие.

О. Михайлов.

★

М. ДОЛЕНГО. Взросло на камне. Стихи. Перевод с украинского. «Советский писатель». М. 1964. 88 стр.

В этой книге всего около ста страниц, но в нее вошли стихи, созданные на протяжении трех с лишним десятиков лет. Михайло Васильевич Доленго — украинский поэт, автор этой книги — начал более сорока лет тому назад. С той поры он выпустил несколько стихотворных сборников и книг литературно-критических статей.

Мы были с музою на «ты»,
Но виделись не часто, впрочем.

Эти слова поэта соответствуют действительности. Много сил и времени М. Доленго отдал науке. Он — известный ботаник, доктор биологических наук. Это не только наложило отпечаток на его стихи. Наука вошла в их плоть и кровь. У М. Доленго любовь к научному познанию мира стала источником его вдохновения. Он не был в стороне от научных споров и дискуссий нашего века. Не зря же тютчевское резко

полемическое «Не то, что мните вы, природа...» М. Доленго поставил в качестве эпиграфа к своему программному циклу «Природа». Он заставляет стих проникаться тревогой и заботами живой научной мысли.

Автор любит природу не как праздный соглядатай, он раскрывает ее подчас недоступную для поверхностного взгляда красоту. Входя в парк, М. Доленго смотрит на дерево так, как смотрят на людей, зная их историю, характер, обычаи. Сосны, итальянские пинии, ливанские кедры, калифорнийские секвойи — все эти красивые и звучные наименования для М. Доленго полны особого смысла. Каждое из этих деревьев для него — индивидуальность, каждое — неповторимо, как сама природа.

Я не являюсь сторонником научных реминисценций и перегрузки стиха именами великих ученых. Но при всем при том вижу, что в стихах М. Доленго и реминисценции, и научные теории, и имена ученых органичны. Он пишет о Беконе и Мильтоне, о Канте и Северцове... В книге много и других имен, которые раскрыты читателю в толково составленных И. Поступальским примечаниях. Все это — не демонстрация учености автора. Нет, это мир, в котором он постоянно напряженно живет.

Когда М. Доленго пишет о ботанике Черняеве, наследником которого он себя считает, перед нами встает живая преемственность научных поколений:

Венок сплетаю — что ж, пора моя —
из ковылей да зелени дубовой
я в память деду...

Точно так же звучат слова благодарности в стихотворении «Памяти моего деда кузнеца Юхима», где М. Доленго говорит о своем крепком крестьянском корне. Так по воле поэта оказываются рядом старый крестьянин дед Юхим и старый профессор Василий Матвеевич Черняев.

Стихи последних лет (помеченные 1958—1959 годами) представляются мне наиболее интересными. В них («Любовь», «Встреча», «Парк», «Крымские горы») в большей степени, чем прежде, ощущается жизнь и чувство самого автора, их лиризм более непосредствен. Как уместить в маленькой книжке большой путь? Это и попытался сделать поэт-переводчик И. Поступальский, чутко понявший характер родственного ему творчества М. Доленго.

Книга издана любовно (художник К. М. Высоцкая). Четыре тысячи экземпляров в нашей стране — это тираж для добрых знакомых и друзей и то не всех, если автор на протяжении жизни был человеком общительным.

Лев Озеров.

РАДИЙ ФИШ. За окунем через океан. Сцены и рассуждения. «Советский писатель». М. 1964. 269 стр.

Хорошо, когда литератор достаточно молод, чтобы уйти на рыболовном траулере в долгий и трудный рейс к берегам Гренландии, притом не в роли наблюдателя, штатного корреспондента, а рядовым матросом-добытчиком. Но хорошо вдвойне, если этот матрос, автор будущей книги очерков об океанском промысле окуня, уже не юнец, если он накопил жизненный опыт, знания и приобрел привычку размышлять, сопоставлять, обобщать. Да к тому же и в море уходит не в первый раз...

Радия Фиша мы знали до сих пор как переводчика турецкой поэзии, автора большого труда о творчестве Назыма Хикмета.

Книга Р. Фиша почти что свободна от тех «красивостей», которыми нашпигованы иные «романтические» рассказы и сентиментальные песенки о морях (автор встает против этой дурной традиции). Но одновременно очерки утверждают подлинную романтику: радость труда и преодоления препятствий, широту мыслей, не запертых в привычные пределы четырех городских стен, тягу к морю, отнюдь не чуждую и самому автору.

Жанр книги определен, казалось бы, произвольно: «Сцены и рассуждения». Очерки Р. Фиша — это действительно ряд выразительных сцен из повседневного промыслового быта рыбаков, дополненных размышлениями автора.

В нескольких строках рецензии не перечислишь даже и главных проблем, которые волнуют автора. Но я наверно не ошибусь, если скажу, что все они, как в фокусе, сходятся к афоризму, который я почерпнул в рецензируемой книге. Вот он: «Кнопочное управление машинами (то есть новая эра в технике и организации производства.— В. К.) приходит в непримиримое противоречие с кнопочным управлением людьми».

Радий Фиш противопоставляет друг другу не только разные стили командования (притом на всех уровнях — от капитанской рубки до руководства звеном тральщиков или шкерщиков), но и различное отношение своих товарищей к природе и ее ресурсам, к технике, к друзьям, наконец к своей собственной судьбе. Словом, автор поднимает этические проблемы, волнующие не один траловый флот.

Как читатель, я, конечно, мог бы предъявить автору кое-какие претензии.

Но любые претензии отступают на дальний план перед убедительным фактом: литературовед со знанием дела написал интересную книгу очерков.

Вл. Канторович.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин об идеологической работе. Сборник. 436 стр. Цена 66 к.

Л. И. Брежнев. 47-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на торжественном заседании в Кремлевском Дворце съездов 6 ноября 1964 года. 32 стр. Цена 3 к.

П. Бабенко. И. Э. Якир (Очерк боевого пути). 78 стр. Цена 10 к.

Л. Безыменский. По следам Мартина Бормана. 128 стр. Цена 15 к.

В годы подполья. Сборник воспоминаний 1910 г.— февраль 1917 г. 384 стр. Цена 63 к.

Ю. Герман. Операция «С Новым годом!». Повесть о докторе Николае Евгеньевиче. Наш друг — Иван Водунов. О Горьком. О Мейерхольде. 424 стр. Цена 54 к.

Ф. Зимон. Под нелегальной кличкой М. Из пережитого во времена фашизма. Перевод с немецкого. 112 стр. Цена 16 к.

Я. Кадар. Избранные статьи и речи (май 1960 г.— апрель 1964 г.). 512 стр. Цена 1 р.

Б. Краевский. Тысяча и одна дорога. Очерки. 80 стр. Цена 9 к.

З. Крахмальникова. Когда ты убежден. Очерки. 120 стр. Цена 12 к.

А. Левин. Лектор и аудитория. 120 стр. Цена 11 к.

Н. Мар. В поисках счастья. 128 стр. Цена 14 к.

Марксистско-ленинская философия. Учебное пособие. 544 стр. Цена 88 к.

Моральный кодекс строителя коммунизма. 192 стр. Цена 22 к.

Г. Нагорный. Правда, сказанная пословицей. Народная мудрость о боге и религии. 104 стр. Цена 10 к.

Н. Никольский, Герой Советского Союза. Ценою жизни. 96 стр. Цена 12 к.

Справочник секретаря первичной партийной организации. 296 стр. Цена 37 к.

А. Тарасенко. О лекторском мастерстве В. И. Ленина. 80 стр. Цена 7 к.

«МЫСЛЬ»

И. Анимушкин. Следы невиданных зверей. 264 стр. Цена 38 к.

Л. Зверева. Кувейт. 112 стр. Цена 17 к.

Н. Ковров. Финансовое хозяйство колхозов и совхозов. 94 стр. Цена 15 к.

Летопись Севера. Т. 4. 256 стр. Цена 1 р. 31 к.

Э. Нитобург. Парагвай. Экономико-географический очерк. 94 стр. Цена 14 к.

Г. Пруденский. Время и труд. 352 стр. Цена 1 р. 33 к.

Г. Самборский. Автоматизация и специализация в промышленности СССР. 216 стр. Цена 78 к.

В. Устинов. Применение вычислительных машин в исторической науке. 232 стр. Цена 75 к.

П. Фигурнов. Современный капитализм. Избранные работы. 459 стр. Цена 1 р. 55 к.

Д. Хантер. Охотник. Перевод с английского. 222 стр. Цена 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Бабанлы. Жизнь испытывает нас. Повесть и рассказы. Перевод с азербайджанского. 216 стр. Цена 34 к.

М. Башаев. В горах Дагестана. Роман. Перевод с лакского. 200 стр. Цена 45 к.

П. Биба. Журавли под солнцем. Стихи. Перевод с украинского. 92 стр. Цена 11 к.

В краю степей и гор. Сборник стихов. Перевод с караево-черкесского. 144 стр. Цена 18 к.

А. Велиев. Дорога в Тураджлы. Роман. Перевод с азербайджанского. 392 стр. Цена 72 к.

Л. Вилкомир. Дороги. Стихи. 80 стр. Цена 9 к.

День поэзии. 1964. Сборник (Ленинград). 304 стр. Цена 72 к.

В. Козаченко. Цена жизни. Молния. Горячие руки. Повести. Перевод с украинского. 544 стр. Цена 92 к.

М. Луконин. Преодоление. Стихи. 188 стр. Цена 25 к.

На дальних берегах. Очерки. 424 стр. Цена 60 к.

Р. Орлова. Потомки Гекльберри Финна. Очерки современной американской литературы. 330 стр. Цена 79 к.

К. Симонов. Солдатами не рождаются. Роман. 716 стр. Цена 1 р. 42 к.

Р. Сирге. Огоньки на пойме. Роман. Перевод с эстонского. 568 стр. Цена 92 к.

Стихотворная комедия конца XVIII — начала XIX в. 968 стр. Цена 1 р. 41 к.

Т. Табидзе. Стихотворения и поэмы. 332 стр. Цена 61 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Беспощадный. Стихи и поэма. 200 стр. Цена 39 к.

Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Том I. 440 стр. Цена 1 р. 21 к.

С. Капутикян. Лирика. Перевод с армянского. 272 стр. Цена 46 к.

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 584 стр. Цена 1 р. 46 к.

Р. Меса. Мой дядя чиновник. Роман. Перевод с испанского. 295 стр. Цена 62 к.

Б. Нушич. Ослиная скамья. Фельетоны, рассказы. Перевод с сербско-хорватского. 364 стр. Цена 56 к.

В. Огнев. Расул Гамзатов. 144 стр. Цена 18 к.

Д. Остров. Стоит гора высокая. Повесть. Рассказы. 356 стр. Цена 58 к.

Рассказы о Ленине. 352 стр. Цена 68 к.

А. Редол. У лодки семь рудей. Роман. Перевод с португальского. 352 стр. Цена 87 к.

Фирдоуси. Шах-наме. В двух книгах. Перевод с фарси. Кн. 1. 752 стр. Цена 3 р. 50 к. Кн. 2. 743 стр. Цена 3 р. 50 к.

Ф. Шиллер. Лирика. Перевод с немецкого. 156 стр. Цена 28 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Белов. Речные излучки. Повести и рассказы. 176 стр. Цена 25 к.

«НАУКА»

Л. Визен. Хосе Марти. Хроника жизни повстанца. 304 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 65 к.
И. Вылегжанин. Счастье — быть человеком! Лирика. 87 стр. Цена 9 к.
Р. Гамзатов. Письмена. Восьмистишия. Эпиграммы: Стихи. 264 стр. Цена 34 к.
К. Джантошев. Чабан с Хан-Тенгри. Роман. Перевод с киргизского. 335 стр. Цена 62 к.
И. Ермашев. Сунь Ят-сен. 319 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 63 к.
В. Иовицэ. Капля живой воды. Повести и рассказы. Перевод с молдавского. 160 стр. Цена 18 к.
А. Кобринский. Кто — кого? Машины-автоматы. 288 стр. Цена 59 к.
А. Кузнецов. У себя дома. Повесть. 239 стр. Цена 36 к.
М. Левашов. Знамя вручают смелым. Стихи, песни, рассказы. 207 стр. Цена 46 к.
В. Марченко. Вольшой каботаж. Повесть. 224 стр. Цена 48 к.
М. Мендельсон. Марк Твен. 430 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 82 к.
Мато Нажин. Мой народ Сиу. Мемуары вождя индейского племени. 184 стр. Цена 53 к.
Е. Нилов. Зелинский. 256 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 55 к.
Г. Пятков. Рукопожатие. Стихи. 96 стр. Цена 12 к.
С. Синельников. Киров. 368 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 75 к.
Ю. Тарский. Испытание огнем. Рассказы. 175 стр. Цена 19 к.
М. Траат. Избранная лирика. 32 стр. Цена 4 к.
И. Шамякин. Сердце на ладони. Роман. Перевод с белорусского. 445 стр. Цена 87 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Волинский. Зеленое дерево жизни. Книга о французских художниках конца XIX века. 159 стр. Цена 91 к.
Дык Лан. Повесть о подвиге Ким Донга. Перевод с вьетнамского. 80 стр. Цена 19 к.
М. Казанин. Рубин эмира бухарского. Роман. 207 стр. Цена 57 к.
Луда. Трудус-трудум-труд. Сказки и легенды. Перевод с французского. 142 стр. Цена 46 к.
Я. Мавр. Амок. Роман о восстании на Яве в 1926 году. Перевод с белорусского. 287 стр. Цена 55 к.
И. Свинсос. Том в горах. Повесть. Перевод с норвежского. 95 стр. Цена 22 к.
З. Фазин. Нам идти дальше. Повесть. 396 стр. Цена 83 к.
Ф. Эрднич. Горький ломоть. История жизни молодого человека. Перевод с турецкого. 255 стр. Цена 65 к.

Н. Винер. Я — математик. Перевод с английского. 355 стр. Цена 68 к.
Влияние орошения на вторичное засоление, химический состав и режим подземных вод. 298 стр. Цена 1 р. 87 к.
Возникновение лесных пожаров. Сборник статей. 184 стр. Цена 85 к.
Т. Грек, Е. Пчелина, Б. Ставиский. Карате — буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. Основные итоги работ 1937, 1961—1962 гг. и индийские надписи на керамике. 110 стр. Цена 48 к.
Л. Еременко, В. Иванова. Корейская литература. Краткий очерк. 153 стр. Цена 35 к.
Н. Ерофеев. Империя создавалась так... Английский колониализм в XVIII в. 175 стр. Цена 26 к.
В. Жаров. Индонезия на пути упрочения независимости. 1949—1956. 207 стр. Цена 67 к.
С. Катаяма. Воспоминания. Перевод с японского. 780 стр. Цена 3 р.
Дж. Корбетт. Храмовый тигр. Перевод с английского. 144 стр. Цена 38 к.
В. Косточкин. Древние русские крепости. 143 стр. Цена 20 к.
П. Мантейфель. Досуг при свете лучины. Перевод с эстонского. 129 стр. («Литературные памятники») Цена 79 к.
В. Мануйлов. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. 198 стр. Цена 65 к.
П. Николаев. Политика США, Англии и Франции в германском вопросе (1945—1954). 390 стр. Цена 1 р. 65 к.
Очерки истории Каракалпакской АССР. Том I. С древнейших времен до 1917 г. 429 стр. Цена 2 р. 47 к.
В. Пачулиа. В краю золотого руна. Исторические места и памятники Абхазии. 126 стр. Цена 35 к.
Проблемы современного народного творчества. Русский фольклор. Том 9. 331 стр. Цена 1 р. 88 к.
Районные советы Петрограда в 1917 году. Протоколы, резолюции, постановления общих собраний и заседаний исполнительных комитетов. В 3-х томах. Том I. 374 стр. Цена 1 р. 57 к.
Р. Самарин. Реализм Шекспира. 189 стр. Цена 50 к.
Л. Слезкин. Россия и война за независимость в Испанской Америке. 383 стр. Цена 1 р. 76 к.
А. Суперанская. Как вас зовут? Где вы живете? (О происхождении русских имен, фамилий, названий рек и городов). 95 стр. Цена 15 к.
К. Тринчер. Биология и информация. Элементы биологической термодинамики. 100 стр. Цена 43 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 28/XI 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/I 1965 г.
 Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Зак. 2686. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
 А 02704. Тираж 117.900.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636